СИБИРСКИЕ ОГНИ

2

МАРТ-АПРЕЛЬ

1928

39157

33124

286=2-51

ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ

С-341
Основной фонд

СИБИРСКИЕ ОГНИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

751934

КНИГА ВТОРАЯ

МАРТ—АПРЕЛЬ

СИБИРСКАЯ
Краевая Научная
БИБЛИОТЕКА

НОВОСИБИРСК
1928

Сибкрайлит № 768 от 21 марта 1928 г. Гор. Новосибирск, типография СКС, Советская, № 6. Наряд № 806. Тираж 2000 экз.

В. ЗАЗУБРИН.

Максим Горький

1868—1928 г.

Никто не верит, что Максиму Горькому уже шестьдесят лет. Молодая его ласковость и любовь к человеку, его буйный задор остались неизменными. Стареющая рука писателя не слабеет.

Можно без преувеличения сказать, что ни один из наших великих писателей не пользовался такой популярностью, такой любовью самых низовых читательских масс, какой окружено сейчас имя Максима Горького. Нет, как хотите, но он именно первый сказал настоящее слово. Он первый позвал на борьбу с гнусным самодержавием и мещанской косностью, с извечной ленью русского человека.

Он—первый писатель пролетариата, он—буревестник.

Впрочем, о Горьком будет написано много хороших, вернее, хвалебных статей. Литературные традиции обязывают. Молодой литературе Сибири простительно некоторое нарушение канонов. Мы не собираемся рассматривать под микроскопом мельчайшие морщинки и родимые пятнышки на литературном лице Максима Горького. Мы хотим только пожать его крепкую горячую дружескую руку.

В письме к одному из сибирских писателей М. Горький пишет:

— «Знали бы Вы (имя рек), сколько на путях моих я встретил замечательно талантливых людей, которые погибли лишь потому, что в момент наивысшего напряжения их стремлений они не встретили опоры, поддержки! Вот отсюда и происходит мое отношение к «литературным младенцам», дважды родственным для меня, как люди, с направлением к лучшему и как люди, желающие итти путем, который мною уже пройден и снабдил меня известной долей опыта, которого у них нет. Многим со стороны—да нередко и мне самому—эта моя возня с «младенцами» кажется смешной, частенько я делаю ошибки, но, ведь, ничего нет легче, как ошибиться в оценке человека, весьма сложного, самого сложного существа. Однако, нередко удавалось мне и пра-

вильно отгадывать истинную цену младенца. Это меня радостно удовлетворяет, а ошибок я не боюсь. Да прежде всего я сам плачу за них...

О «Сиб. Огнях» напишу в конце марта, в апреле, пришлю Вам, конечно...

... отличная культурная работа «Огней» разожжет духовную жизнь грандиозной Сибири»...

Мы согласны с М. Горьким. Лучше перехвалить десяток писателей и поэтов. Пусть девять не оправдают наших надежд, но один из них будет подлинным творцом. Никакие похвалы не спасут бездарь, но грубый окрик, кованый сапог «упростителя» способен погубить и гения.

Литература Сибири многим обязана Горькому. Он в нужную минуту всегда протягивал руку ее отдельным представителям. Ведь он вывел «в люди» такого замечательного нашего писателя, как Всеволод Иванов. Он своими советами, указаниями, своей дельной критикой выправил, ободрил не одного начинающего трудное дело строительства художественной литературы на далекой нашей окраине.

Теперь, когда в Сибири начинают повторяться зады столичных споров о художественной литературе, именно теперь горячо-ласковый, внимательный Максим Горький заглянул к нам.

Молодая литература Сибири никогда не забудет нужных, правдивых, ободряющих слов М. Горького, сказанных ей *во-время*.

М. Горький пришел к нам со словами поддержки и товарищеской критики не в юбилей наш и не на нашу могилу. Он пришел к нам в то время, когда мы только начинаем становиться на ноги.

Мы эти строки пишем тоже не к юбилею М. Горького. В наших сердцах живет образ мужественного бойца, ласкового, внимательного друга и товарища, первого писателя пролетариата—Максима Горького.

Нет, это не́ слова на юбилейном торжестве. Нет, мы не верим, что Максиму Горькому шестьдесят лет!

А. ЮГОВ

Безумные затеи Ферапонта Ивановича

РОМАН.

Часть вторая.

1.

МОСТ.

— Ах, как хорошо все-таки, что сегодня воскресенье и оба мы не на службе!—говорила Елена, повисая на руке мужа и заставляя его тащить ее по тротуару, чтобы замедлить его шаги.

— Ах, как хорошо!—радовалась она.

Они шли по Лермонтовской мимо политехнического института к церкви. Действительно, было очень хорошо и тепло.

А еще недавно стояли багрово-туманные стужи. Люди, как нахлестанные, бежали по улицам неумелой рысцой, захватывая то нос, то уши. Даже хорошо знакомые предпочитали, по взаимному согласию, не узнавать друг друга, только бы не остановиться, не начать разговаривать. Вбегая в помещение, долго вели себя, как ошалелые, протирая очки, пенсне, сдирая сосульки с бороды и усов, топая ногами.

На улице от каждого вздоха разламывало лоб.

Теперь все переменилось. В сугробах чувствовалась какая-то дряхлость: они утратили свой неприятно-жесткий рельеф. Кресты церквей и проволока, поддерживающая кресты, унизаны были галками, кричавшими и ссорившимися из-за места. Телеграфные проволоки провисли, перегруженные мохнатым снегом, который легко обваливался от каждого мимо пролетавшего воробья и осыпал прохожих. Люди, даже мало знакомые, узнавали друг друга, останавливались, брали друг друга за пуговицы и подолгу разговаривали о пустяках.

Хотелось вобрать в себя весь воздух...

— Знаешь, не верится, что может быть так хорошо... Мне все кажется, что это из сказки,—говорила Елена, указывая на отягощенные снегом деревья.—Да и ты из сказки,—сказала она, взглянув на мужа,—в этой буденовке ты словно русский витязь... правда!.. Вот видишь,—серьезно добавила она,—даже здесь большевики больше русские, чем те, кто ввел эти безобразные фуражки!

— Ну, брось,—притворно сердито ответил он, довольный ее похвалой,—хоть здесь-то забудь свою агитацию!

Они прошли сад.

— Куда—на Атамановскую?—спросил он.

— Нет, пройдем лучше через мост—на Люблинский.

Они свернули направо и пошли к мосту через Омку.

Омский мост... мост через реку Омь... по неприглядности он вполне достоин своей реки. Извилистая и тощая, с безрадостными берегами, проблуждав сотни верст, она дорвалась до Иртыша, преодолев навоз и нечистоты «Нахаловки», разорвав надвое стиснувший ее город, и отдала, наконец, Иртышу свои мутные и нечистые воды.

Мост невысоко над водой. Летом под ним проходят небольшие шлепанцы-пароходы и проплывают полчища арбузных корок, так как чуть повыше его всегда стоят плоты с арбузами. Летом в жаркие дни прохожий охотно задерживается на мосту: свежий ветерок от воды вбегает в рукава рубашки, приятно охлаждает тело. Зимой пробегают мост с поднятым воротником: на нем вечный сквозник.

Этот мост притворяется. Если б мог он прогрохотать о всех тех, кого пронесло по нему за один только год!

Савинков, Брешко-Брешковская, Авксентьев, Колчак, Пепеляев, Каппель, Дитерихс, Войцеховский, Гайда, Павлу и Сыровой, Красильников, Дутов и Анненков, Нокс, Жанен и другие—имя им—легион,—кто из них миновал этот мост?..

Ноги всех иноземных солдат попирали его. Проходили:

Аккуратные в бою, умеющие думать только по прямой линии чехи.

В шубах с фальшивыми воротниками, подавившиеся своим собственным языком, стоеросовые англичане.

Нелепые в Сибири, в серых крылатках, тонконогие оперные итальянцы.

Голубоштанные завсегдатаи кафешантанов французы.

Сухие, закопченные, непонимающие шуток сербы.

Спесью и грубостью нафаршированные поляки.

Пристыженные белизною сибирского снега суданцы.

Вскормленные шоколадом, консервированным молоком и литературой «Христианского Союза Молодежи»—вихлястые американцы.

Легкие на ногу картонные румыны.

Маленькие похотливые японцы.

А потом, потом, омский мост, помнишь?..—помнишь, как 14 ноября, наконец, отпечатал свой след на тебе разбитый, рваный красноармейский сапог из цейхгауза Брянского полка?!.

Омский мост! подымись на дыбы—по тебе прогрохотала История!..

Неужели ты позволишь, чтобы нога домашней хозяйки, отправляющейся за мясом, чесноком и петрушкой, попирала тебя?!.

Елена и ее муж шли по мосту. Сквозило. Елена отвертывалась от ветра и закрывала лицо. Муж шел с наветренной стороны, немного опережая ее, скользя рукою в перчатке вдоль перил. Возле самого спуска к проспекту, где кончались перила, опираясь на костыли, стоял оборванный нищий с деревянной левой ногой. Его вытянутая державшая деревянную чашечку, рука, словно отвратительный шлагбаум, преграждала дорогу идущим по этой стороне.

— Погоди-ка, Елена,—пошарив в карманах, сказал муж Елены. Нищий с протянутой рукой ждал. Вдруг рука его дернулась, костыль выпал. Чашечка упала на снег и откатилась по укатанному полозьями спуску.

— Господин капитан?!—хрипло закричал нищий, бросаясь к мужу Елены, хватаясь правой рукой за перила, чтобы не упасть.

— Силантий?!.. Шептало?!.—сказал Яхонтов.

— Господин капитан!..—бормотал Силантий, припадая к рукаву Яхонтова и всхлипывая:—Господи!.. Да, господин капитан, вас ли я вижу?!.—крикнул он в каком-то исступлении, поднимая лицо свое и заглядывая в глаза.

Он был пьян.

В это время Елена подошла к мужу и взяла его под руку. Нищий взглянул на нее. Она побледнела.

— Аннета!.. Гадюка!.. —крикнул он; потом быстро нагнулся и с костылем бросился на Елену.

Яхонтов вытянутой рукой оттолкнул его. Силантий упал. Треснул костыль.

Перепуганная Елена рванула за собой мужа. Он не сопротивлялся. Они почти побежали.

— А-а! Вот, значит, как! А-ха-ха-ха!.. Гас-па-дин капитан!—кричал им нищий вдогонку. Он лежал на брюхе, приподняв голову, глядел им вслед и кричал, перемешивая хохот с площадными ругательствами.

Наконец, он начал приподниматься. Какая-то старуха, шедшая со стороны проспекта, подняла его чашечку, собрала в нее рассыпанные деньги и, проходя мимо Силантия, поставила возле него на снег.

Он посмотрел на нее, выругал и, поднявшись, заковылял в ту сторону, куда ушли Яхонтов и Елена.

Но они были уже далеко.

Они шли молча. Внезапно Яхонтов остановился и вырвал свою руку у Елены.

Она бросилась к нему, схватила за рукав.

— Пусти!—сквозь зубы сказал он и отвернулся.

— Ну, послушай же!.. Гора!.. Георгий!—говорила Елена тихо, чтобы на них не смотрели прохожие.—Пойдем, пожалуйста!.. Я тебе об'ясню все...

— Уйди!.. Пойди хоть подыми своего любовника,—указал он в сторону моста

— Георгий, перестань!—говорила она напряженным шопотом:—Что угодно там, пристрели, убей... Но только пойдем!.. Видишь, уж смотрят.

Она взяла его под руку, он не сопротивлялся больше. Она вела его, как человека, истощенного тяжелой болезнью. Прохожие оглядывались на них с состраданием.

Елена и Яхонтов жили в большом трех'этажном доме, где было общежитие комсостава. Войдя в свою комнату на втором этаже, Яхонтов бросился на кровать в шинели и в шапке. Он все еще не мог, как следует осмыслить всего, что произошло и открылось сегодня.

Елена тихо подошла к нему и бережно сняла с него буденовку.

Он не двигался.

Тогда она попробовала растегнуть крючки у ворота шинели.

Он грубо отстранил ее руку. Елена отошла от него. Она готова была уже крикнуть ему злые, оскорбительные слова, как вдруг он передернулся, быстро вскочил с кровати и начал ходить по комнате.

— Да!.. Мило, мило!..—говорил он, пытаясь иронизировать.—Ах, с каким бы удовольствием послушали об этом офицеры моего батальона: Яхонтов, Яхонтов женился... на любовнице своего денщика... Женился... на проститутке, которая...

Пронзительный крик оборвал его. Он обернулся.

Елена стояла возле туалетного столика, держа в руке бритву. Он подошел к ней и взял бритву.

— Ну, полно!—сказал он.—Расскажи все...

Он усадил ее на кровать, а сам подошел к окну и стал смотреть на улицу, постукивая пальцем по стеклу. Она молчала. Тогда он понял, что ей трудно начать и спросил:

— Почему ты скрывала, что служила в кафэ «Зон» и что тебя зовут Аннета, а не Елена.

— Меня зовут Елена.

— Но, ведь, я сам слышал, как мой денщик, т.-е., бывший денщик (для чего-то поправился он) назвал тебя Аннетой!

Она молчала.

— Потом, почему ты решила скрыть от меня, что жила с ним?..

— Ах, вот как?!.—вздрогнув, сказала Елена.—Да! Я скрыла от тебя... скрыла, только не это, а другое... Я скрыла от тебя, что в то время я работала в подпольной организации.

— Как?!. Ты—коммунистка?!.—вскричал Яхонтов.

— Да, я считаю себя коммунисткой!—сказала Елена.

Она остановилась перед ним, глядя в упор.

— Новая ложь!—брезгливо усмехаясь, сказал Яхонтов и вдруг, подойдя к ней, схватил ее за плечи,—да говори же, чорт возьми, говори!—закричал он.

Она отвела его руки.

— Если хочешь знать все, то веди себя вежливее.

Яхонтов отошел и сел в кресло.

Елена стала рассказывать.

Она рассказала ему о том, как во время подавления Куломзинского восстания расстреляли ее отца, рабочего железнодорожных мастерских, как после того она, не будучи в подпольной организации, всячески помогала большевикам: бегала с передачами, узнавала на станции, кто из арестованных сидит в вагонах, и ухитрялась видеться с ними. Потом ее стали считать своей, она работала в разведке подполья и, наконец, ее устроили в кафе «Зон», потому что там был хороший пункт: много бывало высшего офицерства.

Яхонтов слушал ее не перебивая. Но, когда она стала рассказывать ему, как ей иногда приходилось подслушивать разговоры, он перебил ее:

— Значит, это была ты—та горничная, у которой я вышиб поднос, когда я открыл дверь?

— Да, это была я.

— Так... ну, продолжай,—сказал Яхонтов.

— Это была я. И я все слышала, весь твой разговор с этим человеком... ты его называл... Федор... нет...

— Ферапонт Иванович—сказал Яхонтов.

— Да, Ферапонт, верно. Я слышала, как этот человек убеждал тебя, что Омск можно отстоять и что у него такой секрет есть. Я думала тут, что он сейчас скажет все, но услышала только, что он тебе передает какую-то тетрадку; потом ты ему сказал свой адрес, а он свой и вышли. Я тогда страшно перепугалась, когда уронила поднос. Особенно боялась, что хозяйка выбежит. А потом, когда вы ушли, я сказала ей, что это вы виноваты и отдала те деньги, которые ты бросил мне.

— Да, в тот момент вы, товарищ Аннета, очень недалеки были от веревки: Капустин заподозрил тебя, но мне не пришло это в голову,—с насмешкой сказал Яхонтов, подчеркивая слово Аннета.

— Перестань!—сказала Елена строго.—Меня и тогда, как и теперь, звали Еленой, и ты, кажется, достаточно умен для того, чтобы понять, почему в кафэ я называлась иначе. Если ты не перестанешь, я не буду рассказывать.

— О, нет, нет, что вы! Меня еще очень интересует, как вы встретились с вашим первым обладателем,—закрывая глаза, сказал Яхонтов.

Елена первое время не нашлась даже, что сказать.

— Ах, вот как?—протянула она.—Ну, хорошо... А я-то иногда и в самом деле начинала верить тебе, что у вас там в гвардии офицер, оскорбивший женщину, получал репутацию мерзавца...

Яхонтов слегка вздрогнул и молча, и пристально посмотрел на Елену. потом вдруг встал и, подойдя к ней, сдержанно поцеловал ее руку.

— Не сердись, Елена!—сказал он серьезно.—Ты знаешь, как тяжело мне все это слышать!.. Но в этом я тебе верю,—сказал он.—Ты рассказывай. пожалуйста, я прилягу: плохо себя чувствую.—Он снял френч, повесил его на спинку стула и, отстегнув подтяжки, лег на постель и вытянулся.

Елена пересела к нему на кровать. Яхонтов взял папиросу и закурил. Елена заметила, как тряслись его пальцы, когда он подносил к папиросе спичку.

— Значит, Силантий предал меня?—спросил, оживляясь, Яхонтов, когда Елена, выбрасывая подробности, рассказала ему, как она познакомилась с его денщиком, как ходила к нему и как, наконец, во время чистки нагана вложила в наган Яхонтова пустые гильзы.

— Нет, твой Силантий ничего не знал. Я сделала это, когда он отошел к умывальнику.

— Так.. Ну, как же ты все время говорила мне, что ты меня спасла, в то время, как ты сделала то, что меня чуть не убили?!

— Да, тебя чуть не убили, и это я подвела тебя под выстрелы... Я не рассчитывала, что ты пойдешь за мной, но знала, что ты должен выйти, поэтому следила за квартирой и должна была, идя впереди тебя, показать своим товарищам, что это именно тот, кого нужно.

— Скажи, если бы я отдал тетрадку...

— Тебя бы оставили в покое... Теперь слушай дальше, как вышло, что я спасла тебя. Когда ты упал, они убежали. Я должна была скрыться отдельно. потому что мне все-таки в то время далеко не все доверяли, и я, например, не знала всех конспиративных квартир и тех, в частности, куда скрылись мои товарищи, поэтому я подождала немного, пока они не исчезли. И в это время ты застонал, начал приподниматься и опять упал...

Елена рассказывала, волнуясь, как-будто снова видя перед собой, все, о чем рассказывала.

— Нет!—вскричала она.—Мне никогда не передать тебе, что я пережила тогда возле тебя.. Ведь меня каждый миг могли схватить,—нужно было бежать, а я не могла... Если бы ты не застонал!.. Но, когда я увидела, что ты не добит, мне стало ясно, что если я брошу тебя, то ты погибнешь: или от потери крови, или просто замерзнешь, потому что район возле рощи самый безлюдный, да и тогда уж люди вовсе неохотно выходили на улицу... Ну знаешь, мне никогда не передать того, что я тогда пережила!.. Наконец, я подошла к тебе, и с моей помощью ты поднялся!.. Потом этот извозчик! Мне, ведь, пришлось отпустить его за квартал от моей квартиры... А после—эта вечная напряженная ложь! Мне, ведь, пришлось сказать потом, что ты—муж моей сестры, о котором я узнала случайно и взяла из госпиталя, потому что госпиталь эвакуировался... Ты вот сейчас иронизировал, но я твердо могу сказать, что я дважды спасла тебя: в первый раз, когда подобрала тебя, а во второй, помнишь, когда ты еще не мог ходить, как следует, а собрался отступать с какой-то юнкерской школой?.. И, думаю,—сказала она тихо,—что спасу тебя в третий раз, если ты поймешь, наконец, что безумно бороться с совет-

ской властью и гибельно для... России... что надо честно и самоотверженно работать.

— Слушай, оставь!—сказал Яхонтов утомленно.—Я прошу тебя: оставь, наконец!—крикнул он, страдальчески сморщившись.—И знай, пожалуйста, раз навсегда, что с предателями родины Яхонтову не по пути!.. Слишком страшная бездна, а у меня, знаешь ли, нехватает прыткости.

— Нет бездны, через которую нельзя было бы перебросить мост!—сказала Елена серьезно.—Вот что,—сказала она, кладя свою руку на его,—у меня к тебе большая, большая просьба.

— Ну?..

— Я хочу... Можешь ты дать мне слово, что выслушаешь все, что я скажу тебе, совершенно спокойно и потом обдумаешь честно и непредубежденно,—способен ты на это?

— Странно! Ты меня обижаешь,—сказал Яхонтов.

— Ну, хорошо, скажи для начала, почему ты считаешь, что большевики—«предатели родины»?

— Гм... странный вопрос!—Брест?!—сказал Яхонтов.

— Ну, вот, я так и знала,—улыбнулась Елена.—А скажи, пожалуйста, много получила Германия русской территории по этому договору?

— Но, ведь, получила бы, если б не германская революция!

— Ах, если бы не «бы»?! И неужели ты думаешь, что большевики, которые с самого начала поставили все на всемирную революцию, неужели ты думаешь, они не рассчитывали на это?!.

— Ну, знаешь ли, этак задним числом можно оправдать все, что угодно... Да, наконец, допустим даже, что они предвидели, что будет революция в Германии, но вообще-то вся политика их направлена к уничтожению России...

— Так-так. А не смущают тебя некоторые обстоятельства, когда ты начинаешь рассуждать таким образом?

— Какие, например?

— Да возьмем хоть самые близкие: почему это, например, японцы безобразничали на Дальнем Востоке при белых и сразу же смазали пятки, как только пришла туда Красная армия? Дальше—найдутся ли у тебя честные, я подчеркиваю, честные возражения, если я скажу, что и Колчак, и Деникин, и Миллер, и Юденич—все они валялись в ногах у иностранных «высоких комиссаров»? Неужели тебя, русского патриота, не возмущало то, что Жанен и Нокс помыкали твоим «верховным»?!. Нет, ты погоди возражать, потому что ты дал мне слово возражать честно!

Яхонтов смолчал.

Казалось, Елена разгорячалась все больше и больше. Яхонтов слушал, закрыв глаза. Он был бледен и забыл даже о папиросе, которая потухла в его руке.

Елена, наоборот, курила папиросу за папиросой, глядя в его лицо прищуренными глазами. Если бы знал он, если бы знал этот гордый человек, что сейчас она чувствовала себя, как спокойный и опытный стрелок в тире!.. Елена гордилась сейчас действием слов своих на Яхонтова и в то же время с презрением и нежностью думала о том, какой он ребенок в политике и как легко поддается гипнозу насыщенных эмоциональностью фраз.

«Политические дикари»!—думала она о нем, и о подобных ему, еле сдерживая улыбку.

Когда она кончила, развернув перед ним, неотразимую для его сознания идею, что советская власть приняла на себя все веяния старой России во внешней политике, а в том числе и вековечную злобу Великобритании,—он вскочил, весь трепещущий и обновленный.

— Итак, значит, это—псевдоним?!

— Как?!—не поняла Елена.

— Как?.. очень просто: знаешь, когда человеку неудобно почему-либо подписываться своей фамилией, и он выбирает псевдоним?..

— Знаю, конечно, но при чем тут?..

— Но, ведь, ты только что сказала сейчас, что РСФСР—это то же самое, что Россия, и, понимаешь, это мне очень нравится. Для меня это целое открытие. Я никогда не думал так.

— Ну...—неопределенно сказала Елена.

Яхонтов подошел к ней. Глаза его горели огнем неофита. Он быстро нагнулся к ней, схватил и, высоко подняв на воздух, закружил по комнате. Потом поставил ее и, отступая на шаг, воскликнул голосом, в котором слышался зарождающийся фанатизм новообращенного:

— Елена!.. Отныне да здравствует Россия под псевдонимом!!!

2.

Шелуха жизни.

«Об эвакуации Омска можно сказать словами одного умного человека, что это больше, чем преступление, это глупость! Омск—все, вне Омска нет спасения!.. Сзади, в тайге, смерть, впереди—победа!»—так завывали ежедневно передовицы омских газет и все-таки все тянулись в тайгу.

«К оружию, господа! Положение не безнадежно. Наша армия не утратила способность сопротивляться. Она только ждет помощи из тыла, чтобы, собравшись со свежими силами, дать новый толчок красному шарику, после которого он покатится обратно!..»—напрасно: красный жернов катился к берегам Иртыша, и все делали самое благоразумное—во-время убирали ноги.

Все заметались в поисках за Мининым и Пожарским. Мобилизовались и в первый раз за всю историю народов об'единились Крест и Полумесяц.

В субботу 1 ноября кандидаты в Мининны и Пожарские сошлись в здании городской думы на особое совещание при начальнике добровольных формирований—генерале Голицине. Пришли представители общественных организаций, кооперации, земств, городского самоуправления, торговли и промышленности. Присутствовали—премьер Вологодский и члены совета министров.

Приехал адмирал.

Собрание открылось горячей приветственной речью по адресу адмирала. Мининны нашлись. Правда, жен и детей не закладывали, потому что все они были погружены в теплушки, но остальное достояние свое повергали к стопам правительства. «Земсоюз» мощным жестом бросил свою мошну к ногам адмирала. «Отвернуться от Иркутска и обратить все взоры к Москве»,—призывал горячий представитель кооперации.

Верховный ответил на речи: обрисовал положение фронта и сказал, что непосредственной опасности Омску не угрожает. В заключение он призвал к напряжению всех сил и заявил, что пока воздержится от поголовной мобилизации, так как верит, что мощные кадры добровольцев хлынут в армию.

Всего только четыре дня оставалось до годовщины об'явления адмирала верховным правителем, когда Брянский полк, сделав стоверстный переход, 14 ноября 1919 года ворвался в город.

Это было полной неожиданностью для всех и больше всего для Ферапонта Ивановича.

С тех пор, как Ферапонт Иванович поделился своим гениальным замыслом с капитаном Яхонтовым, прошло около полуторых месяцев. Два или три

раза ученый приходил на квартиру к офицеру, и каждый раз его встречал Силантий и так же, как всем другим посетителям, об'являл, что у господина капитана болят глаза, а потому он сидит у себя в кабинете и никого не принимает.

Капустин, слыша такое заявление, не только не пытался нарушить запрет и проникнуть к затворнику, но, наоборот, изображал каждый раз полнейшее удовлетворение и даже радость. С хитрым видом он подмигивал денщику и, ни слова не говоря, удалялся на цыпочках, со всевозможными предосторожностями, как-будто там, в комнате, находился тяжело больной.

Зайдя в последний раз к капитану, он был сначала поражен, а потом обрадован, когда Шептало сказал ему, что господина капитана нет—вышел в город.

— Как? уже вышел?!.—вскричал Капустин и вдруг ни с того, ни с сего вытащил из кармана рублевку и подал ее Силантию.

— Ну, слава богу, Силантий!.. Ура надо кричать!—сказал он, волнуясь и суетясь, и хотел было еще что-то сказать, но в это время, не обращая внимания на то, что они были вдвоем в пустой кухне, Силантий так рявкнул «ура», что рука Ферапонта Ивановича, лежавшая на ручке двери, дрогнула, толкнула дверь, и он чуть не упал через порог.

— Ну, ладно, ладно, Силантий, молодец!—сказал Ферапонт Иванович и, поправив шапку, выбежал на улицу.

Он шел сам не свой. «Теперь уж начнется, теперь уж начнется!»...—повторял он вслух и с большим трудом сдерживался, чтобы не крикнуть всем этим, пробегавшим мимо явным «эвакуантам»: «Да бросьте вы все эти помыслы!.. погодите!.. трусы!.. чего вы боитесь?!».

С этого дня жизнь Ферапонта Ивановича ускорилась. У него было такое впечатление, что он все время дышал кислородом. Никогда никакой юноша не ждал с таким нетерпением своего первого свидания, а начинающий писатель—своего первого гонорара, с каким Ферапонт Иванович ежеутренно встречал газету.

Но каждый номер «Русской Армии» приносил ему разочарование. Не было никаких признаков того, что «ночные дивизии» начали свои действия на фронте. Еще, когда появлялись сообщения о боях на Ишиме, где дралась Ижевская дивизия, то не все надежды были утрачены. Одно время, когда из донесений было видно, что 30 и 31 октября белые, получив подкрепление, перешли в контратаку, стремясь удержать Петропавловск, Капустина охватило смутное предчувствие, что эти подкрепления именно они, ночные дивизии.

Но уже в первых числах ноября фронт далеко откатился от Ишима. И вот, в это время одно ужасное подозрение потрясло душу Ферапонта Ивановича. Дело в том, что с необыкновенной тщательностью прочитывая каждый день оперативную сводку и делая сопоставления, он обратил внимание на то, что уже несколько раз упоминалось о *ночных* атаках красных. Отсюда его больное воображение стало разматывать длинную ленту причин и следствий.

«Да, это так»!—наконец, решил он и, предчувствуя, что подозрения его сейчас только подтвердятся, оделся и, буркнув что-то невнятное супруге своей, Ксаверии Карловне, выбежал на улицу.

Он шел к капитану Яхонтову.

Его встретил полупьяный и сильно опустившийся Силантий. Он рассказал Ферапонту Ивановичу, что капитана уж вторую неделю нет, что он заявлял по начальству об этом, но там думают, что господин капитан скорее всего решился сдаться в плен, а потому и скрывается где-нибудь в городе. Но он-де, Силантий, чувствует, что нет в живых господина капитана. При этом Шептало заревел.

— И не иначе, что тут эта самая девка замешана,—вытирая слезы, говорил он.

— Какая девка?—спросил Ферапонт Иванович.

И Шептало рассказал ему про знакомство с Аннетой и про то, как он давал ей «вкласть пульки» в наган Яхонтова, а потом, когда капитан исчез и Аннета перестала ходить, заподозрил, что тут неладно, и, действительно, увидел, что стреляных гильз в мешочке не оказалось...

— Что же, выходит, что я, дурноголовый, через эту гадюку своего господина капитана погубил?!.—кричал он.

Ферапонт Иванович старался успокоить его:

— Да брось ты, Силантий! Могло и так выйти, что капитан твой давным-давно на фронте.

— Дак дай ты бог! Коли бы так, я уж ему все вещицы-то его до единой бы сберег. Я уж все подобрал; только наш батальон станет уходить, так и я с ним.

— А батальон где?—спросил Ферапонт Иванович.

— Дак здесь, только в самом-то я не был, а писарь мне сказал, что и на фронт-то их не погонят: на глаза будто поветрие какое-то напало, в роде, как у господина капитана. Так что у всех у солдат-то от свету глаза слиплись.

— А!..—только и мог сказать Капустин.

— Ну, ладно, Силантий, прощай. В случае чего, так адрес мой знаешь.

— Досвиданьиса, Ферапонт Иванович... Душа человек!

Капустин ушел.

Теперь для Ферапонта Ивановича окончательно ясно стало, что Яхонтов оказался предателем, погубил дело в самом начале и, что красные, несомненно, в последних ночных боях воспользовались, хотя бы частично, его гениальным открытием...

У Капустина пропал всякий вкус к жизни и как-то само собой вышло так, что всю дорогу он медленно и с некоторой скукой даже перебирал все виды самоубийства, оценивая их, как врач, по степени приятности.

По всем данным выходило, что приятнее всего повеситься: судя по всем случаям, когда самоубийцу находили повесившимся, например, на спинке кровати и сидящим на полу, можно было заключить, что потеря сознания при таком способе выхода в тираж происходит столь быстро, что самоубийца, имевший, казалось бы, полную возможность встать с пола и снять с себя петлю, не мог, однако, этого сделать. Теория, об'ясняющая быструю потерю сознания и быструю смерть при повешении тем, что зубовидный отросток второго шейного позвонка вдавливается в мозг на месте перехода спинного в продолговатый, тоже как-будто подтверждает такой выбор. Наконец, Ферапонт Иванович по некоторым предсмертным явлениям, бывающим при повешении, имел основание предполагать, что при этом способе самоубийства человек испытывает даже некоторое сладострастное ощущение.

Словом, выбор был сделан: веревка.

И Ферапонт Иванович решил, что нет никаких оснований откладывать дела в долгий ящик.

Когда он пришел домой, было около десяти часов ночи. Ксаверия Карловна, видимо, спала, по крайней мере, глаза ее были закрыты. Однако, по неестественно плотно сжатым тонким губам своей супруги Ферапонт Иванович определил, что ему не приходится ждать ничего хорошего. Он устал страшно. А это ожидание неминуемой сцены с супругой приводило его в состояние, когда хочется зарыться куда-нибудь, чтобы никто не трогал. Он не находил в себе сил выдержать неизбежное столкновение.

Все было к одному.

Он знал, что веревка лежит под кроватью, но теперь не могло быть и речи о том, чтобы достать ее, так как на кровати лежала Ксаверия Карловна. Он вспомнил, что на нем были подтяжки.

На столе стоял стакан молока, приготовленный для него Ксаверией Карловной, и на тарелке два ломтика хлеба.

«Если я пойду сейчас в чулан, она подумает, что я пошел за хлебом»,— решил Ферапонт Иванович и, нарочно взяв тарелку, и косясь на неподвижно лежавшую Ксаверию Карловну, вышел в сени. Он знал хорошо, что где стоит в чулане, потому что со времени, когда он остался без службы, Ксаверия Карловна заставляла его помогать по хозяйству.

В темноте он нащупал вбитый в стену большой гвоздь и, сняв висевший на нем окорок, принялся привязывать к гвоздю подтяжки. Потом он сделал петлю и, ступив одной ногой на крышку какой-то кадушки, а другой на нижнюю полку, он взял обеими руками петлю, чтобы всунуть в нее голову, и вдруг с грохотом и треском повалился... Он почувствовал, что левая нога его погрузилась в мокрое и холодное.

— В капусту!.. В кадку с кислой капустой!..—быстро осознал он, и его бросило в холодный пот.

Секунду, не вытаскивая ноги из кадочки, он прислушивался.—«Да, идет!»—на кухне слышался шум.

Он вытащил ногу и убедился вдруг с ужасом, что ботинок его остался в кадушке... «Пропал!» подумал он, и сердце его отчаянно заколотилось.

Ксаверия Карловна, с лампой в левой руке, входила в чулан...

Первое, что ей бросилось в глаза, это подтяжки с завязанной на конце петлей, которые держал бледный Ферапонт Иванович.

Резким движением, сразу поняв все, она выхватила подтяжки у него из рук, сопровождая движение свое вопрошающе-гневным взглядом.

И вдруг в это самое время взгляд ее упал на левую ногу Ферапонта Ивановича.

Вся левая штанина его вымокла и плотно облегла его худую ляжку. Мокрые волокна капусты облепляли тут и там брюки.

Открытая кадушка, крышка, валявшаяся на полу и левая нога Ферапонта Ивановича в одном мокром носке не оставляли сомнения в происшедшем.

Ксаверия Карловна взвизгнула и чуть не выронила лампы. Она бросила подтяжки, поставила лампу на полку и кинулась к кадушке.

— Господи?! Что это, что это?!. Да безобразник, безобразник ты! – кричала она в неистовстве, потрясая за шнурок вытащенным из капусты штиблетом, с которого лился рассол. Да знаешь ли ты, что теперь ты мне целую кадушку испортил, а?!

Ксаверия Карловна с омерзением бросила мокрый ботинок в угол.

— Ты сам сумасшедший! Какой ты психиатр, когда ты сам сумасшедший!.. Ты знаешь, что капусты этой нам бы на год хватило?!. А стоит сколько?!. Ты за последние полгода хоть копейку принес в дом? Ты, ведь, не думал!.. Психиатрия у тебя в голове, а что толку-то?!. Психиатрия! Подумаешь, ведь он—психиатр!—говорила она язвительно.—А кому ты нужен, когда теперь все поголовно сумасшедшие?!.

Ферапонт Иванович молчал. Он с удивлением думал, что Ксаверия Карловна точь-в-точь повторяет слова князя Куракина, когда он, Ферапонт Иванович, пришел просить, чтобы князь устроил его где-нибудь в Красном Кресте:

— Да, ведь, вот, доктор, все несчастье-то в том, что вы—психиатр. Нам, ведь, теперь либо совсем психиатры не нужны, либо их целый корпус нужен,—

сказал Куракин, показывая в окно кабинета, откуда видна была улица, запруженная обозами отступающих войск...

— Психиатр!—не унималась Ксаверия Карловна.—Знаю, почему ты психиатрию избрал: чтобы перед бабами интересничать! Как же,—они это любят: «ах, знаете ли, он—психиатр!»—передразнила она кого-то, закатывая глаза.—Был бы гинеколог или хирург, так не приглашали бы на спиритические сеансы об'яснять «с научной точки зрения»! Знаю я эти сеансы: сидите там в темноте, бог его знает что...

Ферапонт Иванович молчал: в этих словах ревнивой женщины было много правды. За последнее время все те, кому не удалось попасть в теплушки, предались неистовому спиритизму. Общение с умершими приняло какой-то повальный характер. Развелось бесчисленное количество бесчисленных кружков, начиная от мелких и несерьезных, где дело не шло дальше вращения блюдечка, и кончая высшими и замкнутыми кружками, которые имели своих постоянных медиумов.

Особенно выделялся кружок Нелли Быховской, недавно овдовевшей беженки из Самары. В этом кружке существовало какое-то прямо-таки болезненное стремление к тому, чтобы все, что происходило на этих сеансах—все феномены «анимические» и «спиритические» были санкционированы наукой, об'яснены в свете новейших данных физики и психологии.

В этот кружок особенно часто приглашали Ферапонта Ивановича, и он шел туда очень охотно, считая, что об'ективный исследователь не должен проявлять консерватизма, и не боясь, что эти участия в сеансах могут бросить тень на его ученую репутацию после того, как область таинственных явлений человеческой психики сделали предметом своего изучения такие ученые, как Крукс, Лодж, Скиапарелли, Фламмарион, Менделеев, Бутлеров, Шарль, Рише, Джемс, Бехтерев и другие.

Правда, Ксаверия Карловна находила другие причины посещения Ферапонтом Ивановичем кружка Нелли Быховской, насчет чего и намекала сейчас своему супругу.

Она, кажется, еще собиралась продолжать свои излияния по поводу испорченной капусты и спиритических сеансов, но в это время Ферапонт Иванович не вытерпел:

— Ксавочка, я, ведь, простужусь!—сказал он, показывая глазами на свою необутую и мокрую ногу, от которой шел пар.

— Простудишься!.. Этого еще нехватало!—сказала Ксаверия Карловна, но уж значительно мягче.—Ладно, иди уж, иди, —добавила она совсем мягко, выпроваживая мужа из чулана и принимаясь наводить порядок, нарушенный неудачной попыткой к самоубийству.

Через полчаса злополучные брюки, носок и ботинок Ферапонта Ивановича сохли у плиты, а сам он лежал, укрытый двумя одеялами и пил горячий малиновый отвар.

Ночь прошла хорошо.

На утро, часов в семь, Ксаверия Карловна растолкала мужа:

— Ферри, вставай, нужно в молочную сбегать.

Ферапонт Иванович, жмурясь и потягиваясь до хруста в суставах, начал вставать.

— Выпей—там стакан молока стоит под крышкой,—сонным голосом сказала Ксаверия Карловна, поворачиваясь лицом к стене.

Ферапонт Иванович наскоро поел и побежал за молоком. Попутно он решил купить газету. «В последний раз»,—решил он при этом.

На улице было пусто. Это об'яснялось вовсе не тем, что было слишком рано (было уж около 8 часов), а тем, что служилый народ уже дня два, как отсиживался дома и не выходил в учреждения.

Вот что писал по этому поводу «Сибирский Казак»:

«...Нашим корреспондентам за последнее время не удалось получить нигде ни одной заметки.

Все бездействует. Все опустили руки.

Управляющий областью должен сам писать бумажку: служащие не изволили явиться на службу.

Служащие совета министров облеклись на случай эвакуации в теплые пимы и бродят по своим аппартаментам, как обитатели страны теней.

И так везде.

Опомнитесь, господа!

Да, опасность, которая нависла над Омском с запада, серьезна, но, в десять раз серьезнее для всего дела возрождения России та опасность, которую вы носите в себе. И имя этой опасности—безволие и апатия, словом, психология лягушки, добровольно прыгающей в пасть неподвижно лежащего ужа».

Никто, буквально никто не предвидел, что удав, которого они для поднятия духа называли ужом, уже охватил город...

Ферапонт Иванович в молочной пробежал газету, засунул ее в карман и, погруженный в безотрадные думы о полном развале армии, медленно пошел домой по Атамановской улице, слегка покачивая крынку с молоком, подвязанную веревочкой.

Когда он переходил улицу, его чуть не затоптали.

— Эй-эй!—услышал он дикий окрик над собой, и тут же горячее дыхание и храп коня обдали его, а он инстинктивно отпрыгнул.

Дивный вороной жеребец, с высоко задранной головой, нагло и развязно выбрасывая передние копыта и время от времени ударяя в передок задними, весь в облаке снежной пыли, промчал мимо него легкие высокие санки.

В них сидел высокий, старый военный, в папахе и в прекрасной шинели голубоватого, «офицерского» сукна.

Капустин посмотрел ему вслед.

Вдруг санки круто остановились. Капустин увидел, как военный начальническим мановением пальца подзывал кого-то с тротуара.

Группа солдат не по форме пестро одетых, с небрежно закинутыми за плечи винтовками, в недоумении или смущении переглядывалась между собой.

Наконец, один из них что-то сказал своим товарищам, и все стали переходить улицу.

Когда они были совсем близко, военный поправил кожаную перчатку на правой руке и сделал движение, как бы желая вылезть из санок.

Кучер быстро отстегнул полость.

Военный спустил левую ногу на снег и ждал.

Ферапонт Иванович, подойдя поближе, разглядел, что это был генерал.

Солдаты подошли близко и остановились переглядываясь.

— Вы что ж это, братцы,—вкрадчиво и протяжно начал генерал прищурившись,—праздник, видно, решили устроить, без погончиков решили прогуляться или, может, погоны на заплатки пошли, а?!.

Генерал откинул полость и еще раз натянув потуже перчатку, стал было вылезать, но вдруг отшатнулся.

Передний из солдат вплотную надвинулся на него и, нагло улыбаясь, спросил:

— Да ты, земляк, из какой губернии, а?.. А ну, ребята, видали вы его такого чудака?—обратился он к остальным, подмигивая, и вдруг рванул гене-

рала за воротник так, что отлетели верхние пуговицы, и вытащил его из саней.

Генерал понял. Он молча стоял перед солдатами.

— Гляди-ка, ребята, да он изнутри-то совсем наш!—сказал все тот же солдат, распахивая на нем шинель и указывая на красную подкладку. Потом он быстро нагнулся и отхватил огромный кусок генеральской подкладки.

Ферапонт Иванович выронил кринку с молоком.

Все тот же солдат нацепил кусок красной подкладки на штык и подтолкнул генерала:

— Пойдемте, ваше превосходительство!

И со смехом и шутками они повели генерала.

Однако, скоро удовольствие их было испорчено: какой-то военный—«красный командир, должно быть»,—подумал Капустин,—встретил их на перекрестке, что-то сказал, и они быстро, сняв тряпку, повели свою добычу попросту.

Когда Ферапонт Иванович явился домой, Ксаверию Карловну удивило отсутствие кринки с молоком и растерянный, прямо-таки ошалелый вид его.

— Что с тобой? Молоко где?—спросила она.

— Разбил...—больше прочла по движению губ его, чем услышала Ксаверия Карловна, и ей сразу сделалось ясно, отчего у него такой вид.

И тогда началось. И было во много-много раз хуже, чем в чулане.

Она припомнила ему все: и капусту, и все разбитые им когда-либо стаканы, и стоптанные безвременно сапоги, и спиритические сеансы. Итог получился потрясающий: им грозило полное разорение, благодаря поведению Ферапонта Ивановича.

Кончилось все это истерикой, и Ферапонту Ивановичу пришлось довольно долго отваживаться.

Очнувшись, Ксаверия Карловна заявила ему, что не может лицезреть его, а потому уйдет к соседям и пробудет там долго. Однако, вернулась она перед вечером и в таком потрясенном виде, что Ферапонт Иванович испугался, так как такое случалось очень редко.

— Ферри! *Они* пришли!..—крикнула она еще с порога.

— А я их еще утром видел,—спокойно сказал Ферапонт Иванович.

— Как?!. Почему же ты не сказал?!.—вскричала Ксаверия Карловна, готовая снова разгневаться.

Ферапонт Иванович молча развел руками и печально улыбнулся, и улыбка эта ясно говорила: чего, мол, ты спрашиваешь, если сама знаешь, почему!..

И, действительно, Ксаверия Карловна поняла, потому что вдруг сильно покраснела и замолчала.

Эта ночь, а также и много последующих дней и ночей протекли так тихо и хорошо, что могли создать иллюзию медового месяца Капустиных.

Однако, тучи сгущались. Мрачное предсказание Ксаверии Карловны оправдалось вполне: все было прожито, и им урожала нищета.

Преодолев свое отвращение и ненависть к большевикам, Ферапонт Иванович, побуждаемый к тому супругою, отважился, наконец, зарегистрироваться на бирже труда.

Зарегистрировавшись, он почти ежедневно ходил справляться, нет ли требований.

— Профессия?—коротко спрашивал его корявый человек за перегородкой, берясь за какие-то бумаги, и сразу же, как только Капустин говорил—«психиатр»,—он решительно откладывал бумаги и говорил «нет» с таким выражением, словно он хотел сказать: «и каких, каких только дармоедов не бывает на свете!».

Зап-Сибирская краевая

Наконец, фигура Ферапонта Ивановича примелькалась ему, ему, видно, сдалалось жалко его, и однажды, когда Капустин подошел к решетке и сказал свою профессию, парень сдвинул кожаный картуз на затылок, поцарапал карандашом голову и сказал с сочувствием, которое умерялось, однако, официальным тоном:

— В театральную секцию сходите, товарищ!

После этого совета Ферапонт Иванович перестал предлагать свой труд.

Так прошло около двух недель, и вдруг одна из знакомых посоветовала через Ксаверию Карловну, чтобы Ферапонт Иванович сходил в губнаробраз насчет места учителя. Ксаверия Карловна на утро погнала мужа в губнаробраз, и все удивительно просто устроилось.

Когда в губнаробразе узнали, что Ферапонт Иванович психиатр, а согласен на какое угодно место, то удивились и обрадовались.

Ферапонту Ивановичу предложили место заведывающего колонией умственно-отсталых детей, при чем было предложено выехать немедленно и выданы были под'емные.

Решено было выехать через три дня, и Ксаверия Карловна приступила к ликвидации того, что не предполагала взять с собой.

Наступил вечер накануне от'езда.

Капустины сидели в кухне за чаем. Все было уже увязано, упаковано, стены оголились.

Пили чай молча.

Вдруг Ксаверия Карловна, долившая чайник, закрыла кран и, выпрямившись, прислушалась: возле окон кухни, выходивших на двор, послышались странные звуки,—как-будто кто-то редко ступал и в то же время ввинчивал в снег палку или каблук.

Те же звуки послышались близко и, наконец, прекратились на крыльце.

В дверь постучали.

Ксаверия Карловна встала и, подойдя к порогу и распахнув дверь, чтобы светлее было в сенках, спросила, придерживаясь за крючок:

— Кто там?

— К Ферапонту Ивановичу,—послышался глухой хриплый голос.

Ксаверия Карловна сняла крючок.

Постукивая деревяшкой и костылями, не останавливаясь в сенях, приняв, должно быть, Ксаверию Карловну за прислугу, в кухню вошел человек в рваной шинéли.

— Силантий?!.—вскричал Ферапонт Иванович, выглянув из-за самовара. Он вскричал это радостно, но тут же замолчал, не зная, как встречать, как разговаривать дальше с Силантием, потому что неизвестно было, как отнесется Ксаверия Карловна к приходу такого гостя.

Силантий снял шапку, поздоровался и остановился у порога.

Ферапонт Иванович вылез из-за стола и, поздоровавшись с Силантием, стал об'яснять Ксаверии Карловне, кто это такой.

Вопреки его ожиданиям, она отнеслась к гостю очень хорошо, поздоровалась за руку и пригласила за стол.

Силантий, смущаясь и отказываясь, стал раздеваться. Он помялся еще немного, не зная, куда деть свои костыли, затем, когда Ксаверия Карловна подала ему стул, сел и прислонил их к лавке.

Хозяйка налила чай.

Силантий смотрел на стакан, ожидая, пока он остынет, и молчал.

— Силантий, как же вы это—тово?..—начал неловко Ферапонт Иванович, кивнув головой на костыли, и не докончил.

Силантий, отпивший в это время глоток чаю, поперхнулся, закашлялся, собираясь ответить, и вдруг махнул грязной загрубевшей рукой, и слезы покатились у него по лицу.

Ферапонт Иванович нисколько не удивился этому, потому что, когда здоровался с ним, то почувствовал запах винного перегара.

Зато Ксаверия Карловна глядела на гостя с видимым состраданием, и слезы готовы были выступить на ее глазах.

— Эх, Ферапонт Иванович!—сказал, покачав головой, Силантий.—Да разве мне-то трудно, что я ноги лишился!.. Сколь из нас и жись свою отдали!.. Нет, а то мне горько, что все—за его собственные вещи, а он, пакостник, мерзавец он оказался! сквозь слезы закричал он, ожесточаясь и стуча кулаком по столу.

— Кто? спросил, бледнея, Ферапонт Иванович, зная, кого назовет Силантий.

— А кто для меня дороже отца-матери был?!. На кого я богу молился?!. Кто, Ферапонт Иванович, что не капитан Яхонтов?!.

— А где он?—тихо спросил Ферапонт Иванович.

— Где?!. —презрительно засмеялся Силантий.—А где ему быть?!. Это наш брат, скотинка, калечится да пропадает, а до него и теперь не скоро достанешь! Красный командир, язви его!.. Христопродавец! У!..

Он еще, видимо, хотел прибавить что-нибудь потяжеловеснее, но присутствие Ксаверии Карловны удержало его.

Мало-по-малу Ферапонт Иванович выспросил у него все и узнал, что Силантий отступал с батальоном—где пешком, где на подводах, в надежде, что встретит где-нибудь за Омском своего капитана и доставит ему вещи в целости и сохранности. Так добрался он до Калачинска с имуществом капитана, а там отморозил ногу, и его, когда он попал в плен, отправили в Омск в госпиталь и отрезали ногу.

С гневом и болью рассказал Ферапонту Ивановичу Силантий, как встретил он Яхонтова на мосту и, как Яхонтов толкнул его в грудь, когда он бросился с костылем на Аннету.

Капустин долго молчал, когда Силантий кончил рассказывать. Душа его содрагалась от мерзости и подлости человека, которого он считал кровно благородным и мужественным. Теперь для Ферапонта Ивановича ясно было, что Яхонтов перешел на сторону красных и отдал им тетрадь о ночных дивизиях.

Силантий засобирался.

— Благодарю за угощение,—сказал он, опрокидывая чашку на блюдечко и кладя на донышко огрызок сахара.

Он потянулся за костылями.

— Погодите минуточку! —вдруг остановила его Ксаверия Карловна и, выйдя из-за стола, позвала мужа в комнату.

Они совещались там долго.

Наконец, из комнаты вышел Ферапонт Иванович и, не имея сил скрыть свою радость и гордость женином добротой, об'явил Силантию улыбаясь:

— Знаешь, жена хочет, чтобы ты с нами поехал, а пока оставайся ночевать.

— Дак как же?!. Что это будет... куды вы меня денете? —растерянно, не веря своим ушам, забормотал Силантий.

— Ну, это ерунда!.. Устроимся... Ну, там помогать, что будешь... потом, может быть, сторожем или что... сказал Капустин.

— Господи! да ведь как же это?!. Да ведь кто я теперь?!. Куды я гожусь?!. Шелуха жизни!—сказал Силантий, махнув рукой, и заплакал.

— Да брось, Силантий, что там говорить!—сказал Ферапонт Иванович, похлопав его по плечу.—Все мы, брат, теперь—шелуха жизни! Теперь вот такие, как твой капитан, те далеко пойдут!—сказал Ферапонт Иванович, представляя с горечью всю силу и энергию, и ум человека, погубившего его планы.—Да... он и у них далеко пойдет!..

— Ну, это ведь кто его знат!—сказал Силантий, подымая голову, и в голосе его Капустину почудилась угроза...

3.

Идиоты, имбецилики, дебилики.

За городом мороз был особенно силен. Казалось, что полозья раздирают снег, и временами трудно становилось переносить этот звук. Ехали все время шагом. На первых «салагах», где сидел ямщик, сложено было все имущество Капустиных, уцелевшее от мены и продажи: здесь, в об'ятиях бархатного развалистого кресла стыдливо лежало стиральное корыто, показывая всем свою грязную спину; пимы—совершенные инвалиды по внешности—прятались от ветра в квашне, укрытые сверху полосатой периной, на которой привольно раскинулась широкобедрая гитара в соседстве ночного горшка, в ручку которого продернута была веревка, опутывавшая весь воз вдоль и поперек.

— Я прямо от стыда сгораю!—шипела Ксаверия Карловна на ухо своему супругу, когда они проезжали городом, и даже слезла со вторых розвальней и пошла по тротуару, чтобы показать, что она не имеет никакого отношения к этим вещам.

Укладывал и увязывал все сам Ферапонт Иванович.

На вторых розвальнях ехали они трое. Одеты были все плохо и сильно мерзли. Ферапонт Иванович то и дело соскакивал и принимался бежать, догоняя сани. Он несколько раз пробовал уговорить супругу, чтобы она проделала то же, но напрасно: она сидела, скорчившись, подобрав под себя ноги, и старалась укрыться вся огромной коричневой шалью.

Силантий сидел рядом, в шинели, без рукавиц, курил цыгарку и пошучивал:

— Вот, Ксаверия Карловна, у вас, поди, ножки зябнут, хоть вы и в пимках, а моей вот ноге так ничего,—сказал он, похлопывая ладонью свою деревяжку,—ведь, голенькая, бог с ей, бороздит себе снежок и хоть бы что! Эх, другую бы мне такую!..

— Что, вы, Силантий, что вы!—укоризненно сказала Ксаверия Карловна,—в добрый час будь сказано!

— Ничего! Доедем скоро,—сказал Силантий.—Пятнадцать верст—невелика фажность!.. А ну, Ферапонт Иванович, подгони лошаденку-то,—крикнул он Капустину, который, стараясь согреться, шел сбоку саней.

— Ну, ну!—закричал Ферапонт Иванович, подбегая к передней лошади и хлопая рукавами своей длинной шубы.

Лошади побежали быстрее.

Приехали они во втором часу; воспитанники только что отобедали и бегали по двору. Как только в'ехали в огромный запущенный двор, обнесенный со всех сторон навесом, целая орава ребятишек бросилась к возам. Они принялись трогать и даже вытаскивать плохо привязанные вещи, а двое из них вскарабкались по веревкам на самый воз и теперь, страшно крича, плясали там и дразнили тех, кто был внизу. Но этим понравилось совсем другое: они все обступили Силантия и, раскрыв рты и распустив сопли, смотрели на костыли и в особенности на деревяжку.

На Ферапонта Ивановича и его жену не обращали никакого внимания

Зато Ферапонт Иванович внимательно приглядывался к своим будущим воспитанникам и пациентам, стараясь по выражению лица и по поведению определить, кто из них—дебилик, кто—имбецилик, кто—идиот.

В это время некоторые из ребят дошли уж до того, что сели на землю и, обхватив деревянную, отполированную жизнью, блестящую на солнце ногу Силантия, стали лизать ее, а потом и грызть.

— Да это чо же тако?!.—Испуганно говорил он, стараясь оторвать их,—это чисто, макаки, а не хто более! Дьявола каки-то!.. Ферапонт Иваныч, куды это мы с вами заехали?!.

— Они—слабоумные, Силантий,—ответил, улыбаясь, Ферапонт Иванович.

— Ага!.. Вон што,—облегченно сказал Силантий.—Это, значит, в роде как сумашедши, што ли?—спросил он.

— Да нет, видишь ли... Это...—и Ферапонт Иванович принялся было популяризировать понятие олигофрений, но в это время совсем замерзшая Ксаверия Карловна дернула его за рукав.

— Будет уж тебе! После лекцию прочитаешь, а теперь—погляди-ка: они скоро ведь все у нас растащат. Да и надо же куда-нибудь устроиться-то! О чем это ты думаешь?!—возмущенно проговорила она.

В это время из детского дома вышли: воспитательница—белокурая девушка в шубе, но без платка, и кухарка и принялись загонять ребятишек.

Ферапонт Иванович подошел к воспитательнице и представился. Она, видимо, искренне и очень обрадовавшись, поздоровалась и подошла с ним к возам. Ферапонт Иванович познакомил ее с Ксаверией Карловной и представил Силантия.

— А скажите, пожалуйста,—спросил он потом ее,—где нам будет квартира?

— А!.. Пожалуйста, пожалуйста, я вас проведу,—сказала она и повела Капустиных к маленькому деревянному флигелю, опалубленному и выкрашенному в зеленую краску.

Силантий остался развязывать вещи. Кухарка загнала в дом ребятишек, вышла и стала ему помогать...

– Здесь сейчас наш фельдшер живет, говорила воспитательница, вводя их в маленькие сенцы,—но он так живет: чтобы не выхолаживать здание, а у него комната в большом здании, так что он сейчас же может перебраться... А раньше в этом флигелечке пыхтинский приказчик жил: это раньше ведь купца Пыхтина заимка была, -пояснила она, открывая дверь в кухню.

Все вошли.

В приоткрытую дверь комнаты видно было, как сидевший у стола человек торопливо застегивал ворот рубашки и подпоясывался.

Воспитательница познакомила и с фельдшером. Это был тихий, пахнущий иодоформом, молодой человек.

– А я вот на зайцев собирался, - говорил он в смущении, указывая на рассыпанные по столу пыжи и патроны, от скуки вот охотником сделался.

— А здесь, должно быть, очень скучно?—спросила Ксаверия Карловна.

Да, знаете ли... Нас ведь здесь трое всего, персонала-то... Вот теперь веселее будет с вами... Ну, побегу: там ведь, наверное, помочь понадобится с вещами, а потом самоварчик организуем.—Фельдшер вышел.

Ферапонт Иванович пошел с ним.

Быстро перетаскивали вещи, кое-что—комод, шкаф, стулья—втащили сразу в комнату, остальное оставили в кухне.

Фельдшер побежал ставить самовар.

За чаем как-то быстро почувствовали себя хорошо знакомыми друг с другом, и начались простые разговоры.

— Много у вас здесь воспитанников?—спросил Ферапонт Иванович.

— Да человек пятьдесят,—ответил фельдшер.—Ох, знаете ли,—добавил он улыбаясь,—и чудаки же между ним есть которые!.. Немыслимо себе представить!.. Иной, знаете, такое коленцо выкинет, что глядишь на него, до надсады нахохочешься!.. Ей богу!

— Извиняюсь!..—Робко вступил в разговор, внимательно слушавший, Силантий.—Это для чего же их держат, скажите на милось?! Ведь, по-моему, обложить бы их просто-напросто соломой да и спалить! На кой их шут кормить-то?!.—Спали-и-ть!..

— Да ведь они же больные,—сказал Ферапонт Иванович.

Ксаверия Карловна и даже фельдшер поддержали, однако, Силантия.

— Ну, сжечь—не сжечь—это жестоко слишком, но отравить их как-нибудь безболезненно следовало бы,—сказала Ксаверия Карловна.

— Конечно,—сказал фельдшер, —тем более, что раз они идиоты, их все равно не вылечишь.

— Совершенно верно, тихо сказал Капустин, который всегда смущался, если приходилось не соглашаться с собеседником,—но это только в отношении идиотов, а дебилики и даже некоторые имбецилы...

— Как?—переспросил фельдшер.

— Я говорю, что в отношении дебиликов, а также некоторых случаев имбецильности прогноз может быть очень благоприятный, конечно, при соответствующем лечении и педагогическом воздействии.

— Вот как?—не то удивляясь, не то не доверяя, сказал фельдшер. А позвольте узнать,—осторожно спросил он,—профессия ваша какая?

— Да я как-раз психиатр... с педологией немного знаком,—ответил Ферапонт Иванович.

— А!..—сказал фельдшер и почти весь вечер после этого молчал.

Однако, на следующий день, когда Ферапонт Иванович отправился знакомиться с детдомом, и во время всей дальнейшей работы Капустин мог убедиться, что приобрел в лице фельдшера ревностного ученика и исполнительного помощника.

Детский дом предстал перед Ферапонтом Ивановичем в том именно состоянии, в каком Капустин и ожидал увидеть его, т.-е. в том, в каком находилось в то время большинство детских домов—в состоянии нищеты и запущенности.

И все-таки в грязном и холодном помещении, где жили оборванные и полуголодные дети, стояло неизбежное пианино.

Это возмутило даже Силантия.

Ему Ферапонт Иванович на свою ответственность поручил заведывание всей хозяйственной жизнью детского дома, и Силантий, до глубины души потрясенный тем, что он уж как-будто не совсем-то «шелуха жизни», не знал ни минуты покоя, и его деревяжка то постукивала тут и там по детдому, то поскрипывала по утоптанному и укатанному двору.

Оказалось, что он великолепно бегал без своих костылей.

Ребята относились к нему, как к существу особенному, и Ферапонт Иванович заметил, как первое время многие из них старались подражать его походке и стуку деревяжки.

Даже семилетний идиот, с огромной головой на тонкой шее, почти ни на что не реагировавший, начинал сильнее мотать головой, пускать слюну и издавать воркующие звуки, когда входил Силантий.

Скоро работа Силантия чувствительно изменила к лучшему хозяйственное положение детдома. Ферапонт Иванович, уже давно подумывал о том, как бы устроить его здесь на постоянную службу и, наконец, решил переговорить с фельдшером.

— Пара пустяков!—сказал фельдшер,— у нас штатная должность есть сторожа. Ведь как же, знаете: две коровы, лошадь, хозяйство, а место глухое, от села две версты, так что нам без сторожа никак невозможно.

В тот же день написали бумажку и решили послать Силантия в город, тем более, что у Ферапонта Ивановича была в том неотложная нужда по целому ряду других дел.

Ферапонт Иванович на первых порах с большой охотой отдался исследованию психического мира своих воспитанников и пациентов. Окончив тщательный телесный осмотр, с обращением особенного внимания на рефлексы, он принялся за разбивку их на группы по степени олигофрении. Он долго работал с тесками Бине-Берта, исследовал по Рассалимо и, наконец, пришел к самым благоприятным выводам: большинство из них было дебиликами или стояли где-то на переходной грани между дебильностью и имбецильностью. Затем шли имбецилы, а идиотов было всего лишь несколько человек.

Стоило поработать, и работа обещала результаты.

Назначив тем, кому нужно было, противосифилитическое лечение, которым занялся фельдшер, он все свое внимание и время уделял группе дебиликов, сделавшись их педагогом и нянькой.

Ферапонт Иванович возлагал большие надежды на так называемую сенсорную («чувственную») культуру. Он стремился развить у слабоумных тонкое различение слуховых, зрительных и тактильных впечатлений и выработать у них быстрые и целесообразные реакции на всевозможные раздражители.

Он делал световые штандарты, вывешивал их на виду и заставлял своих слабоумных наносить на бумагу в точности те же краски. Огромное место отведено было музыке и ритмическим движениям. За всем этим Ферапонт Иванович, подобно многим другим, признавал огромное суггестивное и организующее значение. Но больше всего Ферапонт Иванович обращал внимание на культуру тактильного чувства.

С этой целью воспитанники должны были осязать с закрытыми глазами пространственные фигуры: кубы, конусы, шары, пирамиды и т. п. и потом узнавать их таким же порядком с закрытыми глазами посредством одного осязания. Прикасаясь еле ощутимо к расположенным под ряд предметам разной теплопроводности и температуры, слабоумные должны были с закрытыми глазами расположить их по степени их холодности или теплоты. Это делалось с целью повысить температурную чувствительность. Далее, притрагиваясь также лишь слегка подушечками пальцев к кусочкам бумаги, картона, коленкора, бархата (бархат Ферапонт Иванович выпрашивал у супруги), слабоумные учились различать все эти материалы по осязанию.

Ферапонт Иванович считал, что *осязательный* опыт является главным созидателем всей сложной структуры человеческой психики. Его возмущало, что наш язык так скуден в определении бесчисленных в своем разнообразии осязательных впечатлений. Он осмеливался утверждать, что слепые, ceteris paribus должны отличаться более тонкой и чувствительной психической организацией, чем зрячие.

Правда, когда коллеги его уж очень начинали посмеиваться над ним, уверяя, что он страдает манией оригинальности и открытий, он делал ловкий диалектический ход, расширяя понятие «*осязание*».

— Зрение—это способность осязать световые колебания, слух—способность осязать звуковые колебания, а обоняние—способность осязать удары мельчайших частиц летучего вещества,—говорил он. Но, однако, это утверждение было лишь диалектическим ходом, чтобы избавиться от насмешек, по существу же Ферапонт Иванович являлся крайним приверженцем «тактилизма» и договаривался до того, что начинал уверять, будто можно при соответствующей культуре внимания, обращенного к внутренним органам, достигнуть того, что будешь ясно, например, чувствовать свою печень по всем ее поверхностям или ощущать «нервные токи» всех участков тела...

Ясно, что для осуществления своих широких замыслов в области воспитания и лечения слабоумных Ферапонт Иванович нуждался очень во многом, а тут нехватало того, другого, третьего.

Командировка Силантия в город во всех отношениях была необходима.

Силантий уехал в среду, вернулся в пятницу. Он привез дюжину карандашей, четыре дести бумаги и свое назначение на должность сторожа.

— Што-ись и это не хотели сперва давать,—докладывал он Ферапонту Ивановичу. А на бумагу вашу сказали: чего он там выдумывает! У нас тут настоящим ребятишкам нет ничего, а он тут для дураков требует!

Ферапонт Иванович выругался и ушел в свой кабинет. С этого дня рвение его резко упало. Он решил, видимо, что для того, чтобы поддерживать Status gvoante, довольно будет изредка заходить в детский дом и проверять работу фельдшера и воспитательницы. Сотрудники его были сильно поражены и огорчены этим и об'ясняли все случившееся неблагоприятным ответом начальства.

Однако, только одна Ксаверия Карловна знала, что на самом деле это не так.

За долгие годы жизни с мужем она хорошо научилась определять по самым ничтожным признакам все необычайные состояния души Ферапонта Ивановича. Поэтому она и в этот раз знала, что неудача поездки Силантия—это только предлог для Ферапонта Ивановича для того, чтобы отойти от работы в детдоме, которая отвлекала его от чего-то такого, что заполняло всю душу его. Ксаверия Карловна ясно видела, что какая-то новая идея волнует воображение Ферапонта Ивановича. Он стал задумываться, плохо стал есть: часто во время обеда вилка с куском мяса откладывалась на стол, и Ферапонт Иванович, рассеянно пощипывая кусок хлеба, устремлял взор свой куда-то в пространство, поверх головы Ксаверии Карловны.

Ксаверия Карловна не только не боялась таких состояний мужа, но даже покровительствовала им. Наука была единственной соперницей, к которой Ксаверия Карловна не ревновала своего мужа. И во время своих ученых занятий Ферапонт Иванович приобретал особые права и преимущества вплоть до того, что мог поворчать и даже покричать на супругу, чего не дозволялось в мирное время.

Еще там, в Екатеринбурге, когда они жили хорошо и у Ферапонта Ивановича был прекрасно обставленный кабинет, вошло в обычай, что на все время усиленной работы Ферапонт Иванович совсем переселялся в свой кабинет. Туда подавали ему завтрак и даже обед, а ночевал он на своем любимом кожаном диване.

Здесь можно, кстати, заметить, что Ферапонт Иванович считал почему-то раздельное существование с супругой необходимым для быстроты и напряженности научной работы.

Здесь, в детском доме, такой порядок существовал уже в течение месяца. Вскоре после приезда из города Ферапонт Иванович попросил достать ему одну из неоконченных работ, которой он не занимался со времени эвакуации,

и теперь Ксаверия Карловна, просыпаясь в два или три часа ночи, видела узкую полоску света, проходившую сквозь двери, и слышала легкое шуршание карандаша. Повернувшись на другой бок, Ксаверия Карловна спокойно засыпала.

Однако, за последнее время и у нее появились причины для беспокойства. Ферапонт Иванович вел себя все более и более странно. Прежде он никогда не требовал, например, абсолютной своей неприкосновенности во время занятий, теперь же он возмущался даже тем, что Ксаверия Карловна приносила в кабинет чай или завтрак.

— Ну, оставь ты, пожалуйста!—жалобно и раздраженно говорил он,—что я ребенок, что ли?!. Захочу есть, так приду и поем. Ведь ты же знаешь, что я не люблю, когда мне мешают.

— Но ведь ты так с голоду помрешь! Не напомнишь тебе, так ты и не догадаешься.

— Не беспокойся: не умру! Только оставь меня в покое и не входи ко мне тогда, когда тебя не зовут.

— Странно!—обиженно говорила Ксаверия Карловна и удалялась. Ферапонт Иванович вставал из-за стола и запирал дверь на задвижку. Это обстоятельство причиняло большие мучения Ксаверии Карловне.

— Зачем он это делает? Ну, сказал бы, кажется, и довольно, итак не приду,—нет, запирается зачем-то!... Что это за тайны у него?—и искала способа выяснить все это.

Способ, самый простой к тому же, напрашивался сам собою: подсмотреть в замочную скважину. И вот Ксаверия Карловна в течение целой недели ежедневно по часу и больше простаивала возле двери кабинета, но потом перестала, потому что единственное подозрительное обстоятельство в поведении мужа заключалось в том, что он совершенно неподвижно лежал на кушетке и ни разу не подошел к письменному столу. Занавесы окон были опущены.

Вскоре Ксаверии Карловне удалось убедиться, что рукопись Ферапонта Ивановича за целый месяц ничуть не подвинулась, и страницы ее были покрыты пылью.

— Нужно его встряхнуть как-нибудь, может быть, все это просто тоска,—подумала она и решила развлечь Ферапонта Ивановича преферансом. Когда в первый раз она заявила ему, что пришли гости—фельдшер и воспитательница—что не удобно же так: надо занять гостей, Капустин, сильно поморщившись, выругался и стал одеваться.

Составили «пульку»,—Ферапонт Иванович играл из рук плохо, и видно было, что только приличие заставляет гостей продолжать такую игру. Потом пили чай и ругали советскую власть, но и на это Ферапонт Иванович реагировал слабо.

Когда гости ушли, он сказал раздраженно:

— Не вздумай, матушка, еще вечеринки устраивать!—и, хлопнув дверью, Ферапонт Иванович скрылся в кабинете.

Скоро произошло совершенно необычайное событие, потрясшее все существо Ксаверии Карловны.

Однажды утром, она, нарушив запрет мужа, вошла в кабинет с чашкой кофе «по-варшавски» и тарелкой белых сухариков.

Он лежал на кушетке и даже не обернулся, когда она вошла.

Выйдя из кабинета, Ксаверия Карловна готова была разрыдаться. Печально принялась она за уборку комнаты. В работе она всегда находила успокоение. И сейчас мало-по-малу она начала успокаиваться. Мысли ее унеслись в счастливое прошлое.

Вдруг звуки, донесшиеся из кабинета, привлекли ее внимание. Оттуда доносился мелкий ровный хруст, словно кто-нибудь быстро-быстро грыз сухари.

— Господи!—Подумала она радостно.—Да неужели он кончил свою голодовку?!—Она послушала еще: да, грызет!.. только странно как-то, совсем не так, как обыкновенно...

Ксаверия Карловна заглянула в замочную скважину.

Возле небольшого круглого столика, стоявшего посреди кабинета, сидел, откинувшись в кресле, бледный Ферапонт Иванович и смотрел на тарелку с сухариками.

Только вглядевшись, Ксаверия Карловна увидела, что пять или шесть мышей сидели в тарелке и, не обращая никакого внимания на Ферапонта Ивановича, словно его тут вовсе не было, грызли его сухарики.

Мыши были так близко от него, что он легко мог достать их, слегка протянув руку. Они то соскакивали с тарелки и, нюхая воздух, покрапывали своими лапками по железу подноса, то снова взбирались в тарелку и принимались грызть.

А он сидел неподвижно, и слабая улыбка блуждала по лицу его.

Невольный крик вырвался у Ксаверии Карловны, мыши бросились в стороны, и с мягким стуком посыпались со стола.

Ферапонт Иванович вздрогнул, и гневное лицо его оборотилось в сторону двери.

4.

Путь к проруби.

Может быть, где-нибудь в подсознательной памяти Ксаверии Карловны остался библийский рассказ о том, как Давид боролся с меланхолией царя Саула игрою на арфе, а может быть, просто энергичная женщина в отчаянии ухватилась за первое, бывшее поблизости средство, чтобы вернуть супруга к сознанию действительности, но как бы там ни было, в один прекрасный день Ферапонт Иванович, вздрогнув весь, сорвался с своего дивана, на котором он лежал неподижно, и с диким, как-бы пустынным взором, стоя посреди комнаты, стал прислушиваться.

«Да—пианино, но откуда! Неужели у него галлюцинации?.. Но, ведь, он принял все меры!»...

Ферапонт Иванович кинулся к двери, он распахнул ее...

В столовой стояло пианино, и Ксаверия Карловна уверенно и с воодушевлением играла что-то из Скрябина.

— Пианино!—крикнул Ферапонт Иванович.—Пианино! -повторил он, задыхаясь,—откуда оно здесь?!. Ксаверия?!.

Ах!—вскрикнула мадам Капустина, притворившись испуганной, и сжала виски.—Как ты меня испугал.

Но он ничуть, кажется, не был этим растроган.

— Я тебя спрашиваю, что это такое, откуда попало к нам пианино?

— Как—откуда?—удивилась Ксаверия,—из детдома.

— Из детдома?!.

— Ну, конечно.

— Да кто это посмел?!. Без меня, без моего ведома?!—горячился Капустин.

— Я распорядилась,—стараясь быть спокойной, ответила Ксаверия Карловна.—А что же здесь такого скажи, пожалуйста, ну?!—стала она переходить в контратаку.

Но это не удалось ей. В этот раз она просто узнать не могла своего супруга, всегда боязливого и уступчивого.

— А то особенное,—грозным громким шопотом говорил он, надвигаясь на нее,—что это неэтичный поступок! Ты понимаешь, неэтично!... Ты лучше бы все, что угодно сделала!.. Но это, это... Как?!—жена заведывающего детским домом забирает в свою квартиру пианино, принадлежащее детскому дому!.. Да ведь это чорт знает что такое!

— Ну, уж ты чересчур,—разозлилась Ксаверия.—Я говорила об этом с фельдшером, и он сказал, что оно все-равно стоит зря, и что даже, наоборот, идиоты могут его испортить, а у нас оно сохранится.

Капустин презрительно захохотал:

— Фельдшер ей сказал! А почему ты к фельдшеру обратилась, а не ко мне?!.

— Потому что я знаю, что тебя нельзя беспокоить.

— Ах, вот что?!—издевался Капустин.—Не хотели меня беспокоить! А этот Скрябин, которого вы с таким увлечением исполняли, он меня не побеспокоил?! А может быть, все это делалось для меня даже?..

— Да! Для тебя, для тебя делалось!—воскликнула Ксаверия Карловна, чувствуя в то же время, что она напрасно сказала это.

Но было поздно.

— Что? Ты это сделала для меня?!. Об'яснись, пожалуйста!—он даже отступил в изумлении.

Она молчала. Она быстро-быстро перебирала в уме всевозможные ухищрения. Как? Сказать правду, сказать ему, для чего она решила принести сюда пианино?—нет, ни в коем случае—будет хуже. Надо солгать, придумать, почему именно она сказала, что это для него.

— Я готовила тебе сюрприз,—сказала она, желая выиграть время

— Что это еще за сюрприз?—поморщился он.

— Но, раз сюрприз, то ты понимаешь, что я не могу открыть тебе его,—сказала она и в ту же минуту испугалась, увидев, как лицо его исказилось яростью, и сказала первое, что пришло ей в голову:

— Я хотела устроить елку...

— Елку?! Да что ты, с ума сошла, разве теперь Рождество?

Ксаверия Карловна стояла вся красная от неуклюжей лжи.

— Но, ты ведь знаешь... что тут другое важно... Просто, у меня остались старые, елочные украшения, и я решила устроить бедным идиотам праздник... Тут не елка, собственно, важна, а просто блеск этот, шум, бенгальские огни... Я именно для тебя хотела доставить интересный материал для наблюдений: как твои идиоты отнесутся к такому необыкновенному для них явлению...

Ферапонт Иванович пожал плечами и промычал что-то.

— Ну, а пианино тебе зачем понадобилось?!.

— А как же? А репитиция, спевки?!.

— Ну, уж уволь, пожалуйста!—поморщился Ферапонт Иванович.—спевайтесь, где угодно, только не здесь!..

Он круто повернулся и захлопнул за собой дверь кабинета.

Снова потянулись для Ксаверии Карловны скучные дни. Теперь уж она не решалась больше ни на какие героические меры, чтобы вырвать Ферапонта Ивановича из его подозрительного уединения. Она злилась на себя за неудачную ложь, потому что теперь ей приходилось расплачиваться и устраивать праздник идиотам.

К устройству праздника были привлечены ею фельдшер, воспитательница, Силантий и даже несколько человек из слабоумных ребят.

Наконец, наступил канун праздника. И теперь уж неизбежно пришлось побеспокоить Ферапонта Ивановича. Для бала потребовались все три комнаты.

Ни с кем не разговаривая, мрачно и торжественно оставил свой кабинет. Слоняясь из комнаты в комнату, он не находил себе места: отовсюду изгоняла его безжалостная уборка.

— Слушай, пошел бы ты на улицу, следовало бы пройтись немного, - сказала, наконец, Ксаверия Карловна, которой надоело уж перегонять его из угла в угол.—А я тем временем закончу все.

Он, ни слова не сказав, направился в переднюю и стал одеваться.

Он так отвык от свежего воздуха, что почувствовал себя на улице, как человек, выздоровевший от тяжелой болезни, которому первый раз разрешили выйти во двор.

Под навесом он увидел Силантия, запрягавшего лошадь в «салаги». Он подошел к нему.

— Здравствуй, Силантий, ты куда это собрался?..

— Здравствуйте, Ферапонт Иваныч!—весело приветствовал его Силантий, бросив даже затягивать супонь.—А я уж думал, увидим ли мы вас, ладно ли што с вами?..

— Все ладно, Силантий,—невесело сказал Капустин.

— Ох, нет, Ферапонт Иваныч, гляжу я на вас, дак вы будто и с лица переменились.

— Ну, это так: на улицу долго не выходил... Ты куда это едешь?— спросил Капустин, переводя разговор.

— А в бор, Ферапонт Иваныч: Ксаверия Карловна посылают, елку им надо вырубить.

— А,—сказал Капустин.—А что—не поехать ли и мне с тобой,—спросил он в раздумьи.

— А почему же не поехать?.. Самое милое дело прокатиться. До бору-то версты две, не боле... Только в сапожках-то все-таки нельзя!..—говорил Силантий, возжая лошадь.

— Ну, так я пойду сейчас одену пимы, а ты под'езжай к флигелю,— сказал Ферапонт Иванович.

— Слушаю!—по старой военной привычке ответил Силантий...

Когда переехали по льду речку, протекавшую саженях в ста от заимки, Ферапонт Иванович оглянулся: черневшие на белом пригорке, обнесенные со всех сторон высоким навесом, строения напомнили ему те остроги, которые ставили сибирские воеводы для защиты от кочевников.

Лошадь бежала быстро.

Он очень редко ездил на розвальнях, и теперь ему доставляло необыкновенную радость видеть, как, сливаясь в один белый поток, несся мимо снег, так непривычно близко от глаз.

«Как все-таки много истрачено жизни в кабинетном и лабораторном сидении над книгами, над рукописями, над микроскопом, а как просто можно жить и хорошо, если не знать всего этого!.. Какими напряженными могут быть простые физиологические радости!.. Вот вдыхать так этот воздух, глядеть на этот снег, хорошо»...—думалось ему, и грустное приятное чувство охватывало его.

Это чувство сделалось еще сильнее, когда они в'ехали в бор и лошадь остановилась. Ветер, просасываясь сквозь хвою, производил тот особенный

тихий и в то же время могучий равномерный шум, от которого так отрадно и спокойно делается на душе.

И Ферапонту Ивановичу чем-то ненужным показалась людская жизнь и работа, смешно было думать, что там, в доме, осталась женщина, близкая ему, и передвигает зачем-то столы и стулья в душной своей клетушке и чувствует себя обособленной и независимой от этого океана морозного воздуха, от этого шума.

— Ну, господи, благослови!—надо сосеночку облюбовывать,—сказал Силантий, вылезая из саней. За опояской у него был топор.

Ферапонт Иванович тоже вылез и стал присматриваться к соснам-молодняку.

— Вон эту, я думаю,—сказал он указывая.

— Эту?—спросил Силантий.—Нет, Ферапонт Иванович, эта не годится: иглы на ей мало, гола немножко.

— Верно, пожалуй,—согласился Капустин.

— А эвон ту я заприметил,—сказал Силантий и зашагал к намеченной сосне. Итти ему было очень трудно: деревяжка его с каждым шагом все больше и больше угрузала в снег.

— Ну, Ферапонт Иваныч, чисто замаялся я!..—закричал он Капустину, останавливаясь и снимая шапку: от мокрых волос его шел пар. —Ни взад, ни вперед!

— Вытащить, что ли?—крикнул ему Капустин.

— Да нет, вылезти-то вылезу, а уж за сосной-то вам уж, видно, придется!..—сказал Силантий и начал выбираться к саням. Вот ведь оказия!—сокрушался он, глядя на свою деревяжку,—ну, кто бы это придумать мог:—из-за деревянной ноги, чтобы такая история! А ведь не будь вас, так мне бы и довелось, пожалуй, без елочки приехать!.. Нате-ка топорик вам, Ферапонт Иваныч.

Капустин взял топор и, наметив сосну, зашагал к ней. В валенках итти было легко, они проваливались неглубоко. Он подошел к сосне. Она была чуть повыше его. Он принялся рубить. Дело шло плохо. Если бы он смотрел со стороны, как рубит другой, то ему бы казалось, что тут и делать-то нечего—раз, два, и готово. Но сейчас, пока он срубил, он с непривычки сильно устал.

Когда он, отдышавшись немного, посмотрел на лежавшую в снегу сосну, она ему показалась очень плохой, с редкими ветвями.

Он огляделся кругом, ища новую. Но когда он подошел к новой, которая казалось такой пышной и заманчивой издали, то и эта ему не понравилась. Он испортил таким образом, три сосны и остановился на четвертой просто потому, что слишком устал искать.

Когда они выехали из бора, у него сразу же испортилось настроение. Он долго молчал. Силантий молчал тоже и часто подхлестывал лошадь.

— Да...—сказал, наконец, Капустин,—смотришь на нее издали—хороша, а подойдешь поближе—голая, как скелет!..

— Это в роде, как с человеком,—отозвался Силантий.—Сыздаля глядишь—все хорошо, а поближе подойдешь...

— Так вот, например, капитан твой,—заметил Ферапонт Иванович.

— Да-а...—сказал Силантий, и Ферапонту Ивановичу показалось, что голос Силантия дрогнул.—Но только тут, Ферапонт Иванович, я, можно сказать, возле самого человека денно и нощно был, как с дитем... А вот поди ж ты—предатель отечества оказался!.. А много, я чувствую, огорчений, он вам сделал,—сказал Силантий, оборотившись к Ферапонту Ивановичу.

— Да, Силантий, не мало... Больно мне, Силантий, за человека больно, за Россию больно,—воскликнул он, вдруг растравляясь воспоминаниями о

Яхонтове...—Ведь, ты что знаешь, Силантий! -продолжал он шопотом, подтянувшись в передок саней.—Разве ты знаешь, что если бы не капитан твой, не предательство его, то, может быть, и звери эти не царствовали бы над нами... Слышишь ты это?!.—крикнул Ферапонт Иванович.

Силантий молчал. Он совсем теперь перестал править и, опустив вожжи, сидел лицом к Ферапонту Ивановичу.

И тот, словно на испоеди, начал рассказывать в простых словах о том, как встретился он с капитаном Яхонтовым в кафэ «Зон», как отдал ему свою тетрадку с проектом организации ночной армии и о том, как клялся капитан Яхонтов, что только у его трупа могут отнять эту тетрадку...

Когда он кончил, Силантий не сказал ни слова. И только перед самым домом он сказал:

— Ну, Ферапонт Иванович, уважал я этого человека боле отца родного, пуще матери, а теперь, ну, попадись он мне в глухом месте, собственными бы руками задушил... все одно, как гадину!

Сани, ударившись о ворота, в'ехали во двор.

— Сосенку везут! Сосенку везут!—закричали ребятишки, со всех сторон посыпавшись в сани.

С неменьшим нетерпением дожидалась сосенки Ксаверия Карловна. У нее все уже было готово для устройства елки. Сосна понравилась. Ферапонт Иванович втащил ее в комнату. Силантий распряг лошадь и втащил крестыш.

Елку поставили в столовой, и все, в том числе и Ферапонт Ианович, взялись за ее убранство.

Наконец, наступил вечер елки. Стали приводить партиями ребятишек. Самых безнадежных идиотов оставили в доме под наблюдением кухарки.

В прихожей, на двух поставленных рядом скамейках, лежали груды рваных пальтишек и шапок. Ксаверия Карловна немного побаивалась, как бы не занесли вшей.

Дверь в столовую была еще закрыта. Ксаверия вместе с воспитательницей и фельдшером кончали зажигать последние свечи.

Дали сигнал—двери широко распахнулись, и толпа ребятишек ворвалась, втаскивая в комнату упиравшихся Капустина и Силантия.

— Стойте вы, стойте, макаки!—кричал Силантий, хватаясь за косяки.—Деревяжку, бесенята, отхватите!..

В столовой сделалось тесно. Огоньки свечек метались, словно пытались оторваться.

Взрослые принялись наводить порядок. Ребята выстроились двойным кругом и пошли вокруг елки. Запели «Елочку». Получилось плохо. Выручали взрослые. Потом пели «Как пошел-то наш козел» и ходили вокруг елки в другую сторону. Потом пошли сольные выступления. Некоторые из ребятишек прочитали стишки. А Силантий разошелся до того, что без костылей сплясал русского.

Когда вспыхнули, наконец, бенгальские огни, ребятишки пришли в восторг: одни визжали, хлопая в ладоши, другие прыгали и хохотали, указывая пальцами и подталкивая соседей. Третьи стояли с открытыми ртами, из которых обильно текла слюна.

И только несколько идиотов да закоренелых имбецилликов, так и не ставших в круг, сидело в углу под подоконником, в полном безразличии ко всему, предаваясь безрадостной инсации.

Свечи догорали. Кое-где начинали потрескивать и дымиться ветки. Пора было кончать. Ксаверия Карловна раздала ребятишкам кульки с пряниками.

Посовещавшись с ней, Ферапонт Иванович вышел на середину и об'явил свободное обдирание елки. Это произвело не меньшее впечатление, чем в свое время «приказ № 1». Поняли даже самые слабоумные.

Словно щенки-сосунки, рвущие свою мать, когда нехватает для всех сосков, набросились слабоумные на елку. Елка зашаталась и, цараная стены, рухнула.

Кое-кто, испугавшись, отпрыгнул, но остальные продолжали бороться над трупом принцессы за редкостное убранство. Скоро послышался вой, громкие плевки и удары. Били друг друга по головам золотыми орехами.

Зрелище становилось нестерпимым.

Взрослые бросились разнимать. Елку оттащили в угол. Открыли дверь в кабинет Капустина и половину ребят перегнали туда. Мало-по-малу наступило некоторое успокоение. Слышалось громкое чвакание и треск орехов.

Ксаверия Карловна пригласила взрослых в спальню—играть в преферанс. Силантий остался наблюдать за порядком. Он сел на пол в углу, полуразвалясь, и, неторопливо вытащив кисет, стал закуривать. Человек пять-шесть дебиликов уселись вокруг него и смотрели, как Силантий закуривал.

— Ну, что, поганцы?—сказал он подмигивая,—сказку вам чо ли рассказать?..

— Сказку, сказку!..

— Ну, ладно. Каку вам: «Искорко-попелышко» али «Клюшку-попушок?»—спросил Силантий.

Голоса разделились.

— Ну, ладно. Сначала расскажу вам про «Искорку-попелышку».—Силантий, покуривая, стал рассказывать.

Кончив одну сказку, он при том же внимании своих немногочисленных слушателей принялся рассказывать другую.

В кабинете, где была часть ребятишек, было довольно тихо.

Вдруг из спальни вышла встревоженная Ксаверия Карловна.

— Силантий!

— Ась?

— Это ты тут надымил?

— Виноват, Ксаверия Карловна,—ответил Силантий и, подобрав костыли, поднялся с полу.

Густой дым застилал всю комнату.

— Ну, нет, Ксаверия Карловна,—испуганно сказал Силантий, потянув воздух,—тут неладно чо-то, Ксаверия Карловна!

Оба они бросились в кабинет. Здесь дым был еще гуще, отсюда-то он и расползался по всей столовой.

Вдоль стен и кучками посреди пола сидели ребятишки, и у каждого из них дымилась во рту полуфунтовая цыгарка. Пахло жженой бумагой и сосновыми иглами.

— Что вы это делаете?!.—крикнула Ксаверия Карловна. Все принялись бросать цыгарки и затаптывать.

Ксаверия Карловна подняла одну из дымившихся цыгарок, поднесла ее к свету и отчаянно вскрикнула:

— Где вы это взяли?!.

Потом, не слушая их, она подобрала еще несколько цыгарок, развернула их и бросилась с ними в спальню.

— Господи!. Ферри, Ферри, что они наделали! Ты посмотри, посмотри, только!—кричала она, развертывая полуфунтовые цыгарки перед глазами мужа.

Он взял одну из бумажек, вгляделся, побледнел и выбежал из комнаты.

Он узнал одну из страниц той самой работы, которую он начал еще в Екатеринбурге и о которой еще недавно говорил жене, что в ней смысл и оправдание всей его жизни.

Из коридора доносился сильный шум и крики—это Силантий выпроваживал ребятишек.

Немного спустя, Ферапонт Иванович вернулся к своим партнерам.

— Извините, господа,—сказал он спокойно, но я не могу сейчас продолжать игры. Он поклонился и ушел.

Расстроенные гости тоже разошлись.

Ксаверия Карловна побежала в кабинет. Капустин лежал на кушетке ничком, закрыв лицо руками.

Она тронула его за плечо.

— Уйди!—крикнул он не поднимая головы. Она ушла...

Уснула она только под утро. Перед самым рассветом Ксаверия Карловна слышала чьи-то шаги по комнатам, потом возню возле вешалки, а потом как-будто хлопнула уличная дверь, и заскрипел снег под окнами... Она не могла проснуться, хотя ей мерещилось, что по дому ходят воры.

Утром она вышла в переднюю и увидела, что шубы и шапки Ферапонта Ивановича на вешалке не было.

Она побежала к мужу. Прежде чем войти, постучала. Никто не ответил. Она вошла. Кабинет был пуст. На столе, на самом видном месте, стоял кусок белого картона, прислоненный к лампе. На нем было написано:

«В смерти моей прошу никого не винить».

Ф. Капустин.

...От крыльца дома, заворачивая к калитке сада, шли полузанесенные снегом следы. Следы эти спускались дальше к реке и оканчивались у проруби.

Только теперь почувствовала Ксаверия Карловна, что дороже всего в мире был для нее Ферапонт Иванович, а теперь мир для нее опустел...

Силантий уехал в город донести властям.

На другой день приехало двое. Один—высокий, сутулый, в шубе с богатым воротником, в больших очках на тонком и остром носу. Он был, повидимому, начальник. Другой—маленький и незначительный и таскал за ним портфель.

Они начали с того, что осведомились о происшедшем, затем посовещались немного и вышли за ворота.

Дальше они целый час потратили, обходя заимку со всех сторон. В некоторых местах останавливались, нагибались, вглядывались в след. Кое-где младший втыкал в некоторых местах прутики. Так спустились они на лед. И оттуда поднялись в сад—к большому дому, стараясь ступать в один след.

Они производили осмотр, постепенно суживая круги.

У калитки сада встретил их Силантий и показал на следы к реке.

Оба нагнулись, младший совсем, а старший слегка, и долго всматривались.

— Запорошило,—сказал младший.

— Однако, я думаю, не раньше, чем вчера,—сказал старший.

— Вчерась, вчерась,—подтвердил стоявший рядом Силантий.—Это его след.

Старший строго посмотрел на него.

— Проследить?—спросил помощник, сидя на корточках, подняв лицо к старшему.

— Давай,—сказал тот, вынув из кармана карандаш и блок-нот.

Младший вытащил из большого портфеля складной метр.

— Валенок,—сказал он полувопросительно.

— Ну, конечно,—ответил начальник.

Помощник измерил расстояние от следа до следа:

— 67,—сказал он.

— «Мужчина небольшого роста»,—записал старший в блок-нот.

— Линия ходьбы прямая,—сказал младший откладывая по снегу сантиметр и передвигаясь вдоль снегов.

— «Трезвый. Без ноши. Не старик. Во всяком случае, не толстый»,—записал старший.

— Угол ноги 56.

— «Шел медленно. Человек умственного труда»,—записывалось в блок-ноте.

Помощник распрямился, сложил метр и спрятал его в карман.

Они пошли по следам к реке.

— Да. Запорошило,—сказал начальник с сожалением.

— А, вот!—радостно воскликнул помощник, нагибаясь, когда они спускались с берега.

Старший нагнулся.

Действительно, в одном месте берега виднелся прекрасный глубоко вдавленный след. Его почти совершенно не замело, видимо, потому, что он был защищен от ветра большим старым тополем.

— Да,—сказал старший.—Вот что,—обратился он затем к Силантию,—клей столярный у тебя найдется?

— Как не найтись...

— Ну, так вот что: растопи в каком-нибудь ковшике или кастрюле и принеси сюда, пока он еще горячий. Понял?

— Так точно! —ответил Силантий и быстро заковылял из сада.

Младший вытащил клубок шпагата, перочинным ножом отрезал большой кусок и, сложив его во много раз, перерезал. Потом он осторожно стал на коленки возле следа и старательно, бережно, начал выкладывать дно его отрезками шпагата наподобие сетки.

Тем временем подошел Силантий. От ковша шел пар, клей в нем еще пузырился.

Помощник взял ковш в руки и осторожно вылил клей на дно следа. Немного погодя, он, потянув за концы веревочной сетки, вытащил отпечаток подошвы из отвердевшего клея. Он перевернул отпечаток нижней стороной вверх и, прихватив носовым платком, поднес старшему.

Тот несколько секунд рассматривал отпечаток, потом сказал, показывая пальцем:

— Вот здесь, со стороны большого пальца, была заплата из кожи, и задники подшиты кожей. Нужно будет...

— Так точно,—перебил его Силантий.—И заплата там была, и задники подшиты, я сам и починял их Ферапонту Иванычу.

На этот раз старший взглянул на Силантия вовсе не строго.

— Вы видите? —обратился он к помощнику, приподняв левую бровь.— Ну, а теперь вот что, пойдем-ка к проруби.

Они спустились на лед.

На льду следы были чуть заметны.

— Вот здесь он остановился,—сказал начальник, когда они подошли к самой проруби.

Действительно, у самого края видны были два следа, не один впереди другого, а рядом.

— Ведь он в шубе был?—спросил помощник Силантия.

— Так точно: в шубе, в шапке и в пимах.

— Н-да... Ведь в шубе утонуть затруднительно, пока она не намокнет, — сказал в раздумьи помощник, вопросительно глядя на старшего.

Но Силантий, быстро разрешил их сомнения.

— Какой там затруднительно!—сказал он с оттенком презрения.— Только под лед подлихнуться, а там уж затянет.

Оба ничего ему не сказали.

— Ну, ладно, пойти надо поспрашивать для приличия,—сказал старший и они пошли к дому.

Допрос прошел быстро и не дал ничего существенного...

— Да, к прекращению,—сказал начальник, отвечая на вопрос младшего, когда они усаживались в кошевку.—Дело здесь ясное...

5.

Дело, в котором увязнет любая репутация.

Поддавшись ли, наконец, влиянию Елены, или просто сознавая, что все потеряно для него там, в белом лагере, Яхонтов стал спокойнее и как-будто даже благожелательно относиться к окружающему. Об этом можно было заключить даже из того, что он быстро выдвинулся, как прекрасный штабный работник. Сейчас он заканчивал свою работу, которую предполагалось издать. Работа называлась «Основные моменты в действиях колчаковских армий с августа по октябрь 1920 года».

Отношения между ним и Еленой тоже сделались более ровными. Оба они избегали теперь говорить на политические темы. Елена понимала великолепно, что сейчас именно, в момент идеологической ломки нужно особенно бережно относиться к этому гордому человеку.

Она никогда не считала, что Яхонтов слишком любит ее, но со свойственной женщинам интуицией угадывала в нем человека с привязчивой и нежною душой, а потому старалась по возможности устранить в своем поведении все резкие и нетерпимые для него мелочи, чтобы крепче сделать свое влияние в основном. Она, например, совершенно бросила курить, отвыкла от некоторых словечек и жестов и видела, как это все радует его. Одного только она не могла для него сделать—это, чтобы встречавшиеся с ней на улицах товарищи-коммунисты не называли ее на ты. В такие минуты ей делалось очень смешно, когда Яхонтов молча и быстро отходил в сторону, оставляя ее с собеседником и, повернувшись спиной к ним, нервно курил.

После этого они обыкновенно долго шли молча.

Однажды он сказал ей после такой встречи:

— Знаешь, все-таки противная это у вас манера: любой тип подойдет к тебе и сразу:—«ты».

— Глупости ты говоришь,—возражала Елена,—вовсе не любой тип, а товарищ, такой же, как я, член партии.

— Ну, все равно... по-моему, это что-то... сектантское. Нехватает, чтобы вы еще целовались при встречах и называли друг друга «брат»,—раздраженно говорил Яхонтов.

— Ну, и дурак!—разозлилась Елена. Знаешь, меня просто удивляет, как ты—человек, который, кажется, помешан на всем русском—русский народ, русская армия, русский язык—говоришь такие вещи! Неужели ты не знаешь, что это ваше «Вы» с большой буквы—это совсем не русское, а также украденное у иностранцев, как корсеты и кринолины?! Они там и отца и бога называют на вы, а наших крестьян возьми, т.-е. тот именно самый *народ*, который вы так любите, разве у них так? Нет, они, когда в старое время к

«царю-батюшке» обращались, то говорили «ты» и никакого другого обращения не знали, да и русский язык его не знал, пока *вы* все не испортили... Да, ты возьми, пожалуйста, настоящего мужика, разве он тебе скажет «вы»? Да никогда! А вот тот, который пообтерся немного в городе, деклассировался, тот это знает. Но как ему, несчастному, туго приходится. Ты его спросишь, например:—«Вам сколько лет?», а он тебе:—«Да нам уж шестой десяток».

Яхонтов рассмеялся.

— Да, это ты верно подметила... Допустим, что ты права, но, чем же мне все-таки символизировать, оттенить, так сказать, что я с тобой в особых отношениях, ну, хотя бы то, что я твой муж, если это интимное обращение так истаскано.

— А зачем тебе символизировать?—спросила Елена. Ведь, кажется, если кто-нибудь называет меня на ты, то этим не покушается на твои супружеские права.

— Ну, как ты грубо говоришь,—огорчился Яхонтов.

В общем такие столкновения и споры были очень редки. То, что Елене казалось мелочью, пустяками, и в чем она охотно уступала ему, то, «наоборот», для Яхонтова было очень важно, и ему казалось, что Елена начинала перерождаться под его влиянием. Привязанность его к Елене становилась спокойной и глубокой, как к жене. Склонный в глубине души к романтике, вспоминая обстоятельства их знакомства, он считал, что сама судьба послала ему Елену. Он уж нисколько не сомневался теперь в том, что она никогда не была любовницей Силантия.

Если бы Яхонтов мог исследовать свои подсознательные глубины, он бы с большим удивлением увидел, что там живет глубокая неприязнь к Силантию. Однако, из поверхностных, чисто нравственных побуждений он вполне искренне мучил себя и Елену о своем бывшем денщике и о том, как скверно он, Яхонтов, поступил, когда оттолкнул калеку—своего верного и преданного слугу.

Кончались разговоры о Силантии тем, что Яхонтов заявлял о необходимости разыскать Силантия. А Елену это сильно раздражало.

Был конец апреля. Пешеходы тонули в грязи. На одном только проспекте успело подсохнуть. Поэтому вечерами гуляло много народу. На мосту через Омку тоже было много, настолько много, что для того, чтобы постоять в свою очередь, облокотившись на перила, поплевать в мутную, быстро текущую воду и посмотреть, как чинятся баржи, готовясь к навигации—надо было дожидаться пока это все надоест кому-нибудь из стоявших возле перил, и он освободит место.

Яхонтову дважды в день приходилось переходить мост: на службу и возвращаясь домой. И каждый раз он ожидал, что увидит здесь Силантия. Привыкший к логическим операциям, Яхонтов пришел к такому выводу, что раз этот мост соединяет две половины города и по нему происходит все движение, то рано или поздно любой человек, если только он в городе, должен пройти через мост. Надо было только увеличить вероятность встречи. Сделав такое заключение, Яхонтов начал выходить на службу на полчаса раньше и возвращаться на час, а иногда и на два позднее. Это время он проводил или на мосту, или на крайней лавочке бульвара возле самого моста. Елене он сказал, что на службе стало больше работы.

Однажды, часов в 7 вечера, Яхонтов, пройдя мост в сторону проспекта, свернул налево и пошел по деревянному тротуару, мимо дома, где когда-то помещалась фотография. Он подходил уже к саду, как вдруг услышал за со-

бой характерное постукивание деревяшки и костылей. Сердце его заколотилось. Он сошел с тротуара к забору и стал ждать, вглядываясь.

Калека, в серой шинели и кожаной фуражке, приближался к нему. Вот он совсем близко: видна его наклоненная вперед голова и вздернутые костылем плечи, лица не видно. Проходя мимо Яхонтова, он взглянул на него, это был не Силантий. И вдруг Яхонтов почувствовал, что глубокая радость и чувство освобождения охватили его. Не понимая этого и пристыженный этим, он пошел дальше.

После этой встречи он перестал разыскивать Силантия и рано стал приходить домой. Жене он сказал, что спешные работы кончились.

Однажды после службы, несколько запоздав, Елена вошла в комнату и бросила на стол целую груду маленьких кульков. По комнате распространился хороший запах мороза и оберточной бумаги.

— Уф!—сказала она, поправляя выбившиеся из-под вязаной шапочки волосы,—устала. Это, знаешь, нам паек додали. Сахару дали!—сказала она, радуясь, как ребенок.

Он встал с кровати, подошел и поцеловал ее.

Они уж давно не ели ничего сладкого.

После обеда она сказала:

— Знаешь, что я придумала?—сегодня я решила быть женой совершенно в твоем вкусе и заняться стряпней.

— Не худо бы...

— Так слушай,—продолжала она.—Я решила сейчас сделать... тянучки!..

— С удовольствием тебе помогу.

— Ну, тогда начинаем,—сказала Елена, засучив рукава и надев фартук.—Достань-ка из шкафа молоко.

— Слушаю-с,—Яхонтов принес молоко.

— Сними со стола скатерть.

— Слушаю-с.

— Ну, вот. Теперь принеси столовую ложку, разожги примус.

— Да, я вижу, что ты, действительно, решила стать домашней хозяйкой,—смеялся Яхонтов, выполняя поручение.

Это был самый веселый вечер в их жизни. Они все время хохотали. Елена надела на своего мужа платок и фартук.

Тянучки вышли превосходные, только слишком тугие, так что с трудом их приходилось откусывать.

На примусе скипятили чай и долго пили, об'едаясь тянучками.

— Кончено! Не могу больше!—вскричала Елена, отбрасывая надкушенную тянучку.

Она встала, подошла к мужу сзади и обняла его за шею. Он взял ее руку и поцеловал.

Становилось темно.

— Зажечь огонь?—спросил Яхонтов, запрокидывая голову и глядя в лицо жены.

— М-м... Не знаю!—лукавым голосом сказала Елена, заглядывая ему в глаза. Волосы ее касались его щеки, заставляя вздрагивать.

Он развел ее руки, быстро встал и, подойдя к двери, запер дверь на задвижку. Потом он опустил занавески на окнах.

Огня они решили не зажигать...

Елена проснулась от стыда и страха. Ей приснилось, что она совсем го-

лая и много людей смотрят на нее. В просонках ей показалось, что чье-то горячее дыхание касается ее обнаженных ног. Она проснулась окончательно.

Она спала без рубашки. Одеяло лежало на полу. Ей показалось, что в комнате кто-то есть. Половицы тихо поскрипывали.

Она схватила мужа за плечо и вдруг ощутила ту особенную противную и вялую теплоту, которая так ужасает каждого, кто прикасается к телу только что умершего человека.

Елена вскочила, перебежала комнату, открыла выключатель и снова подбежала к постели.

Яхонтов был мертв. Он лежал с запрокинутой головой. Руки его застыли у горла. Кончик языка высовывался, и глаза были полуоткрыты. На белизне подушек его лицо казалось фиолетовым.

Елена, вся дрожа, кое-как оделась, бросилась к двери и толкнулась в нее всем своим телом. Дверь не подавалась. Тогда, потеряв самообладание, она закричала.

Скоро в коридоре послышался стук открываемых дверей, топот и голоса.

Кто-то рванул из коридора дверь.

— Откройте! Откройте!—стала кричать Елена.

— Закрыто изнутри,—ответил ей кто-то.

Она посмотрела и увидела, что дверь, действительно, была закрыта изнутри. Она отодвинула задвижку и выбежала, заставив расступиться стоявших возле двери.

Кто-то схватил ее за плечи, она слышала вопросы, обращенные к ней, и повторяла только одно слово:

— Убили!.. Убили!..

Женщины окружили ее и куда-то повели успокаивая.

Несколько человек вошло в комнату Яхонтова. Через несколько минут пришел комендант общежития. Тогда все, кто остался у двери, вошли вслед за ним.

Комендант подошел к трупу и потрогал.

— Да,—сказал он, отходя к столу. Постояв немного в раздумьи, он быстро вышел и спустился в нижний этаж.

Скоро заэвенел телефон.

Минут через десять комендант вернулся. Он придвинул стул к столу, сел и, взглянув на часы, стал ждать.

Прошло больше часа. Народу в комнате оставалось немного. Один-по-одному все расходились, и почти каждый, выйдя из комнаты, передергивался, не то от холода (большинство прибежало полуодетыми), не то от пережитого волнения.

Наконец, в коридоре послышались шаги и постукивания трости с резиновым наконечником.

— Сюда, доктор!—послышался голос.

Кто-то постучал.

Задремавший было комендант вздрогнул и, в один прыжок очутившись возле двери, открыл.

Высокий сутоловатый мужчина в шубе с богатым воротником, в барашковой шапке, в больших очках на длинном и остром носу, распахнул дверь, пропуская вперед себя маленького толстого человека в шляпе и тоже в очках, но с золотой оправой. В руках у первого был большой портфель и подмышкой какой-то длинный сверток, из которого торчали металлические наконечники. У второго в руке был небольшой коричневый чемоданчик.

Комендант почтительно с ними поздоровался. Он узнал обоих: высокий с портфелем был известный в городе, прославленный целым рядом удачных дел, инспектор уголовного розыска. Другой был не менее известный судебно-медицинский эксперт.

Доктор поставил на стол свой чемодан, а высокий бросил свой портфель и сверток. Потом некоторое время каждый протирал носовым платком свои запотевшие очки.

Потирая пухлые руки, доктор, сняв пальто, подошел к трупу и приступил к осмотру. Труп был голый.

— Mors,—безразличным голосом сказал доктор, взглянув на своего спутника.

Тот все еще стоял возле стола, слегка прислонившись, и осматривался вокруг.

На слова доктора он только молча кивнул головой и затем вполголоса быстро сказал что-то коменданту.

— Товарищи,—сказал комендант,—я должен попросить всех посторонних оставить комнату.

Все вышли.

В комнате остались трое: доктор, инспектор и комендант.

Пока доктор производил тщательный осмотр трупа, инспектор снял пальто и шапку и принялся осматривать комнату.

Он начал осмотр с двери, несколько раз открыл и закрыл ее, внимательно прислушиваясь. Потом осмотрел задвижку, щелкнул ею раза два и, захлопнув дверь, перешел к окнам, которых было четыре—по два на каждой стороне.

Однако, окна недолго занимали его. Он убедился, что все стекла целы, рамы двойные, и заклейка окон в полной неприкосновенности.

Когда он обошел всю комнату, внимательно осмотрел стены, пол, заглянул в шкаф, в гардероб, даже в печку,—только тогда подошел к кровати, где лежал труп. Комендант стоял у изголовья кровати и держал переносную электрическую лампу, светя доктору.

— Ну, что?—спросил инспектор доктора, поправляя левой рукой очки и вытирая платком капли пота, выступившие на кончике носа.

— Задушен,—сказал доктор.—Хрящи гортани сломаны...

— О-о!

— Да... Трупное окоченение не наступило еще. На тыле кисти и на плече следы зубов, впрочем...

— Простите, доктор, одну минуту,—перебил его инспектор.—Сейчас и я закончу.

С этими словами он вытащил из правого кармана пиджака стеариновый огарок и спички.

— Будьте добры, устройте нам полную темноту... Вот так,—сказал он, когда комендант повернул выключатели и в комнате стало темно.

Инспектор зажег свечку и принялся осматривать спинку кровати, передвигая свечу. Кровать была с пружинной сеткой, со спинкой из дутого железа.

— Есть!—сказал он, разгибаясь, и подошел к столу. Он порылся немного в портфеле и вытащил оттуда плоскую черную коробку. Затем подошел к кровати и попросил коменданта подержать свечу в том самом месте, где держал ее он.

Затем в его руках очутились стеклянная баночка с белым порошком и маленькая кисточка. Погрузив кисточку в порошок, он обсыпал затем одно

место на спинке кровати, быстро извлек из коробки гибкую полупрозрачную пленку, приложил ее к этому месту спинки и снова спрятал пластинку, в футляр.

— Ну, вот,—сказал он приподнимаясь.—Теперь нам понадобится другая крайность. Откройте, пожалуйста.

Щелкнул выключатель—в комнате стало светло.

Снова он направился к столу и, достав из портфеля небольшой фотографический аппарат, а из свертка—треножник, установил аппарат и при вспышке магния сделал снимок комнаты. Потом он установил аппарат над кроватью, об'ективом вниз, и сфотографировал труп.

— Ну, теперь кончено,—сказал он, укладывая свои приборы.—Ах, нет,—спохватился он,—экая непростительная оплошность!—с этими словами он осмотрел тщательно стол, взял с него надкушенную тянучку и, бережно завернув в несколько слоев бумаги, положил в портфель.

— Ну, теперь покажите мне,—сказал он доктору, подойдя к кровати.

Оба они склонились над трупом.

— Вот видите,—сказал доктор.—Несомненно, что никакой борьбы не было, потому что жертва находилась, видимо, в глубоком сне.

— Да,—сказал инспектор,—и рука, которая душила, была, я полагаю, не дамская ручка!..

— Да. Еще бы! Ведь сломаны хрящи. И эти следы от пальцев,—сказал доктор.

— *Следы* от пальцев не всегда—*отпечатки* пальцев!—вдруг сказал инспектор, загадочно глядя на доктора.—Посмотрите-ка—я нашел это на кровати,—он держал перед глазами доктора большой, чрезвычайно грязный носовой платок.

Доктор вопросительно посмотрел на него.

— Благодаря этой находке,—сказал инспектор,—я, несмотря на то, что здесь даже кровоизлияния от давления пальцев, все-таки не буду искать здесь *отпечатков* пальцев.

— Но почему?—все еще не понимал доктор.

— Да потому, что убийца душил свою жертву через платок...

— Да почему вы так думаете?—забывшись, крикнул доктор.

— Во-первых, потому, что этот платок принадлежит убийце!..

— Позвольте!—возмутился доктор.

— Да, убийце,—упрямо повторил инспектор.—Разве вы не видите?—сказал он, бросая платок на ослепительно белую наволочку и отгибая одеяло так, чтобы виден был такой же белизны пододеяльник. Платок казался грязным пятном на фоне постельного белья.

— Ну?! Ведь от этого платка даже дурно пахнет!—торжествующе сказал инспектор.—Неужели это не дает никаких данных для заключений? А впрочем, мы спросим хозяйку.—Скажите,—обратился он к коменданту,—нельзя пригласить сюда эту... его жену?—кивнул он в сторону трупа.

— Пожалуйста,—сказал комендант, быстро вскочив. Ему уж давно было омерзительно слушать этот спор над трупом, и он рад был уйти.

— Ну, хорошо,—сказал доктор,—допустим, что этот платок принадлежит убийце. Но, может быть, он хотел воспользоваться им, как веревкой для удушения?

— Нет, тогда бы он был в виде жгута.

— Правда,—немного смутился врач,—но почему он пользовался платком, как подкладкой?.. Неужели?..

— Да, да, совершеннейшая правда,—не дал ему договорить инспектор,— во-первых, он мог бояться, что оставит отпечатки пальцев на шее убитого, во-вторых, он боялся, может быть, что голая шея выскользнет из голых пальцев и, в третьих, из брезгливости...

— Пожалуй,—сказал доктор.

— Да, и вот почему я не стану тратить время и материалы на то, чтобы искать отпечатки пальцев преступника на шее трупа: их там не будет. А вот отпечатки зубов—это другое дело, доктор. Покажите-ка, где?

Доктор показал ему.

— Так, Ну, с этого надо слепочек сделать,—сказал инспектор.—И, знаете, для меня несколько странно, почему при наличии этих отпечатков зубов вы все-таки считаете, что борьбы не было?

— Я полагаю, что их наличие недостаточно,—сказал доктор.—Ведь его жена, лежавшая рядом с ним, хотя и у стены, все-таки, если бы происходила борьба, должна была бы проснуться. Затем—поза трупа и еще некоторые мелочи говорят мне, что убитый был застигнут в состоянии чрезвычайно глубокого сна. Я не исключаю даже возможности, что сон этот был вызван с помощью каких-либо препаратов. Во всяком случае, нападение было чрезвычайно быстрое, и задушил его, несомненно, мужчина... Впрочем, предстоящее вскрытие трупа многое нам раз'яснит...

— Так,—сказал инспектор.—Однако, с этих отпечатков необходимо все-таки слепочек сделать. А заодно и с его зубов,—показал он в сторону трупа.—Кто его знает, ведь и убитый мог отвечать своему убийце тем же, стало быть, если мы скоро найдем его, этого господина, и у него окажутся укусы...

Ну, конечно,—сказал доктор.

Инспектор достал какую-то розовую пасту, наполнил ею до краев две никелированных формочки, изогнутых наподобие ряда зубов и, подойдя к трупу, открыл ему рот и вставил формочки так, что верхние и нижние зубы по самые десна вдавились в пасту.

В это время в комнату вошла Елена, за ней—комендант.

Елена направлялась к столу, но в это время инспектор, снимавший отпечатки зубов, отодвинулся, и Елена увидела вдруг лицо мужа: синие губы были растянуты, во рту блестело что-то металлическое, зубов не было видно, а вместо них, впирали какие-то розовые валики, оттопыривая нижнюю и вздернув верхнюю губу.

Черные, еле пробивавшиеся усики, были тоже сильно растянуты, от этого рот казался большим, и казалось, что кто-то нарочно, ради глумления, сделал все это.

Она отвернулась. Доктор подошел к ней.

— Еще минуту, и мы кончим,—сказал он.

— Да-да, вот сделаю еще только слепок укуса,—отозвался инспектор, продолжая работу.

— С какого укуса?—спросила Елена.

— У него на левом плече и на руке след зубов...

Елена помолчала минуту и потом сказала тихо:

— Доктор, мне вас нужно на минуту.

— Пожалуйста,—также тихо сказал врач.

Они вышли в коридор.

Когда они вернулись, щеки Елены горели, а врач с трудом сдерживал улыбку.

— Знаете, уважаемый коллега,—обратился он к инспектору,—не надо делать слепков... Не надо,—повторил он, глядя многозначительно на инспектора.

— А... хорошо,—сказал инспектор.—Тогда мне остается только продактилоскопировать труп.

С этими словами он принялся смазывать пальцы трупа чем-то черным, затем под каждый палец подводил кусочек картона и таким образом снял отпечатки с каждого.

— Ну, теперь все,—сказал он отдуваясь.—Теперь попишем немного,—сказал он, обращаясь к доктору.

Оба они уселись за стол. Инспектор вынул из портфеля бумагу, две ручки и герметически закрытую чернильницу, и они оба принялись писать. Потом, по их просьбе, комендант поставил свою фамилию под их протоколами.

После этого они перешли к допросу.

Комендант сообщил все, что он знал, как лицо официальное, относительно Яхонтова.

— Более подробные сведения могут сообщить вам в губчека, как о бывшем белом офицере, и на месте его службы,—закончил комендант.

Перед тем, как допрашивать Елену, инспектор отошел с комендантом в сторону и долго говорил с ним.

— Ах, вот как?—сказал под конец разговора инспектор.—Помогала в девятнадцатом году? Так... Спасибо за информацию. Однако, здесь мы и без того ограничимся только формальностью. Работа-то мужская,—показал он глазами на труп... Вообще, теоретически говоря, здесь мог бы итти вопрос только о соучастии... Но...—он сделал неопределенный жест и отошел к столу.

После официальных допросов об имени, звании, возрасте, профессии, партийности и т. п., он задал ей всего лишь несколько вопросов.

— Вы—жена убитого?

— Да.

— Скажите, вы не слыхали ни борьбы, ни шума, ни сотрясения кровати?

— Нет, ничего.

— Вы спали с краю кровати или у стены?

— У стены.

— Скажите, проснувшись, вам не показалось, что в комнате кто-нибудь есть?

— Да, я, просыпаясь, почувствовала, как чье-то дыхание коснулось моих ног. Но, я не уверена... Вообще мне казалось, что в комнате кто-то есть.

— Вы не помните, чтобы кто-нибудь выбежал вместе с вами из комнаты?

— Нет.

— Дверь в коридор была, конечно, открыта?

Нет. Была закрыта изнутри на задвижку. Я это помню хорошо,—сказала Елена.

Инспектор взглянул на доктора, во взгляде этом мелькнула растерянность.

— Вы это твердо помните?—переспросил он.

— Да. Потому что, когда я стала стучать в дверь, не заметив, что она закрыта с моей стороны, мне кто-то из коридора крикнул, что она закрыта из комнаты, я отодвинула задвижку и выбежала.

— Так... Вы слышали?—вполголоса спросил инспектор, нагнувшись к доктору.

Тот кивнул головой.

— Хорошо,—сказал инспектор.—Теперь я должен буду обратиться к вам с просьбой припомнить, не было ли у вашего мужа врагов... не было ли каких-нибудь неприятных встреч, столкновений?..

Елена молчала.

— Должен вас предупредить, что полная откровенность в этом деле совершенно необходима,—сказал инспектор.—Не бойтесь, в наши дни в таких делах судебных ошибок не бывает. Опрометчивости здесь не бывает. Поэтому вы можете смело сообщить нам даже малейшее ваше подозрение, не боясь повредить кому-либо.

Тогда Елена рассказала про встречу Яхонтова с Силантием на мосту.

Наконец, ей был пред'явлен платок. Она сказала, что это—чужой. После этого ее отпустили. Она ушла.

— Ну, теперь я имею несколько вопросов к тем, кто явился в числе первых к месту преступления,—сказал инспектор, обращаясь к коменданту.

— Хорошо,—сказал тот и вышел.

Было допрошено еще два или три человека из жильцов. Интересного они ничего не сообщили. Все они проснулись от женского отчаянного крика и, выбежав в коридор, поняли, что крики идут из комнаты Яхонтова. Кто-то стучал в дверь изнутри. Они пробовали открыть снаружи, но это не удалось, тогда один из них крикнул: откройте! заперто изнутри! Дверь открылась, и растрепанная женщина выбежала.

Спрошенные о том, как жили между собой Яхонтов и Елена, все показали, что это была очень дружная чета.

— Так, скажите, вы все время после этого оставались тут?

— Да.

— И в то время, как открылась дверь, и эта гражданка выбежала, и потом никто из комнаты, кроме нее, не выходил?

— Нет,—показал каждый из допрашиваемых.

— Ну, кажется все,—сказал инспектор, вставая, когда покончено было с допросом и протоколами.—Труп придется доставить к вам в секционную?—спросил он доктора.

— Да.

— Тогда придется опечатать комнату,—сказал инспектор коменданту.

Это было сделано...

На улице, усаживаясь на извозчика и застегивая полость саней, агент сказал:

— Вы видите, какая чертовщина, —главное, дверь-то была закрыта изнутри... Как мог проникнуть в таком случае преступник? Я, право, не понимаю... Во всяком случае, считать ее совершенно свободной от подозрения... о, нет! Пусть, как хотят!.. Конечно, особенно тревожить мы ее не будем... Относительно же денщика, про которого она рассказывала, так чорт его знает! На костылях, с деревянной ногой и без сообщничества,—что-то слишком странно... Вообще, знаете, мы с вами ни разу еще не работали вместе в подобном деле: чортовски темное и гнусное дело!..

— Ну,—сказал доктор,—ваша репутация служит нам полной гарантией...

— Ну-ну...—сказал инспектор.—Боюсь я, что в таком деле увязнет любая репутация!..

Конец второй части.

АЛ. ДАВУРИН

За кругом

1. Договор в пивной «Порт-Артур».

Августовский вечер был холоден и ворчлив. Чуть слышно звучало за спущенными шторами дыхание дождя. Я снял абажур с лампы, поднялся со стула, сделал несколько бесцельных шагов по комнате. Деревянная нога моя глухо стучала по полу. Зеркало на стене отразило мою фигуру. Иногда странным кажется свое изображение. Что-то необычное почудилось мне в этой фигуре, слегка сгорбленной, с рукой, постоянно опирающейся на палку, что-то новое и в то же время слишком знакомое в потертом френче, на котором скромно блестел орден Красного Знамени. Я подошел ближе к зеркалу, вгляделся в свое лицо. Морщины у глаз и на лбу, глубокая складка у рта, поседевшие виски... Как быстро проходит время!..

В комнату вошла жена. Мягкие шаги ее звучали ласково. В черных волосах с обидной, ненужной резкостью блестела седая прядь. Но это не от времени. Ведь она еще так молода!

— Я услышала, что ты бросил работать.—Она медленно опустилась на диван.—Какой резкий свет! Закрой, пожалуйста...

Я вновь накрыл лампу абажуром. Лицо жены скрылось в тени, но маленькие руки ее были освещены ярко, и я увидел, что они сжимают какой-то листок бумаги.

— Видишь ли,—отведя в сторону свою деревянную ногу, я уселся рядом с женой.—Мне захотелось света.. И работа не клеится... Вспомнилось почему-то прошлое, наша жизнь на фронте...

— И мне.

— Да? Не странно ли?..

— Я рылась в твоем старом чемодане. Среди трубок, кобур, кисетов, ржавых шпор и всякого хлама я обнаружила там целый архив—письма, предписания, наброски для памяти... Ты не сердишься ли за то, что я рылась там?

— Нет, конечно. И это... что у тебя в руке... реликвия?..

— Да, но особого рода. Это очень странный документ, если можно его так назвать. Как мог ты забыть о нем?

— Что же это?..

Вероятно, на моем лице отразилось беспокойство. Жена посмотрела на меня и громко рассмеялась.

— Послушай же, я тебе прочту,—она подсела к лампе и развернула бумагу:—слушай внимательно.

28 июня 1912 года, мы, нижеподписавшиеся, собравшись в задней комнате пивной «Порт-Артур», что на углу Измайловского и 5 роты, и, обсудив обстоятельства исчезновения Георгия Тихоновича Ларионова и

смерти его невесты Ирины Саввишны Галкиной, заключили клятвенный договор в следующем:

Ровно через 15 лет, т.-е. 28 июня 1927 года, мы все, где бы ни находились, должны встретиться в городе Санкт-Петербурге на варшавском вокзале в 10 часов вечера. Уйдя в подходящее место, мы проведем ночь в том, что каждый из нас расскажет самый значительный эпизод из своей жизни. Все, рассказанное на этом собрании, дальнейшему оглашению не подлежит.

Подписано: Егоров. Алексей Панелин. Г. Абраменко. Давид Шульц Ф. Ятонис. Сергеев К. Ф.

— И еще одна подпись неразборчивая. Все.

Жена положила бумагу на стол и с любопытством посмотрела на меня.

— Твоя подпись первая,—заключила она.

— Да.

Я медленно достал папиросу и закурил.

— Признаться, я и забыл об этом. Но сейчас вот сразу все вспомнил.

— Об'ясни, пожалуйста.

Я сделал несколько глубоких затяжек.

— Какого числа там написано?

— Двадцать восьмого июня, двенадцатого года...

— Именно тогда, повидимому... когда мы собрались по обыкновению в пивной... Нас было...

— Семь человек.

— Мы говорили о Ларионове...

— Об исчезновении Ларионова и смерти Галкиной.

Я засмеялся.

— Ты даже не заглядываешь в бумагу. Наизусть знаешь?

— Я прочла ее трижды,—улыбнулась жена:—она возбудила мое любопытство.

— Мы говорили о смерти Галкиной. Произошло это несколько своеобразно. Тут мне пришла в голову идея... Это моя идея...

Жена кивнула головой.

— Идея, заключавшаяся в том, чтобы всем встретиться, спустя много лет.

— Забавно. Какое же это имеет отношение к исчезновению Ларионова?

— Постой... Ларионов... Конечно, я это представляю себе совершенно отчетливо, тем более, что я сам присутствовал при этом. Пожалуй, я расскажу тебе...

Я встал и, медленно ковыляя, прошел по комнате. Привычка эта осталась у меня еще с той поры, когда у меня были настоящие, здоровые ноги.

— В те времена,—начал я, снова садясь,—студенты больше волновались по поводу неразрешенных половых проблем, нежели из-за социальных несправедливостей. Это было время глубоко вкоренившейся реакции. Наша группа не избежала общей участи, хотя жизнь наша и не принимала тех уродливых форм, какие не редки были среди студенчества. Мы основали общество под названием «Хочу жить». Это двусмысленное название не должно тебя тревожить. Ничего дурного мы не делали и очень неясно себе представляли, как собственно мы хотим жить. Нас было много, но особенно сблизились и встречались почти ежедневно человек восемь.

— Те, что здесь... подписались?

— Да. И еще Ларионов.

— Мужская группа.

— Случайно, конечно. А может быть и оттого, что мы уж очень привыкли пить пиво по вечерам в разных темных местах. Впрочем, женщины постоянно были в кругу нашего внимания, и в обществе «Хочу жить» их было несколько.

— И Галкина?

— Да. Время от времени мы устраивали рефераты на всевозможные темы, загородные прогулки, вечера с выпивкой. Одним словом, это была довольно хаотическая и беспринципная организация. Нас об'единяло, главным образом, желание быть на людях, иметь местечко, куда можно было завернуть вечерком. Этим и держалось все общество, имевшее, впрочем, свой устав, председателя, конспиративные квартиры, опасавшееся, как полагалось, полиции, потому что в то время даже безобидная и глупейшая организация могла быть сочтена опасной. Если посмотреть на все это теперь, сквозь дым войны и революции, просветленными, знающими глазами, не трудно понять, что большинство из нас состояло из буржуазных сынков.

— Я уже поняла, милый... Но ты ведь не буржуазный сынок?

— Нет, конечно... И некоторые другие. Но направление мыслей было у всех общим. Мы были в идейном или, вернее, безыдейном плену у большинства Впрочем, все это не к делу. История Ларионова такова: был он щуплый, низкорослый блондин, медик четвертого курса. У него была такая же мания, как у многих из нас. Именно, каждый старался выдумать что-нибудь свое, оригинальное... Трое из нас изобрели собственные религии со своим измышленным ритуалом и серьезно поклонялись изобретенному божеству, один занимался сочинением нелепых парадоксов уайльдовского типа, щеголяя ими в своей речи и приводя в изумление слушателей. Ларионов изобрел систему этики, касаясь, главным образом, половых отношений. Я не помню всей белиберды, на которой была построена его система, но в общих чертах дело сводилось к тому, что половой аскетизм сам в себе заключает высшую форму половой удовлетворенности. Психопатолог, конечно, без труда доискался бы до корней такой философии и нашел бы ей об'яснение в извращенности и, быть может, органических недостатках самого изобретателя, но мы не задумывались над этим Мы серьезно выслушивали его рассуждения о гибельности для духа и низости половых сношений, вступали с ним в горячие споры, постоянно смеялись над его теорией, но относились с уважением к нему за искренность и горячность, даже талантливость, с которой он защищал ее и на деле следовал ей. Впрочем, водку он пил, хотя большей частью и отказывался от наших попоек, зная, что они обычно кончались поездкой к женщинам.

— И часто?..

— Постой, не сбивай меня... Самое интересное было в том, что у него была невеста. Не знаю, она ли подействовала на него, толкнув его на изобретение дикой философии, он ли ее заразил своими рассуждениями, но только парочка эта подходила друг к другу, как сахар к чаю. Галкина... как бишь ее...

— Ирина Саввишна.

— Вот-вот... Ирина... Она была очень миловидная, пряма, бледна. Глаза ее, большие, широко открытые, смотрели серьезно, не улыбаясь. Даже самые забубенные и дерзкие из нас терялись и смирели в ее присутствии. Ларионов и Галкина вели между собою нескончаемые разговоры о всевозможных вещах, обо всем, кроме их любви, кроме любви вообще. Говорили, что они никогда не целуются, корректно раскланиваются при встрече и прощании. Это заметили даже, когда они были вдвоем. К своей будущей женитьбе они относились, как к чему-то неизмеримо далекому, находя странное удовольствие в чопорных своих отношениях. И вот с ними-то и произошла очень странная история.

Я зажег потухшую папиросу. Жена сидела, опершись на руку, смотря на меня неподвижными, слушающими глазами. Дождь застучал сильнее. Звуки мотора прорывались сквозь закрытые окна.

— Летом как-то пригласил меня Ларионов к Галкиным погостить. Жили те в деревне близ Колпино, и семья их состояла из старухи-матери и Ирины. Я сначала отказался, но Ларионов убедил меня, что мне будут рады. Так как пожить в деревне мне хотелось, я согласился.

Я опущу все подробности моего пребывания в этом невероятно скучном и безжизненном обществе. Мать с утра до вечера занималась хозяйством, а мы втроем читали, спорили, играли в крокет, строили голубятню, даже раскладывали пасьянсы. Странная эта была у них любовь. Я не чувствовал себя лишним. Они, повидимому, даже не искали уединения.

Однажды мать Ирины попросила нас, мужчин, сложить дрова. Мы с Ларионовым взялись за это дело и покончили с ним за несколько часов. Дров было около десяти саженей, и мы уложили их двумя высокими штабелями, между которыми получился длинный и узкий проход. Нас похвалили за усердие и изящество, с которым мы воздвигали дровяные громады.

В тот же вечер мы, как всегда, пили чай в саду. Вечер был безветренный, душный. Бледное северное небо скупо блестело над садом. Мы молчали. Непривычная физическая работа днем, духота, присутствие матери Галкиной, впрочем, задремавшей в гамаке,—все это больше располагало к молчанию. Ирина, облокотясь на спинку стула, всматривалась в темнеющую глубину сада и тихо напевала что-то. В этот момент и пришел монах.

— Черный монах?..

— Ну-ну...—возмущенно засмеялся я,—не думаешь же ты, что я сочиняю, да еще не брезгаю плагиатом? Нет, это был монах скорее серый и притом самый настоящий, кряжистый, с рябым лицом и мясистым носом. Я и сейчас хорошо представляю себе это отвратительное лицо. Он пришел просить подаяния на храм. Галкина-старуха дала ему грош и попросила убираться поскорее.

— Отец,—спросила Ирина,—вы как же сюда попали?

Надо тебе сказать, что этот вопрос был довольно резонный. Мы сидели в глубине сада, позади дома и обширного двора перед ним. В доме не осталось ни одного человека, который мог бы указать, где мы были.

— Пути господни,—вздохнув, ответил монах и еще что-то наговорил, очень божественное и глупое.

— Я провожу вас,—вставая, сказала Ирина.

— Сам-то он дороги что ль не найдет,—недовольно проворчала мать.

— Я провожу вас,—повторила Ирина.

Они пошли вместе и сейчас же скрылись в темноте. Ларионов зевнул, заскрипел стулом и сказал ни к чему:

— Мм-да...

Мы оба расхохотались.

— Завтра еду,—тихо сказал я ему.

— Надоело?—так же тихо спросил он.

Я кивнул головой. Ларионов, тихо насвистывая, раскачивался на стуле. Лунное зарево пробивалось сквозь густую листву. Вдруг раздался грохот. Мы оба вскочили и посмотрели друг на друга растерянно.

— А я вам скажу, что это,—приподнявшись в гамаке, сказала старуха Галкина.—Это ваши дрова завалились.

Мы весело побежали смотреть на печальные плоды своих трудов. И точно: обвал был сокрушительный. Вместо двух стройных штабелей, в углу двора возвышалась бесформенная дровяная куча.

— Шалишь, завтра не отпущу,—смеясь хлопнул меня по плечу Ларионов.—Завтра сначала начинать.

Мы медленно вернулись в сад.

— Завтра настроим, матушка,—не унывал Ларионов.

— Ладно уж...—ответила только старуха, встала с гамака и побрела к дому.

Мы вдвоем сидели молча. Спустя минут пять, старуха опять пришла.

— Ирина-то где же?..—в голосе ее было беспокойство:—в доме нет...

— С монахом на улицу должно быть вышла.

— Нету. За воротами на лавочке девочки соседские сидят. Говорят, не выходили.

Смутное беспокойство сразу же шевельнулось у меня, но я сказал насмешливо:

— Не взял же ее монах с собой на небо?.. Шалость какая-нибудь. Через забор полезла. Лежит где-нибудь в саду.

— Через забор!—укоризненно покачала головой старуха.

Она ушла, и мы опять остались вдвоем. Ларионов усиленно курил, оглядывался по сторонам, всматривался в темноту. Так прошло с полчаса.

Я встал. Ларионов поднялся вслед за мной. При свете луны, высоко поднявшейся над головой, мы смотрели друг на друга, пораженные одной и той же мыслью.

— Но как они могли попасть туда?—прервал я молчание.—Дрова в углу, в стороне от калитки.

И тут опять пришла мать и сказала дрожащим голосом:

— Дрова...

— Что?..—крикнул Ларионов?.

— Я не знаю, но... –старуха дрожала,—но на всякий случай разберите кой-какие поленья.

Мы побежали из сада, обогнули дом и опять стали возле дровяной кучи.

Неверно освещенная луной, она казалась призрачной и страшной.

— Давай!—крикнул Ларионов и первый стал отбрасывать далеко в сторону поленья. Я стремительно последовал его примеру.

Тяжело дыша, не обмениваясь ни словом и не замечая усталости, мы с лихорадочной быстротой делали свое дело. Из дому старуха вынесла фонарь. Она стала позади, высоко держа тусклый садовый фонарь дрожащею рукой. При жалком его свете вся наша группа напомнила мне средневековых гробокопателей. Это чуть не вызвало у меня приступ смеха, но я подавил его с ужасом.

И вот я почувствовал, что захваченное мной в полутьме полено не поддается моим усилиям, и почти в то же мгновение я увидел, что это не полено, а нога. Нога, обутая в сапог, выглядывавшая из-под горы еще неразобранных дров.

— Сюда!.. вот...—крикнул я, и они оба бросились ко мне.

С нечеловеческой быстротой мы разбросали дрова по сторонам.

— Это был монах?—спросила жена.

— Он, конечно. И Ирина. Они были раздавлены и мертвы. Я помню, что взял фонарь из руки старухи, чтобы лучше рассмотреть тела. Самое интересное было во взаимном положении тел. Оно показывало с очевидностью, что обвал дров застиг их в момент полового сношения.

— О!..

— Я стоял несколько минут в оцепенении. Ни стона, ни звука не раздалось за моей спиной. Когда я оглянулся, я увидел, что старуха сидит на дровах

и бормочет что-то несвязное. Ларионова не было. Он исчез в тот момент, и с тех пор никто из нас его никогда не видел.

Я подошел к окну и отодвинул штору.

— Дождя уже нет...—сказал я.—Вот и вся история. Когда мы собрались в пивной, и я рассказал подробности случая, было высказано множество предположений, и остроумных и нелепых. В общем мы пришли к заключению, что случай загадочный и трагический, а Панелин высказал мнение, что в жизни каждого человека бывает по крайней мере один трагический случай, и что нам следовало бы на этой основе выдумать какое-нибудь таинственное сообщество. Вот тут я и сделал свое предложение о клятвенном договоре.

— Которого никто из вас не выполнил.

— Понятно,—возразил я.—Нам остается лишь подсмеиваться над фантазиями нашей «устаревшей» юности.

Жена помолчала несколько минут, рисуя что-то пальцем на сукне стола. Потом сказала тихо:

— Как все это далеко от нас!

— Что далеко?

— Все это... Новоизобретенные религии, доморощенные системы нравственности, оригинальничанье, мистичность какая-то, одиночество духовное,— все то, что было там у вас... Это далеко от нашего времени, странным нам кажется, не только смешным и глупым, но даже... гадким.

— Похоже, что ты права.

— Знаешь ли ты кого-нибудь из них теперь?—спросила жена.

Я взял со стола листок и просмотрел его.

— Егоров—твой покорнейший слуга. Алексей Панелин—живет где-то на Выборгской стороне (я встречаю его изредка), нелюдим, производит впечатление полупомешанного. Абраменко—бывший белый офицер, ушел за границу, где он теперь,—неизвестно. Давид Шульц—художник, живет в Симферополе. Ф. Ятонис—исчез с моего горизонта в 16 году, уехал в Минск с женой, там, вероятно, и теперь. Сергеев—бывший атаман одной из самых свирепых банд, сейчас его судит военный трибунал...

— Что ты?..—удивилась жена.—Так это тот самый Сергеев?..

— Он самый. Полагаю, ему не избежать расстрела. Тут есть еще один — Тамарин. Ты его фамилии не разобрала. Он умер в 20 году от тифа.

Жена посчитала по пальцам:

— Егоров, Панелин, Сергеев, Ятонис, Шульц. Однако, пятерых можно при желании отыскать, считая в том числе и тебя.

— А ты хотела бы их отыскать?

Она улыбнулась.

— Ты получаешь отпуск на будущей неделе, и мне пришло в голову, что этим стоит заняться. Тебе не кажется любопытным узнать, что сталось с группой студентов определенного типа, и какие именно случаи кажутся им самыми значительными в жизни?

— Это, пожалуй, будет трудновато, —пробормотал я.

— А меня бы это очень заинтересовало...

Я посмотрел на жену и засмеялся:

— Ладно. Давай возьмемся за это вместе. К Панелину и Сергееву я попытаюсь зайти, а Ятонису и Шульцу напишу. Тебе хочется любопытных историй?

— Не смейся,—сказала жена.—Женское ли любопытство во мне говорит, любовь ли к романтичности или что-то другое, но, право же, это кажется мне имеющим свой смысл. Начнем же. Напиши им сейчас же...

Я уселся за стол, и мы вместе с женой принялись сочинять письма.

II. История атамана.

— Вы хотите видеть Сергеева?—удивился прокурор.—Зачем?

Я рассказал ему о нашем знакомстве в студенческие годы и прибавил:

— Может быть, то, чего он не договорил на суде, он расскажет мне в частной беседе.

— Это не имеет уже значения,—сухо ответил прокурор.—Вы знаете, конечно, что Сергеев приговорен к высшей мере наказания?..

— Да, я читал сегодня об окончании процесса. Я согласен, что моя беседа с ним не будет иметь юридического значения, но она представит интерес психологический.

Прокурор пожал плечами и улыбнулся.

— Хорошо.

Я вышел от него с ордером, разрешающим мне свидание, и через час, после ряда формальностей, сидел в узкой тюремной приемной.

Комната была, видимо, недавно отремонтирована. Пахло свежей краской и сыростью. Длинные желтые скамьи с расшатанными спинками стояли вдоль серых стен и казались мне одушевленными, притворно-мертвыми существами. В единственное высоко вделанное окно, забранное редкой решеткой, тянулся зеленоватый ненастный день.

Я насторожился, услышав шаги. Дверь открылась, и в комнату вошел конвоир, за ним высокий и худой, крепко ступающий человек, в котором я не сразу узнал Сергеева, а за ним еще один конвоир.

Они все остановились резко посреди комнаты. Я привстал.

— Господин Сергеев. Я пришел к вам для небольшой личной беседы. Мы были с вами знакомы когда-то...

Сергеев скользнул взглядом по моей деревянной ноге и ответил, видимо, не узнавая меня:

— Пожалуйста.

Мы сели с ним на скамью. Оба конвоира, зажав винтовки между коленями, уселись у противоположной стены.

— Я—Егоров.

— Да?—выжидающе спросил Сергеев.

— Егоров, Константин Дмитриевич. Вы помните общество «Хочу жить»?

Сергеев смотрел на меня несколько секунд пристальным, медленно вспоминающим взглядом. У него были светло-серые со слегка воспаленными веками глаза, обросшее колючей бородой лицо, подвижной лоб, жесткий, резко очерченный подбородок.

— Хочу жить...—пробормотал он.—Но это кажется... что-то... лет двадцать тому назад.?..

— Пятнадцать,—поправил я.

— Что-то смешное... Не вижу...

— Да-да...—прервал я его.—Но в каждом из нас осталось не мало ребячества. И во мне в том числе. Вы не помните, конечно, договора, который мы заключили в пивной «Порт-Артур»?

— Нет... Мы с вами?..

— Мы всей группой...

И я напомнил ему обстоятельства дела.

Он оживился.

— По совести сказать, я ничего не помню о договоре. Но общество «Хочу жить» я вспомнил. Да, это было славное время. И вас хорошо помню. Так, вы говорите собрание?.. Ну, конечно, я не могу быть на таком собрании... Вы думаете, ВЦИК не помилует меня?..

Я смутился слегка.

— Надеюсь, что...

— Я уверен в этом. Ведь я сам явился с повинной. Десять лет лишения свободы неминуемы?.. Или пять, как вы думаете?..

— Возможно.

— Да. Так или иначе... ну, хорошо... Сколько времени дано на свидание?

— Один час.

— Как мало!..

Он задумался, смотря в угол. Лицо его приняло не то грустное, не то жестокое выражение. Конвоиры неподвижно сидели на своих местах, продолжая сжимать винтовки. Вокруг было тихо настоящей тюремной тишиной.

— Я расскажу вам,—медленно сказал Сергеев, не отрывая глаз от угла,—самый трагический случай из моей жизни.

Он опять помолчал, потом с'ежился на скамье, поставил на нее ногу, обнял ее обеими руками и, прижавшись подбородком к колену, начал:

— Дело было в 19 году, в июле пожалуй. Вот тогда-то я и ушел на фронт с Интернациональным полком. Красная армия внушала мне ужас, но я принужден был добровольно вступить в нее, чтобы избегнуть мести бывших моих солдат и личных врагов. Я скрыл свое офицерское звание и был назначен переписчиком в штаб полка. За день до выступления в поход я пришел к Наташе. Она была дочерью железнодорожного мастера и жила с отцом в поселке близ вокзала. Полгода тому назад она стала мне женой, но вызванные революцией потрясения, частая смена власти, необходимость скрываться и жить каждый месяц на другой квартире не позволяли нам зажить вместе.

Мы провели вечер вдвоем с Наташей. Говоря правду, мне не нужно было победы ни красных, ни белых. Я был довольно безразличен политически и без того устал от трехлетнего участия в германской войне. Единственное, чего мне хотелось в тот вечер—тишины загородного домика, огорода, успокоения во всем мире и Наташи... Наташи возле меня! Кой чорт выдумал эту дурацкую гражданскую войну?..

— Вернись героем,—смеясь и плача, прошептала Наташа, когда я уходил, и прибавила тихо:—Береги же себя!.. И меня...

На следующий день полк вышел из города. С первого же дня похода я почувствовал ненависть ко всему меня окружавшему. С тайной надеждой я прислушивался к разговорам о приближении Деникина и Петлюры. Я выбирал момент, чтобы исчезнуть из полка, переждать день-другой в удобном месте и присоединиться потом к белым. Но мне не повезло.

Однажды ночью штаб получил неожиданное известие: Киев был занят деникинской армией. Я оказался отрезанным от Киева двойной линией фронта.

Днем я был погружен в свою отвратительную канцелярскую работу. Ночью, лежа на полу в какой-нибудь хате или теплушке, рядом с шумно дышащими, потными и грязными людьми, сам грязный и страдающий от духоты, насекомых и бессонницы, я проводил долгие часы в обдумывании планов бегства из полка, в безнадежных и страстных мыслях о Наташе, о жизни с ней в каком-нибудь очень спокойном, солнечном и живописном месте. Реальные планы и несбыточные мечты переплетались каждую ночь в моем возбужденном мозгу до того, что я сам потерял чувство реальности. Мысли эти начали преследовать меня и днем. Я бессмысленно водил пером по бумаге, отдаваясь своим сладким, ненужным и раздражающим мечтам. Да, оказывается, я был мечтатель. Просто маленький мечтатель, сантиментальный и тихий человек, которому так немного нехватало для полноты счастья. Весь мир мог провалиться в тартарары—это меня не сдвинуло бы с места. Но судьба приготовила мне иное..

Случай представился. Я заболел инфлуэнцой, и врачу пришло в голову поместить меня в больницу местечка Б., что в 50 верстах от Киева. Болезнь моя прошла в течение трех дней, но я решил оставаться в больнице до изгнания красных из всего района.

Дни шли за днями, а белые все не приходили.

Наконец, я не выдержал. Поддавшись раздражению и какому-то внезапному порыву, я об'явил себя здоровым, собрался в полчаса и вышел из больницы. Я не знал еще, что буду делать, но трехнедельное пребывание в больнице развинтило и истощило меня в такой степени, что я едва стоял на ногах. Пахучий и влажный воздух осени кружил голову, и все окружающее казалось мне в одно и то же время и слишком ярким, и подернутым каким-то дрожащим дымом.

У встречавшихся красноармейцев я спрашивал, где Интернациональный полк. Все указывали в сторону Киева. Верстах в десяти от города—фронт! Мне не верилось, но я все же пошел, сам не зная, действительно ли я ищу полк, или просто двигаюсь ближе к Киеву. К вечеру второго дня я пришел в местечко В. Повидимому, дальше итти было нельзя. Здесь уже отчетливо была слышна пулеметная и ружейная перестрелка. Я решил заночевать. Хата, в которую я зашел, напоминала скорее дачный, чем деревенский дом. Население его состояло из полдюжины детей, четырех женщин и старика-хозяина. Они приняли меня радушно, но накормить ничем не могли. Все они голодали вторую неделю. Мне достаточно было одного взгляда на мертвенно бледных, неподвижных, явно истощенных детей, чтобы поверить этому. Оказалось, что старик не крестьянин, а дачевладелец. Зимой он промышлял извозом дров, а летом сдавал свои две комнаты дачникам из города. Был он единственным русским среди украинского населения местечка.

Мне была предоставлена жесткая расшатанная кровать. Я растянулся на ней с твердой мыслью двинуться с раннего утра к фронту и, под предлогом поисков полка, перейти линию и попасть к белым.

Я заснул с последней мыслью о Наташе и с ощущением необычного и очень приятного жара в теле. Но уже ночью, проснувшись в этой новой, хриплой и тяжелой тишине, я понял, что план мой придется изменить. Невыносимый сухой жар, горький вкус во рту, дрожь во всем теле и давящая тяжесть в голове неумолимо говорили о болезни.

— Хорошо, если это инфлуэнца,—подумал я,—а что, если тиф?..

Утром я долго лежал без движения. Вся семья жила в кухне, где было теплее, и оттуда ко мне доносились тихие голоса, причитания женщин и безостановочные шаги старика-хозяина. Потом он вошел ко мне и стал так же молча ходить по комнате.

— Хозяин,—сказал я, с трудом поворачиваясь в постели и удивляясь сам своему новому, бесцветному голосу.—Заявите, что у вас лежит больной красноармеец. Пусть меня отправят куда-нибудь.

Он подошел к кровати, сел на табурет, склонился низко надо мной.

— А вы... простите... вы не дезертир?..

— Я—дезертир,—не успев подумать, ответил я.

Он помолчал немного, покачал с сомнением головой, сказал ласково:

— Что-то будет... Лежите уж... Поправитесь.

— У меня, может быть, тиф... Я вас заражу... Да и есть вам нечего.

— Бог милостив. А заявлять некому... Все ушли из местечка.

— Назад?—спросил я с тайной надеждой.

— Вперед,—коротко ответил он.

— Вас как зовут?

— Никита Иваныч.

— Да. Никита Иваныч, у меня есть куча советских денег. Как жаль! Не знаю, чем помочь вам.

Он ушел из комнаты, пошептался там с кем-то, вернулся.

— Давайте ваши деньги. Дочь Прасковья...

— Ну?

— Она поедет в тыл, верст за пятьдесят. Поезда уже ходят. Там накупит чего-нибудь.

Днем я лежал, устремив глаза в стену. У меня не было ни желаний, ни мыслей. У меня не было даже ощущения самого себя. Но ночью, вместе с возросшим жаром, со странными очертаниями предметов в темноте, странно измененными больным воображением ночными звуками приходила какая-то страстность, ярко ощутимое, почти осязаемое чувство страдания. Мне казалось, что меня распинают, что я единственный являюсь искупительной жертвой за все грехи мира и, разметавшись на постели, я говорил что-то убеждающим, молящим и угрожающим голосом. В то же время мысль о Наташе не покидала меня никогда. Действительно ли я любил ее так сильно, или болезнь, одиночество и страдания внушили мне сознание, что она для меня—все ценное, все прекрасное, что есть на свете, как знать?

Спустя два дня, приехала Прасковья. Ей удалось купить небольшой мешок муки и фунт масла. Но и это было праздником для семьи.

Однажды я сбросил с себя одеяло и стал осматривать свое тело. Мне показалось, что на теле у меня сыпь, и я решил, что болен сыпным тифом. Так шли дни, сознание мое все больше затуманивалось, и, наконец, я впал на несколько дней в совершенное беспамятство.

Очнувшись, я прежде всего почувствовал какое-то спокойствие, приятную слабость и прохладу во рту. Возле меня стоял Никита Иваныч.

— Ну, и ладно,—сказал он, увидя, что я пришел в себя.—Лежите спокойно.

Я собирался с мыслями долго, потом спросил:

— Я был без памяти?

— Да.—Он потрогал рукой мой лоб.—Температура упала. Кризис.

Я долго лежал, смотря широко открытыми глазами в потолок.

— Холодно на дворе?

— Снег уж.

— Рано. Октябрь.

— Нет, уж ноябрь. Второе число.

Ноябрь! Внезапная мысль врезалась в мой мозг. Я вспомнил, что двадцатое ноября—день рождения Наташи, и я тут же решил, что буду в этот день с ней во что бы то ни стало.

Спустя час, Никита Иваныч дрожащим голосом сообщил новость: единственная его лошадь, на которой он когда-то возил дрова в город, легла и не подымается. На семейном совете решено было убить лошадь, пока она не издохла. Как ни ужасна была потеря коня, но все с явным наслаждением говорили о вкусе мяса. О, теперь мяса будет много!

Я пролежал еще три дня, потом попытался встать. После двух шагов, сделанных по комнате, я упал и сам испугался своей слабости. Меня оттащили на постель и стали растирать. Прошло еще несколько дней. Единственной нашей пищей все это время было конское мясо.

— Никита Иваныч,—сказал я.—Мне надо в Киев. Во что бы то ни стало надо...

Он молчал, поглаживая бороду.

— Я завтра пойду. Вы здешние места знаете. Укажите, как итти?

— Вам бы с Прасковьей...—тихо сказал он.—Пройдете. Обходом надо итти. Сосед вот недавно ездил. Можно, говорит. Пропускают, которые крестьяне.

— Ну, вот...

— Только завтра не пойдете... Слабы уж очень.

— Пойду,—упрямо повторил я.

Я уже ходил, пошатываясь по комнате. Слабость, действительно, я чувствовал необычайную, но мне казалось, что она пройдет, как только я выйду из дому.

— А сколько обходом?

— Верст тридцать... Вот и сапоги у вас худые...

Я посмотрел на свои рваные сапоги, брошенные в угол.

— Ничего это. Солдат все выдержит.

На дворе лежал талый, непрочный снег. Густой воздух, окрашенный в молочно-синеватый цвет, стоял перед окнами, вздрагивая от дальних выстрелов. Сухие сучья и щебень были разбросаны по двору.

Я уговорился с Прасковьей, и мы решили итти вместе. Было 9 ноября. Возбуждение и под'ем я чувствовал весь день, но вечером... мне положительно не везло. Вечером у меня опять появился жар и все знакомые ощущения недавно прошедшей болезни.

— Нет,—думал я ночью, стуча зубами, укрытый шинелью и тулупом Никиты Иваныча,—теперь видно, что у меня не сыпной, а возвратный тиф. Но двадцатого ноября я буду в Киеве. Я буду. Я пойду в горячке, я пойду босиком, я побегу туда через все фронты, через огонь и смерть...

Опять потянулись дни изнуряющей, рвущей мозг, несдерживаемой болезни. Через пять дней, когда вновь спал у меня жар, я не мог шевельнуть рукой от слабости. Я пролежал еще три дня и затем с помощью Никиты Иваныча встал с постели. Держась за его плечо, я прошел два раза по комнате.

Подойдя к дверям в кухню, я заглянул туда и позвал тихо:

— Прасковья Никитишна!

Прасковья слезла с печи и вошла в комнату. Спутанные ее волосы, пыльные, разноцветные какие-то свисали над лицом. Расстегнутый ворот кофты открывал грязную шею. Глаза были заспанные и злые.

— Пойдемте завтра?

Она оглядела меня. Улыбка сострадания пробежала по ее губам.

— Разве вы можете?

— Могу,—очень твердо ответил я.

Она пожала плечами.

— Пойду с вами... Только вряд ли выйдет. Тридцать-то верст... Где уж вам!

Я отдал Прасковье одеяло, и она променяла его где-то на муку и картофель. Весь день пекли лепешки и картофельные пироги нам на дорогу. Женщины покачивали головами, глядя на меня, старик шумно вздыхал, но никто больше не пытался удерживать меня. Время от времени я вставал и шагал по комнате, тренируясь в ходьбе. Каждое движение было тяжко, в голове стоял непрерывный назойливый звон, тяжелые ноги, шурша, волочились по полу. Мысль о тридцати верстах у меня самого вызывала горькую усмешку. Я знал, что не дойду, но мне хотелось умереть в дороге, умереть под открытым небом, на снегу, под шум стрельбы, в неизменном и безумном стремлении к счастью.

Я останавливался перед стеной и беззвучно говорил:

— Здравствуй, Наташа!.. Я пришел тебя поздравить, видишь?..

И, закрыв глаза, я почти чувствовал, как горячие руки обнимают мою шею, и краткие слова звучат дрожащим и счастливым шопотом.

На утро небо было серо и мутно. Поверх своей гимнастерки я надел пиджак Никиты Иваныча. Шею мне повязали каким-то бабьим платком. В руки дали гладко обструганную палку. Прасковья с котомкой за плечами, сжав губы, холодным, испытывающим взглядом посмотрела на меня и сказала:

— Ну?..

— Идем...

— Документы-то свои просмотрите,—сказал на прощанье Никита Иваныч.—Не попалось бы что...

Я молча кивнул головой и решительно раскрыл дверь. Холодный воздух, ударивший мне в лицо, заставил меня пошатнуться и ухватиться за руку Прасковьи.

— Сейчас. Дайте привыкнуть.

Мы постояли минуту на крыльце. Я несколько раз высоко поднял ноги, попеременно сгибая их в коленях, стараясь расшевелить свою застывшую, истомленную кровь.

— Пошли...

Когда я оглянулся при выходе из дворовой калитки, я увидел всю семью, столпившуюся у окон. Они смотрели нам вслед угрюмо и безнадежно.

С каждым шагом я чувствовал все большую тяжесть, но был, вероятно, в этом движении переломный, критический момент, после которого я стал замечать, что ходить мне все легче. Видимо, я действительно расшевелил свою кровь. Одной рукой держась за Прасковьин платок, другой опираясь на палку, я все уверенней шагал и уже пришел к твердой мысли, что дойти могу.

Зима была сырая, нехолодная. Снег легко и бесшумно оседал под нашими ногами, мелкие лужи, покрытые тонкой коркой льда, растрескивались музыкально и податливо.

Три часа непрерывной ходьбы. Никаких встреч. Я чувствовал все мышцы на ногах, ступавших прямо и уверенно. Пряный холод зимы возбуждал и опьянял меня.

— Сядем, пошамаем...—сказала Прасковья.

— Нет,—ответил я.—Будем есть на ходу.

Я боялся давать отдых своим ногам. Я хотел перебирать ими и подвигаться вперед, пока они еще оставались в моей воле.

— Тут скоро Ирпень, река,—сказала Прасковья, жадно поедая лепешки.—Надо в сторону.

— Почему?

— Лед нетверд. Я знаю, где совсем мелко. Если провалимся, пойдем вброд.

Я был согласен на все, лишь бы итти, итти, подымать и опускать ноги, завоевывать каждым шагом новую пядь земли.

Вот и река. Мутный, иссиня-желтый лед, кое-где покрытый пятнами снега, казался хрупким, но мы перешли реку благополучно. Неподвижные деревья редкими, уродливыми группами маячили на белом снегу. Нечеткая снежная дорога уходила в гору, к чернеющему вдали лесу. Подле дороги в зловещем одиночестве лежал обнаженный человеческий труп.

На повороте, где большая дорога заворачивала к городу, мы неожиданно встретились с раз'ездом. Три всадника медленно спустились из лесу и молча преградили нам путь.

— Кто такие будете?

Серые шапки под обветренными лицами резко врезались в мутное зимнее небо. Я помедлил, разглядывая всадников.

— Я ищу полк. Интернациональный.

— Кто такой? Документы есть?

— Вот.

Я запустил руку в левый карман. В левом кармане лежали документы для красных, в правом—для белых. Конечно, всадники эти—красные, раз они без погон.

Один из красноармейцев повертел в руках документы.

— Откуда идешь?

— Из больницы.

— А это кто?

— Жена.

— Же-на?.. Куды ж ты ее ведешь?

Прасковья сказала плачущим голосом:

— Я за сестру буду. Деваться-то некуда.

— Обыскать надо.

Инстинктивно я ощупал правый карман. Поздно. Не выбросить уличающих документов.

— Чего дурака валяете, товарищи?—крикнул я возмущенно-веселым голосом.—Я—переписчик штаба Третьего Интернационального полка. Вы сами-то какого полка будете?

— Помалкивай.

По тому, как они вертели бумаги, было очевидно, что все они неграмотны, но печати с двуглавым орлом выдали меня.

— Переписчик?.. Ишь ты... Бандит али шпион, отвечай живо?..

Нагайка поднялась над моей головой, и конец ее раскачивался от одного конца неба к другому. Я молчал.

— В расход его, чего смотреть...

— Не, в штаб надо. У его сведения, должно... Ступай вперед! Баба! Иди с им!

Мы двинулись. Трое всадников следовали за нами. В это время шумно и быстро проехали по дороге несколько пустых крестьянских саней.

— Стой!—крикнул один из всадников.

Я уже плохо соображал. Безразличие, гнетущее, тупое чувство охватили меня всего. Сквозь туман, застлавший мое сознание, я слышал крики и брань, видел, как арестовавшие меня красноармейцы тащили какого-то мужика, потом кто-то с силой ударил меня в грудь, я упал в сани, сани стремглав помчались, унося меня куда-то в белое, неведомое пространство.

Когда я очнулся, я увидел себя в санях с укутанными соломой ногами. Впереди сидел мужик, рядом—Прасковья.

— Что?—спросил я.

— Удрали от их,—ответила Прасковья.—В деревню едем. В сторону.

— А Киев?

Прасковья не ответила. Я осмотрелся кругом. Стояли сумерки.

Спустя немного, мы в'ехали в деревню. Мужик подвез нас к своей хате.

— Ось...—мрачно сказал он.—Йдыть до хаты...

Но войти в хату я мог только с помощью хозяина и Прасковьи. Окоченевшие мои ноги отказались служить. Взявши меня под руки, они втащили меня в избу, к безмолвному ужасу всех членов семьи, расширенными глазами смотревших на меня из всех углов.

Все, что было потом, не осталось в моей памяти. Я помню только изумление мужиков:

— Куды ж це вы його, хорого, у такий час?..

И что-то им отвечала Прасковья, а я молчал.

Утром я проснулся на рассвете. Моей первой мыслью было:

— Сегодня... двадцатое...

— Прасковья!—позвал я.

И тут только я увидел, что она не спит. Опершись на локоть, она лежала на полу, устланном соломой, и смотрела на меня. С печи раздавался чей-то храп.

— Собираться надо,—сказал я строго.—Чем раньше, тем лучше.

Решительным движением я сел... и крикнул испуганно:

— Что это?..

Мое тело состояло только из верхней половины. Ног у меня не было. Я сбросил с себя рядно, которым меня укрыли... О нет, ноги у меня были. Они были, они лежали рядом, синие и вспухшие. Я попробовал приподнять их. Дрожь пробежала, но они сталисъ неподвижными.

Я обхватил голову руками.

— Прасковья, дорогая...—умоляюще сказал я.—Разотрите мне ноги. Знаете, массаж...

И пока она сильными, большими ладонями разминала мне мышцы на ногах, я лежал и думал.

— Это все равно,—я думал,—смерть, это что?.. Не так уж страшно умереть...

Массаж, действительно, оказался чудотворным. Я спустил ноги со скамьи и осторожно встал. Держась за стол, я сделал несколько медленных шагов.

— Ну, вот,—засмеялся я, не веря самому себе,—потихоньку дойдем...

— Господи...—вздохнула Прасковья.

— Там будь, что будет,—сказал я громко,—но сегодня я буду итти. Буду.

Проснувшиеся хозяева молча смотрели на мои упражнения. Я попробовал натянуть сапоги. Размокшие и скоробившиеся, они упрямо не налезали на ноги. Пришлось обуться без портянок. Синие грязные пальцы выглядывали из дыр.

Стояла оттепель. Опираясь на палку и на плечо Прасковьи, я медленно и тяжело перебирал ногами. До Киева было восемь верст.

— Вчера,—сказал я, утешая не то себя, не то Прасковью,—я здорово разошелся. Через час-другой мы пойдем полным ходом.

И я не ошибся. Удивительно выносливая штука—человеческие ноги. У меня, правда, появилась одышка, заставлявшая меня время от времени останавливаться, но часам к девяти мы с Прасковьей шагали со скоростью трех верст в час. Встреч не было. Единственное, что попалось нам и напомнило об обстановке, была проволка, протянутая через дорогу. Связь. Мы молча переступили ее и пошли дальше. Дорога все время шла лесом. Полужидкий, стального цвета снег звучно чмокал под нашими ногами.

— Смотрите,—прошептала Прасковья.—Застава!

Я увидел фигуры в шинелях и серых шапках. Они неожиданно выросли впереди, в двадцати шагах от нас. Прасковья опять прошептала:

— Погоны, видите?.. белые...

Я задрожал от радости. И сразу вспомнил, что у меня не было документов. Как бы не вышло чего... Э, все равно, вперед!..

Белые подпустили нас близко, без окриков. Но когда мы поравнялись с ними, нас сразу окружило пять офицеров.

— Господин поручик,—обратился я к одному из них.—разрешите попросить папиросу. Целую вечность не курил...

Он молча смотрел на меня, не сделав ни одного движения. Я продолжал:

— Я—подпоручик 134 Симферопольского полка царской армии. Убежал из района действий большевиков с помощью этой женщины... Я... я болен, кажется...

И опять, как вчера, от нервного потрясения, от слабости, от нахлынувших чувств глаза мои заволокло туманом. Как во сне, я видел, что меня обыскивают, тормошат, поворачивают... Как глупо!..

— Мы пропускаем всех,—сказал поручик, если нет подозрений. Вы можете итти.

Мы пошли дальше.

— Стой!—услышали мы сейчас же.

У меня оборвалось что-то внутри. Я обернулся медленно. Офицер смотрел на меня пронизывающим, испытывающим взглядом. После паузы он крикнул:

— Здесь есть трамвай. Это—Пуща-Водица. Дачное место.

И повернулся к нам спиной.

Через пять минут мы, действительно, набрели на трамвайную линию. Но трамвая не было. Показались редкие домишки.

— Ура, извозчик!—крикнул я и махнул рукой.

Когда мы неслись по улицам, я смотрел вокруг, стараясь вобрать в себя дыхание города. Я был втайне слегка разочарован. Все те же полуразбитые дома, грязные мостовые, голодные лица, очереди у лавок... Мы ехали долго, мне нужно было в другой конец города, к Наташе. Прасковья держала меня за рукав, и не напрасно: то и дело у меня угасало и вновь вспыхивало сознание, дома и люди кружились вокруг меня, и даже казалось—я снова ощущаю знакомый и ненавистный жар.

Наконец, я увидел одноэтажный домик с желтыми ставнями. Я остановил извозчика.

— Это здесь. Прасковья! Я не могу встать. Ноги.

Прасковья слезла с пролетки, ухватила меня под руки, стащила на землю. Я мог стоять, опираясь на ее руку, но не мог двинуться с места. Употребляя все усилия, я безнадежно старался поднять ногу. Слезы брызнули у меня из глаз.

— Что же это?.. Мне надо... надо войти в дом.

— Помоги,—сказала Прасковья извозчику.

И они вдвом потащили меня к дому.

Я потянул рукоятку звонка.

Дверь открыла Наташа. Ее волосы были гладко зачесаны, открывая высокий, слегка нахмуренный лоб. Глаза смотрели строго и тревожно.

— В чем дело?

Она переводила взгляд на каждого из нас, крепко ухватившись за дверь.

— Наташа!—крикнул я и протянул руки вперед.

Я видел, как она побледнела, как глаза ее раскрылись в изумлении, слышал шопот, которым она произнесла мое имя.

— Ты ранен?..

Ее руки протянулись ко мне. Все вместе они втащили меня в комнату и опустили на стул. Секунду я видел вокруг себя только движущийся туман. Это был очередной краткий провал в сознании, которое сейчас же вернулось ко мне. Прасковья стояла рядом, держа меня за плечо. Извозчик исчез. В двух шагах напротив стояла Наташа, не отрывая от меня изумленных, непонимающих глаз. За ее спиной, в дверях, ведущих в соседнюю комнату, стоял какой-то человек в очках с типичным еврейским лицом. Это кто же такой? Как мог он попасть в этот дом, в мой дом?..

Я вспомнил, что не сказал еще тех слов, которые приготовил давно.

— Наташа!..—как слаб был мой голос.—Ты помнишь, двадцатое... сегодня.

В моей памяти предстали все эти дни, которые я провел у красных, вся моя озлобленность, все несчастья и недуги. Я не помню, что я говорил, но в каких-то кратких, тяжелых и трагических словах я тут же рассказал ей о ненавистных большевиках, о моем бегстве, о моих страданиях. Это было похоже на бред, быть может, на вдохновение. Я помню, что нравился сам себе, когда, втянув голову в плечи и наклонившись корпусом вперед, выкрикивал слова.

И вдруг я увидел искаженное нетерпеливой ненавистью лицо с трясущимися губами. Это было лицо Наташи.

Она поднесла руку к груди, глотнула воздух и сказала срывающимся, хрипящим голосом:

—Довольно... Это невозможно...

Она оглянулась. Человек в очках придвинулся ближе. Руки он держал в карманах.

Смотря в окно, бледная и задыхающаяся, Наташа продолжала:

— Тут... недоразумение... Я не допущу больше ни слова... Вы можете... хоть в контрразведку... В этой квартире большев... Ваше здесь... пребывание... не нужно...

Человек в очках стоял неподвижно.

— Отец мой расстрелян белыми... Я не могу сказать, чтобы сделалась другой, я открыла себя... Зная вас, я надеялась, что там... в Красной армии... Какое заблуждение... Я... Мне жаль вас... вы больны... Но прошу вас... уйдите...

Спустя две минуты, усилием воли рассеяв возникший вокруг меня туман, я ухватился за Прасковьино плечо и поднялся. То, что я сделал потом, до сих пор кажется мне чудом: я заходил. Да, я заходил без посторонней помощи, нечеловеческим напряжением собрав иссякавшие силы. Каждый шаг мой был непосильной работой, от каждого шага, казалось мне, дрожит и колеблется дом.

На крыльце, опершись на перила, я сказал Прасковье:

— Вот что... Понятно... Это третий приступ возвратного тифа... Отвезите меня... в больницу...

И на этот раз я потерял сознание прочно и надолго.

Сергеев замолчал, поглаживая небритый свой подбородок. Хмуро молчали часовые. Все та же стояла невеселая тишина.

— На суде,—Сергеев повернул ко мне лицо,—прокурор говорил о моем детстве, о среде, в которой я вырос, о воспитании, которое сделалось частью моего существа... О, это верно... Но не все... Поймите, десять минут в домике с желтыми ставнями могут сделать человека чужим или близким, другом или врагом... Нельзя так... по-книжному... среда, обстановка, воспитание... Есть всегда что-то в личной жизни: любовь, ненависть, месть, отчаяние... Среда—это мысли, направление мыслей... но не действия... А я ведь был такой нежадный, такой смешной мечтатель...

Гулкие шаги в коридоре приблизились к двери. Быстрым движением дверь распахнули. Вошел надзиратель.

— Заключенного Сергеева отвести в его камеру.

— Позвольте,—сказал я, вставая и смотря на часы,—в моем распоряжении еще двадцать минут.

— Свидание прекращается. Прибывший только что прокурор имеет поставить в известность гражданина Сергеева о решении ВЦИК'а по его делу.

— А... — сказал Сергеев, побледнев,—я иду. До свидания. Приходите...
На лестнице, когда я спускался вниз, мне встретился прокурор.
— Что вы ему скажете?—спросил я.
Не останавливаясь, он бросил на ходу:
— ВЦИК отклонил ходатайство о помиловании.

III. Клад.

Сойдя с трамвая, я долго еще бродил по малолюдным улицам, с трудом вспоминая местность. Наугад свернув в переулок, я сразу узнал дом Панелина. На Выборгской стороне сохранились еще такие приземистые дома-особняки, недоверчиво глядящие на улицу четырьмя неряшливыми окнами.

Не найдя звонка у двери, я застучал кулаком. Пришлось сделать это дважды, прежде, чем послышался лязг засова, щелканье замка, и дверь приоткрылась, удержанная цепочкой.

— Здесь ли...

Я замолчал, узнав лицо Панелина, выглянувшее из-за двери.

— Можно к вам?

Дверь распахнулась.

— Егоров? Вот не ждал... Заходите.

Пока Панелин возился со своими запорами, я стоял в темной передней, заставленной сундуками, сломанным столом, опрокинутым железным умывальником и другой утварью. Затхлый, нежилой негостеприимный запах исходил от всех этих предметов.

— Пойдемте-ка сюда...

Он повел меня через какую-то комнату, в которой было столько беспорядочно нагроможденных вещей, что даже окна были ими заставлены. Пробираясь в полутьме и натыкаясь на углы покосившихся шкафов и торчащие ножки столов, мы добрались до комнаты, один взгляд на которую заставил меня сразу вспомнить студенческие годы.

Панелин был среди нас самым богатым студентом, и мы нередко собирались в его кабинете, поражавшем нас массивною своей, чопорной, очень темной мебелью. В этот-то кабинет я и попал теперь. Казалось, меня перенесли в уже отошедший и забытый мир, настолько странным было то, что все вещи стояли на своих старых местах, такие же хмурые и тяжеловесные.

Панелин указал мне на стул, а сам уселся в громадное кресло перед столом. Спущенные на окнах шторы пропускали в комнату желтоватый, неяркий свет. Я прислонил свою палку к столу, на коленях у себя пристроил фуражку и, слегка откинувшись на спинку стула, медленным взглядом окинул комнату. В закопченных стенах, в тяжелых портьерах, в коврах, потемневших от времени, чувствовалась какая-то упорная, спрятанная, одиноко умиравшая мысль.

Панелин был высок и худ, но так скорчился, уйдя в свое глубокое кресло, что казался совсем маленьким. Его молодое и бритое, но очень усталое лицо было в тени, и я скорее угадывал, чем видел, прищуренные глаза и нахмуренный лоб, в котором проглядывала, казалось, та самая, полумертвая и неподвижная мысль, которая пряталась по углам его странного дома.

— Вы холосты, правда?—спросил я.—Давно мы не виделись...
— Да.
— Служите?
Он ответил не сразу:
— Н-нет.
— В одиночестве живете?
— Да... Жильцы еще есть...

— Мгм...

— Что ж... -после паузы медлительно процедил он.—Где же служить? И потом здоровье... Студенты тут у меня... Четверо... А вы женаты?

— Да.

Окружавшая меня тишина, мрачность обстановки, пыль на всех предметах, неприветливость хозяина,—все это внушило мне чувство тягости и неловкости. Мне захотелось сейчас же уйти. Но желание узнать ближе жизнь чудака-нелюдима заставило меня остаться.

— Тут одна штука есть,—я медленно закурил папиросу.—Я пришел затем, чтобы...

С трудом выдавливая слова, без всякой надежды на успех, я напомнил ему о договоре в пивной.

— Мне это ни к чему,—прибавил я.—Но иногда хочется тряхнуть стариной... Потолковали, потом разошлись и забыли...

Панелин заерзал в кресле, стал потирать руки, вдруг выпалил, блестя глазами:

— Очень, очень хорошо... Помню... А ведь это я придумал, а?..

Но тут его оживление сразу пропало. Опять он упрятался в свое кресло, прищуренными глазами глядя поверх моей головы.

— Должно быть, скучно вам здесь...—сказал я.

Он нехотя перевел взгляд на меня и ничего не ответил. Какая-то назойливая мысль, видимо, овладела им. Вдруг он тряхнул головой и спросил:

— А вы женаты?

— Да. Я же говорил, -ответил я с досадой. Забывчивость его раздражала меня.

— Ага... Я завтра уезжаю.

Я удивленно посмотрел на него и в свою очередь промолчал. Опять я спросил себя, не уйти ли мне.

— Куда едете?—спросил я после долгой паузы.

Но мысли Панелина шли своим путем. Было видно, что он соображал медленно, с запозданием, и только теперь услышал то, о чем я говорил три минуты назад.

— Скучно ли мне здесь?.. -произнес он, как бы думая вслух.—Пожалуй.

Помолчал и снова сказал:

— Пожалуй.

И вдруг вскочил, как человек, решившийся на что-то, и заходил по комнате, размахивая руками и выбрасывая отрывистые слова.

— Вы помните, Егоров, мы с вами в девятнадцатом году в Коммунхозе встретились, а? Я тогда юрисконсультом служил... Помните? Ну, вот... Вы что делали тогда? Карьеру делали, нет? Завоевывали жизнь, сражались, революцию творили, а?.. Нет?..

Он продолжал ходить, беспокойно двигая руками, бесшумно скользя по ковру большими, нетвердыми шагами.

— А ты знаешь, что я делал все это время?...—неожиданно перешел он на ты и круто остановился посреди комнаты.

— Нет... Впрочем... Но подожди, я покажу тебе...

Он подбежал к столу и стал рыться в одном из ящиков.

Я молча следил за ним. Я был одинаково поражен и тем, что в комнате не произошло никаких перемен, и тем, что сам Панелин так резко изменился. Я привык знать его жизнерадостным и неглубоким, и то, что теперь Панелин был странно задумчив, что лицо его было измучено, а глаза загорались болезненно и внезапно, говорило о каком-то большом случае в его жизни.

Наконец, он нашел то, что искал. Подойдя ко мне и держа в некотором отдалении листок бумаги, как бы боясь, чтобы я не вырвал его, спросил тихо:

— Значит, помнишь нашу встречу восемь лет тому назад?

— Как же,—ответил я,—отлично. Это было за день до моего от'езда на фронт.

Да-да...—обрадовался Панелин.—Я припоминаю. Ты говорил, что уезжаешь... Так вот... На следующий день я получил это письмо.

Он протянул мне письмо, но на полдороге рука его остановилась. Вдруг решившись, он отдал мне письмо.

— Прочти... Но помни... Ты первый... Никто до сих пор не видел этого, кроме меня...

Усевшись ближе к окну, я углубился в чтение.

Вот что было в письме:

«Я прочел в «Вестнике Криминологии» Вашу статью «Об условных знаках и криптно-переписке при подготовке уголовно наказуемых деяний». Очень тонко. Ваш анализ психологии преступника, выбирающего условные знаки, Ваши доказательства скрытой связи между начертанием знаков и принципом, положенным в основу условности, с одной стороны, и обстановкой, характером и сложностью преступления, с другой—превосходит все сказанное до сих пор. В частности, Вы предвосхитили мои собственные идеи. Вот почему я пишу именно Вам.

После того, как умерла моя жена и убит на войне сын, у меня не осталось никого, кто был бы мне дорог. Сам я лежу сейчас в больнице. Я надеялся, что меня будут оперировать, но оказалось, что мой рак печени «non operandum», как говорят врачи. У меня возник вопрос, какая судьба ждет два миллиона рублей (в английских банкнотах), удачно спрятанных мною от конфискации и других неожиданностей. Решение мое таково: эти деньги—мое наследство—получите Вы. Я даю Вам здесь указания, как их найти. Логически проследив нижеприведенные данные, я убедился, что решение, вообще говоря, возможно. И не сомневаюсь, что Ваш острый, аналитический ум отыщет его.

Итак:

Час ранний, но окраина многолюдна. Угол отражения не равен углу падения. В стене две бреши. Если стать лицом к западу, то влево—на восемь. Высота—один и три четверти. Фабричная труба исчезает. Не забудьте посмотреть на вокзальные часы. Только острый нож и мешок».

— Ты смеешься?—спросил Панелин, когда я кончил чтение.

— Шерлок Холмс с российской психологией,—улыбаясь ответил я.

— Так.—Он прошел еще раз по комнате и остановился против меня.—Я тоже так думал. Бред, любовь к загадкам, мистификация—мало ли что могло лежать в основе этого письма! Представь себе, я месяца на два совсем забыл о нем. Но время от времени моя мысль стала невольно возвращаться к нему. Что за таинственная штука? Я решил навести справки. В одной из больниц мне сказали, что на-днях умер от рака известный Петров, бывший фабрикант и банкир. Он скрылся в начале революции, и только перед смертью выяснилось, что он оставался в России. Я ушел из больницы не мало потрясенный. Все это начинало казаться правдоподобным. По дальнейшим справкам оказалось, что жена Петрова умерла в 17 году, а единственный его сын убит на Стоходе.

Последние слова Панелин произнес медленным шопотом, смотря на меня в упор, видимо, наблюдая за произведенным впечатлением.

— После этого мысль о письме, о миллионах не давала мне покоя. Эти миллионы где-то были. Мне надо было их отыскать. Можешь ли ты понять все мои ночи, проведенные в поисках смысла указаний, по виду бессмысленных, все дни, ушедшие на блуждание по окраинам, рассматривание фабричных труб, вокзальных часов, полуразрушенных стен и заборов. Особенно я изучил фабрику Петрова. В те дни она еще не была восстановлена. Я ходил по

громадным, пустым и пыльным залам, длинным коридорам и лестницам, выстукивал стены, измерял их, исследовал все щели и трещины. Дома, по ночам, ходя из угла в угол или сидя долгими часами в кресле, я строил предположения, одно фантастичнее другого, изучал до тонкостей письмо Петрова, всматривался в каждую букву, ища разгадки хитро спрятанной тайны. Где-то лежали миллионы—блеск, радость, власть, беспечность и наслаждение—лежали мертвым, неумным, неиспользованным грузом, а я—наследник и владелец—я не мог их взять!..

Панелин ходил по кабинету жестикулируя, странно встряхивая головой, подергивая плечом. Его глаза горели, лицо оживилось, и, казалось, он забыл о моем присутствии, а говорил сам с собой, самому себе изливая свои приглушенные мысли.

— Да, я искал и не находил. А время шло. Я бросил все свои дела, все планы и мечты о будущем. Безумная, изнурительная мысль, засевшая у меня в голове, не давала мне отдыха. Миллионы! Мои миллионы, настоящие, крепкие, всемогущие миллионы! Я не мог без них, без мыслей о них! Я сделался забывчивым, рассеянным, весь охваченный своим тайным желанием. Обо мне стали носиться всевозможные слухи, многие сторонились меня, хотя никто не подозревал, что со мной приозошло. Временами я убеждал себя, что поведение мое глупо, и тогда я проводил дни и ночи в попойках, стараясь найти забвение и отдых. Но с отрезвлением возвращались мысли о моих миллионах. В поисках вдохновения, блестящей идеи, неожиданного проблеска, я пристрастился к морфию. Я должен был найти свои деньги. Меня мучили странные мысли, которые могут быть только у отчаявшегося, одержимого человека. То мне казалось, что где-то на окраине есть чердак, из которого видны вокзальные часы и фабричная труба, и я по ночам бродил по черным лестницам, лазил по крышам, рискуя быть принятым за вора или лунатика. То мне казалось, что нужно забраться в погреб, расположенный определенным образом по отношению к вокзалу и фабрике, и там, отмерив аршины, метры или футы, спокойно и уверенно взять из тайника свое богатство. Бывало, по два-три месяца у меня уходило на хитроумную подготовку к тому, чтобы попасть в чей-нибудь погреб.

Он в изнеможении опустился в кресло, тяжело дыша, с трудом произнося слова.

— Ты не поймешь меня, Егоров. Тебе, с твоей уравновешенной натурой, не могут быть понятны все эти дни, прожитые неестественной, необыкновенной жизнью, бессонные ночи, мучительные галлюцинации... Восемь лет... Да... Я составил подробный и сложный план, как вывезти деньги за границу после того, как я найду их. У меня все приготовлено. Мысль моя работала неустанно, безостановочно, в одном однажды взятом, непоколебимом направлении...

Он замолчал, продолжая тяжело и шумно дышать. Я сидел, сложив руки на коленях, и слушал с закрытыми глазами, только по временам открывая то один, то другой глаз и скользящим взглядом провожая бегавшего из угла в угол Панелина. В комнате было тихо. Тяжелые книжные шкафы, неуклюжий диван, темные, неразличимые издали гравюры на стенах—все, казалось, насторожилось в нетерпеливом и неспокойном ожидании.

Я протянул руку и тронул его за рукава.

— Брось ты это...

Он окинул меня высокомерным взглядом.

— Да неужели ты это серьезно?—изумился я.

Он продолжал смотреть на меня, презрительно прищурив глаза.

— Неужели серьезно? — повторил я уже менее уверенно.—Ты так связно говоришь, что право не легко тебя принять за сумасшедшего. Восемь лет провести в поисках какого-то клада, и какие восемь лет! Рушились и возникали государства, в кровавой борьбе гибли люди... Где ты был в это время?..

Панелин отвернул от меня голову, посмотрел в угол, сказал коротко:

— Здесь был. В этой комнате.

— Ладно. Но когда стреляли, проклинали, выли от голода и пели песни, ты это слышал? Смерть, упорный труд, отчаянье и дерзость—все бурлившее вокруг, гремевшее, изменившее жизнь и смысли жизни...

Вытянув вперед голову, глядя на меня острыми, злобно-радостными глазами и указывая пальцем в окно, он спросил шопотом:

— А ты знаешь, что там такое?.. Надуманность и злоба, шум, крики, выстрелы, выборы и циркуляры... Никакого смысла в этом... Неновый и ненужный эпизод, именуемый революцией... Ха... Да, видел... Видел голод, озверение и предательство... И не верю... И не нужно... Я бы не оставался здесь, если бы не мое богатство.... Эти восемь лет не потеряны... Я провел их в борьбе, в устремлении, в неустанной умственной работе... С каждым днем, с каждым часом я приближаюсь к разрешению загадки...

Он вдруг вскочил, подбежал ко мне и так близко наклонился надо мной, что я вздрогнул, увидав его пылающее лицо.

— Ты понял... во что превратились бы два миллиона за восемь лет?.. Их было бы... вдвое больше...

Снова опустившись в кресло, он сказал уставшим голосом:

— Я говорил тебе, что уезжаю завтра. Это правда. Разгадка найдена, и на этот раз окончательно... Искать надо не здесь...—и прибавил шопотом: «Если стать лицом к западу, то налево—восемь»... Восемь... Я понял, что это значит... Я там буду. И найду... Найду...

Я встал, повертел в руках фуражку и сказал негромко:

— Если хочешь, я открою тебе тайну этого клада.

Панелин помолчал некоторое время, исподлобья глядя на меня, потом коротко бросил.

— Говори.

— Твоего клада не существует.

Панелин быстро поднялся с кресла. Лицо его было бледно.

— Я боялся этого...—сказал он тихо.—Но... ты думаешь?..

Усмехнувшись и глядя в сторону, я продолжал:

— Это письмо писал я. После нашей встречи, когда мы поговорили о твоей статье, мне захотелось подшутить над тобой... тем более, что я уезжал на следующий день. Я написал письмо, подделываясь под твой вкус и изменив почерк. Сознаюсь, я не подозревал, как далеко может зайти моя шутка. Как видишь, все это просто об'ясняется...

Панелин остался в том же положении. Он был бледен, но лицо его не выражало ни гнева, ни отчаяния. Казалось, он рассматривал узор на обоях. Потом как бы очнулся и молча вышел из комнаты.

Оставшись один, я вновь почувствовал неловкость и досаду. Мрачный, желто-серый свет, с трудом проникавший в окна, казался состоящим из темных и светлых лучей, как-будто тьма была неискусно перемешана со светом. Я сделал несколько шагов, неслышно ступая по густому, очень пыльному ковру.

— Зачем он ушел?—думал я.

Тишина давила меня. Наконец, желание поскорее выйти на улицу, быть среди людей и шума сделалось нестерпимым.

— Алексей!—позвал я. Но кругом было тихо.

Я вышел из кабинета и стал ощупью пробираться по комнате, загроможденной мебелью. Добравшись до передней, я случайно нащупал выключатель и повернул его. Переднюю залил яркий свет.

У стены, прислонившись к ней головой, окровавленный и страшный, лежал с перерезанным горлом Панелин.

Я сделал невольное движение назад. Но вдруг наклонился над Панелиным и, сам не понимая, что делаю, схватил его за плечо.

— Алексей!—позвал я.—Не надо!.. Я солгал... Я хотел только спасти тебя, вылечить... Я не писал этого письма... Я не знаю, кто его писал...

Но ответа мне не было. Алексей Панелин был мертв.

IV. Душа сумерек.

Жена раскрыла окно настежь.

— Какая теплая осень! Предвечерние часы всегда настраивают меня лирически.

— А мне ты казалась несколько встревоженной.

— О, это от твоих похождений. Кстати, не находишь ли ты странным, что оба они, и Сергеев и Панелин, первые, к которым ты пошел, покончили счеты с жизнью? Не кажется ли тебе это каким-то мрачным указанием?

— Я нахожу, что тут нет ничего удивительного. Люди эти исчезают. Они должны умереть, как социальная группа, как носители определенных идей. Они должны умереть также физически.

— Это звучит почти мистично...

— Нисколько. Тут есть лишь проявление некоторой общественной закономерности.

— Я сначала увлекалась твоими похождениями. Сейчас же я рада, что тебе больше не к кому итти в связи с вашим зловещим договором. Я почти уверена, что и третий случай кончился бы трагически.

— Не забывай, что ты сама упросила меня заняться этим. Но погоди радоваться. Наша авантюра еще не кончилась. Вот письмо, которое я получил от Шульца.

Жена посмотрела на меня вопросительно.

— Ты помнишь, конечно, что я написал Шульцу и Ятонису?

— Очень помню. Интересно, что же он пишет? Надеюсь, это не предсмертное письмо?

— Отнюдь нет. Гражданин Шульц работает в местной газете в качестве репортера и художника и, по всем данным, чувствует себя отлично.

— Наконец-то, хоть один...—Жена села на диван, устроилась поудобней и приготовилась слушать.

Я развернул письмо. В окно доносились негромкие привычные звуки городского шума, косые лучи солнца покрывали оконные стекла дрожащим, ослепительным золотом.

«Дорогой Константин Дмитриевич! Трудно передать мою радость. Как хорошо, что Вы вспомнили своих друзей! Вашу просьбу я исполняю незамедлительно, тут же. Если мы все не можем встретиться, то, по крайней мере, обменяемся письмами. Я буду ждать от Вас такого же чистосердечного ответа. Кроме того, сообщите мой адрес всем из наших друзей. Как приятно будет узнать о их жизни!

Случай, о котором я Вам расскажу, до сих пор кажется мне самым знаменательным в моей жизни. Я сделал из него нечто в роде новеллы.

Это было в Симферополе.

Я быстро спустился по лестнице и вышел на улицу. Кажется, были звезды на небе, кажется, на грязном снегу лежали светлые пятна от уличных фонарей, кажется, проезжали бесшумные экипажи и пробегали неясно очерченные, маленькие люди,—я не уверен в этом. Я смотрел на улицу скользящим, легко забывающим взглядом.

Быстро шагая и бережно неся подмышкой картон, свернутый в трубку, я сразу думал о десяти различных вещах, и мои разбросанные, спешащие, обгоняющие одна другую мысли—все были прекрасны, и каждую хотелось проследить до конца медлительно и осторожно. Я думал о профессоре Чарикове, который был у меня час тому назад, думал о своем таланте, о своем первом успехе, о своей будущей жизни и о «Душе сумерек»—акварели, которую я нес подмышкой и с такой любовью прижимал к себе.

— Это сильная вещь,—сказал профессор Чариков, и когда он смотрел на картину, в его глазах были восхищение и радость. Да, я помню это,—восхищение и радость!

И еще я думал о Вере. О маленькой женщине с загадочной душой, на дне которой она прячет мое счастье. Я думал о ее комнате с бесчисленными статуэтками на полках, о старой железной печке, возле которой она сидела по вечерам и которую требовала называть камином, о нервном и дрожащем пожатии ее руки, о ее поцелуе... О, да,—о ее поцелуе!..

В смутном вечернем воздухе мелькали чьи-то тени, звенели звонки, доносились обрывки слов, вспыхивали и гасли какие-то огни, и весь город, обвешанный редким туманом, казался мне чужим и новым.

— Это—сильная вещь!—повторял я слова профессора.

К Вере я пришел усталый и счастливый. Как всегда, она сидела возле печки и, как всегда, желтое пламя, освещавшее ее сбоку, делало ее профиль изумительным и ясным.

— Победа!—крикнул я.

И, стараясь не выдавать своей большой радости, но выдавая ее в каждом слове, я рассказал ей о случайном посещении профессора Чарикова, о том, что моя акварель будет на весенней выставке (мне положительно обещано это), о своих надеждах... Я говорил, захлебываясь от слов, от счастья, от гордого сознания своего первого успеха и от своей большой, душившей меня любви.

— Вера,—сказал я, разворачивая картон,—я приносил тебе много рисунков, но это... это...—голос мой пресекся. Я хотел сказать, что это—мое лучшее, то, о чем я мечтал, что вынашивал и готовил постепенно и сладостно...

И когда она поднялась со своей низкой скамейки и, поместившись у лампы, стала смотреть на мою картину, я следил за ее глазами и видел, как в них зажигалось то, что было в глазах профессора Чарикова,—восхищение и радость.

Я развалился в кресле и протянул ноги. Наконец-то, чорт возьми, я сделал картину, которая заставляет людей радоваться и смотреть восхищенными глазами!

Мой голос, мое лицо, мои руки, мои манжетки—все казалось мне теперь особенным, очень ценным и достойным внимания.

— Я назвал это «Душой сумерек»,—сказал я и прибавил небрежно:

— Боюсь, что мне придется продать ее слишком дешево.

Вера ничего еще не сказала. Она все еще стояла в молчаливом созерцании, но я видел ее глаза, и мне не нужно было слов. Она медленно свернула картон и снова села на свою скамейку возле огня. Минуту длилось молчание. Потом она подняла на меня глаза и сказала неожиданно:

— Я злая. Ты не должен меня любить.

Меня поразило странное течение ее мыслей, но я не стал раздумывать над этим. Я взял ее руки, и мне захотелось скорей, сейчас же, каким-нибудь одним невероятным и убедительным словом передать ей все величие, всю ненасытность, все бунтарство моей любви. Но у меня не было такого слова. Быть может, все это светилось в моих глазах, потому что Вера покачала головой и опять сказала:

— Ты не должен. У тебя есть картины, тысячи разных красок, есть небо, есть звезды, цветы и море. И все это ты любишь. И среди всего этого, затерянная и маленькая, блуждаю я, которую ты тоже любишь.

— Но это не та любовь,—сказал я и засмеялся. Мне казалось наивным то, что она говорила. Положив голову на ее колени, я задумчиво смотрел на волнующееся пламя в печке, и мне хотелось пробыть в таком положении тысячу лет.

— Я злая,—упрямо повторяла Вера.—Я хочу, чтобы не было ни картин, ни звезд, ни моря. Только я. Только я.

И опять я засмеялся. Разве не любовь пряталась за этими детскими, неглубокими словами?.. Я еще крепче прижался к ней.

— Я забыла платок в столовой,—сказала она.—Принеси.

Я нехотя поднялся и пошел в столовую, но вернулся, не найдя платка.

— Посмотри,—сказала Вера и указала на огонь.

В печке бушевало разгоревшееся пламя.

— Ого,—сказал я,—ты бросила туда целую кучу газет.

— Нет,—спокойно и медленно ответила она.—Это горит твоя «Душа сумерек».

Я застыл на месте и дрожащими руками ухватился за кресло.

— Вера,—сказал я хриплым голосом,—ты, кажется сказала что-то?

И, не отрывая глаз от огня, она отчетливо повторила:

— Я сказала, что это горит твоя «Душа сумерек».

Я криво усмехнулся и сказал укоряюще:

— Не шути так грубо! Ты знаешь, как мне это дорого.

Но она молчала. Она смотрела на огонь прямо и спокойно, и, казалось, что-то выжидающее было в спокойствии ее взгляда.

Одним быстрым движением я оглянулся и осмотрел всю комнату. Нет, ее не было—моей картины!

Я бросился на пол перед горящей печкой и схватил Веру за руку с такой силой, что гримаса боли исказила ее лицо.

— Невозможно!—крикнул я.

Она ответила мне что-то. Я видел, как шевелились ее губы, я ощущал звук ее голоса, но я не слышал. Нет, я не слышал!

Я смотрел на пламя. Да, это она—моя картина, которую в горделивых мечтах я считал бессмертной, мое вдохновение, моя мука, моя распятая надежда... Жадное пламя облизывало уже почерневшую и свернувшуюся груду... И все это сделала она,—эта маленькая женщина с ясным голосом и вдумчивыми глазами.

Я поднялся с колен и сделал это с таким трудом, как если бы непосильная тяжесть влекла меня к земле.

Я взглянул на Веру. Ее глаза смеялись. Они смели смеяться.

В одно мгновение я возненавидел ее—и ее глаза, и руки, и все ее тело в его спокойной неподвижности.

— Безумие! —вырвалось у меня.—Зверство!

Задыхаясь от боли, я говорил какие-то злобные, бранные слова, я осыпал ее оскорбительными выкриками, и в глубине ее глаз перестал прыгать смех, а лицо стало опечаленным и жалким.

— То, что ты сделала,—убийство!—сказал я глухо.—Я презираю тебя.

И я прошел через комнату, едва передвигая обессилевшие ноги, упавший с высот на жесткое дно жизни, сразу потерявший все, что у меня было.

В передней я взял свое пальто и вышел на лестницу. Мне было душно. Нестерпимая, непонятная тяжесть наполнила мою голову, какие-то разноцветные, быстро мелькающие точки носились перед моими глазами, и, когда я, держась за перила, спускался по лестнице, кто-то невидимый шепнул мне на ухо голосом профессора Чарикова:

— Это сильная вещь!

На второй площадке ноги мои подкосились, и я сел. Но кто-то дотронулся до моего плеча. Это была горничная.

— Вы забыли шапку,—весело сказала она.—И Вера Антоновна велели передать, что в печке сгорели газеты. А вам это.

И, сунув мне в руки трубку, она побежала наверх.

Я развернул картон. Да, это была «Душа сумерек». При свете тусклой лампочки я увидел свою работу во всей нетронутости ее тонов, нежных и строгих.

Тяжесть, давившая меня, рассеялась, но мгновенно поднялось и выросло сложное, одновременно и радостное, и тягостное чувство. Мне хотелось убежать, слиться с толпой, спрятаться где-нибудь со своей горькой радостью...

И хотелось побежать наверх—к маленькой женщине, ожидавшей в нетерпении...

Я поднялся. Когда я переступал порог ее комнаты, стыд и жгучее сознание вины хлынули на меня.

Вера сидела на прежнем месте и не обернулась, когда я вошел. Ее маленькая фигура сжалась в комок, и взгляд был направлен куда-то в пространство, холодный и упрекающий.

— Ты поверил? Ты мог думать?—говорили ее оскорбленные глаза.

Я не знал, что сказать. Может быть, надо было засмеяться, обратить все в шутку, но это было трудно. Молчание мучило меня.

И опять мне нестерпимо захотелось показать ей мою любовь, сделать что-нибудь самоотверженно-дикое, безумное... Но я стоял и не находил настоящих, примиряющих слов.

А глаза ее, направленные в одну точку, ждали.

Тогда сумасшедшая мысль пришла мне в голову.

Сильным движением я бросил в огонь мою картину.

— Не .. смей!—крикнула Вера, и неподдельный ужас вспыхнул в ее порыве.

Но я схватил ее за руки. Нет, пусть она горит, эта «Душа сумерек». Пусть. Я сам ее бросил в огонь, и пламя, которым горела она, не было похоже на тот жалкий огонь, которым горел сверток газет. Оно было большое, мятущееся и многоцветное, облагороженное ценностью своей случайной жертвы.

В молчании и неподвижности стояли мы перед огнем, застывшим взором, следя за исчезающей картиной.

— Пусть не будет ни картин, ни цветов,—сказал я и не узнал своего голоса.—Пусть не будет ни красок, ни звезд, ни моря. Только ты.

Я посмотрел по сторонам, и мне показалось обидным, что статуэтки на полках стоят так же безмолвно и бесстрастно, как стояли раньше, что так же безучастно темнеет длинное окно и так же равномерно и холодно стучат стенные часы.

Я взглянул на Веру и еще раз прошептал беззвучно:

— Только ты.

Вот и все. Я с гордостью вспоминаю об этом случае. Может быть, это был единственный подвиг за всю мою жизнь. Я не жалею о нем, несмотря даже на то, что с Верой мы развелись, спустя полгода после женитьбы. Сейчас я женат вторично. Жена моя занимается общественной работой. Удивительно, как стали женщины падки на общественную работу! Она играет в драмкружке. Сын мой Павлик—ему семь лет—читает газеты, играет в шахматы и слушает радио—удивительный феномен. Но я постараюсь, чтобы он не сделался художником. Это неумно и нежизненно. Я по себе знаю. Подумать только, сколько времени и труда я ухлопал для того, чтобы в конце-концов рисовать карикатуры в газете. А пейзажи теперь не нужны.. Кто их поймет, кто купит?.. Ну, ладно. Пишите же о своем случае. Это чортовски интересно, особенно, когда живешь в провинции.

Всего хорошего. Д. Шульц».

Я бросил письмо на стол.

— Когда это произошло?—спросила жена.

— В Симферополе, в 18 году...

— Вот еще один, который смотрел мимо революции...

— Правда. Но он приспособился.

Солнце заходило. Протяжный звук фабричного гудка задрожал в вечернем воздухе.

— Сегодня,—устало закончил я,—мне пришлось выполнить и свою обязанность. Шульц естественно требует, чтобы я ему ответил тем же.

— А ведь правда,—оживилась жена.

Мы переглянулись с ней, не скрывая улыбки.

— Я обижена.

— Чем?

— Тебе следовало рассказать свой случай прежде всего мне...

— В нем нет для тебя ничего нового. Впрочем, если хочешь, я прочту тебе мое письмо Шульцу,—я достал письмо из ящика.—Начало я пропускаю. Здесь только обычное вступление.

Раздался стук в дверь.

— Войдите,—сказала жена.

Дверь открылась, и на пороге показалась женщина. Легкое пальто было наглухо застегнуто. Темная фетровая шляпа казалась надетой небрежно. На вид женщине было лет сорок. Она закрыла за собой дверь и остановилась у порога. Я медленно привстал.

— Могу я видеть гражданина Егорова?

— Это я.

Неожиданная посетительница посмотрела на меня, перевела взгляд на жену и, не говоря больше ни слова, медленной, плетущейся походкой отошла от порога и устало опустилась на стул.

V. Жена крупье.

— Я—жена Ятониса,—сказала женщина.

Ее волосы, черные с проседью, выбивались из-под шляпы. Крепко сомкнутые губы с опущенными углами и две резкие морщины делал ее лицо выразительным и печальным.

— Надеюсь, гражданин Ятонис хорошо себя чувствует?—спросил я.

— Надеюсь...—ответила женщина. Лицо ее подернулось усмешкой. Длинные и бледные пальцы нервно перебирали ремешок изящной сумки.

В раскрытое окно непрерывно и ласково заглядывала мягкая осень. Сложный запах предвечерней сырости наполнял комнату. Шум трамвая, пролеток и голосов шел издалека глухой, неприближающейся волной.

— Он все еще в Минске?—продолжал я, стараясь поддержать светский разговор.

— Нет... Он в Париже.

— А-а...

Я замолчал, продолжая разглядывать неожиданную гостью.

— Я получила Ваше письмо, адресованное мужу. Он не мог бы приехать сюда.

— Но вы... получили письмо в Минске?

Женщина бросила на меня короткий, слегка испуганный взгляд, а жена спросила тихо, но с крайним изумлением в голосе:

— Неужели вы хотите сказать, что приехали сюда в связи с письмом моего мужа?

— Нет,—ответила гостья.—Я зашла сюда... кстати...

Мы с женой переглянулись и вновь начали рассматривать посетительницу с возросшим интересом.

Она смотрела в окно, как бы прислушиваясь к отдаленному шуму, не делая никаких попыток завязать разговор.

— Вы давно видели мужа?—спросил я, чтобы нарушить молчание.

— Два месяца тому назад. Я была с ним в Париже...

Я утвердительно наклонил голову в знак того, что все понятно, хотя ничего не понимал. Что он делает в Париже? Не состоит ли он атташе в нашем полпредстве?

— Мне хотелось бы,—медленно сказала женщина, не отрывая глаз от окна,—чтобы мне задавали вопросы.

— Какого рода вопросы?—спросил я недоуменно.

— Боюсь, что мне не удастся все это сказать связно...

Гостья быстрым взглядом окинула комнату и спросила, смотря в потолок:

— Кто эта женщина?

Я привстал:

— Простите. Это моя жена. Я был так поражен неожиданным вашим визитом...

— Очень хорошо,—ответила гостья, обменявшись с женой неопределенной улыбкой.—Разрешите мне начать мой рассказ, я очень тороплюсь. Больше никого не будет?

— Н-нет...—ответил я, не сообразив к чему это относится. Я снова сел на стул, сбитый с толку поведением гостьи и собственной ненаходчивостью.

— Я начну с того, что мы с мужем и детьми приехали в Минск летом 1916 года. В этом году он окончил, наконец, коммерческий институт, в котором пробыл около десяти лет. Ему предложили в течение двух месяцев выехать из Петрограда в связи с разоблачениями, касавшимися комиссионного склада, где он состоял компаньоном. Вот почему он решил сдать выпускные экзамены и разделаться с институтом, находя, что есть другие способы уклоняться от военной службы.

В Минске муж сделался крупье в казино, и мы зажили безбедно. Новая профессия давала мужу крупный заработок. Помимо того, его агенты скупали за бесценок драгоценные вещи у несчастливых игроков. Почти ежедневно он приносил и показывал мне то бриллиантовый перстень, то золотой порт-

сигар, то колье. Он прятал все это в сейф, а позже, когда началась революция, устроил для этого тайник в квартире. Во время польской оккупации дела мужа пошли особенно блестяще. Поглощенный своими занятиями, он часто отсутствовал из дому по нескольку дней. Тяготясь одиночеством, я переходила от флирта к полному бездействию, без особого увлечения занималась благотворительностью, временами отдавалась приступам материнских чувств. У нас было два мальчика, к тому времени пяти и семи лет. Я наряжала их, кормила сладостями, катала в авто по улицам... Пожалуй, я была довольна своей жизнью.

Рассказчица закашлялась, помолчала с полминуты, глядя в окно. Спускались сумерки.

— Не хотите ли чаю?—спросила жена.

Покачав отрицательно головой, гостья продолжала:

— Но вот к Минску подошли большевики. Польская армия уходила. Понятно, что мы решили уехать за границу. Быстро, с присущей ему ловкостью, муж приступил к сборам. Кожаный чемодан, набитый золотом, жемчугами и бриллиантами, был спрятан в нашей спальне. Однако, муж откладывал поездку со дня на день, занятый ликвидацией своих дел. И вот, сидя однажды за обедом, мы получили известие по телефону, что в городе началось восстание, последние остатки польских войск спешно покидали город, тысячи беженцев скопились на вокзале. Мы сразу оценили опасность положения. Нельзя было терять ни минуты.

— Ты была бы несправедливо дурного обо мне мнения,—сказал муж,—если б думала, что это застает меня неподготовленным. Успокойся, автомобиль и поручик Скальский ждут нас в военном гараже. Приготовь детей.

— Нельзя ли подать автомобиль сюда?—спросила я.

— Нет. Мне пришлось согласиться на условие, что все мы приедем в гараж. Поручик Скальский боится чего-то. Соберись в минуту. И пошли за извозчиком.

Не прошло и получаса, как все мы были готовы. Дети стояли в гостиной и растерянно смотрели на поднявшуюся кутерьму. Вернулась мадемуазель Горро, гувернантка. Ей не удалось найти извозчика. Во всем городе ни одного извозчика.

Муж побледнел.

— Чорт возьми, я этого не предвидел. Но извозчик нам необходим.

— О, пойдемте скорей, пойдемте пешком, умоляю вас,—обратилась к нам мадемуазель, больше всего на свете боявшаяся большевиков.—Извозчиков не будет... Мы теряем время.

Я посмотрела на мужа, а он на меня. Мы вспомнили о чемодане. В нем было весу не меньше двух пудов.

— Сделаем так,—сказал муж.—Я извозчика найду. Но так как всем места нехватит и чтобы не терять времени, вы, мадемуазель, идите с детьми прямо к военному гаражу. Вы знаете, отсюда не больше получаса. Мы нагоним вас. В крайнем случае ждите у ворот гаража.

Я запротестовала было. Мне казалось опасным отпускать детей на улицу, где, быть-может, уже началась стрельба.

— Иного выхода нет,—твердо сказал муж.—Не будем терять времени.

Он сейчас же побежал искать извозчика. Дети и мадемуазель ушли. Я осталась одна в квартире. Трудно передать мое состояние в этот момент. Я с ужасом упрекала себя за то, что отпустила детей.

— Какая дикая мысль,—шептала я, бродя по комнатам.—Какая дикая мысль!

Прошло минут двадцать, прежде чем вернулся муж. Не спеша, он прошел в гостиную и грузно опустился в кресло.

— На вокзале—перестрелка,—сказал он.—Я уже звонил в гараж. Ответа нет.

Я молчала.

— Ответа нет,—повторил муж, смотря на меня со странным, неестественным спокойствием. -Повидимому, они уже уехали.

Я молчала.

— Все извозчики провалились в тартарары. Можно было бы выбрать из чемодана самое ценное и броситься пешком. Но в том и беда, что гараж... что в гараже... никого нет.

— Но дети же... дети!—крикнула я не своим голосом.

— Да,—сказал муж, вставая.—Ты права.

Я не знаю, что он собирался делать. В этот момент раздался оглушительный звонок. Мы оба вздрогнули.

— Не открывай,—сказал муж.—Это ужасно.

Звонок повторился с необычайной силой. Я бросилась к дверям.

— Кто такой?—крикнула.

— Поручик Скальский. Откройте скорей!

Не помня себя от радости, я распахнула дверь.

— Готовы ли вы?—крикнул поручик.—Я ждал вас. Не теряйте ни секунды. Где ваш муж?..

Но муж уже появился в дверях, сгибаясь под тяжестью чемодана.

— Я так и думал, говорил он, задыхаясь...—Я был почти уверен... Как вы благородны... Помогите мне...

Они вдвоем потащили чемодан вниз по лестнице. Я захлопнула дверь квартиры и вышла вслед за ними.

— Скорей, скорей,—торопил поручик, усаживая нас в автомобиль. Сам он сел рядом с шеффером.

— Господин Скальский, куда вы хотите ехать?—громко спросила я.

— Но, мадам...—поручик повернул ко мне улыбавшееся лицо.—Я полагаю, что вы прежде всего хотели бы попасть в Варшаву?

— Прежде всего,—ответила я, стараясь сохранить спокойствие,—я хотела бы попасть в военный гараж. Мы отправили туда детей.

Поручик пробормотал что-то по-польски, из чего я поняла только одно слово: холера.

— Мы можем сойти сейчас же, если это вас не устраивает,—с достоинством крикнула я.

Муж с ужасом схватил меня за руку.

— В гараж!—крикнул поручик. Автомобиль тронулся. Но не прошло и десяти минут, как мы должны были остановиться. Впереди двигалась толпа с красными знаменами. Шоффер ловко свернул в боковую улицу. В стороне где-то раздались выстрелы.

— Мы попытаемся еще по другой улице,—крикнул поручик, повернув к нам лицо, но смотря куда-то вверх.

Я сидела, бессмысленно смотря в затылок шоффера. У меня не было никаких мыслей, одно только ощущение непоправимого несчастья.

Остановка. Выстрелы. В чем дело? Нельзя проехать. Автомобиль свернул в переулок. Опять остановка.

— Вот что,—сказал, повернувшись к нам, поручик. Он встал во весь рост, облокотился руками о спинку своего сидения и посмотрел на меня злыми глазами.—Мне кажется, я был с вами достаточно честен. Я отстал от своих. Ни одного польского солдата не осталось в городе. Я могу еще пробить-

ся и догнать свою часть, но не могу ездить по городу и искать чего-то... Я считаю до пяти. За это время, кто пожелает, может выйти из авто. Раз.

Муж опустил голову и вцепился обеими руками в чемодан, стоявший между его ногами.

— Два!—крикнул поручик.

— Два!—беззвучно повторила я за ним.

Стояли сумерки. Пустынная улица, заколоченные двери, занавешенные окна. Отдаленные выстрелы и чей-то близкий голос.

— Пять.

Машина заревела и вздрогнула.

Дома и улицы мелькали недолго. Они сменились нескончаемо длинной, пустынной дорогой. Потом показались отряды польской пехоты. Стояла ночь. А дети остались среди огня и разгрома, на улицах Минска. О, ради бога... Вы хотите зажечь свет?.. Не надо...

Жена молча опустила руку, которую протянула к лампе.

Рассказчица провела рукой по лбу. На фоне сумерек, вошедших в окна, ее резкий профиль казался нарисованным.

— С первого дня пребывания в Варшаве и затем в продолжение долгих скитаний по Европе мысль о детях камнем лежала на мне. Все удовольствия, которым я предавалась раньше, утратили для меня прелесть. Невозможно перечислить все хлопоты, мольбы и запросы, с которыми я обращалась во всевозможные миссии. Особенно же я искала мадемуазель Горро. Она должна же была в конце-концов приехать в Париж, куда она так стремилась! Все попытки мои узнать что-либо о детях, не привели ни к чему. Все ходатайства о разрешении на в'езд в Россию были безрезультатны до нынешнего лета. В середине июля я приехала в Минск. Я пробыла там почти два месяца, исходила все учреждения, справочные бюро, детдома, притоны бесприютных детей... ничего!

Неделю тому назад я получила ваше письмо. В тот же день я узнала, что мадемуазель Горро стала гражданкой Артюшиной, женой торговца в Ленинграде. Я приехала сюда сегодня и нашла ее.

Голос ее упал до шопота. В надвинувшейся темноте ее фигура казалась уже бесформенным пятном, большим и дрожащим. Молчание ее затянулось, но мы с женой не нарушали его, угадывая в этой долгой паузе борьбу и страдание.

— Мой младший мальчик умер от тифа в первый же месяц после нашего от'езда. Старший...

В первый раз за все время голос ее дрогнул.

— Старший... Ему было бы теперь пятнадцать лет... А четырнадцати лет он был убит вместе с товарищами по ремеслу во время налета на артельщика банка... Четырнадцати лет... Как здесь душно!..

Было свежо, а не душно. Но все-таки я открыл и второе окно. Я сам удивился тому, что, подходя к окну и потом обратно к своему месту, я старался ступать осторожно, почти бесшумно. И жена сидела неподвижно, как бы боясь произвести движение. Присутствие нашей гостьи было тягостно.

Мы долго молчали.

Наконец, жена сказала:

— За последние дни нам... вернее, мужу... довелось выслушать так много...

— Ваш муж...—прервала женщина суровым тоном,—он только выслушивает?...

Я не понял, что она хотела этим сказать. Жена ответила с обидой в голосе:

— Мужу просто не удалось выполнить свое обязательство. Как-раз перед вашим приходом он собирался прочесть мне письмо, написанное одному из... Кестя!—повернулась она ко мне,—я полагаю, что мадам Ятонис имеет право требовать твоего рассказа... Твой черед...

Я пробормотал с неудовольствием:

— Если угодно слушать...

— О, прошу вас,—ответила гостья безразличным тоном.

Я колебался, но жена шепнула мне:

— Читай! Это лучший способ отвлечь ее от собственных мыслей.

Я зажег лампу и склонился над развернутым письмом, приготовленным для чтения.

VI. Гонец из штаба.

Передо мной было каменное лицо моей гостьи. Глаза ее были закрыты. Я еще раз вопросительно посмотрел на жену, встретил ее убеждающий взгляд и начал:

«Мне приказано было взорвать мост в восемь часов вечера. Бригада прошла еще утром, но последние телеги обоза проехали лишь к пяти часам. Вслед за ними, четко стуча сапогами по деревянному настилу моста, прошел охраняющий батальон, и после этого мы приступили к работе.

Мост был железный, стосаженной узорной полосой растянувшийся над каменистою речкою. Стоял он в пустынном месте, вдалеке от жилья, и лишь по ту сторону его, в полутора верстах, залегло местечко Т., где до сегодняшнего дня помещался штаб бригады.

Уже начало темнеть, а работа все еще не кончилась.

— Живей, ребята!—торопил я немногочисленных своих и неопытных сапер, привязывавших пироксилиновые шашки к фермам моста.

Наконец, я осмотрел расположение шашек и проверил детонирующую сеть.

— Все ладно,—сказал я.—Вставляйте капсюли.

Часть людей со всеми инструментами и повозкой я отправил в условленное место, оставил лишь трех человек, из которых один стоял уже с концом Бикфордова шнура и пеньковым фитилем в руках.

Закончив все приготовления, мы постояли молча несколько секунд.

— Который час?

— Восемь,—ответил мой помощник Григорьев, не глядя, впрочем, на часы.

— Зажигай!

— Постой!

— Что случилось?

Я с тревогой обернулся к Григорьеву, задержавшему команду.

— Гляди-ка на мост!

Мы все посмотрели туда. На самой середине моста, неясно выделяясь на фоне вечернего неба, стоял человек.

— Крикнуть что ли ему?

— Давай.

Мы все закричали и замахали руками, но человек не шевельнулся. Я посмотрел в бинокль. Это была женщина. В руках ее был сверток, который она держала так, как держат младенца.

— Пора зажигать,—сказал Григорьев.

— Да. Но придется ее снять раньше.

— Кого?

— Женщину. Это женщина. С ребенком. Глухая она, что ли? Погоди зажигать! Я в момент.

Я бросился к лестнице, ведущей на мост, взбежал наверх и быстрыми шагами направился к женщине. Было совсем уже темно. Противоположный берег бесформенной массой чернел в темносинем воздухе. Горела одинокая крупная звезда.

— Что вы здесь делаете?

Блуждающий взгляд скользнул мимо меня. Женщина была молода. Большой платок, наброшенный на голову, скрывал почти всю ее фигуру. Я дотронулся до ее руки.

— Уходите. Сейчас же. Здесь нельзя оставаться.

Тот же блуждающий взгляд и молчание. Какое страдальческое лицо!

— Уйдите!—крикнул я повелительно и даже толкнул ее слегка.

Она прислонилась к перилам моста, продолжая сжимать свою ношу под платком.

Я схватил ее за плечи и, толкая перед собой, потащил к берегу, к оставленным товарищам. Она шла, не сопротивляясь. Когда мы сошли с моста, я потащил ее дальше и на ходу крикнул Григорьеву:

— Зажигай!

Григорьев и красноармейцы скоро догнали нас.

— Шнур обрезали?—спросил я.

— Нет.

— Шесть метров?

— Не меньше.

Я быстро сделал расчет в уме... Шестьсот сантиметров—шестьсот секунд—десять минут горения... О, времени много!

Добежав до рощи, где ждали нас люди с повозкой, мы остановились.

— Садитесь,—сказал я женщине, видя, что она шатается от усталости.— Вас придется арестовать. Зачем вы были на мосту?

Она села на землю под деревом и подняла на меня глаза. Первый раз я увидел ее осмысленный, испуганный и умоляющий взгляд. Потом она как-то странно с'ежилась, послышался короткий стон. Женщина потеряла сознание. Ослабевшие ее руки выпустили свою ношу. Из-под платка выкатился детский трупик.

— Гм!—сказал Григорьев.

Я осмотрел труп. Это была девочка пяти-шести месяцев, одетая в одну рубашенку. Я дотронулся пальцем. Окоченение.

Переводя глаза с трупа на женщину, в неестественной позе раскинувшуюся на земле, я не заметил сначала смятения, наступившего среди окружающих. Но вскоре пронзительный крик заставил меня обернуться. К нам бежал, размахивая руками и крича что-то гонец. Он бежал по дороге из села Г..., куда ушла бригада.

— Что-то случилось,—сказал Григорьев.—Почему пешком?

Когда бежавший приблизился, мы увидели, что это командир. Верно, из штаба бригады.

— Товарищ Егоров. Кто Егоров?

— Я.

— Приказание комбрига. Моста не взрывать... Вот. Подошла дивизия. Мы идем обратно.

Мы все стояли оцепенев.

— Ну?—с нетерпением и властно крикнул посланный.

— Шнур заж... жен,—ответил я.—Мост взорвется через пять минут.

— Пять минут,—повторил гонец, глазами измеряя расстояние до моста.—Неужели не успеть?

— Дайте приказание!—крикнул я и вырвал у него из рук бумагу.

«...приказываю... прекратить подрывные работы... выставить охранение... к 24 часам бригада...».

У меня не было времени читать дальше. Я схватил с повозки ножницы и со всех ног бросился к мосту.

«Пять минут»,—думал я, несясь в полной темноте.—«Совершенно безопасно. Шестьсот сантиметров—десять минут горения. Можно добежать за три минуты. Ножницами—хлоп, и готово. Безопасно».

Но оставалось по меньшей мере двести шагов до моста, когда раздался взрыв. Я бросился на землю, а вслед за тем почувствовал такую оглушающую боль, что больше ничего не помнил.

Я очнулся в больничной палате. По мере того, как прояснялось мое сознание, я припоминал все случившееся. В комнате стояло несколько кроватей, но, повидимому, кроме меня, больных не было. У окна сидела сестра.

Дверь тихо зашуршала, и на пороге появился Григорьев.

Он весело кивнул головой и подошел к моей кровати.

— Как себя чувствуешь?

Он уселся на стул, уперся руками в колени, склонился надо мной.

— Думаю... Не все ясно. Не удалось...

— Что не удалось?

— Спасти мост.

Он криво усмехнулся и почему-то зажмурил один глаз.

— Да-а...

Сестра сидела теперь спиной к окну и смотрела на меня. Хотя лицо ее было в тени, и сестринская косынка делала его похожим на все лица, я сразу узнал ее.

— Это она!..—почти крикнул я и даже попытался приподняться. Она бросилась ко мне.

— Лежите. Нельзя.

И опять тот же врезавшийся мне в память взгляд, умоляющий и испуганный.

— Вы были... на мосту...

— Успокойтесь!

Я посмотрел на свое одеяло, на контуры своего тела, выступавшие под ним.

— Что они сделали с моей ногой? Отрезали?..

— Да,—твердо и громко сказала сестра. Она смотрела на меня в упор, строго и вызывающе.

О, милая женщина! Спасибо за поддержку, за ласку, за мужество!

Мы все молчали долго. Сестра положила свою руку на мою.

На утро комната была наполнена солнцем. Я молча следил за движениями моей сиделки, приготовлявшей какой-то раствор.

Опять пришел Григорьев. Он принес мне папирос.

— Хорошо тебе?

— Хорошо. Солнце.

— Четвертый день лежишь. Врач приходил?

— Нет еще. Где это мы?

— В Гуте. Штабриг здесь.

— И дивизия?

— Какая дивизия?

— Ну... Как же. Помнишь тонца?

— А! Да... Не хотел бы тебе говорить, да вижу, что придется...

Я беспокойно посмотрел на него. Сестра подошла к кровати и стала в ожидании.

— Гонец-то этот... Фальшивый... белый...

— Что?..

— А вот... Приказания не было. И никакой дивизии. Мост хотел сохранить. На той стороне уже Деникин был... Сунулись было, да отбили...

— Было приказание,—сказал я после паузы.

— Подделка. Зря ты это. Второпях и не подметил.

— Поймали его?

— Ушел. Когда взрыв раздался, все бросились к мосту, тебя увидели с раздробленной ногой. Кусок чугуна, поднятый взрывом, на тебя упал... да... Потом хватились, нет гонца. Думаем, ушел в бригаду... А оказалось, все это ложь.

Помолчав, я прошептал:

— Зря, значит... Ноги жаль.

Мне сделалось жарко. Слезы горькой обиды подступили к горлу. Теплая маленькая рука легла на мой лоб.

— Подождите,—сказал я...—Уходи, Григорьев... Дай... одному остаться.

Он ушел. А сестра села у моего изголовья и опять взяла мою руку. Я долго смотрел в потолок, потом сказал:

— Хотел бы я знать, кто этот негодяй...

Посмотрел в окно, на сестру, спросил:

— Как зовут вас?

— Вита.

— Хорошо, Вита. Спасибо.

Так лежал я целый день, уставив глаза в потолок, ни о чем не думая, безразлично отвечая на вопросы сиделки, врача и редких посетителей. Сознание непоправимого, ненужного и бесполезного наполняло меня всего.

Вечером, уже при свете неяркой керосиновой лампы, Вита вдруг сказала:

— Ее похоронили там же, в роще.

— Кого?

— Дочь.

— А!

Я повернулся к ней, вгляделся в ее лицо, спросил тихо:

— В чем дело?

— Не знаю сама. Я без памяти была.

— Откуда вы?

— Из Ростова.

— А здесь как очутились?

— Жила здесь с мужем. На хуторе, близ станции...

— Обратно уйдете? Там белые...

— Нет. И с мужем кончено...

— А... Семейная трагедия... Та-ак...

Помолчали.

— Ребенок отчего умер?

— Не знаю. От голода, должно быть. Женя когда умерла... я взяла ее с кровати, вышла из дому... Я сама видела, что делаю, но не понимала... Куда и зачем?.. Я шла куда-то. Все это—и как вы меня с моста утащили—мне потом рассказывали. Муж с белыми остался... Ждал их.

— А вы?

— Мне все равно... было. Теперь с вами... одна..

Я тихо погладил ее руку».

Подняв глаза, я увидел, что жена сидит, опустив голову и закутавшись в теплый платок. У гостьи глаза были закрыты попрежнему. Слушала ли она? За окном вырос какой-то шум, и отблески зарева появились на стене противоположного дома.

— Что там?—с беспокойством спросил я.

Жена подбежала к открытому окну.

— О! Это факельное шествие комсомольцев.

Я встал и подошел к ней.

— Сегодня—международный юношеский день,—сказала жена, обращаясь к гостье.—Хотите посмотреть?

— Благодарю вас.

Гостья медленно открыла глаза, медленно поднялась и подошла к другому окну.

— Интересно, не правда ли?—крикнул я.

Мы ее не видели, потому что в простенке стоял шкаф.

— О, да!—раздался ее голос по ту сторону шкафа.

Вся улица была занята пылающими точками. Стройное пение и шум тысячи шагов глухой, неясной, но вызывающей музыкой доносился до четвертого этажа. Казалось, не было конца этой колонне, вливавшейся из боковой улицы.

Жена вдруг откинулась от окна, схватила меня за руку, сказала шопотом:

— Костя!

— Что, Вита?

Я стоял, опершись спиной о боковую стенку шкафа, глядя на изменившееся лицо жены, на котором горело дважды отображенное зарево факелов.

— Какая странная женщина!

— Она страдает,—ответил я тоже шопотом.—И боюсь, что эти юноши внизу еще больше взволнуют ее.

Жена прижалась ко мне. Слова ее были едва слышны:

— Как много еще горя... Чужое горе... заслуженное, может быть... Но все-таки... это ужасно...

Я молча погладил ее волосы.

— Ну, ладно,—встряхнув головой, сказала она.—Пойду чай готовить.

Она сделала несколько шагов, вдруг остановилась и сказала тревожно:

— Костя, она ушла...

Я вышел на средину комнаты и оглядел ее. Женщины не было.

— Видишь ли, Вита...—я положил ей руку на плечо.—Тебе-то наша гостья не покажется слишком странной. Помнишь, как ты на мосту... Притти к чужим, незнакомым людям с тем, чтобы рассказать о своем несчастьи, появиться неожиданно и так же неожиданно исчезнуть, не значит ли это проявить свою душевную пустоту, смятение, безвыходность... Но что там случилось?—я указал на дверь.

Оттуда доносились крики. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежали люди. Впереди была наша квартирная хозяйка. Глаза ее были широко раскрыты, руки вытянуты вперед. Она закричала:

— Там лежит разбившаяся женщина. Она бросилась из вашего окна. Разве вы не знаете?..

— Так вот куда!..—вырвалось у меня. Дрожащей рукой, едва удержав равновесие, я подхватил жену, потерявшую сознание, и уложил ее на диван.

— Побудьте с ней,—крикнул я хозяйке и выбежал из комнаты.

С быстротой, которую позволяла мне деревянная нога, я спустился с лестницы и вышел на улицу. Пробившись сквозь толпу, я увидел лежавшее на тротуаре тело и бросился к нему. Кто-то остановил меня. Это был милиционер.

— Не трогайте,—сказал он.—Она мертва.

Я вышел из толпы, отошел к краю тротуара и остановился. Комсомольцы все еще шли. Они шагали, дружно стуча по торцу, высоко держа факелы, распевая свою радостную песню. Звуки ее вместе с факельным красным дымом уходили вверх, подымаясь над улицей, над городом и над всей землей.

ЛЕОНИД УЛИН.

Глухая падь

I.

Евсеич мне нравился. От кончика седых волос до короткого «да» он был настоящим русским. Владимирскую простоту его не могли стереть ни вольная жизнь, ни хорошие заработки, ни близость Америки и продолжительное пребывание в Японии и Китае. Все в нем осталось таким, как было три десятка лет назад, когда он расстался с Владимирской губернией, пустившись на поиски лучшей жизни. Стоит только услышать его голос, медленный и спокойный, взглянуть на здоровое, свежее (несмотря на пятьдесят лет) лицо, обросшее короткой и густой бородой, встретить добрый глубокий взгляд, как американская внешность—клетчатая шерстяная рубаха, фуфайка и толстые суконные брюки на шнурках—становилась естественной и простой, как сам он.

Евсеич был хороший охотник и хороший человек. Он нравился почти всем, но она была еще лучше.

Говорить об ее внешности много нечего. Копна черных волос и два черных сверчка, прыгающих по обе стороны широкого прямого носа, под густыми берегами бровей—вот что бросалось в первую очередь в глаза. В остальном можно представить себе любую девушку, если рост ее не выше среднего, талия не шире пятивершковой сосны и если она еще не праздновала девятнадцатый раз день своего рождения.

Звали ее Наташей. Матерью ее была камчадалка, отцом—Евсеич. Она умела хорошо рыбачить и охотиться, хотя охотилась редко. Но за ней охотились все, а усерднее всех Тимофей и Николай—два наших компаньона. Что охота Тимофея была удачнее, знали все. О том же, как относился к этому Николай, знать никто не мог. Догадки в счет не идут.

Наташе было семь лет, когда ее мать в одну из зимних ночей, наполненную холодом и пургой, вышла на улицу, чтобы, перебежав двадцать сажен, разделявшие их жилье от соседнего, взять что-то по хозяйству. Через два дня зашедшая к ним соседка нашла Наташу сидящей у холодной печки, закутанную в большую отцовскую кухлянку, за раскупориванием банки с консервированным молоком, а через час под сугробом снега в сажени от дома был обнаружен окоченевший труп матери. До возвращения отца с охоты она жила у соседей.

Летом на побережьи не встретишь ни одного свободного человека. Оставить девочку было не с кем, поэтому, когда наступил сезон лова лососины, Евсеич, посадив дочь в лодку, поехал бросать сеть. Ей, вероятно, показалось очень забавным, как на сажень от поверхности воды стаи рыб, растопырив

свои плавники, идут (словно готовая к сражению армия) сомкнутым строем против течения. Заглядевшийся отец не заметил, как Наташа, слишком далеко перегнувшись за борт, скользнула в реку. Подброшенная течением, через мгновенье она снова вынырнула перед его носом. Изумленный неожиданным появлением дочери, он почти машинально подхватил ее за платье крючком для рыбы.

Через неделю пароход, совершающий летний рейс вдоль побережья, увез ее в Петропавловск. Только через восемь лет, окончив школу, Наташа вновь вернулась к одинокому отцу и с тех пор не покидала его почти никогда. Эту историю она рассказала мне сама. Когда она говорила, выходило очень смешно.

Однажды Евсеич, напившись пьяным, спал. Вдруг разнеслась весть: пошла хорошо красная! Делать нечего, хотя это и было тяжело, приходилось ехать одному. Вскочив в лодку, я собирался оттолкнуться веслом от берега. Неожиданно кто-то закричал от палаток:

— Нид, подожди меня!

Это кричала Наташа, или, как ее сокращенно называл Евсеич, Таша. Кстати, у Евсеича была привычка переделывать имена, оставляя только последний слог. Через минуту, подойдя к лодке, Наташа села на корму и, взяв в руки весло, заявила:

— Я поеду с тобой.

— Но я вас не знаю,—удивленно ответил я.

— Неправда, знаешь! Мы в тумане ругались вместе. Сейчас мне отец сказал, что ты едешь один, а мне все равно пока нечего делать. Поедем!

— А, в тумане ругались? Ну, что же, поедем!

Через несколько дней мы были друзьями. Как-то, сидя вечером в палатке, она спрашивала меня:

— Скажи, Нид, что такое любовь?

— Не знаю.

— И что за люди Тима и Николай?—не обращая внимания на мой ответ, опять спросила она.

— Я новичок здесь, зачем же ты меня спрашиваешь?

— Неправда. Ты знаешь. Разве надо обязательно долго жить с людьми вместе, чтобы знать их? Ведь ты, помнишь, говорил как-то, что можно сразу увидеть человека всего, по одному случайному жесту, по одному взгляду или слову. Разве не так?

— Так!

— Почему же ты не хочешь ответить мне?

— Иногда, даже если и можешь увидеть человека по-настоящему, не смотри, а если и увидел, постарайся забыть. А любовь?!. Это тоже не лосось, которого можно поймать, рассмотреть сначала сверху, потом разрезать, выпотрошить и разобрать по косточкам, по икринкам.

Наташа задумалась и, немного помолчав, снова спросила:

— Как ты думаешь, Нид, что лучше: любить или учиться?

— И любить, и учиться.

— Верно! Я так и сделаю. Поеду на материк учиться, а потом вернусь снова на север. Я ведь очень люблю его.

— Тиму или север?

Наташа от неожиданности покраснела. Оправившись, проговорила:

— Я, конечно, имела в виду север.

— Да, он стоит твоей любви. Я тоже его полюбил. У него есть то, чего не найдешь нигде: суровая простота и откровенное лицо жизни. Это теперь редкость.

— Ты начинаешь говорить непонятно,—смеясь, прервала она меня. Я пока не разбираюсь в таких тонкостях. Вот, когда буду учиться, тогда пойму. А пока просто люблю и больше ничего.

Помню, перед самым от'ездом на катере она подошла ко мне и хотела что-то сказать, вероятно, очень важное. Ей удалось проговорить только несколько бессвязных слов:

— Я надеюсь... ты смотри... Николай... Тима...

Подошедший отец с Николаем не дали докончить. На прощанье, когда катер уходил от берега, она кричала нам:

— Смотрите—мне по соболю с каждого! Счастливо!..

Мы шли медленно вверх по скалистому склону последнего перевала. Каждый из нас думал о ней. В тягучие, долгие, бледно-мутные или ярко искрящиеся охотничьи будни она была постоянно с нами.

II.

С камня на камень, от дерева к дереву скакал молодой, дикий козленок, взбивая невидимыми копытками пушистую снежную пыль. Вот он исчез за большим скалистым выступом, в трещинах которого прятались белые тенета снега. Еще через несколько секунд он уже стремительно катился вниз, перескакивая через огромные камни, снеговые навесы и заросли кустарника, словно спасаясь от неизвестного преследователя. Вместо него, появилось несколько других, они, также прыгая, то появлялись, то исчезали вновь. Целые стада диких козлят—легкие порывы ветерка—бегали между двух гор, по высоким скалистым склонам, падающим круто вниз. Вспышками белого пламени отмечался их след. Вскинувшись, пламя дрожало несколько мгновений на месте, перекидывалось из стороны в сторону и таяло, чтобы снова задрожать по другом следу.

Наши лыжи медленно скользят вверх по склону, пара за парой. Огибают осторожно снежные заносы, заросли кедрового сланца, большие скалистые выступы. Двое тянут следом за собой небольшие нарточки, нагруженные провизией, двое других—первый и последний—следят за направлением пути. Две пары ровных полос убегают назад вниз—одна узкая от нарт и широкая от лыж; две пары извиваются по склону и тают. Больше ничего. Ни одного звука, ни одного слова. Две пары ровных полос и молчание.

Среди крутых корежистых склонов, с множеством огромных навесов из оледенелых скал и рыхлого снега, звуки опасны, как опасна искра в пороховом складе. Лыжи скользят осторожно и тихо, без резких толчков и поворотов, чтобы ничем не нарушить равновесия покоя и тишины. Особенно опасен звук там, где дольше обыкновенного дрожит белое пламя, вспыхнувшее по следу ветерка. Легкий звук расколет хрупкое стекло покоя и заставит долго-долго биться чудовищным грохотом и звоном низвергающуюся вниз лавину снега и камней. Резкий толчок лыж сорвет маленькую волну застывшей белой пены, в два-три сантиметра, которая упадет на дно ущелья мощным валом в десятки сажен и, упав, заставит горы тревожно загудеть и послать вслед ей еще тысячи таких же всесокрушающих валов.

Шесть дней пути среди гор и молчания. Цель близка: последний перевал—спуск в березовую падь, и двухнедельный отдых перед долгой охотой на соболя и лисицу. Еще несколько часов крутого, тяжелого под'ема, за которым последует ровный и быстрый спуск.

Ноябрьское солнце—огромная глыба плавящегося серебра в матово-голубом ковше неба. Рассеивая лучи миллионами искр в горах, оно улыбается ра-

достными всплесками на вздувшихся белой опухолью ветвях деревьев и ныряет хризопалювой молнией в глубину оледенелых скал.

Сделав легкий поворот вправо, мы остановились. Скалистые выступы, раздвинувшись полукругом на несколько десятков сажен, давали возможность, забыв на время об опасности, отдохнуть. Через минуту заплечные мешки упали на землю, и вместе с дымом закуренных трубок спокойным полушопотом скользнули слова:

— Здесь?!

— Здесь!

— Значит, мы с Тимофеем берем влево по этому распадку? —спрашивал тот, кто шел впереди.

— А мы—прямо. Как раз выйдем к лабазам. Только вы осторожней там, мимо Чортова уха,—добавил к своему ответу шедший последним.—Снег в этом году выпал большой и ранний. Мышь и та около него побоится пробежать быстро.

— Ничего! Ведь не в первый раз. Ты, Тимофей, как?

— Четвертую зиму иду этой дорогой!

Снова мешки за плечами. Мы разошлись по своим районам.

Не так просто научиться распознавать следы зверей, все их хитрые, замысловатые уловки, обмануть их чутье и взять без лишних хлопот и погони. Иной раз соболь крутит охотника целый день, замучает вконец и уйдет. И охотник, проклиная все—от соболиного хвоста до кончиков своих лыж—усталый и озлобленный возвращается ни с чем. Бывает так, что одного соболя сторожат пять капканов, а он ходит между ними, как ни в чем не бывало, словно опытный танцор меж столиков, и хоть бы что!

Расставив капканы с приманкой, через два дня мы пошли на просмотр—каждый в свою сторону. Погода стояла ясная, морозная. Деревья, покрытые белым блестящим цветом, осыпались мелкой пылью инея, дымясь, словно вишневый сад в цвету, но только безжизненный и холодный. Гребни хребтов таяли в пушистой серебряной вате облаков синеватыми контурами, а на востоке, куда убегала долина, зарево лучей ткало венец солнечного восхода.

Лыжи по морозному снегу скользили легко и быстро. Перед отходом Евсеич напомнил мне охотничью примету:

— Первого обязательно застрели —к удаче! И лису тоже... Смотри не забудь!

К полдню, обойдя почти все капканы, я имел с собой только одну простую, обыкновенную, двадцатирублевую лисицу. Неудача была налицо. Следы соболя есть, но все мимо.

Направляясь к последнему капкану, поставленному особенно хорошо, под небольшим деревом, имевшем у основания форму согнутой в колене ноги, я заметил еще издали что-то черное. Подойдя шагов на восемьдесят, выстрелил.

— Соболь!.. соболь!.. да еще черный! Издали даже видно.

Первая добыча—удачная и богатая... Что скажет старик?

Нагнувшись над капканом и освободив пружину, я поднял мертвое, черное, с сизоватым отливом, уже застывшее тело. Сердце вдруг превратилось в кусок льда, и ноги почувствовали сразу усталость. Сев на дерево, я закурил.

Приманки над капканом не было, но зато вокруг весь снег был разрисован соболиными следами. Саженях в десяти лежало черное, с сизоватым от-

ливом тело... вороны. Я разразился проклятиями. Вороньи перья я принял издали за следы соболя...

Когда я входил в палатку, старик, посмотрев на мое лицо и увидев, с какой злой решимостью была брошена в угол шкура лисы, спросил:

— Приманку с'ел?

— Угу...

— Заяц или ворона?

— Ворона.

— Значит, завтра будет заяц. Ничего, не волнуйся,—все-равно сядет. Завтра поставь другой капкан.—И похвастал:—А у меня хорошо— две лисички добрые и мужичок. Вот полюбуйся!!

И, вытянув из-за березовой коры, наваленной для растопки в углу, подбросил на руке мерзлую темновато-дымчатую рукавицу—шкурку соболя.

— Полторы сотни потянет! А?

На другой день, выйдя из палатки, я направился прямо к последнему капкану, решив начать осмотр с него. Как и предсказывал Евсеич, приманки опять не оказалось, а в капкане бился большой старый заяц. Соболиные следы, как и вчера, шли мимо капкана.

Поставив второй капкан на то место, где сходились круги следов, взяв с собой добычу и замаскировав следы, я двинулся дальше. Этот день оказался счастливее вчерашнего. Седьмой капкан держал лисицу, большую рыжую пушистую красавицу, а в стальных зубах девятого бился мужичок, по внешнему виду—родной брат того, который попал Евсеичу.

Четыре дня два капкана у дерева, похожего на ногу, согнутую в колене, были пусты, и, проходя мимо них, я видел много следов (без сомнения, одного и того же соболя) и нетронутую приманку—крыло куропатки. Только на пятый день рано утром заиндевевший приклад ружья оглушил бившегося в одном из капканов, злобно скалившего зубы маленького черного хищника. Это была самая дорогая и самая большая рукавица из всех добытых нами за сезон.

На начало охоты пожаловаться было нельзя. Дела шли сравнительно хорошо. К концу декабря количество рукавиц приблизилось к двухзначному числу, а хвосты лисиц уже полмесяца отмечались им.

Время шло незаметно. Дни проходили за проверкой капканов, охотой с ружьем на куропаток, лисиц и зайцев; ночи—за починкой обуви, одежды и в беседах.

Окружающий мир жил только охотой. Мышь охотилась за чем попало, что только могло служить для нее дичью; горностай охотился за мышью; ворона, сова и соболь за ними обоими; лисица за соболем, а человек за соболем и лисицей. За зайцем охотились все, за исключением мыши. Этот круг замыкал собой всю зимнюю жизнь. Выдра, волк и рысь попадались редко и случайно.

III.

Пламя свечи танцовало медленный гибкий танец змей под музыку тишины. Четыре тени неуклюже ползли по туго натянутым полотнам палатки, словно большие отравленные тараканы. Четыре человека решили сообща важный вопрос, каждый в отдельности, в тайниках мыслей, по-своему.

Тимофей с Николаем перекочевали к нам. Насколько у нас охота шла удачно, настолько у них дело обстояло плохо. В их районе соболей почти не было совсем. Но в середине января четырем охотникам надеяться на один район нельзя. Поэтому Николай говорил:

— Экспедиция должна уже вернуться из заповедника. Через две недели начнутся пурги, ждать их она не рискнет. А для нас две недели вполне достаточно, чтобы прихлопать там соболей столько, сколько здесь мы наловим за целый сезон. К пургам постараемся возвратиться сюда. Ведь пути всего два дня. Как ты думаешь, Нид?—закончил он, обращаясь ко мне.

— Все равно!

Этот здоровый, плечистый парень, с крупным, почти квадратным лицом, большим ртом, с глазами мутно-коричневого цвета, смотрящими куда-то в сторону, прямым мясистым носом и редкими, цвета гнилой соломы, волосами, мне не нравился.

За последние дни он был ко мне почему-то очень внимателен. Впрочем, его внимательность казалась неприятной и подозрительной.

Тимофей же был среднего роста, мускулистый, гибкий, с тонким лицом, светло-серыми глазами и темными густыми волосами, весь прямой, как стальной клинок. Мы стали с ним друзьями еще летом, и теперь, встретившись через два месяца, были рады друг другу.

— Что ты скажешь на это, Тима?—переспросил я его,—есть смысл пойти за перевал, не рискуя?

— Конечно,—медленно ответил он,—добыча будет богатая—сомневаться нечего. Но риск есть, и серьезный. Насколько я тебя понял, ты хочешь спуститься в Глухую падь?

— Да. Там рукавичек, как гороху в июле.

— Соболей в Глухой пади должно быть много, а чтобы спуститься вниз, веревок у нас хватит. Но малейшее сотрясение или неожиданная пурга, и мы останемся на дне ее навсегда. Ты это знаешь?

Я знал, что охотники не рискуют спускаться в Глухую падь, а другого пути нет. Там, где может пробежать зверь, человеку пройти не под силу. Даже надзор из экспедиции редко заглядывает туда. Знают: никто не пойдет ломать себе шею.

Молчавший до сих пор Евсеич решил:

— Верно, ребятки, сходить надо не надолго. Пурга придет не раньше, как через две недели—я знаю это.

Через два дня, взяв последний скалистый перевал, мы были у Глухой пади. Два невысоких боковых хребта горного массива, убегая в даль, образовывали неглубокую, но совершенно недоступную долину. Склоны падали вниз под углом в 70 градусов, переходя местами в вертикальные стены. Даже с веревкой надо было действовать здесь осторожно, чтобы не срезать какой-нибудь снежный навес над вертикальным обрывом. Внизу на расстоянии трехсот саженей можно было видеть ровное дно долины в полверсты шириной, покрытое густым березняком и лиственницей. Долина тянулась на три-четыре версты и скрывалась за крутым поворотом в сторону меж хребтами.

К следующему дню веревка была готова. Тонкой темной ниткой вилась она по белой скатерти снега, изгибаясь на отвесах, терялась и снова выползала обрывками на скаты, пока, наконец, не падала полукругом на дно долины. Первым стал спускаться Тимофей, как самый легкий и ловкий из всех; за ним—Евсеич, потом я и последним спустился Николай с нарточкой. К вечеру по долине мы расставили четыре дюжины капканов. А через два дня количество рукавичек, добытых всей компанией за два месяца, увеличилось вдвое Таково было начало.

— Игра стоила свеч,—усмехаясь и бегая глазами по сторонам, говорил Николай.

IV.

Утром мы поднимаемся на верх и возвращаемся обратно к палатке. Добыча богатая. Эта ночь в глухой пади должна быть последней, а поэтому мы и отдаем ее спокойному сну в долине.

Рано утром, проснувшись первым, я вышел из палатки и замер: небо исчезло, исчезли хребты, скалы, исчезла темная полоса веревки. Был только один белый полог над головой. С полога сыпалось вниз частым дождем мелкое, колкое серебро, вдалеке глухо, словно через толстую каменную стену гудел гром.

— Евсеич!..

Старик торопливо выбежал и также остановился от неожиданности и изумления:

— Сто, двести... тысячу дьяволов!.. Ребята, скорей собирайся! Если мы не выберемся из этой дыры, к полдню она нас завалит. Живо!

Слова старика подействовали ударом кнута. Через пять минут все было готово. Натянутая веревка освободилась из-под снега. Первым полез Евсеич. Через час, когда подергиванием веревки он дал знать, что достиг поверхности склона, полез я.

Первые три четверти пути взбираться по веревке было легче, зато последняя четверть заняла столько же времени, сколько три первых. Мерзлый мелкий снег кружился в яростных порывах вихря и бешено бил жгучими осколками в лицо. Он подбрасывал меня вместе с веревкой вверх и заставлял коченеть в рукавицах руки.

Наш под'ем занял около двух часов. Когда поднимался старик—было тише, но ему труднее давался под'ем. Для меня карабкаться вверх было легче. Поднявшись на вершину склона, я присоединился к Евсеичу, укрывшемуся за большим камнем. Через полчаса около нас появился и Николай.

— А мы думали, ты выберешься последним. Ты, ведь, сильнее всех, — заметил я.

Поступок Николая покоробил меня.

— А я решил сделать наоборот,—ответил он. -Втроем мы легче вытянем его.

Возражать было трудно. Если, действительно так, он поступил правильно.

Натянув веревку и, обернувшись ею два раза, чтобы было лучше держаться на ногах, мы медленно начали вытягивать нарточку с Тимофеем.

Вот в снег упал первый узел, потом второй, третий, четвертый... Всего их девятнадцать на расстоянии шестнадцати саженей друг от друга.

Пурга безумствовала. Руки окоченели, лицо покрылось мерзлой маской, и уже не чувствовались болезненные ожоги оледенелого снега. Ресницы смерзлись и дышать было невозможно.

— Ничего, ребятки!—где-то далеко-далеко звучал голос Евсеича. Крепись!..

Падает десятый узел к ногам, одиннадцатый, двенадцатый...

— Да-вай!

— Э-э-и...

— У-у-у...

И вдруг все трое, потеряв равновесие, падаем на землю, в снег.

— Ребята, где Тима?!.

Вскочили, заметались к космам пурги, потянули легко подавшуюся веревку: тринадцатого узла нет. Вместо него—тупой, скорченный недавней затяжкой, обмерзлый конец.

Горы гудят. В воздухе с оглушительным треском лопаются невидимые стальные канаты. Взгляд решетят ледяные колосья, частые, частые, как биение пульса. Землю поглотила ночь. Ночь опутала тенета пурги.

Далекий глухой крик донесся откуда-то.

Крик или вой ветра?..

У Николая, когда я был еще внизу, нож тыловой частью рукоятки торчал к себе. Когда же я увидел его наверху, рукоятка находилась в обратном положении. Я заметил это случайно и не обратил внимания.

На третий день после пурги я попросил у него нож, чтобы расколоть кусок сахара. Близ рукоятки виднелось несколько маленьких темно-коричневых волосков, таких, из которых делаются веревки.

...Наташа уверенно говорила:

— Да, да! Я знаю, это он пустил Тиму в Глухую падь. Он просто подрезал узел. Ты знаешь, почему же отказываешься?

— Я просто молчу. Доказать этого нельзя, а от тебя я не скрыл виденного. Вот и все!

— Вместе с Тимой, значит, погибли и соболя в нарте?.. Обидно!

— Да, жаль!

— Хорошо,—еще раз, о чем-то размышляя, повторила Наташа.—Хорошо! Прощай, Нид! Ты хочешь с последним снегом ехать на север? Ну, что ж, счастливо! Собак ты приобрел прекрасных, да и заплатил дорого!.. Счастливо!

Повторив еще раз свое пожелание, она направилась к реке, перерезала ее парой широких полос лыж и скрылась в селении.

С Евсеичем я уже простился. Он был таким же, как всегда, простым, спокойным и добрым. Только при воспоминании о Тимофее хмурился и сразу замолкал. Николая я видел десять дней назад, когда после трехнедельного изнурительного пути мы вступили в селение, обессилевшие и голодные. Больше встречаться с ним я не хотел.

Проводив взглядом стройную фигуру Наташи, я еще раз осмотрел упряжку и взмахнул бичом. Утомленные ожиданием собаки, с силой рванув нарту, метнулись вперед. Перед глазами частыми крапинками на белой простыне снега замелькали красные подушечки их лап. Чаще и чаще мелькали они, путались и сливались в один общий большой узел и, наконец, исчезли совсем. Нарта скользнула под уклон. Две полосы через реку растаяли в легком порыве ветра. Впереди снова хребты и тайга, сзади густая снежная пыль и последнее пожелание...

V.

Через два года, в один из осенних холодных вечеров, я шел по улице большого шумного города. История с охотой и соболями давно изгладилась из моей памяти. За два года у меня было много ярких впечатлений и переживаний. Неожиданный толчок в плечо заставил меня остановиться и повернуться. Передо мной смеялось веселое лицо Наташи, и два черных сверчка скакали на том месте, где человеку положено иметь глаза.

— Не ожидал встретить, Нид?! Правда? Да ну, сделай же обыкновенное лицо! Что ты уставился на меня, как кунжа на рака! Ты куда? Все равно! Тогда пошли в эту сторону.

— Как ты попала сюда?—невольно вырвалось у меня.

— Существует один путь—на пароходе. Другого пока я не знаю,—тем же тоном отвечала Наташа.—На улице неудобно рассказывать, давай зайдем куда-нибудь.

Через полчаса, за чашкой кофе, медленно и просто (отцовская черта) рассказывала:

— Я тебе говорила, помнишь,—о том, что поеду учиться. Вот и приехала.

— А как отец?

— Отец попрежнему ловит рыбу и охотится.

— А Николай?

— Николай?.. Николай...—слегка смутившись, повторила она. –Да что тут много говорить! Ты, ведь, знаешь все! Пошла я с ним прошлую зиму на соболевку. Охотились в том же районе, где и вы. Жили в разных палатках. Потом пошли в Глухую падь... Я вернулась, а он остался там.

— Как остался?!

— Так же, как Тима... Знаешь, между прочим, я хотела убедиться и... нашла в долине второй конец веревки. Он был надрезан приблизительно на три четверти. Это было не трудно заметить. Соболей ваших я захватила с собой. Так что я твой должник сейчас... Там ведь их было порядочно и почти все сохранились...

— Ну, а Николай-то?

— Остался! Ты знаешь, он на Тиму был зол еще с двадцатого года. У его отца были рыбные промыслы на побережьи. Тима усиленно помогал сдать эти промыслы рабочей артели. К этому прибавилось еще кое-что. Ну, ты сам знаешь, что в результате вышло... Эта история с веревкой...

— А ты?

— Я здесь. Ты что—не веришь еще?

— Верю!

— Как тебе, Нид, нравятся эти соболя?

И той самой рукой, которая обрезала веревку с взбирающимся по ней наверх из Глухой пади Николаем, она коснулась своей изящной темновато-дымчатой с сизоватым отливом шапочки.

— Это те, которые вы мне обещали привезти с охоты. Каждый по одному. Их здесь четыре. Правда, хороши?

При последних словах я вдруг почувствовал, как вокруг моей шеи обвилась невидимая холодная змея, крепко сдавила горло, затем медленно поползла ледяными кольцами по спине. От нестерпимого, жуткого холода я вздрогнул.

— Что с тобой, Нид?

— Ничего, Таша! Я почему-то вспомнил прошлое... Помнишь, когда ты меня спрашивала, что такое любовь?

Посмотрев на меня долгим пристальным взглядом, немного нахмурив брови, холодным, чужим голосом она проговорила:

— Послушай, Нид, не говори мне больше глупостей и не напоминай о разной ерунде. Я приехала учиться. Пробуду здесь три года и снова уеду на север. Там встретимся. Я помню, что ты мне говорил о севере. Все помню. Понял?

— Да... да...

Ледяные кольца змеи прильнули плотнее к телу.

Передо мной было чье-то незнакомое окаменелое лицо и черные сверчки тоже окаменели. А соболя, прильнувшие к голове девушки, темновато-дымчатые, с сизоватым отливом, напомнили мне пургу, вой ветра, жгучие снежные осколки, вдруг ослабевшую веревку и то страшное, что таила в себе Глухая падь...

П. СТРИЖКОВ и Н. ДОБРОСЕРДОВ

Золотые тропы

ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА

I.

— Но-о-о! А, чорт...—раскатился резкий окрик по безмолвью тайги, заглушая звонкое цоканье лошадиных подков.

Продираясь сквозь зелень кустарника, на откос взбирались четыре коренастых лошади, покачивая уродливые вьюки с инструментом. Рядом шагали пятеро таежников в надвинутых на лоб шляпах. Бронзовые от загара лица блестели крупными каплями пота. Рубахи на спине и плечах промокли насквозь.

Еще усилия, ругань, хлесткие удары хворостиной, и партия выбралась из балки.

— Будет. Развьючивай коней,—хрипло распорядился высокий таежник с широкой бородой, тронутой кое-где серебристыми нитями седины.

Партия остановилась.

Отряхиваясь, как собаки, вылезшие из воды, освобожденные от вьюков лошади жадно захрустели травой, потрескивая сучьями мелкой таежной поросли.

— Растабаривай костер. Кешка, дуй за водой.

Загремел чайник. Огненные языки лизнули сухие дрова, и костер повесил в тайге дымный голубой рукав.

Уже второй месяц бородатый Самоха Сыч шел с товарищами за золотом на Чару.

Случилось это просто.

Весной приска взбудоражили слухи: на Жуе золото. Фунтовые самородки добывают хищники. А еще выше, к реке Чаре, такое богатство, что и сказать трудно. Россыпь будто бы не глубока: снимай торфы на аршин и мой. Самоха Сыч—старый приискатель, знавший жуинскую тайгу, как собственные сапоги, не поверил сначала, но взяла свое приискательская натура:

— Зря болтать не станут. Этакие случаи, что золото под носом находили, не раз бывали.

Подобрав товарищей, с четырмя лошадьми и немудреным старательским скарбом, Сыч тронулся в путь. Сначала на Жую, а потом и дальше.

Сегодня сорок первый привал. Усевшись на пень, Самоха поглядывал на товарищей. Лихие ребята. Терешка Блин, Кешка, да Касьян Егоза,—своя братва, карымцы. А Кирька Ухастый, хотя и городской, но тоже хороший приискатель.

— С такими не пропадешь. Натакаться бы только на верное местечко.

Верное местечко пока не находилось, и партия, пробуя места, день за днем уходила все дальше и дальше на север, отыскивая далекую, затерявшуюся где-то среди таежных хребтов и увалов, богатую золотом Чару.

— Никуда не денется Чара. В этом направлении иди,—обязательно в нее упрешься. Верно, Кирька?

Кирька прихлопнул комара, усевшегося на жилистую, волосатую руку.

— Куда ей деваться? Давно нас ждет.

— Здесь будем смотреть?—кивнул Кешка на журчавший невдалеке ручей.

— А чего не поглядеть? Попьем чайку, отдохнем, да и за работу.

Терешка Блин и Касьян завозились у вьюков, доставая кайлу и лопату. Самоха спустился к самому ключу, осматривая место. Через полчаса он вернулся и на вопросы товарищей презрительно сплюнул:

— Знаки есть, а настоящего золота не должно быть. Попытать удачи можно.

Место оказалось нестоющим внимания. Взяв несколько проб, приискатели бросили промывать гальку, поймали лошадей и стали собираться в путь.

— Не фартит,—вырвался у кого-то вздох.

— Не гнусавь! На Чаре пофартит,—отрезал Самоха и дернул повод.—Но!..

Затрещал валежник, и партия вытянулась по откосу. Тайга звенела птичьими голосами. Было знойно. В горячем воздухе дрожали и переливались синие, иззубренные грани гольцов. Синели дали, синело небо. Изумруд травы впервые топтали ноги коней и людей.

— Хорошо в тайге,—тихо произнес Самоха, впиваясь глазами в далекие очертания гор. Потом выкатил круглые камни слов—Там Чара!..

II.

— Стой!

Багровый восток огненными языками зари слизывал серебро звезд, отхаркиваясь туманными плевками в долину, сдавленную конусообразными гольцами. Мелкий березняк вился по склонам, а там, где долину перегораживал скалистый массив, неясно тускнела коричневая марь.

На хребет взобралось солнце и швырнуло в долину золото лучей. Подул легкий ветерок, и пелена утреннего тумана, колыхаясь, поползла наверх. Далеко внизу, по дну долины неся поток, бурля пенистыми верхушками гребней.

— Чара!..—взревели золотоискатели.

В блеске наступающего утра перед утомленными долгими переходами таежниками была Чара. Та Чара, к которой вел партию Самоха Сыч.

— Вон, ведь, как она вывернулась.

— Не плохое местечко,—вглядывались остальные в долину.

— Не даром карячились по тайге.

— Ну, чего стоять? Давай спускаться.

— Пошли.

По мокрой траве партия осторожно спустилась с перевала в долину. Среди бесформенных, расколотых временем массивов торчали молочные глыбы кварца. По всему руслу потока, словно свиньи, валялись обточенные водой камни. Вся долина тонула в зелени.

— Хорошее место. Есть золотишко,—шептал Сыч на ходу, решая, где удобнее ударить первый шурф, и нетерпеливо крикнул:

— Живей, ребята!

Спустились к ручью и пока разнуючивали лошадей, Самоха осмотрел облобованное с перевала место.

— Давай инструмент! Шурф бить будем.

Достали лопаты и кайлы. Касьян и Кирька взялись налаживать бутару.

Грунт попался твердый и, затупив две кайлы, Сыч распорядился:

— Тащи порох. Буры рвать будем.

По безмолвью тайги глухими перекатами прогрохотал взрыв. Другой. Третий.

С бурами дело пошло веселее, и к полудню, когда приискатели кончали первую сажень, Самоха бросил кайлу. Под ручником показался серо-желтый пропласток.

— Пески!..

Навалив на лоток три лопаты песку, вылезли из шурфа и спустились к ручью. Когда с лотка скатилась последняя галька, всплеснув окрасившуюся в ржавый цвет воду, Самоха чуть его не уронил. На лотке лежали самородки, похожие на крупные зерна пшеницы.

— Вот оно золото, братцы!

— Богачами будем!

— Ого-го-го! Выручила Чара!

Золотом любовались долго. Взвешивали на руке, пробовали на зуб и, когда оно перебывало во всех руках. Самоха бережно завернул его в тряпицу.

— Первое счастье. Беречь надо.

Взяли еще несколько проб. Приметы оправдались: чем глубже шли, тем золота было больше. Попалось несколько крупных самородков.

Когда солнце облило кровью заката верхушки гор, золотоискатели бросили работу и, достав из вьюка баклагу со спиртом, уселись у костра.

— Ну, с достачей, братва!—опрокинул Сыч стаканчик.—Наливай следующему!

Стаканчик быстро пошел по рукам. Через час дикие песни веселившихся приискателей тревожили тайгу, а Кешка плясал в присядку, выкидывая невиданные колена. Из кустарника доносилось храпение пасшихся лошадей и слышался легкий плеск воды. Небо усеяли трепещущие звезды, а из-за гольца выползала красная широкомордая луна.

Утром, поставив у ключа бутару, артель взялась за работу. Самоха с Кешкой кайлили в шурфу, Терешка и Касьян вытаскивали породу, а Кирька работал скребком, проталкивая застревавшие в бутаре камни.

После обеда, когда было с'едено поджаренное на угольях мясо, Сыч заговорил о Чаре:

— Давненько я слыхивал про нее, да, вишь, когда пришлось забраться. Без малого на шестом десятке.

Что ж... горевать нечего. Теперь наверстаешь.

— Да надо полагать, наверстаю. Вот, что вечер нам скажет. С'емка-то.

— А что с'емка? Фунта три намоем и ладно.

Вечером, окончив промывать снятое с бутары золото, Сыч торжественно ссыпал его в кожаный мешочек.

— Вот оно, ядрена вошь, золотцо-то. Что скажете, ребята?

Приискатели молча смотрели на золотой ручей. Отвечать не хотелось.

Незаметно бежали дни. Уже верхушки гольцов на заре одевались инеем, а березняк пожелтел и осыпался. Кожаный мешок тяжелел с каждым днем. Чем больше он тяжелел, тем труднее было оторваться от работы.

Однажды, когда били уже третий шурф, Кешка, ходивший в тайгу к лошадям, прибежал бледный, запыхавшийся и крикнул:

— Беда! Ушли лошади...

III.

Когда золотоискатели, измученные трехдневными бесплодными поисками, оборванные и мокрые, молча грелись у костра, от третьего шурфа пришел Самоха и, не глядя на товарищей, сумрачно сказал:

— Уходить надо. На гольцах зазимь.

Никто не промолвил ни слова. Пятеро мужчин угрюмо смотрели в костер, но видели не горящие пихтовые сучья, а сотни верст безлюдной непроходимой тайги и утомительные горные переходы. У всех в голове засела одна мысль:

— Пропали без лошадей.

В лагере было непривычно тихо. Люди хмурились и молча делали свое дело. Тайга неторопливо снимала летнюю одежду, готовясь встретить жестокую зиму. Лиственницы роняли на землю длинные побуревшие иглы, обнажая корявые ветки. В темной зелени пихты багрово краснела рябина. За Чарой, в прозрачном осеннем воздухе, убегали вдаль покатые горы, вблизи желто-зеленые, дальше черно-синие и там, далеко, нежно-голубые.

Треугольником пролетели на юг гуси, и их звенящие, тоскливые крики резнули суровые сердца таежников.

— Не выбраться без лошадей,—ни к кому не обращаясь, сказал Кешка, глядя вслед гусиной стае, скрывшейся за ближним хребтом.

Ему не ответили.

После обеда, во время которого золотоискатели скупо поговорили об обратном пути, Сыч распорядился:

— Тащи запас, братва, считать будем.

Из балагана и кладовки принесли продукты.

— Дело—табак. Придется ремни подтягивать. Запасу на десять дней, а итти—месяц. Кирька, где заряды?

— Вот они заряды, все тут,—показал Ухастый на патронташи.

Золотоискатели молча поставили десять глаз на четыре заряженных патрона. Остальные гильзы были пусты.

— А порох?

— Порох на буры извели.

— Что же ты в запасе пороху не оставил? Для того тебе припас дали, а?

— Чего дали? Не я один буры делал. Глаза-то, поди, у всех на месте.

Сыч обвел глазами озабоченные лица товарищей.

— Ну, держись теперь. Попали в переплет. Молись всем святым, если на Светлый золото вынесем.

И опять ему никто не ответил.

На утро, застолбив место и разделив поровну золото и продукты, приискатели тронулись в обратный путь.

Дул холодный северный ветер. Листья, сорванные с ветвей, кружились и желтым листопадом устилали тайгу. На гребне перевала остановились и долго смотрели вниз на звонкоголосый поток, серебряной лентой разрезавший серые камни. Влево от него, в полугоре, желтел балаган с ненужным теперь инструментом. Бросив последний взгляд на расстилавшуюся у ног Золотую Долину, стали медленно спускаться с перевала, направляясь на юго-запад.

К полудню свинцовые тучи заложили небо. Пошел первый снег.

IV.

Тайга плотно закуталась в снежную доху. Широкие лапы пихты согнулись под тяжестью снега, ветви осин и берез одели снежные рукавицы. Снег на земле, на горах, на деревьях. Снег и тишина. Разбудит тайгу резкий крик жолны, да дятел хозяйственно задолбит по сухой осине. И опять тишина. Белая, смолистая тишина.

Пять человек, сгибаясь под тяжестью заплечных мешков, шли по горам и тайге без дорог, оставляя на свежем снегу грязный, многоверстный след. Люди вместе с тайгой хранили угрюмое молчание. Изредка треснет сучок под тяжелой ногой; тихо прошелестит, осыпая снег, задетая плечом ветка. И опять молча идут за широкоплечим Самохой.

Партия шла не останавливаясь, упорно держась юго-западного направления и пересекая один за другим высокие перевалы. Снег был неглубок, но сапоги быстро промокали. С веток осыпалось и таяло на одежде. В середине дня делали привал. Утаптывали снег, разводили огонь и сушились, пока варился обед. После обеда голод не утихал. Надевали полусырую одежду, привязывали на спину пудовые мешки с золотом и шли, оступаясь в ямы, спотыкаясь о камни, проваливаясь в ручьи, невидимые под снегом. Вечером большой костер заливал кровавыми отблесками белые деревья, и снег таял вокруг огня. На просохшей под костром земле золотоискатели спали каменным сном, и измученное тело впитывало тепло и смолу пихтовых ветвей. На утро поднимались с головной болью, озябшие и злые. Пили много горячего чая, с'едали по два сухаря и опять шли по тайге. Золото, ради которого они забрались в неисследованный край, уже не радовало. Один лишь Самоха не терял бодрости и уверенно шел вперед, подгоняя и подбадривая остальных.

— Выйдем на Жую. Не будь я Самоха Сыч, если не выведу.

— Со жратвой бы только пробиться.

— Попадется изюбрь—на всю дорогу хватит.

Золотоискатели берегли патроны. Нужен был крупный зверь, чтобы обеспечить себя мясом. Они пересекли не мало горных хребтов, перешли не мало ключей, но, остановившись в десятый раз на ночевку, они все еще имели четыре патрона. В этот день им было нечего есть. У костра висело особенно хмурое молчание, когда пили чай.

— Завтра не пойдем. Охотничать надо,—об'явил Сыч, укладываясь спать.

Голод гнал сон, и люди лежали ногами к костру, мучительно стараясь уснуть. Тайга молчала. Молчали люди. И только костер трещал и плевался огненными брызгами.

Самохе показалось, что Кирька что-то сосет. Потом на зубах отчетливо захрустело. Кирька жевал сухарь. Самоха приподнялся на локте.

— Ешь?—с бешенством прошептал он.

Кирька замолк. Самоха встал на колени и нагнулся.

— Ешь?—во весь голос крикнул он и ударил Кирьку между глаз.

Зашевелились и вскочили остальные. Обезумев, Самоха наносил Кирьке удар за ударом.

— За что ты его?

— Из-за чего драка?

— Сдурел, что ли ты, Самоха?

Самоха опомнился.

— Сухари, гад, ел.

— А, сухари ел?!

— Потихоньку?

— Бить его, пока пить не запросит!

— Постой! Обыскать его сначала.

В карманах и сумке Ухастого нашли пятнадцать сухарей.

— Ах ты, сука-сука!—кричал Сыч, потрясая кулаком перед Кирькиным носом.—Это ты, сволота, на Чаре еще утаил, подлюга!

— Сейчас дух из тебя вышибем!

Егоза размахнулся и ударил сзади Ухастого по шее. Он качнулся, но встретил кулак Самохи.

Кирьку избили до бесчувствия и оставили лежать на снегу.

— Баста! Сухари теперь я понесу. Сам выдавать буду,—вытер снегом окровавленные руки Самоха и бережно уложил в свою сумку тринадцать сухарей.—А это нам на похлебку,—добавил он, бросая два сухаря в котелок.

V.

К утру костер догорел. Самоха проснулся от холода, пробравшегося в отсыревшую одежду. В сумраке рассвета снег был синим, а пихты черными, и на востоке небо чуть-чуть розовело. У костра темнели два тела товарищей.

Страшная догадка обожгла Самоху. От затылка к ногам поползла горячая волна. Он кинулся к сумке с сухарями. Сумки не было. Не было и одного ружья.

— Вставай! Ушел Кирька!

Вскочившие золотоискатели вместе с Самохой смотрели на след, проложенный к югу. С этим следом ушел хлеб и два патрона.

— На Андреевский, сволочи, ударились!—злобно заметил Кешка.

— Не выйдут. Подохнут в тайге,—жестко отозвался Сыч.

— Так и надо. Собакам собачья смерть.

— Догонять надо,—сказал Егоза, берясь за ружье.

— Чего догонять! Из-за десятка сухарей на сволочей заряды тратить будем?—остановил его Самоха. Итти надо, пока снег неглубокий. Может, изюбрь попадет.

Потянулись длинные страшные дни. Через тайгу по снегу брели трое людей. Они шли спотыкаясь, наклонившись вперед. Ноги в изорванных сапогах скоро замерзали. Приходилось часто останавливаться и разводить огонь. Золотоискателей ни на минуту не покидало сознание того, что они голодны, и мысли все чаще и чаще возвращались к сухарям, украденным Кирькой.

Первые два дня после бегства товарищей они шли, срывая по пути с кустов темно-синие, похожие на чернослив, медвежьи ягоды. Кисловатые и горькие они обманывали желудок, но вскоре начиналась мучительная рвота. На привалах ползали по снегу, разгребали его руками и жадно, горстями рвали и ели холодную темно-бордовую бруснику. От этого голод не утихал, и рот делался болезненно раздражительным.

Два дня после того, как они остались трое, их мучило непреодолимое желание есть. Это был острый голод. Было похоже, что в желудке сидит кто-то большой и сосет. На третий день голод утих, но в животе начались сильные боли. Тогда был истрачен один патрон.

Когда они тихо брели, смотря в землю и еще больше наклоняясь вперед, Самоха внезапно остановился. Прямо перед ним, в пятидесяти шагах, под осиной на задних лапах сидел заяц, приподняв одно ухо.

Люди замерли, боясь дышать.

— Кешка... Стреляй,—чуть слышно прошептал Сыч, не спуская глаз с зайца.

Бесконечно долго, делая едва заметные движения, Кешка снимал ружье. Заяц смотрел на людей. Люди смотрели на зайца, и их сердца колотились сильнее, чем тогда, когда они увидели Чару.

Казалось, прошел год, пока Кешка поднял ружье и положил ствол на плечо Самохи. Тихо ползла черная мушка по белому снегу. Ближе, ближе. Сравнялась с осиной. Доползла до торчащего уха. Опустилась к белому пушистому брюху. Опустилась и запрыгала. Руки у Кешки тряслись. Это был предпоследний патрон. Наконец, набрав воздуху и крепко прижавшись щекой к прикладу, он нажал спуск. Грохнул выстрел. По тайге долгими перекатами прогремело эхо. Заяц подпрыгнул и упал. С осины на него сыпались пушистые хлопья снега.

Обгоняя друг друга, люди бежали к зайцу. Белую шкуру унизали ярко-красные капли.

— Убили! Убили!—восторженно кричал Егоза, и его крики неслись по тайге.

Пока торопливо разводили огонь, Самоха дрожащими руками снимал с зайца шкуру, соскабливая приставшие кусочки мяса.

— Дней пять с ним протянем.

Через час была с'едена похлебка, и они заснули возле большого костра крепким здоровым сном.

Заяц ободрил приискателей, и они пошли скорее.

— Поспешай, поспешай, братва,—погонял Самоха.—Нажимай, пока мясо есть! Выйдем на Жую. Никуда она от нас не уйдет.

— А по Жуе до Светлого рукой подать.

Несмотря на то, что они не доедали, мучения голода были не так велики, как во время питания одной брусникой. Так прошло пять дней. Остановившись на привал, они варили похлебку из заячьей шкуры, вытеребив предварительно пух. Мутное, бесвкусное варево было с'едено, и люди снова тронулись в путь. Пошел крупный снег, а через час они наткнулись на свежий след изюбря.

— Давай ружье.

Осторожно ступая, стараясь не шуметь, Сыч пошел по следу, зорко вглядываясь в прогалины между деревьев. В полной тишине падали хлопья снега. На следу попался дымящийся кал.

— Близко!—заколотилось сердце.

Прошло полчаса, прежде чем он его увидел. Изюбрь обгладывал молодую осину и когда нетерпеливо рвал зубами кору, дерево тряслось и сыпало с веток снег. Сыч лег и пополз. Медленно уменьшалось расстояние. Сто шагов. Девяносто. Восемьдесят.

— Пора!

Тихо, боясь сделать лишнее движение, боясь зашуметь, стал устраивать ружье на покрытую снегом валежину. Поставив мушку на левый бок изюбря, Самоха выстрелил. Одновременно с грохотом выстрела изюбрь метнулся вперед и понесся на север, ломая рогами ветки. По тайге шел далекий гул. Вслед за ним удалялся шум и треск от бегущего зверя.

Самоха бежал к обглоданной осине. На снегу не было крови.

Пасмурный вернулся к товарищам Сыч.

— Промазал!—и бросил в снег ненужное больше ружье.

Опять потянулись голодные дни. Опять люди питались ягодами и мучились нудной рвотой, от которой делались судороги в желудке. Голод заслонил собою все. Их гнал вперед голод. На Жуе—хлеб. Они это знали и поэтому упорно шли на юго-запад.

Прошло еще пять дней. Люди настолько ослабели, что с трудом стояли на ногах. Они часто останавливались и отдыхали. Они даже не всегда разводили огонь. Языки распухли, во рту было горько, и все трое сильно кашляли. Они шли шатаясь, каждый опирался на большую палку, но никто из них не бросил своего мешка с золотом.

На шестой день боль в животе стала утихать и к вечеру исчезла совершенно. Вечером, по привычке, развели костер и согрели воду. Чая уже не было. Горячую воду они пили с солью, хотя голода не чувствовали. Они знали, что это нужно для того, чтобы итти.

Утром седьмого дня голод вновь проснулся. Они совершенно ослабели, голова кружилась. Шли качаясь, как пьяные, и едва поднимая ноги. Их след не был похож на след людей. Это была сплошная борозда в снегу. Ежеминутно кто-нибудь из них падал.

К середине дня Егоза стал отставать. Спины товарищей виднелись все дальше и дальше. Сначала они еще мелькали изредка на увале среди деревьев. Потом Егоза остался один среди тайги на свежепротоптанной тропе. Он старался итти быстрее, но золото пригибало к земле, и ослабевшие ноги не слушались. После того, как он, запнувшись о сук, с размаху упал лицом в снег и не мог встать, ему стало страшно.

Забирая ртом снег, глотал его и мысленно прошел по всему пути до Чары, вспомнил бешеное золото, подумал о двадцати тысячах, которые он нес на плечах.

— Не пофартило. А погулял бы я на Чарино золото.

В тайге повисли вечерние сумерки. Далеко за хребтами родился и повис в тишине тонкий волчий вой. Это заставило Касьяна приподняться. С трудом он развязал ремни, сбросил с плеч тяжелый мешок и встал на ноги. Долго смотрел на золото, потом повесил его на сук толстой пихты, заметил место и, покачиваясь из стороны в сторону, пошел.

Он догнал товарищей на привале, когда они уже спали у разложенного костра.

Утром Касьян не мог встать.

Сыч посмотрел на него мутными глазами и спросил:

— Пойдешь, нет?

— Не могу я, братцы.

Кешка покосился на Самоху.

— Ждать будем или одни пойдем?

— Ждать будем—все подохнем. Лучше одному помереть, чем троим.

Касьян ничего не сказал. Он сделал бы так же на месте товарищей. Когда уходящие привязали мешки, он хрипло прошептал что-то.

— Чего тебе, Касьян?

— Дров, говорю, в костер подбросьте.

Самоха и Кешка долго негибающимися пальцами расстегивали ремни и, сняв мешки, с трудом приволокли буреломину. Завалив ее на костер они снова надели мешки и, не оглядываясь, пошли. Попутный ветер долго доносил до них горьковатый запах дыма.

Оторванная подошва сапога Самохи загребала снег, но нога не чувствовала холода. Они едва двигались и, упав в снег, долго не могли встать. Начался мороз. Тела коченели и при дыхании вылетали клубы пара.

На перевале, густо поросшем пихтой, Кешка отстал от Самохи. Голова закружилась, сердце тревожно запрыгало. Тяжело дыша, он остановился и стал развязывать ремни. Он долго возился с ними, и когда, наконец, была расстегнута последняя пряжка, мешок, скользнув вдоль спины, тяжело упал в снег.

— Самоха! Постой..—слабый голос застрял в ближних деревьях.

Он оторвал от рубахи кусок и расстелил его на снегу. Потом развязал мешок и высыпал на тряпицу половину золота. Плотной, желто-зернистой кучкой оно лежало на грязной тряпке, и лучи солнца дробились на золотых зернышках. Кешка долго смотрел на золото. Потом решительно ссыпал обратно в мешок, привязал его за спину и пошел по следу Самохи.

Он не дошел еще до половины перевала, как ему показалось, что сердце оторвалось и упало куда-то вниз. Он свалился, а отдышавшись, снова развязал мешок с золотом и высыпал половину. Завязав его и спрятав под большой плоский камень, он пошел. Тяжесть на спине уменьшилась, и ему стало легче.

Только на гребне следующего перевала он догнал Самоху. Они зажгли сваленную ветром пожелтевшую пихту и грелись у огня. Когда стали собираться в путь, Кешка заметил, что ноги у него дрожат. Он с трудом поднял свой мешок и уронил. Долго и угрюмо смотрел на золото, потом отсыпал еще половину.

— Оставь золото. Не уйдешь,—сказал он, увидев, что Самоха, прислонившись спиной к осине, надевает свой мешок.

— Вынесу!—прохрипел Самоха.

Они пошли. Самоха шагал согнувшись. Пудовый мешок качал его из стороны в сторону, давил на плечи и пригибал к земле.

— Скоро Жуя. Скоро,—твердил он, и из груди дыхание вылетало со свистом.

Был тридцатый день пути.

Взобравшись на увал, Самоха поднял палку, указывая на высокий голец с кедром на самой верхушке:

— Вон Жуя, Кешка. Дошли. Верст десяток только осталось.

Вдруг голец поплыл в сторону, потом дернулся вверх, промелькнули в глазах запушенные снегом пихты, и Самоха бессильно свалился. В ушах стоял звон, в виски громко стучало.

— Пропал... Хлеба... Хлеба...—и глаза закрывались, как у подстреленной птицы.

Еле передвигая ноги, опираясь на палку, подошел Кешка и склонился над Самохой.

— Помираешь?

— Помираю...

«Золото мне достанется,—подумал Кешка.—А может не помрет? Тюкнуть его золотом по башке. Жуя близко».

«Нет, не по-товарищески»,—решил он и громко сказал:

— Подержись малость, Самоха. Дошли ведь.

Самоха открыл глаза и, не мигая, смотрел на товарища.

— Поесть бы мне. Дошел бы...

От неподвижного взгляда Самохи, Кешке стало страшно.

— Чего ты, Самоха?

Зрачки Самохи расширились настолько, что закрыли роговую оболочку. Казалось, он смотрит сквозь Кешку. Самоха привстал, опираясь о снег руками и неожиданно захохотал:

— Гы-гы-гы! А ведь ты... мясо!

Кешка отшатнулся.

— Самоха!.. Дошли ведь.

— Мясо ты!—кричал Самоха и с неожиданной силой бросился на Кешку.

В сумраке угасавшего дня на снегу бились два тела. Из развязавшихся заплечных мешков золото сыпалось в снег и проваливалось до земли.

Кешка затих. Из разорванной глотки на подернутый морозной коркой снег бежала дымящаяся струйка крови. Захлебываясь, Сыч зубами рвал куски теплого мяса заеденного товарища.

— Го-го-го!—несся по тайге гогот Самохи.

— Хо-хо-хо!—диким эхом отзывались гольцы.

ФАРТ.

1.

Жаркий день.

Небо безоблачно. Солнце обильно льет тепло на горы и плавит в серебро спокойную Лену. Река плотно легла в зеленый бархат берегов кое-где черневших каймой крутых обрывов. Пароход носом режет воду и пробегает мимо редких деревушек, похожих одна на другую, как две горошины. От деревушек отплывают на узких лодчонках женщины.

— Молока, яиц, ягод!..

На барже, пристегнутой толстым буксиром к заду облезлого ленского парохода, поднимается гам.

— Шешнадцать! Шездесят!—раздаются голоса продавщиц, заглушаемые разноголосым мужским говором.

— Давай сюда! Да не ему, а нам,—и пестрый борт машет десятками протянутых рук.

Пассажиры баржи с'едят яйца и творог, выпьют молоко и снова будут ждать, томясь от безделья.

Сегодня седьмой день, как пароход, оставив Лену, ползет по быстрому, сдавленному гольцами Витиму, в Бодайбо. На палубе баржи группы пассажиров, узлы, котомки и прочая домашняя рухлядь. Хочется спать.

Панфил Тетеря, сутулый мужичонка лет сорока трех, сладко спал на корме, подмастерив под голову котомку. Открытый рот густо облепили мухи и мошкара, вздымавшиеся тучей при каждом сильном всхрапе.

— Ишь, чорт, храпит как,—заметил полупьяный бодайбинец и дернул Панфила за ногу.—Чего храпишь? На Лену выехал, что ли?

— А-а-а. Чаво? Куды?

Дружный хохот окружающих об'яснил шутку, и Панфил зевнул так, что захрустели скулы, улыбнулся:

— Ну, и спится!

— Не спи. Скоро в Бодайбо будем. Эх, головушка гречишная.

Панфил еще раз потянулся и стал распутывать оборки лаптей, туго перематывая растрепавшиеся онучи.

— Ты откедова, дяденька?

— Я-то? А вятские мы. На заработки, значит, на прииска еду,—словоохотливо ответил он на вопрос пожилой женщины.

Вдали на реке показался дымок парохода. Наспех закрутив оборку, Панфил бросился к носу, где пассажиры возбужденно рассуждали:

— Догоним или нет?

— Догоним,—уверенно бросил кто-то.

— Держи карман шире,—раздались насмешливые голоса.

— Эй, вячкий, догоним, нет?

Панфил, привыкший к новой кличке за долгий путь от Вятской губернии до Бодайбо, приставил ладонь к глазам:

— Пошто не догнать? Догоним.

Ну, стало быть, догоним, коль лапти решили,—раскатился хохот.

— Не даром за золотом едет.

— Как же, золота на приисках, хоть лопатой греби.

Панфил ехал на прииски впервые. Слушая насмешки попутчиков, он нисколько не обижался. Характер у него был мягкий и, нечего греха таить, поколачивала его дома баба Анисья, а на чужой стороне и подавно. Каждого боялся и в жисть бы не поехал, если б не нужда. То падеж, то недород, то еще какой-нибудь недолад, и отощал мужик.

— Ничего. Только достану мало-мало золотишка да подработаю сотни две денег, сразу уеду,—думал Панфил и, лежа ночью на палубе, долго не мог уснуть. Мерещилось золото, новый дом и тройка буланых лошадей—заветная мечта.

— Как у Сидора, лошадь куплю...—потом засыпал и спал до одурения, до боли в боках, а подсев к бывавшим на приисках, жадно слушал рассказы о гульбе, о фунтовых самородках.

Внезапно на корме раздался рев, визг и звон разбитого стекла.

— Что случилось?

— А?

— Где?

— Приискатели дерутся,—объяснил кто-то.

Отдавливая друг другу ноги, бросив наблюдать за пароходом, ринулись на корму.

— Кто подрался?

— За что?

— Кого?

— Чем?

— Я ему покажу,—ревел рослый приискатель, вырываясь из цепких рук товарищей. Над правым глазом зиял глубокий, кровоточащий шрам. Второй приискатель, с лицом, изрезанным осколками бутылки, стоял напротив. Его держали матросы и баржевой. Драчуны были смертельно пьяны.

— Мать честная,—охнул Панфил, с изумлением глядя на окровавленные лица.—Беда, да и только! Этак недолго и до убивства.

— Ничего. На приисках не то еще бывает,—утешили Панфила.

— Высадить их!

— Стой! А за что?

Совет баржевого и матросов быстро решил: высадить.

Драчунам не понравилось. Раздалась бешеная ругань, и они выразили явное нежелание прыгать в баркас, но услужливые руки подтолкнули в спины, подали вещи, и баркас медленно отчалил.

— Пишите в Бодайбо, ребята,—посыпались шутливые напутствия.

— Ладно, мать вашу,—рявкнули с баркаса.

Один из буянов быстро разделся и бросился за борт.

— Не догнать!

— Ох, утонет! Ведь пьяный в стельку,—забеспокоились некоторые, наблюдая за пловцом.

— Ничего, скорей протрезвится.

— Да как же это, други милые,—удивлялся Панфил, обращаясь то к одному, то к другому.—У нас в деревне...

— Ну, то в деревне, а то здесь,—равнодушно заметил стоявший возле приискатель.—Вон Бодайбо! Не горюй, деревенщина. Добрались до золота.

Из-за высокого гребня гольцов медленно росла верхушка под'емного крана. Еще немного и показались крыши. Прильнув к борту, люди молча смотрели на приближавшийся город.

II.

— Ну, шевелись, вятский слепень!—гаркнул высокий чернобородый шахтер.

— Сейчас, сейчас, милай,—засуетился Панфил и, надуваясь голым животом, принялся разгребать породу.

Панфил работал на прииске уже три месяца, и если б на каком-нибудь ковре-самолете перенесли сюда его Анисью, она ни за что не узнала бы в этом, правда, невзрачном, но все же шахтере, своего мужа.

Сплетенные дедом на дорогу лапти давно с презрением брошены в быструю бодайбинскую воду. Теперь Панфил бодро отбивает подкованными сапогами мелкие шаги и с глубоким удовлетворением ловит ухом приятный, металлический звяк. Брезентовая спецодежда, шитая далеко не на двухаршинного рабочего, висела мешком, а кожаная чаплашка закрывала уши и лезла на глаза.

Отвал задавила темно-серая масса породы, на которой кое-где белели осколки кварца. Осенний воздух был прозрачен и сух, слышно было далеко, и на другом берегу Бодайбо белые березы одели нежно-желтые рубашки. Канаты бремсберга посылали в далекое северное небо тихое жужжание и через ровные промежутки времени клацали на роликах медными муфтами. Из-под люков на стальном поводе медленно ползли вагонетки.

— Дззз,—выскользнула муфта из вилки, и вагонетка, развивая бешеную скорость, постукивая на стыках рельс, зачертила по отвалу дугу. Втиснув на ходу между колесами тормоз, на вагон вскочил тормозной. Долетели до свалки. Сильный нажим, и вагонетка резко остановилась. Подбежали трое отвальных.

— Берем, братва!..

Отдернуты болты. Три пары рук раскачивают вагонный короб; сильнее, сильнее, последнее усилие,—короб перевернут, и порода с раскатистым треском посыпалась с двадцатиметровой высоты.

— А ну-ка, вятский, вдарь!

Панфил схватил с насыпи большую деревянную колотушку, размахнулся, и звонкий удар поплыл над приском.

— Развернись еще раз! Ведь вячкий народ—хвачкий.

— Кишку только не надорви,—хохотали отвальные.

— Пошто кишку? Кишка у нас дюжит,—отозвался Панфил,—работать мы можем, привычные. Я и в забое могу.

— А чего же ты не идешь в забой? Шуровал бы там помаленьку,—подшучивали рабочие.

— А не пущают,—застенчиво улыбнулся Панфил и повернул голову в сторону шахты.—Сказывают—помногу которые там добывают.

— Бывает... Другой раз по два фунта со смены уносят.

— А как же это они, мил человек, шуруют?—спросил Панфил и весь превратился в слух в ожидании ответа.

— Ишь ты, герой вятский. Как шуруют...—засмеялся чернобородый.—Попадешь в забой—увидишь. Одно скажу—шуровать с умом надо. Накрыли вот нашу артель, и наверх. Околачиваемся теперь на потаржнине.

— Выгнали, стало быть?—посочувствовал Панфил. Когда говорили о золоте, у него замирал дух и глаза делались глубокими, как два колодца.

— Выгнали, не выгнали, а в роде того. Хорошо, что не рассчитали. Сел, язви его в душу, вместо золота, на два тридцать. А обломилась было работешка. Продержись месяц,—было бы с чем домой ехать.

По рельсам затокала очередная вагонетка. Рабочие бросились к ней. Опять по отвалу зашумела выброшенная порода, а потом упал удар колотушкой по вагону.

Панфил быстрыми глазами обшарил пустой вагонный короб и вернулся к разговору.

— Фарт-то в шахте бывает. А тут-то люди этого не видать?

— Не скажи. И тут может фартануть, только редко,—подмигнул чернобородому молодой отвальщик.—Зато уж если здесь фартанет, так фартанет! Вон было на пятой. Провалилась в люк с кварцем штуковина фунтов на семь.

— Вот какой, брат, тут фарт. Редко, да метко, -поучительно добавил чернобородый.

Панфил слушал приискателей, приоткрыв рот, и не замечал улыбок, спрятанных в самых уголках губ.

Канаты бремсберга неподвижно повисли в воздухе. Жужжание и цокание муфт прекратилось. Бремсберг встал. Панфил тяжело вздохнул и засопел носом:

— По золоту ведь ходим,—он развел руки точно хотел обнять прииск, и реку, и горы, синеющими грядами уходящие вдаль.—Все ведь это золото. И там золото. Вся тайга золотая. Не будь золота, —куды этим краям до нашей губернии.

— Да уж известно, всяк кулик свое болото хвалит,—насмешливо отозвался чернобородый, но и сам невольно засмотрелся на угрюмые, покрытые снегом вершины гольцов.—Тяжелый край, а золото зовет,—вымолвил он, наконец.

— Зовет, милай, зовет,—оживился Панфил,—вон откуда меня занесло... Далеко отсель Вячкая-то губерния.

— Молчи уж, тетеря,—презрительно оборвал его старый бодайбинец.—Ты разве приискатель? Курица ты мокрая. Дальше отвалки тебя и не пустят. Жди здесь свой фарт.

Тетеря заморгал глазами.

— Мы што? Мы ничего. А в забое и мы можем. Мы тоже, значит, привычные.

— Привычные... Какой ты есть человек, если водки совсем не пьешь? Деньги ты что ли копишь? А?

— Деньги, они на хозяйство, мил человек,—разошелся неожиданно Панфил.—Силов дома не было хозяйство справить, ну, значит, я и потек на золото.

— Много ты здесь накопишь со своих двух целковых,—захохотали рабочие.

— А вот найду самородку, тогда увидишь... —надулся Тетеря.

— Найдешь, найдешь... они на отвале так и валяются...

У люков раздались частые удары, как-будто крупные валуны просыпали на железную крышу.

— Заработал элеватор,—заметил один из рабочих.

Канаты со скрипом натянулись и медленно тронулись. Снова закляцали муфты, и вагонетки одна за другой поползли наверх.

— Задерживай!—закричал что было силы чернобородый и побежал навстречу вагонетке.

III.

Это случилось на третий день после того, как Тетерю, наконец, перевели работать в шахту. Утром в барак вошел почталион.

— Кто тут Тетеря?

— Я, стало быть, Тетеря, поднял лохматую голову Панфил.

Почтальон прищурился:

— По шерсти и кличка... Получи письмо.

Негнущимися, грубыми пальцами Панфил разорвал конверт. Ухмыляясь в бороденку, он с трудом разбирал многочисленные поклоны от родни и односельчан, а потом глаза застряли на прыгающих кривых строчках:

«и еще сообщаю: сгорела у нас изба и погорело все добро. Гнедуху вывести не успели, зодохлась в закуте. А живем у дяди Кондрата из милости. Родила я намедни сына, окрестить не успели. Прислал бы денег, чужой кусок в горле стоит».

Остаюсь законная жена Анисья Тетеря».

Панфил сидел на койке бледный и шептал:

— Грех какой... Ах ты, господи Исусе, грех какой...

— Ты чо, мужик, побелел? Аль помер кто?—спросила мамка, проходившая мимо.

Панфил криво улыбнулся и вытер рукой потный лоб.

— Изба моя погорела. Дома, значит, в Вятской губернии. И лошаденка, и все сгорело. Погорелец я, значит.

— Ишь чо! Не доглядели, видать, дома без хозяина-то,—мамка подперла щеку рукой и жалостливо смотрела на Тетерю.—Шуровать тебе надо, – тихо сказала она.

Тетеря собрался и неверными шагами вышел из барака.

— Не повезло мужику,—заметил один из приискателей.—Глядеть жалко. Маялся, маялся, копил по гривенникам, а тут изба сгорела.

— Сидел бы он дома, гречкосей!—засмеялся старый таежник.

— А тоже на прииска едут,—думают, здесь золото руками гребут.

Шахта сдержанно гудела, выплескивая группы шахтеров в раскомандировку, откуда раздавались резкие выкрики смотрителя, распределявшего артели по забоям.

— Десятый правый, восьмой!

Панфил устремился к окошечку и горестно крякнул, рассматривая полученный ключок бумаги:

— Опеть борт...

— Кой чорт борт,—лениво бросил стоявший возле шахтер.—В этом, брат, забое самородки, что твои булыжины. Пудов на десять каждый.

В низкие своды просечки ударил веселый смех.

— Брось дурака слушать. С зависти городит.

— А што, аль закажешь, где золоту лежать?—отозвался Панфил и обвел глазами серую толпу шахтеров, отыскивая своих половинщиков.

— Знамо, не закажешь. Ах, калахта!

— Ну, и потешники эти вячкие...

— Чудной народ.

Гулко ступая коваными сапогами по лиственничному настилу, Панфил, не смущаясь, продирался среди забойщиков на штольню. В стороне от толпы, на сложенных в пирамиду плахах, сидели двое молодых новичков.

— Ну, чего?

— Да туда, где были вчера. Не фартит, ребята. Эх ты, горе!..

— К карымцам бы попасть,—заметил один из половинщиков. –У них завсегда золотые забои.

— Ну, ин пойдем, ребятки. Не ждет время-то,—проговорил Панфил, нагибаясь к связке стоявших возле стоек кайл.

Они пошли по дымной штольне, отыскивая свой забой и путаясь с непривычки в прорезях стульев. У свалки задержались, забрали тачки и, свернув в сторону, остановились у черного зева просечки.

— Тутотка. Крой за огнивами, ребята,— распорядился Панфил и, перевесив лампочку к забою, оглянулся. С левой стороны торчали сломанные стойки и слышался легкий шорох осыпавшейся породы.

— Ишь, как ее скорежило, — подумал он рассматривая изломы стоек. Подошел к забою и уставился немигающим взглядом на серые глыбы валуна. Потом нагнулся и, плюнув в ладони, взял кайлу.

Тетеря работал с остервенением—пожар не давал покоя и злил опять доставшийся борт. С неожиданной для его тщедушного тела силой, он дробил кайлой породу и впервые в жизни выругался в бога. Выругался и испугался.

— Ах, грех какой,—сплюнул Панфил и опустился на короткий отрезок огнива, покрякивая и вздыхая.

— Ну, и дела. Совсем закружился.

Горькая обида на кого-то за потерю хозяйства медленно заползала в грудь и давила на плечи.

— Вот кабы найти самород...—и вдруг мысль оборвалась, словно отсеченная острым ножом. Панфил остолбенел.

Врезаясь в глаза золотым блеском, между двух осколков кварца искрился неровным краем крупный самородок. Панфил не мог шевельнуться, и во рту у него пересохло.

— Золото!...

Он очнулся от холодного прикосновения к лицу влажного камня. Жадно припал к породе, скребя ногтем по самородку и, забыв все на свете, забыв об осторожности и о том, что его могут накрыть, заковырял породу кайлой. Сталь остро скребнула по золоту, оставив блестящую борозду.

— Ох, не вытащить! Господи, вот он фарт... Вот она самородка...

Тетеря тяжело дышал, кровь молотами стучала в виски, его трясла лихорадка, и руки не слушались.

Самородок не поддавался.

— Нашел... нашел золотину... нашел,—бормотал, сам не сознавая того, Тетеря и, размахнувшись кайлой, ударил. Треснул и вывалился камень. За ним на пол шлепнулся плоский, шириной в два пальца, самородок.

Присев на корточки, Панфил вцепился обеими руками в золото. Оно было шершаво, холодно и сильно оттягивало руки. От радости и счастья сердце распирало ребра, и Панфил смеялся тонким смехом, а из глаз сыпались слезы. Не отрываясь, смотрел на самородок. В полутьме забоя он стал шириться, шириться, пока не превратился в большой тесовый дом. За домом росли амбары и конюшни. На тройке буланых лошадей под'ехал Панфил в плисовой поддевке и красной шелковой рубахе. Сзади везли новенькую молотилку...

IV.

Барак жил утренней, предрабочей жизнью. Просыпающиеся приискатели громко кашляли и шли к умывальнику, втиснутому в грязный, забрызганный помоями угол. В тусклые стекла брезжил рассвет, окрашивая кровью морозные узоры. В плите трещали дрова, и к тяжелым испарениям примешивался сладковатый смолистый запах лиственницы. Шлепая босыми ногами по заплеванному, густо усыпанному окурками полу, три мамки, перебраниваясь друг с другом, возились с чайниками.

— Ы-ы-э-х!—раздался отчаянный зевок со сдвинутых вместе нар, и рабочий вскочил, тупо вращая глазами.

— Вставай!

Всклокоченные головы приподнялись и тотчас же тяжело упали обратно.

— Вставай, черти! Опохмеляться пора,—рявкнул приискатель, наклоняясь к спящим.

— Чего будишь? Аль не налакался винища вчера? Не налил утробу?—закричала полногрудая мамка.

— Цыть, стерва! —и, шатаясь, пошел в угол, где уже плескались ледяной водой забойщики.

— А здорово гульнул Панфил. Вот тебе и вячкий.

— Да... Сейчас в башке пыль столбом стоит.

— С этакой достачи чего и не гульнуть. Семь сотен загреб в рабкопе Панфил. Вот тебе и калахта.

— Фарт...

Проснувшийся барак гудел воспоминаниями.

— И скажи ты на милость. Капли в рот мужик не брал, а тут—на! По-приискательски развернулся.

— Развернешься, коль подзадорили, —раздался смех.—С бутылки дело началось, а четвертухами кончилось.

— Я вчера это в рабкопе стою, а Тетеря тут же золото сдает, —рассказывал саженного роста шахтер. -Отсчитал ему деньги кассир, да и говорит:

— Товары будешь брать?

— Да чего, говорит, взять? Баба в деревне. Ничего не надо.

- Ну, водки возьми бутылку. Выпьешь с достачи.

— Вот с нее и пошло. А здорово гульнули. Молодец, Тетеря.

— Ей богу, молодец. Теперь не стыдно и приискателем назвать.

— Ишь, как разлегся! Красота.

Панфил спал на нарах мертвецким сном пьяного человека, широко раскинув ноги и руки. Худое лицо покрывала мертвая бледность. От мокрой рубахи поднимался острый запах вина. Рыжая бороденка торчала клином, пальцы правой руки зажимали недоеденный кусок колбасы.

Панфил проснулся от невыносимой жажды. Глотка горела, словно ее налили растопленным свинцом. Голова весила пуды и кружилась. Было нехорошо. Покачиваясь, он подошел к кадке и жадно выпил два ковша студеной воды.

Туго ворочая мозгами, Тетеря силился припомнить, что с ним случилось. Напился вчера,—это видно. Должно быть, достачу кто-то пропивал. Едва он подумал о достаче, как перед ним разом встала картина, от которой выскочил хмель.

Забой, порода. Между двух осколков кварца искры крупного самородка. Рабкоп, касса, толстая пачка червонцев. Семьсот рублей. Фарт. Долгожданный, нужный фарт.

Панфил схватился за карман. За другой. Кинулся под матрац. Растерянно обвел глазами барак и закричал пронзительным голосом:

— Караул! Ограбили!..

— Чего орешь?—цыкнул одевавший рубаху шахтер.

— Ка-ра-ул! Деньги украли! Ой, мамоньки, украли! Ох, родимые, ограбили!..

— Какие деньги? Ты очумел, что ли, парень?

Тетерю окружили приискатели.

— Где были деньги?

— Сколько?

— Какие?

Панфил перестал кричать. Ему казалось, что его налили пустотой, а тело стало легким, как солома.

— Самородку-то я продал... Самородку-то... Семьсот отвалили. А теперь нету... их... украли...

Дружный хохот десятка глоток отдался громом в пустоте, наполнявшей Панфила. Значит, пропали деньги. Упав на пол, Панфил забился и по-бабьи заголосил:

— О-о-ой!.. Да что же это? Да за что же? Да где же мои денежки?...

— Тьфу, сука!..—со злобой плюнул один из приискателей.—Сволота вятская. Вчера самородку прогулял, а сегодня слюни пускает.

— Сопля зеленая! Посчитать, что ли, ребра ему за наговор?

— А, ну его к чорту! Не помнит, должно быть.

— У, калахта! Двадцать лет на приисках работаю, а первый раз вижу, чтобы пропил золото, да ревел хуже бабы. Эк, ведь разливается.

— Вставай-ка, Панфил, неча грязь-то на себя наздевать,—вмешалась мамка.—А вы чего над мужиком изгаляетесь?—накинулась она на мужчин.—Вам бы только до водки дорваться. Пропили у мужика золото, а у него изба погорела.

Приискатели немного смутились.

— Вставай, вставай, Тетеря,—загудели они.

Ревущего Панфила перетащили на койку. Мамка вылила ему на голову ковш воды. Тетеря замолк и жалобно, по-детски всхлипывал.

— Ну, о чем ревешь? Прогулял и прогулял. А на избу еще нашуруешь.

— Конечное дело. Вон ты какой фартовый. Сразу на два фунта вытянул.

— Баба-то... моя... у чужих... из милости,—судорожно вымолвил Панфил и опять зарыдал.

Приискатели, смущенно крякая, один за одним отходили от койки. Худые плечи Панфила тряслись.

— На работу-то пойдешь, али нет?—спросила мамка и тихонько погладила кудлатую Тетерину голову.—Пошел бы. Может, опять пофартит,—продолжала она, видя, что Панфил не отвечает.

С распухшим, заплаканным лицом, Панфил стал натягивать сапоги, продолжая изредка всхлипывать.

— На, опохмелься, горемыка,—подала мамка стаканчик.

— Не,—мотнул он головой.

— Пей. Лучше будет.

Тетеря минуту подумал, потом решительно взял водку и опрокинул ее в рот.

ЗА ОТТЫРКУ.

I.

— Сто двадцать!

— Есть!

— Трое?

— Трое.

Из окошечка раскомандировки, втиснутой в узкую щель боковой просечки шахты, высунулась рука смотрителя. Корявые пальцы забойщика ухватили полсвечи и клочок бумаги с номером забоя.

— Пошли, братва!

Тяжелый инструмент легко взброшен на плечи. Звеня подковами сапог, шахтеры зашагали по штольне, маяча в тумане динамитного чада.

— Сорок пять!

— Есть!

— Тридцать семь!

— Есть!

— Сто семнадцать!

Быстро бегает карандаш по бумаге, ставя отметку в журнале наряда. Еще быстрее проверка номеров и фамилий. За окошечком в махорочном тумане многоликая толпа приисковых рабочих, звучный топот сапог, лязг стали о сталь и зычные переклики голосов, смешанные с хлесткой шахтерской бранью. В красноватом свете угольных ламп серые лица шахтеров исчертили резкие, черные тени.

Сегодня перераскомандировка, и от зумпфа льется серый людской поток Толпа растет, вздымая выше и выше галдежный прибой.

Дверь приоткрылась, и в кладовку ввалился старый забойщик, белея клочком бумаги в руке.

— В этом забое уже стоят, товарищ смотритель.

— Где?

— В сто двадцать шестом верхнем.

— Подите на участки. Видите, люди новые, не знают забоев и путаются,—распорядился смотритель в сторону участковых, сидевших за столом. Потом, перегнувшись, крикнул в окно:

— Сто пятнадцатый верхний десятый!

Еще несколько выкриков, и раскомандировка окончена. Захлопнулось окно. Одев сумку с динамитом, неторопливо прошел пальщик. Раскомандировочная затихла. Размахивая горящей хмарой, как кадилом, к зумпфе пробежал кладовщик. Махорочная завеса, тихо волнуясь, повисла под огнивами. У свалки кто-то катил визгливую несмазанную тачку, кроя в бога, концессионную технику. Налитая до краев туманом, шахта смолкла, накрывшись тяжестью сырой мглы.

Подземные своды всколыхнул тяжелый удар. Вслед—другой. Где-то далеко за изгибом штольни рвали буры. Бросая ослепительный свет карбитки на стойки, к месту работ прошел смотритель.

В шахте начался трудовой день

В сто пятнадцатом верхнем забое при слабом свете электрической лампы, горящей вполсвета, работала половинка: Фомка Дергач, Тимоха и Митька Косой.

Зычно крякая, Фомка с силой вонзал кайлу в породу, отваливая серые глыбы. Остальные, наваливаясь всей тяжестью, грузили тачки. Потом, искусно балансируя на брошеной вдоль забоя плахе, отвозили породу на свалку.

У входа в просечку сверкнула бленда. Согнувшись под осевшими огнивами, в забой вошел участковый и бросил быстрый взгляд на рабочих. Все было в порядке. Половинка работала отчетливым темпом хорошо сработавшейся группы. Взглянув на острые ребра ощерившегося кварцем забоя, участковый вышел.

— У, шляется, чорт,—буркнул Фомка и, плюнув в руку, с силой ударил кайлой. Каменным дождем брызнул кварц, обдавая лица рабочих. Под вывалившимся камнем блеснуло.

— Золото!—екнуло сердце.—Становись на стрему!—крикнул Фомка

Бросив тачку, Тимоха вышел и притаился за грудой камней, зорко вглядываясь в муть просечки.

Вытащив из-за голенищ подсвечники, Дергач и Косой с зажженными огарками припали к забою. В полном молчании скребли подсвечники. Тихо шурша, осыпалась порода, обнажая золотые блестки. Задыхаясь от волнения, шуровщики быстро работали, изредка отрываясь, чтобы отправить очередной самородок в карман. Россыпь вышла трубой. Золотые крупинки, сверкая, вились змейкой и терялись в усеянной кристаллами толще породы.

— Вот, вот, сюда смотри,—командовал Фомка, скребя подсвечником.

— Не мешай, сам вижу,—мычал в ответ Митька и, обрезая пальцы об острые края щебенки, стребал золотые зерна.

Сердца гулко стучали под брезентовыми рубахами. Со лба падали крупные, холодные капли пота.

Горсть мелкого речника ударилась по стойкам. Забойщиков отбросило, словно ударом: от входа в просечку зацокали тяжелые сапоги бегущего стремщика.

— Служака!

Сунув свечу в карман, Фомка схватил кайлу. Взвизгнув тачкой, Митька с Тимохой взялись за лопаты. Работать было весело. Карманы приятно оттягивало краденое золото.

Когда выходили наверх, мешаясь в общей массе окончивших смену забойщиков, Фомка хитро подмигнул:

— Гульнем, стало быть, с фарта?

— На то и фарт, чтобы гулять,—отозвался Тимоха.

II.

Вечером приискатели пропивали золото. В бараке было шумно и весело. Все столы сдвинули на середину, и сосновые доски гнулись от вина и закусок. Распластанным задом кулибины на столе высились четверти с водкой, давя своим об'емом бутылки коньяку и портвейна. Посеянные в рабкопе золотые зерна взошли на скатерти дорогой рыбой, икрой, колбасами, расцвели пестрыми ярлыками английских консервов.

Два десятка приискателей, горя разноцветным шелком рубах, пили стаканами и заливали барак гулом голосов. Сквозь говор и хохот изредка прорывалось шипение и ворчание чего-то жарящегося на плите. Шелестя сатином новой юбки, подвыпившая мамка металась между плитой и столом.

— Мишка! Даешь «иркутянку»!

Мишка взял дорогого «баяна», перекинул ремень через плечо, подмигнул мамке и побежал по ладам. Рявкнули басы, звонко запели тонкие голоса, вплелись игривые подголоски, и переливчатые переборы полились звонким ручьем по бараку, вырвались на улицу и заплескались в морозном воздухе, возвещая приписку, что половинка Дергача прогуливает достачу.

Кованые сапоги затопали под столом, Тимоха начал песню, остальные дружно подхватили:

Эх, отдай—не жалей.
Не то потеряешь.
На родимой стороне
В карты проиграешь.

От Иркутска до Якутска
Проторили мы тропы,
Все мы золото копали.
Растуды твою труды.

Шароварами мети
Широкую улицу,
Да смотри не задави
Старателя курицу.

Двое выскочили из-за стола.

— Нажми, Миша!

Басы зарычали громче, с самых тонких голосов закатился малиновый перебор, две пары сапог рассыпались мелкой дробью чечотки в такт подмывающим звукам.

— Поддай, Миша!

— И—эх! Живо!

Плясуны ухали, выкидывали заковыристые колена, пол от увесистого топота дрожал, на столе тонким звоном переговаривалась посуда.

— Будет, окаянные души! Сапоги с ног спустите, хохотал Косой.— Давай чекалдыкнем по стакашку под свинью горячую.

Мамка поставила на стол большой противень с жареной свининой. По комнате разошелся приятный запах. Откупорили еще две четверти и, шумно, бестолково чокаясь, приискатели начали пить под свинину.

Электрическая лампа медленно тускнела в табачном дыме. Пили, уже не чокаясь, кто как хотел, скатерть цвела пролитым вином. Говорили сразу все, и никто не хотел слушать другого. Говорили о золоте.

— А знаете, где золото? Можно сказать, пуды золота, и никто его не взял,—кричал Дергач.—Повыше Жуи, в самом верху Чары—вот где золото! Богатеющая россыпь.

Приискатели насторожились.

— Что за россыпь?

— А кто ее роет?

— Кто тебе сказал?

— А вот как было дело. В те поры, как шло золото на Тихоне в дальней тайге, пошли пятеро старателей на эту самую Чару. Тайга кругом, сотни верст души живой нет. Ну, дошли до места, заложили шурфы. Золото, как тараканы, и чем глубже, тем крупнее. Зарылись ребята, дотянули без малого до снега, а оторваться от золота жалко. Встали они раз утром,—лошадей нету. Ушли лошади, да так и с концом. А тут уж и березы пожелтели. Смотались ребята. Каждый по пуду долота понес. Да... А припас, стало быть, до самого конца дошел.—Дергач налил в стакан коньяку и залпом выпил.—Ну, так вот, значит. Что было в тайге, никто не узнал, а только на верховьях Жуи партия буровых нашла одного из них—Самоху. С ума человек спятил. А рядом с ним другой—мертвый, об'еденный. Самоха его, значит, ел. Остальные, как сгинули.

— А золото?

— Золото при Самохе нашли.

— Да были ли они на россыпи? Узнали-то откуда?

— Откуда... Самоха сумасшедший кое-что рассказывал.

— Не иначе, что на золото набрели. Иначе, зачем в тайге им до зимы было сидеть?

— Э-эх, жизнь приискательская!—крикнул Мишка-баянист, заиграл и запел:

Лишь в Сибири займется заря...

Несколько человек свалились и спали прямо на полу. На них не обращали внимания. Митька Косой, пошептавшись с мамкой, ушел с ней за перегородку. В углу разгорелся спор.

— Ты что разоряешься, мать твою так? Я тебе живо подбородок на лоб подвину!..

Удар в лицо, из-под кулака брызнула кровь. Приискатели сбежались к месту драки. Дерущиеся с крепкой руганью, поминая бога и бывших цариц, били друг друга по чем попало.

— За что бьешь?—бросился на выручку товарища Тимоха.

— Тимоха, не трожь!—предупреждающе крикнули из толпы.

Но Тимоха ввязался в драку. К дерущимся кинулись еще двое, и вскоре гулянка превратилась в кровавое побоище. Сыпались удары и отборная ругань, трещали и ломались табуретки, от мамки выбежал, поправляя шаровары, Косой и, вооружившись бутылкой, бросился в свалку.

Вбежали вызванные кем-то милиционеры.

— Расходись!..

III.

Позвякав посудой на столе, мамка завозилась у плиты, готовя обед для своих многочисленных сынков—приисковых рабочих.

Дергач, растянувшись на койке после сытного обеда, курил и лениво перебирал в уме подробности вчерашней гулянки. Дверь скрипнула, и в барак вошел Тимоха.

— Спишь?—спросил он, подойдя к Фомкиной койке.

— Нет, так вожжаюсь. Ты чего, Тимоха?

— Да дельце небольшое есть,—и подозрительно покосился на трех рабочих, игравших за столом в очко.

— Говори—им не до нас. Третьи сутки режутся.

— Ладно,—ответил Тимоха закуривая.—Вчера, значит, шуровка дала нам по двести целкашей на брата...

— Ну? А дальше что?..

— Да... Кому досталось по двести, а кому и по две тысячи.

— Как по две тысячи?

— А так. Облапошил нас Митька. Самородку затаил. Оттырил.

От злобы лицо Фомки перекосило, и глаза налились кровью.

— Кто тебе сказал?—выдавил он, наконец.

— Терешка видел, как он в рабкопе сдавал. А сам Митька сейчас в бараке пьяный похваляется: об'егорил, говорит, дураков.

— А-а!.. Это мы-то дураки?! Эх, он гад полосатый!—прохрипел Дергач и тут же вспомнил, как месяц тому назад этот самый Митька отбил у него разбойницу-Катьку.

— Кишки выпущу, коли не отдаст долю!—треснул он кулаком по койке.

Игроки обернулись, посмотрели и снова углубились в свое дело.

— За Катьку спустил, а теперь—шалишь! С глотки вырву! Узнает Митька, какой человек есть Фомка Дергач! Решу стервеца, сегодня же решу!

Вытащив из-под матраца финский нож, он сунул его за голенище.

— Пойдем!

Они пошли к выходу.

— Ужинать-то готовить?—спросила мамка.

— Не надо. К Митье Косому в десятый пойдем.

— Иди, иди. Гульба там у них. Митька достачу пропивает.

Приятели вышли. Морозило. На потемневшем небе одна за другой высыпали крупные белые звезды, а из-за темной спины гольца в золотом ободе медленно лезла багровая северная луна. Среди залитых огнями домов приска узкими пирамидами торчали черные вышки кулибин. Прииск глухо гудел. Из бараков несся шум, выкрики, песни и звуки гармоник. Начались гулянки.

Дергач шел быстрым шагом и ворчал под нос:

— Я проучу его, стервеца! Кара проклятая! Я ему покажу, как оттыривать!..

Пройдя с полверсты мимо освещенных шумливых бараков, приискатели остановились у десятого. Пощупав за голенищем нож, Дергач решительно рванул скобу. В глаза ударил яркий свет, а в уши шум и пьяные выкрики буйной пирушки. По средине комнаты большой стол, заставленный бутылками и закусками. Окруженный пьяными друзьями на хозяйском месте в синей шелковой рубахе сидел Митька Косой. Вокруг суетилась разнаряженная мамка. Пьяный гармонист, наигрывая веселую песню, тыкался носом в тарелку и старался поймать зубами кусок огурца.

— А! Гости! Дуй сюда!—приветствовали вошедших пьяные приискатели.

Сбросив шубы, Дергач и Тимоха подсели к столу.

— Догоняйте, братва!—подвинули к ним полные стаканы водки. Гульба пошла своим чередом.

Выпив несколько стаканов, Дергач пересел ближе к Митьке и, побледнев уставился на него тяжелым неподвижным взглядом.

— Что смотришь? Не узнал что ли?—вызывающе спросил Косой.

— Как не узнать оттырщика!—со злобой прохрипел Фомка.—Вот что, Митька! Без лишних слов,—отдай мою часть!

— Какую часть? Ты что белены что ли об'елся? Ты, брат, гляди, а то...—повысил он голос, взглянув на собутыльников.

— Какую часть?.. Не знаешь?..

Красные круги заходили перед Фомкиными глазами, к горлу подкатил ком. Он медленно приподнялся и подался вперед.

— Не знаешь?

— Да ты что тут разоряешься?—заревел Митька, вскочив с места.— Ты что, сукин сын, шары на меня выпучил?—и, схватив бутылу, с размаху ударил Фомку.

С грохотом полетели на пол табуретки, опрокинутые вскочившими приискателями. В бараке на момент повисла тишина.

— Бей их!—резко упал выкрик.

Взвизгнув, мамка кинулась за переборку, а приискатели набросились на гостей. Со звоном и треском свалился стол, стекла барака задрожали от залпов ругани. Ударив табуреткой по голове нападавшего шахтера, Фомка выхватил нож и по рукоять всадил его в Митькину грудь. Екнув тонким голосом, Косой свалился на перевернутый стол...

Отбиваясь от наседавших приискателей, Фомка Дергач и Тимоха пробивались к дверям.

СТИХИ О ВЕСНЕ.

Вы говорите о весне,
О тихом золоте заката,
Но, видите, как в белый снег
Мятель окутывает хаты.

В глухой обиде на мятель,
Забывши плавный шорох ели,
Вы ждете ласковый апрель
И звон серебряной капели.

Он не замедлит, он придет,
Развесит зори над полями
И в высь молочную взмахнет
Лес темно-синими кудрями.

Но вам ли этого не знать:
В огне берез, в сияньи сосен,
Ведь оттого поет весна,
Что в сентябре буянит осень.

Как синих лун вечерний сев,
Иль ветра южного мятежность,
Пахучей сетью прозвенев,
Весенних дней сгорает нежность.

Кружись, сыпучий снег в окне,
В ночную ширь звените ели,
Но не горланьте о весне
Под бесшабашный рев мятели.

Поющим сердцем возгорев,
Я полюбил весну другую,
Что половодьем в октябре
Размыла непогодь людскую.

Вот—знойно-струйная весна,
Несущая иные годы!
Ей эта замять не страшна
И хмарь осенней непогоды.

Илья Мухачев.

У КОСТРА.

Кузанчи, хорошая девица,
Волоса твои—лучистый шелк.
Если бы сюда я и не пришел,
Ты могла б, наверно, мне присниться.
Кузанчи, хорошая девица.

Юрта золотом берез одета,
А кругом—костер, да тишина.
Над лесами тонкая луна
Отливает голубиным светом,
А кругом—костер да тишина.

Кузанчи, хорошая девица,
Отчего не весел твой отец
И зачем он высыпал свинец?
Отчего дрожат твои ресницы,
Кузанчи, хорошая девица?

Я не болен воровской потугой,
Все-равно тебя не украду.
О, позволь к твоей груди упругой
Приколоть лучистую звезду...
Все-равно тебя не украду.

Ты, подарок этот принимая,
Веселей отцу скажи о том,
Что, напевам юности внимая
В стороне, где жизнь лучится маем,
Непристойно баловать свинцом.

Илья Мухачев.

БАЛЛАДА О «БИМ-БОМ».

Она была сотрудницей Чека.
Кого-то нужно было расстрелять.
У арестанта прыгала щека
И лысины заиндевела гладь.

Свела его по лестнице в подвал
(В похожую на омут полутьму).
Наган ее поднялся—и смолчал.
(Не помню и не знаю, почему).

Мятели «Яблочко» отпели за окном.
Года отреяли, как трауры невест...
И он засел с сигарою «Бим-Бом»
Не то в госбанк, не то в какой-то трест.

В дымок «Бим-Бом» не верьте и не верь...
Был день задумчив, пристален и сер.
Была зима... И постучали в дверь.
И доложили: «Женщина-курьер».

— «Пусть обождет»... Кивнула—и ждала.
— «Теперь—прошу!» И звякнул глаз о глаз.
Он извинился: «Знаете—дела»...
Она ему: «Немного помню вас».

Взглянула медленно, глубоко и темно.
И с тихою улыбкою—назад...

* * *

...Ее недавно видел я в кино.
И мне понравились ее глаза.

Александр Кучковский

У ТАБУНА.

Мальчишкой без забот и дум
С арканом весело резвиться,
Бродить, забыв про дымный чум,
По свежим пестрым копаницам.

Под неуемный свист голиц
И песня льется неуемно—
О смысле взрытых копаниц,
Залегших скатертью неровной.

Табун здесь нынче ночевал—
Свежи следы его кормежки.
И дышет теплотой оскал
Глубоко выбитых дорожек.

Мороз не жжет под сокуем,
А глаз давно поймал на мушку
Хребет далекий и на нем
Ряд пятен в снеговой опушке.

Прямой дорогой—на хребет!..
Ко грани вскопанного круга.
Чем ближе грань, тем тише взмет
Голиц, звеняцих по застругам.

Чем тише взмет, тем ближе миг
Рожденья крика призывного,—
Тем безотчетнее язык
И хочет, и боится зова.

Лишь крикнул—вскинуты рога
И чутко стынут силуэты.
На новый зов—табун в бега
Несется, копотью одетый.

И в буйном топоте копыт
Родились враз и страх, и удаль,
И торопко в руке бежит,
Ложась кольцом, аркан-Иуда.

И вот, в плену у табуна
Аркан недолго к парке жмется,—
В рогах ветвистых бегуна
Чрез миг он цепкой петлей вьется.

Борьба короткая... скачок...
На языке—бессилья пена.
И кругло ширится зрачок
Под дрожь упругого колена.

Мальчишка без забот и дум
Не знает холода и лени.
Забыв про тесный дымный чум,
Он бродит у своих оленей.

Н. Грудницкий.

НА ПУТИ К САМАРКАНДУ.

Сквозь медно-розовую пыль,
Минуя щебень Аю-Канды,
В иные дни, в иную быль
Течет наш путь до Самарканда.

Курится зной в цветных песках...
И клонит нас к бокам верблюдов.
От жажды ржавая тоска
Коснуться глиняных сосудов.

Но проводник Урбек-Аггай
Был с каждым днем все строже, строже:
— «Вода не твой, приберегай—
Моя вода вина дороже!»—

И мы молчали в этот раз:
На этот окрик мудро-грубый,
Никто смочить не мог из нас
Солено-пепельные губы.

И снова плыл наш караван...
И мне казалось, думал каждый:
Желанье видеть тайны стран
Сильней, пожалуй, силы жажды.

А. Пиотровский.

ОГОНЬ.

Он сердце лаской отогреет,
Как дружба, песня и любовь,
При нем развязнее, добрее
Угрюмый пахарь, зверолов.

Нужнее девушка... Так просто
В кудлатый вечер при костре
Над лугом, смолкнувшим и росным,
Прольется песня косарей.

И часто в песнях о кручине,
В припевках бойких под гармонь
Пропета древняя лучина
И электрический огонь.

И мне всегда, согревши тело
И грусть расплавив в теплоте,
Крылатым сделаться хотелось
И вместе с дымом улететь.

Бываеť—сумерками сжатый
Плывет в раздумьи мой челнок
К трепещущим огням заката,
Хотя мне надо на восток.

В. Непомнящих.

«СЕМЬ БРАТЬЕВ».

Гудки ревут, раскрывши рты.
Но снег легенд не тает
В краях, где, буйствуя, Иртыш
Грызет хребты Алтая.

Закат струился в темноту;
Семь братьев плыли на плоту.

Река пошла, как два весла,
Раздвинутой долиной.
Протокой вправо—тишь да гладь,
В другой—кипят стремнины.

Грозит скала, у черных ног,
Шумя, курчавится поток.

Колдует пена, как шаман.
Поток упрям и злобен.
И, как рыбак, ущелья тьма
Гадает об улове.

Скала навстречу, в щепки плот.
Добыче рад водоворот.

Сомкнула глуби чернота
Свирепые об'ятья...
С тех пор, семь ребер насчитав,
Скалу зовут «Семь Братьев».

В краях, где бешеный Иртыш
Кумысной пеной бьет в борты—
Легенды древней свеж росток
И капитан покажет:

На перепутьи двух проток
Скала стоит на страже.

Столетний мох, гранит рябой,
Внизу—седеющий прибой.
Преданий дым в тиши лощин,
В отгульи гор Алтая.

На лбу скалы—не счесть морщин.
Снега легенд не тают.

Вл. Вихлянцев.

НА ПАРОХОДЕ.

I.

Как это просто: лошади жуют траву
В росе вечернего некошеного лута,
А здесь, не в бледном сне, а ярко, наяву,
Ты улыбаешься, мечта, моя подруга.

Ты стала дёвушкой пленительной, как тот
Осколок облака, впитавший луч заката.
И в свежем сумраке передо мной встает
Она—забытая, прекрасная Беата...

Иль древний пращур мой, или я сам, давно,
Любил ее, живя на этой же планете;
Ласкало нас земли зеленое руно,
В оазисе Айнард резвились наши дети.

Конца не помню я. И вовсе нет концов!—
Все в мире связано нерасторжимой цепью;
И тени прадедов с крутых вершин гольцов
В потомках восстают над многоцветной степью...

Теперь, когда, шумя по северной реке,
Несет меня с тобой гудящая громада,
Мне кажутся почти родными вдалеке
Те лошади в лугах рассыпанного стада.

Беата! помнишь ли нубийского коня,
Нас мчавшего, стремглав, при зареве пожара...
Как странно путаются мысли у меня,—
Над зыбью Иртыша задумалась Тамара.

О ком она грустит?—не знаю... все равно...
До золотого дна исчерпав кубок жизни.
Но я в иных веках любил ее, давно,—
И снова полюблю в неведомой отчизне!

II.

Холмы облаков опрокинулись вниз,
К ним пихты прижали зубчатый карниз.
На шелковой ткани холодной реки
Звездятся, искрясь и томясь, огоньки.

Летит и гогочет гусей караван,
Чудовищем белым испуган их стан;
А вслед им несутся, как отзвуки гроз,
Удары глухие тяжелых колес...

На отмелях—влажные трупы песков,
За ними краснеют костры рыбаков;
И движутся тени в клубистом дыму,
И прячутся снова в прозрачную тьму.

Безлунно. Бездумно... Рассеянный взор
В созвездиях ищет знакомый узор—
И тонет в гигантском небесном ковше.
Покойно на небе. Покойно в душе...

П. Драверт.

Н. ФЕОКТИСТОВ.

Пропавшие письма
Федора Михайловича Достоевского

Теперь, когда я сделал все возможное для того, чтобы разыскать эти письма, когда все мои старания и попытки восстановить так нелепо утраченные неизвестные строки, написанные Ф. М. Достоевским в Семипалатинске, в тяжелые годы его ссылки, окончились неудачей,—мне ничего не остается больше, как рассказать хотя бы то, что я о них знаю.

Лет двадцать тому назад, в Семипалатинске, мне приходилось часто бывать в семье А. М. Никитиной, с сыном которой, Николаем, я дружил. Среди многочисленной родни Никитиной обращала на себя внимание почтенная дородная старуха—сестра хозяйки—Елизавета Михайловна Неворотова, добродушная, молчаливая и, кажется, набожная старая дева. Большую часть дня она обычно проводила в «светелке», как она называла свою комнату, появляясь за общим столом только к завтраку и обеду. Помню ее с неизменною колодою карт в руках, за бесконечным пасьянсом или за чтением старых романов.

Несмотря на довольно преклонный возраст (в 1909 году ей было не менее 70-72 лет), Елизавета Михайловна выглядела еще довольно бодрой. На пожелтевшем, сравнительно гладком лице, как-то осторожно прорезанном морщинами старости, живо выделялись большие карие глаза, не совсем еще утратившие блеск далекой молодости. На щеке сидела небольшая темная родинка, которая в молодости ее обладательницы могла отлично сойти за удачно поставленную «интересную» мушку. Все в ее внешности говорило за то, что в далеком прошлом Елизавета Михайловна была красивой, видной женщиной. Внешняя бодрость не мешала ей жаловаться на всевозможные болезни, но в действительности она страдала от застарелого, еще в детстве полученного ревматизма.

Елизавета Михайловна и ее сестра были большими картежницами. У них не было других развлечений, кроме преферанса. Каждый день после вечернего чая в небольшой гостиной раскладывался ломберный столик, и обе сестры, в сопровождении обязательно являвшихся партнерш, усаживались за бесконечную пульку.

В один из таких вечеров, когда к старухам почему-то не пришли обычные партнерши, а мы с Николаем не успели удрать, не предусмотрев этого обстоятельства, я и Николай сделались жертвами неумеренной старушечьей страсти к преферансу. Впоследствии я не жалел, впрочем, об этом «пропавшем» вечере, потому что во время бесконечных распассовок я впервые узнал о том,

что Елизавета Михайловна Неворотова хорошо знала Ф. М. Достоевского и некоторое время переписывалась с ним.

Николай, пикируясь с тетушкой, допустил какую-то бестактность, и разобиженная старуха, бросила карты, жалуясь на неучтивость и грубость «нынешней» молодежи, сопоставила, пользуясь случаем, «век нынешний и век минувший» и, глубоко вздохнув, сказала:

— Всем вам вежливости-то надо бы у Федор Михайловича учиться. Какой это был скромный и деликатный человек!.

— Так ведь он вашим женихом был, а я—только племянник,—защищался Николай.

— Не ври! Женихом моим он не был, а только... любил он меня... ухаживал за мной...

— Знаем, знаем, тетушка. Не даром он вам целую кипу писем написал.

— А ты помалкивай! Какое тебе дело до писем?!

Старуха окончательно рассердилась, встала из-за стола и, тяжело передвигая больные опухшие ноги, ушла в свою комнату, не простившись с нами.

— Вот всегда так,—сказала Анастасия Михайловна, с грустью посматривая на неоконченную пульку.—Зачем ты расстраиваешь тетку? Ведь знаешь, что это ее больное место.

Я был молчаливым свидетелем этой маленькой семейной сцены. Понятно, что мне захотелось подробнее узнать историю знакомства Елизаветы Михайловны с Достоевским, и, как только ушла мать Николая, я попросил его подробнее рассказать все, что он знает об этом.

Но узнал от него я очень немного.

Елизавета Михайловна рано осталась круглою сиротой. Будучи старшей в семье, она вынуждена была заботиться о воспитании своих многочисленных братьев и сестер. Вся ее молодость прошла в этих заботах. С Достоевским она встретилась на базаре, где она с лотка продавала хлеб. В молодости Елизавета Михайловна, говорят, была очень красива; неудивительно, что Достоевский заметил ее и подошел к ней ближе, чем он обычно подходил к людям.

Я не мог удовлетвориться этими крайне скудными сведениями и сказал Николаю, что попытаюсь как-нибудь подойти к старухе и добиться от нее более полного рассказа о встрече ее с Достоевским, а, может быть, и разрешения прочесть его письма.

— Могу вперед сказать, что это тебе не удастся. Тетка ревниво бережет письма и никому их не показывает.

— Но я все-таки попытаюсь.

— Попытайся, только ничего не выйдет—зря время потеряешь.

Мы пошли в комнату Николая. Проходя через столовую, я заметил свет в комнате Елизаветы Михайловны. Старуха не спала, она сидела за столом, перебирая какие-то бумаги. Возможно, что это были письма. Мне показалось, что она плачет...

Не теряя времени, я принялся за выполнение моего плана. Я делал невероятные усилия заслужить расположение и доверие Елизаветы Михайловны: я сознательно погубил много прекрасных летних вечеров за постылым преферансом. Не пропускал ни одного дня, чтобы не побеседовать с доброй, но неособенно разговорчивой старухой. О чем только мы с ней не беседовали! Но прошло, однако, не менее двух месяцев, прежде чем я решился заговорить с нею на интересующую меня тему. Возможно, что я еще продлил бы подготовительную работу, но у меня не было времени для этого: я надолго уезжал в Петербург и до от'езда мне хотелось во что бы то ни стало, если не получить эти письма, то хотя бы познакомиться с их содержанием и узнать, какое ме-

сто занимала Елизавета Михайловна в жизни Достоевского, в годы его семипалатинской ссылки?

Для решительного разговора с Елизаветой Михайловной я выбрал праздничный день. Мне почему-то казалось, что старые люди бывают добрее и откровеннее в праздники.

Старуха только что пришла от обедни. На мое счастье, у нее, действительно, в этот день было особенно хорошее настроение. После завтрака я сказал ей, что скоро уезжаю и перед от'ездом мне бы хотелось поговорить с нею по одному важному делу. Старуха насторожилась. Она больше всего на свете боялась, что у нее будут просить денег. Для этой боязни у нее было оснований более чем достаточно. Давно когда-то она дала в займы одной своей приятельнице довольно крупную, по ее средствам, сумму и до самой смерти не могла дождаться возвращения долга. Зная это, я успокоил ее, и она приветливо пригласила меня в свою «светелку». Тут уже я пренебрег всякой осторожностью—прямо и просто сказал Елизавете Михайловне, что хочу поговорить с нею о Достоевском, с которым, я знаю, она была хорошо знакома и некоторое время переписывалась. Я не скрыл, что меня особенно интересуют письма Федора Михайловича.

— Знаю, знаю, что тебе письма нужны, Коленька. Знаю, что если отдам—ты их в журнале напечатаешь. Так, ведь?

— Если вы разрешите, напечатаю.

— Так вот, Коленька, пока я жива—этому не бывать. Не хочу, я, чтобы все знали, что писал мне Федор Михайлыч. Когда умру—другое дело, пусть все читают. А письма эти я тебе оставлю. Так и в завещании напишу, я уже говорила об этом Настеньке (Настенька—сестра Елизаветы Михайловны—Анастасия Михайловна Никитина, у нее в доме жила Неворотова),—письма твоими будут. А пока я жива, и тебе читать их не дам.

Это было сказано тоном, исключающим всякую возможность каких-либо дальнейших уговоров и просьб, но я все-таки решил попросить Елизавету Михайловну показать мне хотя бы одно письмо. Я уверил ее, что никогда не видал рукописей Достоевского.

— Почерк Федора Михайловича посмотреть хочешь? Почерк покажу, только читать не дам. Потом прочтешь, когда меня не будет.

Елизавета Михайловна открыла небольшой кованый ларец, в котором, очевидно, хранились все ее драгоценности. Письма лежали сверху—довольно об'емистая серая стопка исписанной бумаги, перевязанная отцветшей от времени голубой ленточкой. Да и самые письма были основательно потерты: по-видимому, обладательница их частенько перечитывала пожелтевшие от времени строки.

— Вот, посмотри почерк Федор Михалыча. Не очень разборчиво он писал, разбирать мне его трудно было спервоначалу, пока не привыкла, а теперь уж я их почти наизусть знаю.'

Она передала мне всю пачку. На первом, сверху лежащем письме я успел прочесть: «*Милая Лизанька. Вчера я хотел увидеть Вас...*». В одном из углов стояла дата—*1854 г.* Числа и месяца я не запомнил.

Очевидно, заметив мой нескромно опущенный взгляд, Елизавета Михайловна быстро выхватила у меня из рук письма.

— Довольно! Почерк посмотрел, а читать нельзя...

Я убедился в одном: да, это были письма Ф. М. Достоевского. До этого я тщательно изучал имевшуюся в Семипалатинском областном музее небольшую рукопись Достоевского и теперь, сравнив с нею письма, убедился в их подлинности. Количество писем в пачке определить было трудно, но, судя по об'ему, в ней было не меньше 40-45 листов разного формата.

Поблагодарив Елизавету Михайловну за показанные письма, а, главным образом, за обещание передать их мне, я задал ей еще несколько вопросов, на которые она довольно охотно ответила.

Первое знакомство ее с Федором Михайловичем произошло, действительно, на семипалатинском базаре в 1854 году, когда Достоевский был еще солдатом, а Елизавета Михайловна продавала хлеб с лотка. Потом Федор Михайлович стал ее постоянным покупателем. Так произошло их знакомство, перешедшее скоро в тесную дружбу, скрепленную чувством, быть может, еще более сильной сердечной привязанности.

Елизавета Михайловна говорила мне, что Достоевский любил ее. Судя по тому количеству писем, которое он написал ей—красивой, но малограмотной девушке, живя в одном городе с нею; судя по той нежности, с какою он обращался к ней в своих письмах,—этому можно поверить.

Знакомство Достоевского с Неворотовой произошло незадолго до втречи Федора Михайловича с Марией Дмитриевной Исаевой, ставшей его женой только в 1857 году. Не следует забывать, что в эти годы Достоевский был исключительно беден и трагически одинок, и нет ничего удивительного, что его потянуло к этой, полюбившей и, быть может, приласкавшей его красивой девушке. Что же касается Неворотовой, то *она, несомненно, глубоко любила Достоевского*. Он навсегда вошел в ее жизнь. Верная своему чувству, потеряв Достоевского, она, несмотря на целый ряд претендентов, осталась старой девой.

Встретившись в 1855 году (или в конце 1854 года) с М. Д. Исаевой, женщиной культурной и высоко одаренной, Достоевский забыл красивую простушку-Лизу. Неворотова, конечно, не могла тягаться с Исаевой. Бедная «Лизанька» только пересекла жизненный путь Достоевского, но она была слишком проста, слишком примитивна для того, чтобы долго итти рядом с ним одною дорогой. Но как бы то ни было, Федор Михайлович подарил ей несколько часов своей жизни,—об этом красноречиво говорит об'емистая пачка его писем, которые так бережно, с такой любовью и светлой памятью о нем хранила эта женщина до самой смерти.

На другой день я зашел к Никитиным проститься. Прощаясь со мной, Елизавета Михайловна обратилась к сестре:

— Смотри, Настенька, когда я умру, обязательно передай ему письма Федора Михайловича.

Это была наша последняя встреча. Я уехал.

Прошло около десяти лет. Шел бурный восемнадцатый год. По обстоятельствам, от меня независящим, осень этого года я увидел в Семипалатинской области. В городе я пробыл не больше пяти часов и, хотя обстановка совсем не располагала к литературным занятиям и изысканиям, тем не менее я, помня о письмах Федора Михайловича, пренебрегая некоторым риском попасть в лапы казакам-анненковцам, решил навестить моих старых приятельниц.

Дом, в котором они жили, оказался занятым каким-то штабом, а хозяева были выселены в нижний, полуподвальный этаж. Там я нашел только одну Анастасию Михайловну. Она рассказала мне, что Елизавета Михайловна умерла месяца три тому назад. Я справился о судьбе завещанных мне ею писем. Анастасия Михайловна успокоила меня:—письма лежат в том же ларьце, но ларец этот, вместе с другими вещами покойной, при переезде был перенесен в кладовую, которая теперь оказалась опечатанной, по распоряжению поселившегося вверху военного штаба.

— Ты бы похлопотал, Коленька, нельзя ли вещи-то эти вызволить?— попросила Анастасия Михайловна.

Наивная старушка не представляла себе всю, мягко выражаясь, неустойчивость моего тогдашнего положения. Но посвящать ее в это не входило в мои расчеты, и, пообещав «все устроить», я поспешил покинуть стены этого гостеприимного когда-то, но теперь крайне неприятного и опасного для меня дома.

Прошел еще год. Над семипалатинскими песками вновь развевалось красное знамя. С белыми покончено. Радостно иду по давно знакомым улицам, теперь покрытым снегом. Спешу навестить Анастасию Михайловну.

Увы!—За этот год ее также не стало. Меня встретил старший сын Никитиной—Константин. Справляюсь о судьбе ларьца с письмами. Оказывается, две недели тому назад кладовые были вскрыты, и все хранившееся в них имущество Неворотовой и Никитиной было вывезено.

— Куда?

— В кладовые Губтрамота...

Дальше—месяцы самых упорных, горячих поисков и... горькое разочарование: письма Федора Михайловича Достоевского, *те самые письма, которые я когда-то—десять лет тому назад—держал в руках,*—навсегда и бесследно погибли в дебрях этого славного учреждения.

Прошло еще 8 лет. Я не прекращал поисков. Летом прошлого года я опять был в Семипалатинске и, как это ни смешно, пытался найти хотя бы след этих писем.

Конечно, смешно! За эти годы превратились в дым целые архивы, целые библиотеки. Очевидно, и письма Достоевского не избегли общей участи, искуренные кучерами Губтрамота.

Письма погибли. Это несомненно, но след их мне все-таки удалось разыскать. В конце прошлого года я получил письмо от племянницы покойной Неворотовой—Н. Г. Никитиной. Она была особенно дружна с покойной тетушкой. Только ей разрешила Елизавета Михайловна однажды прочесть хранившиеся у нее письма.

Узнавши о моих хлопотах и поисках, вот что написала мне Нина Готфридовна:

— «К сожалению, много сказать об этом теперь не могу, т. к. письма были реквизированы и с др. вещами отправлены в Комхоз, где они, очевидно, выброшены. Этих писем, пожелтевших от времени, с обмызганными углами от частого перелистывания (ибо тетушка гордилась ими, как особо выраженному вниманию к ее особе, тогда молодой, веселой, ловкой и на слово и вообще интересной), было более двух десятков. Письма были длинные, написанные одинаковым, но нервным почерком Достоевского. Были в них пояснения и ответы на письма Елизаветы Михайловны Неворотовой, которая, как сирота, одинокая девственница, воспитывавшая большую семью сестер и братьев, считала этот крест непосильным, но, заглушая в себе свои интересы к жизни и возможному счастью, она считала жертву необходимой. Мыслила о ней, как о долге, черпая в этом силы для дальнейшей борьбы, она находила в этом свое назначение и цель жизни. Естественно, что Достоевский, человек в высшей степени чуткий, психолог, писатель и художник, сам носивший в душе неизгладимое, переживаемое горе и печать неизжитого страдания—не остался глух к письмам тетушки. Пожалуй, он подкреплял ее в борьбе и неясности жизни и утешал ее тем, что задача ее велика, назначение свято, что она, как скульптор, может из того детского материала, который в ее распоряжении, вылепить хорошие изваяния, придав чертам будущего желательное направление честного человека и хорошего борца. Здесь Достоевский даже увлекался,

идеализируя возможность и рисуя бедной тетушке хороший сбор плодов. Действительность показала, что человек предполагает, а жизнь распределяет, а, быть может, тетушка не совсем оказалась ваятельницей подходящей. Достоевский, разумеется, в тех двух десятках писем, которые хранились у тетки, писал не одни наставления, не одни советы... Идя ей навстречу в ее желании иметь письменное общение с культурным человеком, он иногда писал ей комплименты и на ее часто полудетский лепет малограмотной женщины подробно, тоном старшего, отвечал страницами письма. Скорее он писал для себя, забывая своего адресата, писал то, что накопилось невысказанным за долгие тяжелые и одинокие дни. Та искренность и теплое чувство, которым были пропитаны послания Достоевского, говорят уже о том, что он сам был рад возможности взяться за перо и писать человеку, бесхитростно ориентирующемуся в своих переживаниях».

Вот что писала мне Нина Готфридовна Никитина. К сожалению, здесь больше ее личных сентенций и ламентаций, чем фактического материала. Можно допустить, что при жизни Неворотовой эти письма читались еще кем-либо из ее немногочисленных друзей, но это было уже так давно! Возможно, что все они уже умерли, а если кто-либо и остался в живых, то едва ли в состоянии будет вспомнить и воспроизвести более детально содержание писем. Во всяком случае, если есть еще живые современники Елизаветы Михайловны, знавшие ее, было бы крайне желательно получить от них хотя бы то, что сохранила их память. Но, по правде сказать, у меня мало надежды на это. Очень уж необщительна была покойная, слишком ревниво она берегла тайну своей молодости.

О существовании писем знали очень немногие. Поскольку мне известно, о них не упоминает ни один из биографов Достоевского. О них не знал даже семипалатинский старожил Б. Г. Герасимов, давший так много интересных справок о жизни Достоевского в Семипалатинске. Знали о письмах только ближайшие родственники Неворотовой, но почти всем им были чужды литературные интересы, и никто из них не соприкасался с литературной средой. Я говорил уже, что даже мне—постоянному посетителю Никитиных—только благодаря случайности, удалось узнать о существовании писем Федора Михайловича в этом тихом купеческом доме.

Мне известна только одна попытка извлечь эти письма еще при жизни Елизаветы Михайловны. Попытку эту сделал зять А. М. Никитиной—Лутохин. Он предложил за них тетушке пятьсот рублей, но, несмотря на столь заманчивый куш, старуха, вообще любившая деньги, сказала, что она ни за что не отдаст своих писем. Об этом мне говорила сама Неворотова, а впоследствии это подтвердила ее сестра Ан. М-на.

Еще задолго до встречи с Неворотовой, в мои гимназические годы я познакомился с двумя другими современниками Достоевского, знавшими его по Семипалатинску. Это были: старый семипалатинский портной Кац, из кантонистов, он жил в одной казарме с Достоевским, когда последний был еще солдатом, и А. И. Згерская-Каша. Раза два мне доводилось слышать их воспоминания о Достоевском, при чем воспоминания эти были далеко не равноценны.

Згерская познакомилась с Ф. М. уже после его производства в офицеры. Я слышал, как она рассказывала жившим у нее девочкам-гимназисткам (у нее было что-то в роде пансиона) о том, как она танцовала с Достоевским, каким он был учтивым и любезным «кавалером». Сколько я ни прислушивался к ее повествованиям, ничего путного из них не узнал о великом писателе. По ее рассказам, выходило, что Достоевский был виртуозный плясун и сладчайший «дамский угодник». Мне говорили, что она оставила воспоминания о Достоев-

ском, я их не читал, но, вспоминая накрашенную, напудренную и нарумяненную семидесятилетнюю белокурую (она носила парик) старуху, какой я ее тогда знал, мне что-то не верится, что она могла написать что-нибудь дельное о Достоевском, как о писателе и человеке. Возможно, конечно, что я и ошибаюсь.

Другое дело—Кац. Его воспоминания чрезвычайно ценны и интересны. Помню один разговор Каца с моим покойным отцом. Отвечая на какой-то вопрос моего отца о совместной жизни Каца и Достоевского в казармах, он сказал:

—Да, трудненько жилось тогда Федору Михайловичу. Тянуться ему перед каждым унтером приходилось. Уж на что аккуратный был, а без затрещин не обошлась ему служба.

— *Неужели его били?—спросил отец.*

— Да. Два случая я сам видел... При мне фельдфебель один раз его поголове ударил, а потом как-то, при уборке казармы, от него же он зуботычину получил.

Удивляться тут нечему. Ведь, это теперь, для нас, он—великий писатель, а тогда на него смотрели, как на преступника, вчерашнего каторжанина, не имевшего никаких прав...

Этот рассказ Каца я никогда не забуду.

Можно себе представить, сколько тяжелых, жутких минут пришлось пережить писателю в годы его, почти десятилетней, сибирской ссылки.

По выходе из Омской каторжной тюрьмы, оборванный и полуголодный по этапу он пришел в Семипалатинск. Каторжный бушлат сменила серая шинель. Из каторжника он превратился в солдата, а солдатчина тогда мало чем отличалась от каторги.

Вот в это-то тяжелое время и произошла, повидимому, его встреча с Елизаветой Михайловной Неворотовой. После долгих, жутких лет каторжной тюрьмы он понемногу стал оживать. Но доступ в местное «светское» общество для него был еще закрыт, он был еще изгоем, и только старый семипалатинский базар с веселой, молодой калашницей Лизой подарил ему первые радости возвращающейся жизни...

Г. ВЯТКИН

М. Горький и писатели-сибиряки

(Из личных встреч и писем).

Писатели-сибиряки не могут остаться равнодушными к 60-ти летнему юбилею М. Горького не только потому, что Горький является крупнейшим художником слова в современной России, но еще и потому, что в истории развития сибирской художественной литературы он сыграл не малую роль, будируя одних авторов, помогая своими замечаниями и указаниями другим.

В этом беглом очерке мне хочется вспомнить некоторые этапы наших взаимоотношений с Алексеем Максимычем.

Мое знакомство с Горьким началось заочно, путем переписки в 1912 году. Весною того года в Томске вышла из печати первая книга моих стихов «Под северным солнцем». Один экземпляр ее я послал Горькому в Италию, на о. Капри. Послал без письма, без просьбы дать отзыв, просто из чувства симпатии. И велика была моя радость и в то же время удивление, когда, приблизительно через месяц, я получил от Горького письмо. Получил и подумал: «Ну, что ж, очевидно, благодарит за присылку книжки». Но нет, это была не только благодарность, это была, если хотите, целая философия русской жизни и литературы, особенно ценная мне, начинающему тогда литератору.

Своим художническим чутьем Горький сразу определил слабые и сильные стороны моей книги. Две слабые стороны отметил особенно внимательно: «Вы еще не самостоятельны,—писал он,—вы как-будто еще не решаетесь пойти своим собственным путем, на ваших стихах чувствуется влияние Бальмонта, и порою вы все внимание устремляете на музыкальность и звучность, но ведь, что такое Бальмонт? Это колокольня высокая и узорчатая, а колокола-то на ней все маленькие... Не пора ли зазвонить в большие? С другой стороны, на вас заметно влияние мрачной философии Достоевского, и вы воспеваете страдание, как нечто положительное, вы даже называете его «святым таинством». Против этого я горячо бы протестовал, ибо, по-моему, страдание вредно, оно не углубляет человека, а только унижает его, и это особенно надо помнить нам, русским, чья многовековая история была сплошным страданием—сплошным унижением. Каторга убила в Достоевском его живую душу и привела его к оправданию страдания, к проповеди роковой обреченности человечества на муки, к совету—смириться, покориться, простить; нет, мы слишком много покорялись и прощали, и не слушать, а преодолеть должны мы Достоевского, он—наш национальный враг. Меня радует, что из-под влияния Достоевского вы уже начинаете освобождаться: целый ряд

ваших стихотворений проникнут совершенно другим чувством: бодрости, любви к жизни, к человеку».

Процитировав одно из жизнерадостных стихотворений, Горький заканчивал свое письмо такими словами:

«До сих пор мы только жаловались и стонали, не замечая, как щедра и богатая жизнь и какою прекрасной мы можем ее сделать, если только захотим. Надо звать к жизни, надо ясно почувствовать и осознать свою связь с природой, а главное, с великим человеческим коллективом, и тогда мы станем бодрыми, сильными и будем хозяевами жизни, а не рабами ее».

Таковы наиболее интересные места того письма, с которого началось мое знакомство с Горьким.

Через два года, в 1914 году, группа сибирских писателей уполномочила меня просить Горького о содействии изданию сибирского местного художественного сборника. Был собран и представлен ему материал: стихи, рассказы и повести. Принципиальное решение его было получено: Горький соглашался предоставить для сибиряков один из очередных сборников «Знание», пользовавшихся тогда громадным успехом, и оставалось лишь договориться о частностях. С этой целью приехав в Петербург, я и направился к писателю.

Он принял меня в своей квартире на Кронверском проспекте, в рабочем кабинете, заполненном книгами, картинами и портретами писателей и политических деятелей (мне запомнились большие портреты Гейне и Лассаля, они висели рядом), отложил в сторону какую-то рукопись и, улыбаясь, спросил:

— Вы что же, прямо из Сибири?

— Да, из Томска.

— Насчет сибирского сборника?

— Да. Хотел бы узнать ваше мнение о представленном материале.

— Есть вещи хорошие,—с сильным ударением на «о» сказал Алексей Максимыч.—Если материала листов на пятнадцать хватит—издать можно вполне. Вообще я склонен думать, что Сибирь еще себя покажет... и должна показать, обязательно должна... Помилуйте, этакая громадина... пошагайте-ка от Урала до океана... А народ туда все шел живой, беспокойный: беглые, раскольники, политические ссыльные... Царское правительство дало Сибири хорошую закваску... да и крепостного права там у вас не было... Свой дух должен быть у Сибири...

— Какой же такой дух, Алексей Максимыч?—не удержался я от вопроса.

— Крепкий, ядреный... смолистый этакий, вот как у молодой сосны... Нашу Европейскую Россию можно сравнить с несчастной, измученой, пожилой бабенкой, которую всю жизнь пьяный муж колотил... А Сибирь—молодая здоровая девка, кровь с молоком, все будущее у нее еще впереди, и в обиду она себя не даст... скорее сама кого-нибудь изобидит...

Мы перешли к деловой беседе, обсудили план издания, разобрали отдельные произведения. Он сказал, что пригодного материала имеется пока листов на десять, этого маловато, надо запросить еще. Говорил он с заметным увлечением, хвалил сибирских беллетристов: Гребенщикова, Шишкова, Новоселова. В конце всего спрашивает:

— Кто такой Новоселов?

— Омский казак.

— Молодец парень. Он назвал свою рукопись о Сибири—«Лицо моей родины». Хорошо. Лучше не придумаешь.

Алексей Максимыч вдумчиво повторил: «Лицо моей родины», и снова оживленно заговорил:

— А многие ли знают лицо своей родины? Я встречал таких русских интеллигентов, которые, право, больше знали Китай, чем Россию. Особенно в отношении окраин и национальных меньшинств. Числим за собой и Финляндию, и Латвию, и народности Кавказа, а какова их культура, их национальная жизнь, их творчество—не знаем. А между тем, сколько там новых сил, новых возможностей. Вот вчера читал я переводы из Райниса—великолепный латышский поэт, а мы о нем и не знаем... И живет где-то поблизости, не то в Пскове, не то в Риге...

Окончательный разговор о сибирском сборнике мы отложили до получения из Сибири дополнительных литературных материалов, которые должны были поступить месяца через два. Но через месяц Горький тяжело заболел, болезнь продолжалась очень долго, и издание сборника было отложено до осени 1914 г. А в июле 1914 года вспыхнула война, издательство «Знание» резко сократило свою продукцию, и печататься в нем нам не удалось.

Но правильно говорит И. Г. Гольберг в своих воспоминаниях об этом периоде сибирской литературы:

— «Встряска, произведенная признанием М. Горьким наличия художественных ценностей среди тогдашних сибиряков-писателей, не прошла бесследно. Моральное удовлетворение, которое сибиряки тогда получили, сделало свое дело. Сибиряки почувствовали твердую почву под своими ногами и уже не захотели останавливаться на узких таежных тропах: потянуло на широкие дороги... Произведения, приготовленные для сборника «Знание», стали попадать на страницы разных сборников и толстых журналов».

Из следующих встреч с Горьким мне более четко запомнилась одна, в феврале 1916 года, за год до революции. Я работал тогда на германском фронте, в комитете союза городов, приходилось много ездить по всему северному участку, между Псковом, Валком и Ригой, и я хотел предложить свои услуги горьковскому журналу «Летопись» в качестве военного корреспондента. Алексей Максимыч жил тогда в Финляндии на даче, куда и пригласил меня для переговоров.

Был прелестный, ясный день с легким морозом. Дача в лесу, в нескольких верстах от железной дороги. Когда я под'ехал, Горький стоял на крыльце с лопатой в руках—должно быть только что кончил убирать снег.

— А, сибиряк!—воскликнул он, всмотревшись в меня.—Ну-ну, пожалуйте... кажется, уже готов обед... А нас тут совсем снегом замело... Этакая снежная зима...

В столовой был накрыт стол. Хозяйничала жена Алексея Максимыча, артистка М. Ф. Андреева. Пока подавали обед, я занялся рассматриванием итальянских картин, статуэток, изделий из раковин, вывезенных Горьким с Капри.

— Вы в Италии не были?—спросил Горький.—Надо побывать. Писатели должны быть бродягами. Кто любит сидеть на одном месте, тот мещанин, это первый признак.

— Нынче дальше фронта, Алексей Максимыч, не уедешь.

— Все-равно—потом. Надо только сказать самому себе: поеду и баста. А на фронт вы когда?

— Дня через три. Хочу попытаться корреспондировать в ваш журнал.

— Попробуйте. Только вряд ли что дельное пройдет. Цензура нам покоя не дает, в редакцию шпики шляются... Вы под Ригой, в 12 армии?

— Да.

— Ну, что ж, попробуйте. О генералах поменьше, о солдатах побольше. Вот насчет шпионажа бы выяснить. Говорят, чорт знает, что делается. Контрразведка издала приказ—за каждого пойманного шпиона солдатам деньгами платить. Ну, и ловят, кого попало, и вешают десятками. Больше всего евреев, конечно. Большой доход из них устроили.

— За обедом Горький заговорил о сибирских авторах:

— В «Летописи»*) сибиряки заняли солидное место. Печатаю «Тайгу»—Шишкова, «Жабью жизнь»—Новоселова, ваше «Село Успенское». Напишите, чтобы и другие присылали, для хороших вещей место найдется. Боюсь только, что скоро журнал закроют,—патриотизм теперь требуется, а у нас его нет...

Я пробыл на даче весь день. Горький много расспрашивал о Сибири и очень жалел, что ему не удалось в ней побывать: видимо, наш край его очень интересовал.

В том же 1916 году Горький напечатал во 2 сборнике пролетарских писателей два рассказа Всеволода Иванова, а в первый сборник (издательство «Прибой», Петербург, 1914 г.) включил один из первых рассказов Ник. Анова—«Смерть Агаши».

В ноябре 1925 года, будучи секретарем редакции журнала «Сибирь», я обратился к Алексею Максимычу с просьбой прислать что-нибудь для напечатания. В декабре получил от него рукопись и письмо, где он, между прочим, писал:

«Посылаю вам для журнала небольшой очерк «Убийцы», кроме этого, ничего не нашел. Я теперь пишу большую книгу, рассказы перестал писать. Очень прошу вас прислать мне журнал. И нет ли каких-либо местных изданий, которые познакомили бы меня с литературой сибирской молодежи: альманахов, сборников, стихов? Ваши стихи издавались? Пришлете—буду весьма благодарен. Крепко жму руку, журналу желаю успеха, сотрудникам его кланяюсь».

Неизменное свое внимание к сибирской литературе Алексей Максимыч подтвердил и в нынешнем году.

В письме ко мне из Сорренто от 9 февраля с. г. он, между прочим, пишет:

— «Сибирские Огни» попадают мне редко, отдельными номерами. Хороший журнал. Кто это Чертова? Почему сибиряки не издаются ГИЗ'ом? Если вы мне напишете о положении сибирских литераторов—буду очень благодарен. Что именно написать?—А все, что вы найдете нужным, интересным».

Внимательные письма получили недавно от Алексея Максимыча Н. В. Чертова и другие писатели.

Так не только из Ленинграда, но и из далекой Италии М. Горький дружески следит за ростом художественной литературы Сибири.

---

*) «Летопись»—толстый литературно-художественный и публицистический журнал, издававшийся Горьким и А. Н. Тихоновым в Петрограде в 1915-17 г. Все названные вещи были там напечатаны.

М. Горький и советский писатель.

Вряд ли найдется писатель, живущий в СССР, который бы следил с таким вниманием за нашей советской литературой, как следит за ней М. Горький из Италии. Но Горький не равнодушный читатель. Он ободряет, хвалит, ругает, указывает на ошибки. Он переписывается чуть ли не со всеми писателями СССР. За рубежом Максим Горький—решительный защитник молодой нашей литературы.

Интересно последнее выступление писателя по поводу письма Бальмонта и Бунина к Ромэну Роллану. Бальмонт и Бунин призывали Ромэн Роллана высказать свое порицание советской власти. Ромэн Роллан обратился к Горькому.

В мартовской книжке журнала «Европа» помещены два любопытных документа. Первый—краткое введение Ромэн Роллана, к письму М. Горького и второй—письмо М. Горького. Приводим эти документы полностью.

Желая проверить некоторые факты, относящиеся к моей вежливой полемике с Константином Бальмонтом и Иваном Буниным, я обратился к Максиму Горькому. Вот поразительная картина, которую он набросал, в нескольких строках, рисующая положение русской литературы в настоящее время в России.

Ромэн Роллан.

16 февраля 1928 г.

Мой дорогой друг!

Я прочел «Письмо русских писателей, живущих в России». У меня родилось сомнение в том, что писатели могли его написать... Писатели не могли написать, что «классики запрещены в России», в то время, как Госиздат только что издал—и при этом прекрасно—Достоевского (в частности, его «контрреволюционное» произведение «Бесы»), Гоголя и Пушкина, и подготовляет к печати произведения Тургенева и полное собрание сочинений Льва Толстого в 90 томах (в редакционной коллегии состоит друг Толстого, Чертков). Сейчас печатаются избранные сочинения Бунина, Куприна, Шмелева, не забыты и старые писатели, как Мамин-Сибиряк, Гарин-Михайловский.

По отчетам библиотек, где Толстой, Достоевский и Гоголь занимают первое место, писатели также должны знать, что классики не запрещены.

Ежегодно ко мне приезжают молодые русские авторы за границу. Трудно связать мысль о «Нищете» с дальними поездками за границу. Мне кажется, что я имею честь пользоваться доверием молодых. Но в интимных беседах на мой вопрос: «Кто, какая группа могла написать эту жалобу?»—в ответ я получал лишь скептическое пожимание плечами...

Вам пишут, что в России нет больше литературы.—Что за странное утверждение!.. Я изумлен обилием молодых литераторов... В данный момент в России имеются сотни писателей: их количество быстро увеличивается, и я могу об'яснить себе это лишь даровитостью всего моего народа. Русский народ начинает, наконец, сознавать свое «я», свою ценность и право на свободу творческих сил во всех областях жизни.

Этот год принес нам несколько очень крупных людей, которые подают большие надежды. А именно: Фадеев, автор романа «Разгром»; Леонид Борисов, Нина Смирнова, поэт Н. Тихонов, написавший прекрасную книгу.

Очень талантливые писатели, например, Леонид Леонов, Бабель, Всеволод Иванов, ныне редактирующий журнал «Красная Новь», хотя он и коммунист. Все они завоевали себе крупное положение, так же как Константин Федин, Владимир Лидин, Борис Пильняк, Сергей Семенов, рабочий, одаренный очень своеобразным талантом и находящийся под влиянием Кнута Гамсуна. Зощенко растрачивает себя в коротких рассказах, что отнюдь не умаляет его таланта: нет никакого сомнения в том, что он постепенно перейдет от юмора к сатире. Рядом с ним стоит Катаев, автор «Растратчиков», написанных в гоголевской манере. Заметен быстрый рост Александра Яковлева, Каверина...

Мне трудно перечислить вам всех тех, кто достойны не только упоминания, но и похвалы.

Среди писателей нереволюционных я могу назвать Сергеева-Ценского, Михаила Пришвина, Константина Тренева, Никандрова, Вересаева, Ивана Вольнова, Ольгу Форш, Алексея Чапыгина, который недавно выпустил великолепный роман: «Степан Разин», поэта Сергея Клычкова, которые работают очень много и очень успешно...

Алексей Толстой пишет усердно, и остается великолепным рассказчиком. Иван Новиков только что выпустил том рассказов.

Мне кажется, что в данный момент во главе русской литературы стоят два исключительных мастера: Сергеев-Ценский и Михаил Пришвин. Последний выслал вам только что свою последнюю книгу «В погоне за счастьем».

Весьма возможно, даже несомненно, что я забыл вам назвать еще целый ряд талантливых писателей. *Я не имел времени перечитать все, и боюсь вас утомить перечислением всех писателей, сотрудничающих в журнале «Сибирские Огни». Между ними есть люди очень способные.*

Я не говорил также о поэтах, среди которых есть уже целый ряд признанных, как Пастернак, Тихонов, Асеев, Жаров, Казин, Сельвинский, Орешин и т. д.

Целая новая литература создается у народов Кавказа, у черкесов и осетин, а также у казанских татар.

Да, прекрасная литература живет и растет сейчас в России. И, восхищаясь ею, я огорчен тем, что Европа так мало обращает внимания на это великое движение, на эти творческие силы, что она так усердно отыскивает там дурное, проявляя так много враждебности, не зная того, что там есть хорошего.

Несомненно (и я это признаю) хорошее существует там еще в недостаточной степени, принимая во внимание, что это страна, насчитывающая 150 миллионов жителей... Но не нужно забывать, что всего прошло десять лет с того момента, как русский народ сразу завоевал культурную жизнь и понял, что значит жажда культуры. В России существуют уже деревни в 140 жителей, выписывающие по 32 издания. Газеты, журналы, брошюры по популярным, научным вопросам появляются в тысячах экземпляров. Я убеж-

ден, что сотни писателей, прозаиков и поэтов, которые выступают теперь впервые на литературном поприще, станут через пять-десять лет блестящими стилистами...

М. Горький.

29 января 1928 г.

P. S. Кажется, уже в августе месяце «Письмо писателей», вокруг которого русская пресса за границей подняла столько шума, было опровергнуто писательскими организациями в России. А эти организации насчитывают в своих рядах всех писателей всех национальностей. За исключением меня, в России нет, насколько я знаю, ни одного писателя, который не принадлежал бы к этому союзу.

М. Горький.

Париж, 15 марта.

Г. СТЕПНЯК

Киргизское восстание в Семипалатинской губернии в 1916 году

1916 год для тех групп туземного населения России, которые до этого времени не отбывали военную службу, принес тяжкое испытание: в этом году туземцы указанной категории были привлечены или, говоря официальным языком, «реквизированы» для тыловых военных работ. Реквизиция коснулась и киргиз Семипалатинской губернии, вызвав в них большое возбуждение. Киргизы не захотели итти на тыловые работы и оказали правительственной власти упорное сопротивление; не обошлось и без кровавых столкновений. Правда, последние не имели здесь таких размеров, как, например, в соседней Джетысуйской (Семиреченской) губернии, где убитые и раненые со стороны русских и киргиз—исчисляются в ужасающих цифрах тем не менее, степь Семипалатинской губернии пережила большие потрясения. Население Степного края, в состав которого входила Семипалатинская губерния, впервые узнало о реквизиции киргиз—из следующего об'явления степного генерал-губернатора Сухомлинова от 30 июня 1916 г.:

«Государю императору благоугодно было в 25 день сего июня высочайше повелеть—ныне же привлечь на остальное время войны, для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, освобожденных от воинской повинности инородцев империи, в частности киргиз Степного края.

Приему в ближайшую очередь подлежат киргизы, родившиеся между 1897 и 1885 годами, т.-е. в возрасте от 19 до 31 года.

Лица эти привлекаются реквизиционным порядком не в ряды войск, а для нужных армии работ с платой и продовольствием от казны.

Об'являя об этом киргизскому населению вверенного мне края, я питаю твердую уверенность, что киргизы беспрекословно отзовутся на царский призыв и тем вновь на деле докажут свою преданность царю и родине, как доказали ее раньше своими трудами и заботами по призрению семей запасных нижних чинов, призванных на войну».

Это об'явление вызвало среди киргиз громадную тревогу. По степи пронесся слух, что киргиз берут не на работы, а в солдаты, а там будут и крестить. Киргизским населением овладело отчаянье. По степи пошел плач. Из-за Иртыша шли известия, что «киргизы наплакали слез по самое колено».

На русское население неприятно подействовала самая форма призыва. «реквизиция». Это грубое и оскорбительное по отношению к человеку, хотя бы и взятое из существовавшего законодательства, слово очень больно задевало этическое чувство русских.

Киргизы бурно реагировали на призыв, категорически отказавшись подчиниться сделанному распоряжению о призыве их на работы.

В разных уездах Семипалатинской губернии народное недовольство вылилось в свои формы. Более крупные события произошли в Каркаралинском уезде. Когда распоряжение о реквизиции киргиз достигло Каркаралинского уезда, киргизы заволновались. Степняки стали проявлять враждебное отношение к русскому населению. В г. Каркаралы с'ехалось много киргиз. Они собирались группами, горячо обсуждали вопрос о призыве, явно сторонились русских и т. д. Среди русского насе

Примечание. В 1925 г. Первый Всеказакский с'езд Советов в г. Кзыл-Орда вынес постановление об отмене слова «киргиз—заменив его словом «казак». В настоящей статье наименование «киргизы» сохранено поскольку», автору приходится иметь дело в большинстве случаев с историческими документами

ления возникло опасение, что киргизы, раздраженные реквизицией, могут напасть на Каркаралы, а также вырезать население переселенческих поселков уезда. Некоторые из представителей киргизской интеллигенции, учитывая напряженность момента и печальные последствия отказа киргиз от тыловых работ, в виде возможности появления в степи русских карательных отрядов, пробовали уговаривать киргиз подчиниться изданному распоряжению. Но эти попытки не имели успеха, а названные представители подверглись избиению со стороны киргизской толпы. Настроение киргиз было настолько серьезное, что семипалатинский губернатор вынужден был выехать в Каркаралы для личного уговора киргиз.

Поездка губернатора, однако, мало помогла делу. Киргизы в присутствии начальника губернии избили волостного старшину Кызылтавской волости Нарымбека Бодукова и волостного писаря Червева, напали на полицейского пристава Попова и возбужденно кричали: «Мы киргиз в работы не дадим!».

После от'езда губернатора из Каркаралов, враждебное отношение степной массы нисколько не понизилось. Киргизы стали бросать частные полевые работы (сенокосы) группироваться в степи и открыто заявлять, что они ни в каком случае на казенные работы не пойдут, соберутся вместе, и пусть тогда русская власть попробует взять их силой. Эта угрожающая оппозиция киргиз вызвала среди представителей русской власти в Каркаралах большое опасение за целость города и русского населения в уезде. На имя официального представителя охраны спокойствия уезда, Каркаралинского уездного начальника, с разных сторон стали поступать представления о необходимости, пока не поздно, принять неотложные меры охраны русского населения против возможного нападения киргиз; высказывалось опасение, что, в виду отдаленности Каркаралов от центров, всякая помощь со стороны может запоздать. Указывалось на то, что горсть русских, «окруженных тысячами магометан, которые при вспышке из-за недовольства поставки рабочих могут сделать все, что захотят, и никакая помощь при этом со стороны немедленно придти не может» –бессильна принять какие-либо серьезные меры в свою защиту.

Отмечалось «весьма странное, небывалое ранее, враждебное к русским настроение среди киргиз: вместо прежней почтительности к чиновникам, киргизы при встрече с ними проявляли дерзость, держались вызывающим образом» и т. д.

Киргизы бросали работы на русских участках и уходили в степь, говоря: «соберемся волостями, а там увидим, что будет, русским не дадимся». Словом, представления рисовали положение русского населения критическим.

Об'явление киргизам о призыве их на тыловые работы было возложено на уездные полицейские власти. Вот что сообщал уездному начальнику 15 июля, после подобного об'явления, один из полицейских приставов:

> «По об'явлении киргизам вверенного вам уезда о привлечении мужского инородческого населения для всяких необходимых для государственной обороны работ, среди киргизского населения возникло брожение и недоверие к правительственной власти, каковое они мотивируют тем, что якобы их призывают не для работ, а для участия в сражениях против неприятеля, а потому большинство из них решило добровольно на этот призыв не идти, а лечь костьми у себя на родине и живьем в руки правительства не даться, угрожая насилием по отношению должностных лиц, могущих применить к ним репрессивные меры, и некоторые степняки, уезжая из города, выразились: «Пусть кто-либо попробует взять нас в степи—живьем не дадимся, а смельчакам не уйти».
>
> Многие степные киргизы откочевывают на дальнее расстояние от города и сгруппировываются для дачи отпора, в случае применения к ним вышеуказанного распоряжения».

Получаемые со всех сторон донесения об опасном для русских настроении киргиз побудили уездную власть просить семипалатинского губернатора о присылке в Каркаралы «вооруженного конного отряда, силою до 2 сотен, со взводом конной пулеметной команды и достаточного количества патронов». Воинская команда в Каркаралах была малочисленна, патронов всего по 15 на винтовку; перед этим запас патронов, в силу сделанного распоряжения, был отправлен в омский артиллерийский склад.

Между тем, подготовительные работы к призыву киргиз—составление призывных списков—шли своим порядком. Среди киргиз продолжало держаться убеждение, что их берут не на работы, а в солдаты. В видах успокоения киргизского населения, семипалатинским губернатором было выпущено следующее раз'яснение к киргизам:

«Государь император высочайше повелел те подданные ему народы, которые не отбывают воинской повинности, призвать для работ, так как русские пошли в солдаты. Многие киргизы не поняли этого повеления, думают, что и их берут в солдаты, и поэтому волнуются.

Раз'ясняю всему киргизскому населению области, что киргизы призываются, по царскому повелению, не в солдаты, русских солдат и без них слишком много; киргизы призываются на работы, чтобы помочь работой русскому народу, который воюет. Кто может нести полезную работу здесь, будет работать здесь, а кому здесь работы нет, тот должен поехать на работы туда, куда ему укажет военное начальство. Поэтому теперь не будут призываться и будут оставлены здесь на работах следующие киргизы:

1) работающие на сельско-хозяйственных работах у крестьян, казаков, частных владельцев и казенных учреждений в том количестве, которое работало обыкновенно, и, кроме того, по одному рабочему на каждую солдатскую семью, как крестьянскую, так и казачью;

2) состоящие на государственной службе и служащие у должностных лиц и в казенных учреждениях;

3) должностные лица киргизского общественного управления (волостные управители, народные судьи, аульные старшины и кандидаты этих должностных лиц); писаря при волостных управлениях, указные муллы;

4) почтосодержатели и ямщики почтовых земских станций;

5) табунщики и погонщики казенных гуртов и табунов;

6) работающие на заводах, служащих для обороны государства, например: мельницы, кожевенные и шубные заведения, шерстомойка и т. п. Списки этих заведений находятся у уездного начальника;

7) работающие на золотых промыслах, каменноугольных и марганцевых копях и на соляных озерах;

8) работающие на пароходах, баржах, плотах, на бакенах и грузчики на пристанях;

9) работающие на железных дорогах;

10) заведывающие военно-конскими участками;

11) окончившие высшие и средние учебные заведения и учащиеся в этих заведениях;

12) привлеченные к обязательной гужевой подвозке топлива и продовольствия.

Работающие в указанных предприятиях могут быть оставлены лишь в том количестве, которое работало ранее в обычное время. Те, которые при освидетельствовании будут признаны больными или неспособными к труду, на работы не будут призваны».

Это раз'яснение губернатора осталось бумажным документом и ничуть не поправило дела. Не только Каркаралинский уезд—вся степь продолжала кипеть. Среди киргиз шли также слухи и о том, что их привлекают не на тыловые работы, а для устройства окопов между русскими и неприятельскими передовыми позициями. Слухи эти быстро обежали степь, еще более наэлектризовав и без того возбужденное киргизское население. Дошли они и до высшей администрации края. В результате слухов появилось следующее об'явление главноначальствующего, степного генерал-губернатора Сухомлинова от 12 июля:

«До сведения моего дошло, что злонамеренные люди, с целью посеять смуту среди киргизского населения, распространяют слухи о том, что будто бы киргизы привлекаются на работы по устройству окопов в местах между нашими и неприятельскими передовыми боевыми позициями и что, таким образом, киргизам грозит неизбежный расстрел с той и другой стороны. В виду сего об'являю киргизскому населению вверенного мне края, что слухи эти нелепы и ни на чем не основаны: киргизы призываются по высочайшему повелению помочь за плату нашей доблестной армии работой в очищенных уже неприятелем местностях по исправлению, главным образом, дорог, плотин, гатей и других сооружений, увеличивающих боевую мощь нашей армии; если же киргизам и придется исправлять где-либо окопы или рыть новые, то эти работы будут производиться в тылу наших войск, а не в боевой линии огня.

Всех тех, кто будет распространять среди киргиз вздорные и тревожные слухи, надлежит немедленно передавать в распоряжение полиции для наложения на них подлежащей властью строгого наказания».

Недовольство киргиз росло, и никакие строгие предупреждения властей не могли остановить этого роста. В дальнейшем уже это недовольство проявилось в столкновении киргиз в разных местах Семипалатинской и Акмолинской областей с полицией. В соседнем с Каркаралами Акмолинском уезде были убиты полицейский пристав и четыре стражника. Сухомлинов 19 июля выпускает новое об'явление:

«В двух об'явлениях от 30 июня и 12 июля я призывал киргиз вверенного мне края беспрекословно исполнить царскую волю и послушно итти на работы по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в тылу действующих армий. Несмотря на это, киргизы в некоторых уездах Акмолинской и Семипалатинской областей не только отказались исполнить долг перед родиной, но даже оказали сопротивление властям. В виду этого я признал ныне необходимым дела о сопротивлении властям передать впредь на рассмотрение военного суда.

Об'являя об этом киргизскому населению, раз'ясняю, что по законам военного времени лица, виновные в вооруженном сопротивлении властям, будут наказываться смертной казнью».

Приведенное об'явление указывает, до какой степени была накалена атмосфера в степи и как власть предполагала охладить температуру.

Угроза смертной казни, повидимому, не особенно пугала киргиз, так как и после выпущенного об'явления киргизы продолжали оказывать сопротивление властям. В весьма затруднительном положении оказались те волостные управители, которые способствовали набору киргиз. В глазах последних они, естественно, являлись, врагами народа и подвергались явной опасности.

Подтверждением сказанного может служить, например, следующий случай в Чубартовской волости: волостной писарь Червев с волостным управителем Чубартовской волости и кандидатом к нему, изготовив призывные списки, 1 августа предполагали отвезти их в Каркаралы. Но на них напала толпа киргиз, вооруженная сучьями, косами и железными лопатками, в количестве более двухсот человек, отобрала у них списки, а самих подвергла избиению. Червев получил более 15 ран.

В некоторых других волостях также были случаи отобрания у волостных управителей списков призываемых киргиз, при чем самих управителей не пускали в город.

Остановился и набор лошадей в степи. Киргизская молодежь раз'езжала по степи с флагами. Губернской администрации сообщалось, что киргизы «проповедуют священную войну с русскими и оказывают массовое сопротивление чиновникам». 3 авг. в Кызылтавской волости состоялся с'езд пяти волостей Каркаралинского и шести Акмолинского уездов; к участию на с'езде были привлечены и управители. С'езд постановил: не подчиняться призыву, держаться до конца. На основании агентурных сведений губернатору сообщалось, что на Кызылтавском с'езде было также постановлено собрать не менее 10 тыс. рублей на прошение в Афганистан. Ходили слухи, что киргизы намереваются переселиться в Афганистан и даже Турцию. Киргизским движением будто бы руководили турецкие эмиссары.

Киргизы не позволяли производить набор лошадей, а собранных угоняли. Полицейский пристав при своей поездке в Акчатавскую волость с большим трудом и замедлением доставал дорогой лошадей. Им было установлено, что население Беркаринской и Аксаринской волостей было настроено к русским должностным лицам и киргизам, относившим русскую службу, стражникам и рассыльным,—враждебно. В Кызылтавской волости приставом было получено сообщение о том, что все без исключения киргизы настроены буйно, собираются толпами и преследуют должностных лиц, что в соседнем Акмолинском уезде убит пристав с 4 стражниками, разграблено три крестьянских поселка, магазин на Спасском заводе и Успенский рудник. Когда пристав находился в юрте, туда вошло несколько киргизских женщин с самодельными ножами в руках, и с криком: «Зарежим!» они бросились на пристава и присутствовавших тут двух рассыльных. Удаленные из помещения, киргизки бегали вокруг юрты, требуя не давать чиновнику лошадей. Ехать в глубину степи было опасно, и полицейский чиновник повернул обратно. Женщины бросились за его повозкой, продолжая грозить ему своим оружием.

Уездной власти доносилось:

«В отдаленных волостях полная анархия, должностные лица—управители, аульные старшины, рассыльные и стражники при управителях—бегут и скрываются от населения, кому куда вздумается, или сами переходят на сторону взбунтовавшихся киргиз. В каждом отдельном ауле есть свои слухи, хотя у

всех одно требование: «Умрем здесь, не пойдем никуда, все равно—чем умирать там, так умрем здесь».

Нормальная кочевая жизнь киргиз прекратилась, о сенокосах никто не думает, обычные места кочевок оставлены, аулы сгруппировались более тесно и, видимо, выжидают дальнейших событий».

Призыв Каркаралов о присылке воинского отряда не остался без удовлетворения. Уездный начальник получил извещение, что из Омска выехало лицо для формирования казачьих полусотен в Павлодаре, Барнауле и Каркаралах. Призыв киргиз совпал с полевыми работами и мог губительно отозваться на уборке трав и хлебов. Жаль было терять урожая. В виду этого, степь возбудила ходатайство об отсрочке призыва для окончания полевых работ. Это ходатайство было удовлетворено. Сухомлинов извещал население степных областей, что «во внимание к нуждам туземного населения, в виде особой царской милости, начало призыва инородцев к работам в тылу армии отсрочено повсеместно до 15 сентября». Сухомлинов надеялся, что «киргизы оценят царскую милость и, окончив к указанному сроку полевые работы, дружно явятся исполнить свой долг перед родиной».

Между тем, неприязненные действия киргиз продолжались. Киргизы производили потраву хлебов и трав в переселенческих поселках, наносили побои пастухам, нападали на крестьянские табуны и отказывались убирать у солдаток травы и хлеба.

Со Степановского свинцово-плавильного завода на имя уездного начальника от 12 августа поступило извещение, что все служащие и рабочие завода, опасаясь, в виду циркулировавших слухов, нападения киргиз на завод, выехали в Каркаралы, и все имущество завода, работавшего на государственную оборону, осталось без охраны.

Между тем киргизы продолжали отбирать у волостных старшин призывные списки, подвергая степную администрацию побоям. Так, на волостного управителя Кусской волости Шамшиня, писаря Даирова и народного судью Джакалова на урочище «Токшабай» напала толпа киргиз в 40 человек, вооруженная «сухими орудиями» (сюлами); нападавшие заявили: «Ты (вол. управ.) и писарь твой, прибыв в г. Каркаралы, перешли на сторону правительства и обещали дать нас, киргиз, на военные работы, но мы на это не согласны и никогда на военные работы не пойдем. Если правительство желает брать нас насильно, то мы будем настаивать напротив. Мы не слушаем не только вас, но даже князя (степной генерал-губернатор) и губернатора. Вы об'являете населению, что виновные привлекаются к военному суду, а что же правительство сделало тем лицам, которые избили при губернаторе Нарымбека, Бодукова и Червева, и нашим партийникам, которые отбирали списки от вас? Вы, распространяя среди населения об'явления, переведенные на мусульманский язык, заявляете, что они от царя и от князя, но мы на это не обращаем внимания, нам они не нужны. Мы знаем, что число наших душ находится в посемейном списке у вас, а вы по сему списку желаете представить правительству наших киргиз в возрасте от 19 до 31 года. Так как мы не согласны на это, то просим дать посемейные списки добровольно, а иначе отбираем».

Волостной управитель отказал в выдаче списков; тогда толпа с криком—«уничтожить их и отобрать списки!»—бросилась на управителя и его товарищей и начала наносить им побои. На крики избиваемых сбежались киргизы из соседних аулов, а нападавшие скрылись. Был задержан только кузнец Мукай Джубаев, который изготовлял восставшим сабли, пики и т. п.

С призывом киргиз на тыловые работы совпал и призыв русских ратников на военную службу. Это увеличило народное недовольство, в особенности еще и потому, что призыв в момент горячих полевых работ отвлекал население от этих необходимых работ и грозил оставить всех без хлеба и сена. Недовольство приняло такие размеры, что приказано было о настроении всего населения сообщать семипалатинскому губернатору. Власти должны были собирать сведения: 1) о крестьянах с указанием выдающихся среди них массовых беспорядков и волнующих слухов; 2) о рабочих с указанием случаев забастовочного движения; 3) об интеллигентных слоях населения (просветительные организации, частные общества, учащаяся молодежь и т. д.). Надо думать, что об'ектом внимания администрации был, вероятно, весь Степной край. Наблюдалось за проявлением агитационной деятельности, недовольством существовавшими порядками или действиями правительственной власти, за всякими «незаконными» выступлениями и т. д. Народное недовольство широкой волной разливалось по Степному краю. Опасения народного взрыва побудили высшую правительственную власть отложить призыв ратников первого и второго разрядов на месяц—до 15 августа, о чем Семипалатинск в середине июля и сообщил уездным властям губернии.

Между тем киргизы продолжали волноваться и проявлять агрессивные действия. Так, 19 августа в районе Кызылтавской волости, около речки Нура, толпа верховых киргиз Акчатавской волости около тысячи человек, вооруженная суюлами, ружьями и копьями, напала на табун казенных лошадей в числе 300 штук, прогонявшихся в город, и угнала их обратно в степь на глазах акчатавского волостного управителя, его кандидата и рассыльного, которые от страха скрылись в аул кызылтавского управителя. На другой день эта же толпа, усиленная участием еще киргиз Кызылтавской волости, об'явив о том, что без разрешения народа никто в город не поедет, увезла с собой обоих управителей с аксакалами в один из аулов Акчатавской волости.

Семипалатинская областная администрация неоднократно делала распоряжения о принятии решительных мер к восстановлению порядка и спокойствия в Каркаралинском уезде, где киргизы задерживали своих управителей, подвергали их репрессиям и т. д.

Борьбу с киргизами семипалатинские власти вели об'единенно с администрацией Акмолинской и Семиреченской областей. Так, акмолинский губернатор 2 сентября телеграфировал семипалатинскому о скоплении на границе Каркаралинского и Акмолинского уездов сконцентрированного скопища бунтующих каркаралинских киргиз, к рассеянию которых должны были быть приняты решительные меры. Из Акмолинской области в Каркаралинский уезд приезжали полицейские чиновники для ознакомления с положением дел в степи. Лепсинский уездный начальник (Семиреченск. обл.) просил каркаралинского, в целях «согласованности организации борьбы против возможного враждебно-активного выступления туземцев в отношении русской власти и русского населения, сообщать об общем настроении среди туземцев, а в экстренных случаях о происходящих беспорядках—по телеграфу».

Со своей стороны лепсинский уездный начальник дает такую картину положения дел в своем уезде в августе:

«Киргизы открыто отбивают у русских переселенцев стада скота; целыми приграничными волостями перебегают в Китай к своим родственникам, стравляя весь свой урожай; оставшиеся внутри уезда волости сгруппировались по родам, многие забросили свои поля; все киргизы сдвинулись со своих мест и никаких зимних запасов не делают; рабочие бегут от русских; по слухам, киргизы запасают огнестрельное оружие, изготовляют холодное оружие и т. д.; в уезде отдано распоряжение во всех селениях: киргизам железа и железных изделий не продавать, лошадей у них не ковать и никакого оружия им не поправлять».

Наступал момент окончания отсрочки призыва киргиз, т.-е. 15 сентября, а степь продолжала бурно волноваться. Сухомлинов 6 сентября выпускает об'явление:

«В виду предстоящего 15 сентября призыва киргиз на работы, предупреждаю, что все лица, кои будут замечены или заподозрены в подстрекательстве киргиз к неисполнению высочайшего повеления, будут мною немедленно высылаемы из пределов края на срок действия положения о чрезвычайной охране».

Для борьбы с киргизами были уже готовы казачьи сотни. Киргизских «коноводов и агитаторов» ловили и садили в тюрьму. Волнения среди киргиз не утихали. Пристав 3 стана Каркаралинского уезда, при проезде через Кувскую волость, встретил в горах толпу киргиз в 300 человек, вооруженную палками, пиками и ружьями. Киргизы бросились к приставу и гнались за ним до поселка Заводского, отстав лишь верстах в двух от поселка. Наконец, между русским отрядом и киргизами произошло кровавое столкновение. Картину столкновения рисует следующая телеграмма командира отряда на имя начальника штаба Омского военного округа:

«Сентября 22, верстах в 10 к югу от впадения Джезды в Кенгир, отряд обнаружил и задержал караван муки из 122 верблюдов под прикрытием свыше 50 вооруженных всадников, открывших по раз'езду отряда ружейный огонь, двое киргиз убито, захвачено 5, остальные бежали в Караджару. Вследствие этого, а также показаний захваченных киргиз, что на Караджаре находится около полутора тысяч вооруженных киргиз, я ночью 22 сентября, оставив в 20 верстах от Кенгир Караджаре весь обоз и караван под прикрытием 40 казаков, двинулся с остальными 20 казаками и двумя пулеметами, при 10 пулеметчиках, с трехдневным запасом провизии к Караджару. В 5 часов утра на высоком обрыве, называемом Караджаром, показались одиночные всадники, к которым через полчаса с разных сторон прибыло 600-700 человек; с обрыва раздались отдельные выстрелы по отряду, на наши пристрельные выстрелы

киргизы отвечали залпами из 700-800 ружей. Я оставил 20 человек под прикрытием пулеметов и повел остальных 130 казаков в обхват горы с трех сторон, киргизы продолжали стрелять. Совершив обход, повел атаку. Сначала часть киргиз двинулась на нас, но затем все бросились бежать, преследование продолжалось на расстоянии более 10 верст. Убито киргиз свыше 80 человек из которых осталось на месте 49 трупов, остальные были подхвачены киргизами; тяжело ранено и также подхвачено киргизами около 30, осталось убитыми 14 лошадей, здоровых 7, тяжело раненых 10. В отряде легко ранен в голову один казак и один без вести пропал, две лошади ранены.

Тотчас же двинулся к Сары-су. На расстоянии 30 верст не обнаружили киргиз. 24 утром пошел обратно к Караджару, где вновь заметили несколько одиночных всадников, быстро удалявшихся вверх по Сары-су. Отряд двинулся туда же в предположении найти там аулы. Предполагая, что скрывшиеся всадники сообщают о движении отряда киргизам, я в 5 час. утра двинулся дальше. дорогой захватил 22 верблюда с мукой, в сопровождении нескольких вооруженных киргиз, которые бежали; часов в 8 утра, увидев следы ухода киргиз, быстро двинулся дальше следом. Вскоре вдали фронтом около 10 верст показалась масса пыли, а часа через три отряд настиг кочевников. Завязалась перестрелка, убитых киргиз свыше 40, много ранено, вся линия откочевки остановилась, пошла обратно. В 7 час. вечера 25 сентября сотня остановилась на ночлег. Этот день так же, как и караджарская стычка, сильно повлиял на киргиз, в отряд явились представители волостей: Сарысуйской, Джанасарысуйской, Кумконуруйской Бачакульской—и изъявили полную покорность, они же сообщили, что части Джездинской и Джанаджездинской волостей отошли к юго-западу реки Джезды, почему 26 сентября я поспешил выступить обратно, чтобы настичь эти аулы. Сегодня узнал, что от тех самых четырех волостей, которые 25 сентября изъявили покорность, шло в Караджару 23 сентября еще около 700 вооруженных киргиз, которые, узнав, что их товарищи разбиты, вернулись обратно, и что пропавший без вести 23 сентября казак Черновасиленко бежавшими киргизами убит. По слухам, мне высылается из Омска рота пехоты. Доношу, что пехота отряду совершенно не нужна, гражданские власти просят лишь оставить по 20 человек в Карсакпае, Джазказгане, Улутаве и 20 человек—на заводе Русского Общества, остальных же оставить в Атбасаре для командировок в ближние волости».

Таким образом, киргизы понесли много жертв. Кровь пролилась и в Атбасарском уезде. Атбасарский уездный начальник 2 ноября телеграфировал каркаралинскому:

«Двести приняты, несколько тысяч заняты перевозкой хлеба и работой на приисках. В дальних волостях казачий отряд встретил сопротивление: масса киргиз убито и ранено, аксакалы явились с покорностью и обязались представить призываемых».

Карательные казачьи отряды в Каркаралинском уезде достигли своей цели—настроение в киргизских массах упало, и киргизы призывных возрастов стали постепенно являться на сборные пункты. Среди реквизированных киргиз оказались больные чесоткой. К лечению их в Каркаралах из Семипалатинска поступило категорическое приказание. Кормовой оклад для призванных киргиз был назначен по Омскому военному округу в размере 30 коп. в день на человека.

Кроме призыва киргиз на тыловые работы, в Семипалатинской области нанимались еще киргизы для постройки Мурманской железной дороги. Главным Управлением Генерального Штаба разрешено было по Семипалатинской области нанять две тысячи киргиз разных возрастов, не исключая и призывных. Как уже указывалось выше, от призыва на тыловые работы освобождались киргизы, работавшие на государственную оборону, выполнявшие сельско-хозяйственные работы у крестьян, казаков и т. д. На этой почве произошли злоупотребления. Некоторые из волостных управителей за деньги освобождали детей богатых киргиз от призыва. Также некоторые богачи-киргизы оказались числящимися на активе по Степановскому заводу, работавшему на государственную оборону. Некоторые из киргиз фиктивно прикреплялись к почтовым станциям или нанимались к казакам на работы, выплачивая от себя за это до 300 рублей; были случаи замены одних киргиз другими—подставными. Эти злоупотребления были предметом расследования.

Для того, чтобы ускорить реквизицию киргиз, администрация решила задержать влиятельных киргиз дальних волостей уезда, предполагая, что за ними пойдет вся степь. Далее администрация производила аресты киргиз, обвинявшихся в сопротивлении властям. Так, были преданы суду около двадцати киргиз Чубартовской волости за сопротивление 1 августа.

Набор призывных шел очень медленно. Так, с 3 по 20 октября на сборный пункт явилось всего 127 человек. С уездного с'езда крестьянских начальников поступило следующее характерное отношение:

«Прошу принять меры к доставке киргиз на приемный пункт, так как уже три дня никто из киргиз не является на прием».

Некоторые арестованные киргизы выпускались на свободу ранее ликвидации волнений в том или ином месте. Это обстоятельство вызвало предупреждение командующего войсками Омского военного округа, что «ответственность за дальнейшую деятельность лиц арестованных, а затем освобожденных, возлагается всецело на гражданские власти, распоряжением коих последовало освобождение».

Только в начале 1917 года партии призывных киргиз удалось препроводить в Семипалатинск, откуда они уже и были направлены в разные места на тыловые работы.

В Зайсанском уезде распоряжение о призыве киргиз также произвело среди них большой переполох. Много киргиз призывного возраста бежало за границу, в Китай, думая там спастись от реквизиции. Уездная власть в присутствии представителей туземной администрации пыталась 16 июля раз'яснить киргизам значение распоряжения о призыве инородцев на тыловые работы. Несмотря на эти раз'яснения, киргизы искали выхода из создавшегося положения и совсем не склонны были являться на сборные пункты.

В качестве выхода явилась телеграмма киргиз 17 июля на имя верховной власти об отсрочке призыва, увенчавшаяся успехом. Киргизам была дана отсрочка призыва до сентября. В конце сентября перед киргизами опять встал грозный для них вопрос: как избежать призыва и даже совершенно освободиться от него. Решено было опять ходатайствовать перед высшей властью, на этот раз уже о полной отмене реквизиции киргиз на тыловые работы. В этих целях 21 сентября на «высочайшее» имя была отправлена соответствующая телеграмма, составленная крестьянским начальником Селезневым. Последний считал время призыва киргиз на работы крайне неудобным, расстраивающим всю экономическую жизнь Зайсанского уезда и обнажающим нашу государственную границу с Китаем. Селезнев полагал более целесообразным призвать киргиз зимой.

Но существовавшее распоряжение о призыве киргиз нуждалось в немедленном выполнении и потому была сделана попытка обращением к верховной власти 21 сентября добиться отмены реквизиции. Телеграмма 21 сентября дает яркую картину состояния Зайсанского уезда в момент призыва киргиз на работы. Приводим текст ее (выбрасывая титулы):

«По об'явлении призыва инородцев, в том числе и киргиз, на военные работы, киргизы Зайсанского уезда приняли на себя смелость обратиться с телеграммой об отсрочке призыва на неопределенное время, и ходатайство это совершенно отвергнуто не было: отсрочка киргизам дана была, но лишь до 15 сентября. В названной выше телеграмме мы упоминали главную причину невозможности осуществить рабочую киргизскую мобилизацию в Зайсанском уезде—общую дикость киргизского народа, а также естественные, экономические и бытовые последствия призыва киргиз на военные работы—в сущности общее разорение Зайсанского края. Наступившее 15 сентября подтвердило нами высказанное в ранее посланной телеграмме. Дикое состояние киргиз совершенно заброшенных в своем духовном, культурном просвещении, предоставленных в данном отношении своей собственной судьбе, вторично помешало им выполнить требование явиться на военные работы; вторично об'ятые неудержимой паникой, киргизы призываемых возрастов обратились в беспорядочное бегство в горы и китайские пределы. Были весьма печальные случаи, например, семь старых женщин были заколочены убегающими в избе, и почти половина из них погибла от голода, остальные были случайно спасены, до десятка детей были спущены в сухой колодец и были спасены от неминуемой смерти случайно же проезжавшим путником; трое детей, больных оспой, были совершенно брошены в степи убегавшими родителями, за невозможностью взять с собой этих детей. Оставленные убегающими киргизами семьи подвергаются явной опасности: киргизские избы-кстау расположены вразброс, кругом их, в большинстве случаев, на 5-6 верст нет никакого жилья, степь полна диким зверем. Что же может сделать для охраны жизни своей и своих детей киргизская женщина, не имея при том у себя никакого оружия? В настоящее время в Зайсанских степях стон и плач, царит хаос, вся степь об'ята

ужасом. Ныне мы лицом к лицу с совершившимся бедствием: край разорен, подавляющее количество хлебов погибло, сена нет, рабочих рук нет. Зайсанский край живет трудом исключительно киргиз, и потому разорение киргиз есть и разорение русского населения. В Зайсанском уезде неожиданно выросло экономическое истощение, которого без призыва киргиз и не могло даже быть. Кроме того, в Зайсанском уезде, именно в Кокпективском районе, уже пролита кровь в вооруженном столкновении военной силы с киргизским населением. Мы знаем также, что в других местностях осуществление призыва киргиз на военные работы породило явление характера несомненной междуусобицы. В настоящее время не должно быть тяжелых явлений, а тем более на окраинах земли русской. Для блага отечества, во имя спасения тысячей киргизских семей от гибели и голодной смерти, во имя интересов русского населения повелите совершенно отменить призыв инородцев на военные работы. Все же материальные жертвы, все наше имущество, скот, капиталы мы беспрекословно немедленно же принесем на благо велнкого Российского царства».

Следуют подписи уполномоченных киргизами представителей волостей первого и третьего участков Зайсанского уезда.

Эта телеграмма вызвала целое расследование над действиями крестьянского начальника Селезнева, на которого поступил донос семипалатинскому губернатору, степному генерал-губернатору и даже в министерство внутренних дел, откуда и последовало распоряжение о производстве над Селезневым дознания.

Селезнев обвинялся в том, что «являлся инициатором и составителем телеграмм 17 июля и 21 сентября от киргиз на высочайшее имя», а также в том, что «в присутствии как посторонних, так и должностных лиц инородческого управления, позволял себе открыто возмущаться и порицать в весьма резких выражениях действия правительства по призыву киргиз на работы в тылу армии».

Семипалатинский губернатор потребовал от Селезнева об'яснение. Последнее представляет интерес, как дающее картину призыва киргиз на тыловые работы и той обстановки, какая создалась в зависимости от этого призыва. Приводим выдержки из об'яснения Селезнева:

«Мое пребывание в Зайсанском уезде в связи с тщательным с моей стороны изучением района, его бытовых и экономических условий, взаимных отношений местных групп населения, привело меня к положительному заключению, что главным жизненным фактором, наибольшею деятельною силою, экономическим нервом местного края является безусловно киргизское население. Привожу иллюстрирующие отношения как групп населения, так и производства злаков и сенов, а именно—1 (русское население): 23 (киргизское): 1 (русское производство хлебных злаков): 25 (киргизское); в виду того, что киргизы покосным сеном пользуются в редких случаях, пропитывая свой скот почти исключительно подножным кормом,—отношение сенов следует определить, как 1 (русское): 100 (киргизское). Такова очевидная экономическая зависимость русского населения от туземного, и с этой зависимостью при призыве киргиз на военные тыловые работы я считался с непременной принудительностью. Киргизы начинают сеять поздно, потому и уборка урожая их сравнительно с русским населением также достаточно поздняя.

Таким образом, несмотря на июльскую панику среди киргиз в конце сентября и начале октября существовала еще возможность спасти создавшееся буквально невероятное экономическое положение в части Зайсанского уезда, занимаемой перевес всего семью киргизскими волостями моего участка, так как к 20 сентября оставалось к уборке еще сохранившихся посевов в пудах приблизительно: пшеницы 279.360, ячменя 23.345, проса 100.980, овса 226.440, а всего 630.125 п., т.-е. ожидалась уборка такого количества хлебных злаков, которое, в связи с сельско-хозяйственной производительностью русского населения, могло еще вполне достаточно экономически обеспечить местный край. Затем я силою обстоятельств непременно должен был считаться с экономическим же основанием призыва целых 13 возрастов трудовых бойцов, которые своим личным трудом обслуживали ряд неотложных нужд русского городского и сельского населения и военного ведомства. Я хорошо сознавал, что при осуществлении призыва 13 возрастов бойцов негде будет взять рабочие руки, нежелательные последствия чего были очевидны. Я должен был также считаться с абсолютной дикостью киргизского пограничного населения, его умственной беспомощностью, исторической неподготовленностью к внезапному требованию, сходному с темпом представления киргиз с призывом в ряды дей-

ствующей армии, так как русское правительство до сих пор не тревожило киргизское население своими требованиями, связанными непосредственно с военными условиями.

Я хорошо знал, какое значение представляют для киргизского населения высочайше дарованные ему в разные времена грамоты, освобождающие его от рекрутства и давшие ему значительные бытовые привилегии. После об'явленного призыва киргиз, я в конце июля выехал для обследования на месте положения дела. В районе взволновавшегося населения я окружен был толпою до 800 человек, и нельзя сказать, чтобы эта толпа была мирно настроена; я в сущности был на вулкане, тлеющем и готовом выбросить огонь каждую минуту.

Почти двухмесячный раз'езд по киргизским степям в районе взволновавшихся инородцев дал мне достаточные доказательства того, что киргизское население по отношению к русскому настроено крайне враждебно и опасно. Сказанное настроение киргизского населения к 21 сентября достигло крайней интенсивности и прежде всего опасность угрожала самому г. Зайсану. К этому числу я хорошо знал, что среди киргизского населения, особенно в городской черте, начались совещания, имеющие своим предметом внезапное нападение на русское население, что киргизы настроены по отношению к русскому населению настолько враждебно, что достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар. Вечером в мою квартиру, во время моей болезни, ко мне, лежащему в постели и достаточно беспомощному, явилось 15-18 почетных киргиз, настроенность которых не оставляла никакого сомнения в том, что при первом же моем неверном шаге, с их стороны последуют тяжелые эксцессы. Я внутренне обсудил тогда, что уездный с'езд не имеет в своем распоряжении никакой военной или иной силы, что в распоряжении начальника гарнизона имеется только горсть казаков и местная команда из молодых солдат, не умеющая еще обращаться с присвоенным ей огнестрельным оружием, а полиция настолько малочисленна, что не в состоянии оказать какую бы то ни было существенную поддержку; я учел, что киргизы в городе вооружены и ждут только сигнала; что от моего шага зависит жизнь и безопасность моих сограждан, целость их семей. При таких обстоятельствах я решился принять участие в составлении телеграммы; ею достигалось, во-первых, безнедоимочная обеспеченность взыскания денежных сборов с киргиз (в трудное для государства время), во-вторых, возвращение призывного киргизского населения в российские пределы и, следовательно, прилив крупной и единственной рабочей силы и при том в важный момент ликвидации урожая; в-третьих, обратный массовый пригон рогатого и иного скота, являющегося крупнейшим основанием местного хозяйства; в-четвертых, уборка оставшихся киргизских посевов, обеспечивавших в значительной мере продовольствие населения; в-пятых, предотвращение общего экономического кризиса, быстро разросшегося в экономический крах».

Далее Селезнев рисует следующую картину экономического кризиса в уезде, как результата призыва киргиз:

«Прежде всего создался окончательный абсентеизм деятельной рабочей силы, на которой существенно держалось местное сельское хозяйство, городское благосостояние, пути сообщения и государственная почта, и этот абсентеизм привел к тому, что жизнь края замерла. Беру один из ярких примеров. Топливо составляет для Зайсана весьма больной вопрос, благополучно разрешавшийся единственно при помощи киргиз, и вот абсентеизм названной выше силы создал прежде всего дровяной кризис: вывозить дрова и заготовлять их вновь стало некому; затем невозвращение в российские пределы киргиз-призывного возраста повлекло за собой невозвращение тысячей киргизских семей, не пожелавших покинуть в трудную, по их мнению, минуту жизни своих мужей, братьев, сыновей, а это обстоятельство в свою очередь повлекло за собою то, что сена, какие еще возможно было убрать в не малом количестве (до 160.000 пудов), посевные площади, ожидавшие уборки и давшие в использование свыше 400.000 пудов хлебных злаков, остались брошенными на произвол судьбы; вместе с тем остались без пропитания тысячи киргизских семей, укочевавших в Китай и вконец там разорившихся. Эту огромную, голодную и совершенно обобранную китайско-подданными толпу китайское правительство, конечно, не могло прокормить, потому что в Китае хлеб, в подавляющем количестве, только для своих, домашних потребностей. Откуда же возможно было достать пропитание для бедствующего, бежавшего в Китай киргизского населения? Только из России и только от русского по-

граничного населения. Родственники бежавших, а также некоторые из последних бросились закупать хлеб у русских переселенцев, и вот началась азартная игра на хлеб. Цены на хлеб безумно стали расти, поднявшись до 4-5 и даже местами до 10 рублей за пуд, и широкая, неудержимая волна русского хлеба беспрепятственно полилась в китайские пределы. Русские переселенцы с лихорадочностью разгоревшихся спекулянтов отправляли караваны хлеба в Китай, и хлеб быстро исчез с рынка и с русской территории, им обслуживаемой; положение создалось угрожающее, восстал призрак неизбежного голода; в одном селении, Алексеевском, хлеба было свыше 100.000 пудов, на Джете-арале—до 60.000. Хлеб в октябре еще был; до 15 октября можно еще было приостановить вывоз хлеба за границу, хлеб ушел за границу. Надвинулась голодовка, обнаружившаяся в разных местах».

Далее докладная записка Селезнева рисует картины голода среди русского населения, как результата призыва киргиз на работы.

«Чем дальше шло время,—продолжает Селезнев,—тем сильнее разрасталось и еще интенсивнее разрастается продовольственная, а вместе с ней и семенная нужда. Г. Зайсан не имеет продовольствия на 5 месяцев до сбора нового урожая, т.-е. до 1 октября, не имеет семенного материала на 1.500 десятин пахотной земли, городом обрабатываемой. В 1 и 3 участках Зайсанского уезда, по приблизительному подсчету, не обеспечивается продовольствием свыше 2000 душ из переселенцев; в наиболее тревожных пунктах уезда, селениях: Черноиртышском, Буране, Кумашкинском, Сторожевом и Рюриковском—не обеспечивается семенами свыше 400 дворов. А солдатки? Ведь и им надо оказать продовольственную помощь почти повсеместно. Затем, киргизами живет весь Зайсанский уезд, а им необходимо помочь и в продовольствии, и обсеменении (до 250.000 пудов). Киргизское положение осложняется еще и тем, что июльско-сентябрьское движение среди них имело следствием утрату подножного корма, так как все площади такового истоптаны скотом же. Киргизский скот продержится весьма малое время, а затем начнется его падеж наряду с вымиранием людей, так как населению киргизскому невозможно будет справиться с собственным продовольственным вопросом. Для киргизского населения обстоятельства примут крутой оборот; зимовки не приготовлены, имущество расхищено русскими переселенцами, колодцы не вычищены. Киргизы лицом к лицу с катастрофой, а с ними и русские. Призыв киргиз нанес тяжкий удар благосостоянию края, вконец разорил его, и в результате этот удар пришелся и по русским.

Хлеб является регулятором цен в общем товарообмене. С повышением цен на хлеб, растут и цены на товары. Так случилось и в Зайсане. Цены на товары стали расти с чрезвычайной быстротой: что стоило утром 10-20 коп., вечером продавалось по 40-50 коп. Такое возрастание цен дурно отразилось на скромном бюджете солдатских и ополченских семей, получающих такой продовольственный паек, что его нехватает на покрытие продовольственной нужды, и, как и следовало ожидать, в Зайсане вспыхнули беспорядки, учиненные солдатками и закончившиеся разгромом магазина Ерзина; после чего, из опасения перед расхищением солдатками всех вообще товаров, зайсанские торговые фирмы стали безостановочно отправлять все товары за границу, в Китай, и в городе Зайсане настал товарный кризис, немыслимый до об'явления призыва киргиз.

Суммируя изложенное, следует сказать, что внезапный призыв киргиз на военные тыловые работы во всех отношениях сопровождался и сопровождается результатами весьма безотрадными, что призыв киргиз полон глубокого трагизма: он принес населению Зайсанского края три печальных дара: голод, горе и слезы, их впереди еще очень много, так как продовольствие и обсеменение в этом году без привоза хлеба из местностей за пределы Зайсанского уезда не осуществимы, а на этот привоз надежды никакой нет».

Таким образом, призыв киргиз Зайсанского уезда явился громадным бедствием для Зайсанского края, тяжесть которого пала прежде всего на плечи киргизского населения.

В Усть-Каменогорском уезде киргизы также не хотели слышать о призыве на тыловые работы. Чтобы воздействовать на киргиз, крестьянский начальник собрал должностных киргизских лиц в село Георгиевское, Усть-Каменогорского уезда. Но вместе с должностными лицами приехало много киргиз, расположившихся на базарной площади Георгиевки. С'ехалось до 300 человек. Крестьянский начальник предложил киргизам выделить рабочих. Киргизы категорически отказались, заявив, что рабочих не дадут, хотя бы им за это сняли головы. На помощь представителю адми-

нистрации пришли киргизские должностные лица, которые стали уговаривать толпу не упорствовать, а исполнить предложение власти. Раздраженная этим толпа в свою очередь потребовала от старшин и других должностных лиц немедленно сложить свои полномочия. Представители киргизской власти отказались это сделать, и тогда толпа обрушилась на них своим гневом: их били нагайками, срывали с них должностные знаки и, в конце-концов, силой заставили их покинуть площадь. В результате—19 человек киргиз были преданы омскому военно-окружному суду. Обвинение к ним было пред'явлено по жестким статьям военно-судебного устава (ст. 250, 260, 262 и 1278 т. XIV).

Репрессии мало делу помогали, и Усть-Каменогорский уезд заиртышской стороны продолжал бурлить.

Что касается Семипалатинского уезда, то киргизы его проявили дипломатический подход к делу. 31 июля представители 7 волостей уезда—Чингисской, Чаганской, Мукурской, Кызылдыровской, Беченевской, Семитавской и Бутулинской—собрались на совещание для разрешения вопроса, как реагировать на призыв. Заслушав указ о реквизиции, собрание вынесло следующее постановление:

«Население просит, в видах предупреждения полного расстройства сложного нашего хозяйства, сохранения его от последствий суровой зимы, дать льготы, каковые заключаются в следующем—необходимо освободить от призыва на работы: 1) единственных хозяев-кибитковладельцев, владеющих самостоятельным хозяйством, 2) единственных сыновей семьи, 3) из нескольких сыновей оставить одного взрослого при отце, способном и неспособном к труду, 4) учащихся в русских и мусульманских школах, 5) пастухов конских и овечьих в количестве по одному на 5 кибиток, 6) волостных выборных, 7) отсрочить момент призыва до окончания полевых работ—до 15 октября сего года. Причины, побудившие нас ходатайствовать о предоставлении вышеуказанных льгот, заключаются в следующем: киргизское население, подобно русским крестьянам, не живет, сплотившись в одном месте, чтобы оказать помощь друг другу в необходимые моменты, ибо условия ведения скотоводческого хозяйства и гористых местностей, где мы вынуждены жить и где не имеется благоприятных лугов и достаточного запаса сена для скотоводческого хозяйства, заставляют жить нас разрозненно, отдельными хозяевами и соединиться в кучу, лишь в 3-4 хозяйства. Кроме того, дальность расстояния от города, а также и то обстоятельство, что мы не земледельцы, вынуждают нас иметь частое сношение с городом за предметами первой необходимости, вследствие чего каждое хозяйство не может обходиться без рабочего человека».

Этот компромисс приговора, однако, далеко не выкупал всех огорчений и волнений, которые испытывало население Семипалатинского уезда. И здесь реквизиция являлась предметом страха и отвращения для киргиз.

Итак, призыв киргиз на тыловые военные работы самым тяжелым образом отозвался на степи. Реквизиция большого числа киргиз молодых возрастов, явившись полной неожиданностью для степняков, дотоле свободных от каких-либо видов рекрутчины, совпадала в то же время с моментом сельско-хозяйственных работ степи, направленных к обеспечению населения хлебом, а скотины—запасами корма. Самые здоровые и рабочие элементы выдергивались из киргизской массы, и степь, таким образом, лишалась своих бойцов. Независимо от этого, составление призывных списков во многих случаях сопровождалось злоупотреблениями, когда, например, дети состоятельных киргиз освобождались от призыва за счет других, менее состоятельных степняков. Желая избежать призыва, богатые киргизы незаконно получали льготы, освобождавшие их от тыловых работ. Все эти злоупотребления, конечно, хорошо известные степи, раздражали киргизскую массу и усиливали в ней сопротивление попыткам администрации мобилизовать киргиз. Сопротивление киргиз вылилось даже в кровавое столкновение с воинскими отрядами, в результате чего среди киргиз оказалось много убитых и раненых.

Пограничные волости в панике бежали в Китай, перенесли массу невзгод и позднее вернулись обратно в Россию, совершенно разоренные и измученные. Много погибло детей.

Сумятица с призывом создала большой экономический кризис в Зайсанском уезде, где произошли даже погромы на экономической почве. Восстание киргиз носило стихийный характер. Степь, как один человек, бурно реагировала на реквизицию живого материала. Но нельзя забывать и о том, что народное недовольство давно питалось существовавшими в степи порядками. Степняк обычно рассматривая русского чиновника за Иртышем сквозь складки своих глубоких карманов. Злоупотреблений в степи было сколько угодно, и, конечно, они оставляли в душе степняка известный осадок. Колонизация степи, т.-е. реквизиция киргизских земель, также много давала поводов для киргизского недовольства. Поиски земельных «излишков»

в степи нередко шли по линии наименьшего сопротивления: у киргиз просто отбирали лучшие земельные участки и отдавали их переселенцам. В Каркаралинском, например, уезде был случай, когда из 17 земельных участков 15 были отведены русским крестьянам там, где киргизы давно занимались земледелием*). Конечно, это коренным образом затрагивало интересы аборигенов степи, киргиз, создавая среди них большое недовольство русскими порядками. Известен ряд жалоб киргизских волостей в центр на политику переселенческого управления.

По поводу действий переселенческих властей готовился даже запрос в Государственной Думе, и только разгон депутатов похоронил в канцелярии Думы киргизские жалобы. Вообще среди киргиз много накопилось недовольства русскими порядками, и почва для проявления народного раздражения была достаточно подготовлена.

Восстание 1916 г.—стихийный взрыв народа, как прямой результат реквизиции. Надо знать всегда жившее среди киргиз крайнее нерасположение и даже отвращение к солдатчине, чтобы понять единодушный отпор киргизского народа притязаниям русской правительственной власти, пытавшейся втянуть киргиз в сферу войны, хотя бы и на тыловые работы.

Киргизы были смяты, много их погибло, но киргизское восстание тем не менее является выдающимся историческим фактом, оставившим в жизни степи глубокий след. Для киргиз это событие—незабываемое.

Восстание 1916 года уже получило свое отражение в художественном творчестве киргизского народа. В степи появились сказания, легенды, песни и т. д., освещающие этот исторический момент из жизни киргизского народа.

---

*) А. Седельников.—«По переселенческим участкам Каркаралинского уезда», 59-60 стр. Записки Семипалатинского подотдела Зап.-Сиб. отдела Русского Географического Общества Вып IV.

А. БУРДУКОВ.

Сибирь и Монголия

ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Минувший 1927 год нужно считать историческим для экономических взаимоотношений Сибири с Монголией. В минувшем году Сибирь ликвидировала единственный свой орган экономической связи с Монголией—Монгольскую Контору Сибгосторга. Тем самым она как бы подвела итог 68-ми летним экономическим взаимоотношениям. Конечно, мы берем в одни скобки весь этот период весьма условно, так как методы работы советских организаций и те цели, которые они преследовали, совершенно несоизмеримы с методами и целями капиталистическими.

Длительный период наших взаимоотношений дает нам значительный материал, на основании которого и многолетних личных наблюдений, мы попытаемся подвести некоторые итоги и сделать кое-какие выводы.

Мы не ставим в задачу освещать тот длительный период транзитной связи по транспортировке чаев из Китая в Россию, эти сведения—начало первой связи того времени—относятся к 1645 году*).

В 1689 году был заключен Нерчинский договор между Россией и Китаем, а в 1696 году проследовал первый торговый караван из России в Пекин, тем самым открыл эру регулярных торговых сношений между Россией и Китаем, следовательно, и Монголией**).

В 1728 году, после заключения Буринского договора на границе, на русской стороне были основаны Кяхта, а на монгольской (китайской) стороне, в 200 саженях, Маймачин, ставшие местом беспошлинной торговли между русскими, китайцами и монголами.

В течение XVIII столетия возникает и быстро развивается экспорт китайских чаев (отчасти китайских тканей) в Россию через Кяхту, что давало значительный извозный заработок монголам, но это не была торговля с Монголией.

Так было до Тянь-Цзинского трактата 1858 г., который открыл доступ в китайские порты европейским судам.

После этого происходит крутой поворот в торговых отношениях между Россией и Китаем.

С этого времени собственно и начинается история торговых отношений России с Монголией***).

Монопольные ключи в Монголию и Китай у Кяхты выбил Тянь-Цзинский трактат 1858 г.

Последовавшее открытие Суэцкого канала в 1869 году открыло для чаев более удобный и дешевый путь в Европу.

Кяхта получила смертельный удар навсегда. В дальнейшем экономическое значение Кяхты быстро падает.

В начале XX века оканчивается постройка Великого Сибирского Пути, который добивает Кяхту, оттянув себе последние транзитные грузы.

Торговля Кяхты с Китаем умерла.

Только после этого удара кяхтинцы вынуждены были обратить свое внимание на торговлю с Северной Монголией.

---

*) Потанин Г. Н.—очерки С.-З. Монголии. Выпуск III, ст. 319.
**) Монголия до 1911 г. была в составе Китайской Империи.
***) Майский, И. М.—«Современная Монголия», 200 стр.

Избалованные многомиллионными оборотами и большими прибылями на транзите и поставках чаев кяхтинские миллионеры торговлю с Монголией считали убогой и мелочной.

Пошла в Монголию мелкота, жаждавшая быстрой наживы. Но тем не менее торговля с Монголией стала быстро развиваться.

Со стороны Кяхты первая русская лавка в Урге открывается в 1860 году (этот период до 1927 года включительно, как для нас более близкий и интересный, мы и рассмотрим).

В 1883 году Н. Н. Пржевальский в Урге нашел уже 10 русских фирм, в 1910 году Боголепов и Соболев в своей книге отмечают 20 фирм, Болобан в 1912 г.— 25 крупных фирм. Наравне с Ургой появились русские торговли и в других значительных пунктах: как: Ван-Хуре, Дзаин-Хуре, Дзюнь-Хуре, Бревенхит и др., тем не менее, основная торговля кяхтинцев сосредоточивалась, за немногими исключениями, в Урге и Маймачине.

Кроме исторического Иркутско-Мысовско-Кяхтинско-Ургинско-Калганско-Пекинского чайного транзитного пути, в Монголию проходило несколько менее удобных Алтае-Саянских троп.

Наиболее важной в минувший период была Чуйская тропа, идущая из Бийска через Кош-Агач в С.-З. Монголию.

Второй была от Минусинска—Усинская тропа, идущая в Урянхайский край и дальше в Монголию. Третьей—Тункинская, идущая от Иркутска долиной р. Иркута к озеру Косоголу и дальше в Монголию на г. Улясутай.

Можно еще отметить и четвертый путь к востоку от Байкала, идущий от ж.-д. ст. Борзя в Цецен-Ханский Аймак (теперь Хан-Гентейский) к торговому пункту Сан-Бейсе Хуре и Цецен-Хана.

По мере развития экономических связей с Монголией, все вышеперечисленные тропы перестраивались в колесные тракты. Теперь по любому из них можно ехать не только на тройке в тарантасе, но и на автомобиле.

От Верхнеудинска через Троицкосавск и Кяхту до Урги (теперь Улан-Батор-Хото) проведен прекрасный тракт, почти шоссе.

Начато приспособление путей и постройка мостов внутри Монгольской и Тувинской народных республик.

Быстро развивается авто-транспорт.

Каждому интересующемуся достаточно взглянуть на любую карту, и он увидит, насколько близко с нами соприкасается внешняя Монголия и как далека она от Китая, отделенная Великой Гоби (Шамо).

Географическая близость, кочевое скотоводческое хозяйство Монголии и отсутствие у нее какой бы то ни было собственной промышленности, с одной стороны, и наличие в России земледелия и промышленности—с другой,—вот постоянные факторы экономических взаимоотношений этих двух стран.

Рассматриваемый нами отрезок времени надо разделить на четыре периода:

1—1860—1904-5 г. г.
2—1905—1911 »
3—1911—1921 »
4—1921—1927 »

1860—1905.

Период с 1860 по 1904-5 г. г. можно определить, как период первоначального накопления.

В Монголию пошли, кроме кяхтинцев, крепкие энергичные люди, часто «старой веры», по Чуйской и Усинской тропам.

Исключительная роль выпала на долю пионеров со стороны Бийска, так называемых «чуйцев». Усинцы дальше Урянхая не прошли, но прочно осели в нем. У всех этих людей не было—ни капиталов, ни опыта, была только огромная жажда наживы и энергия.

Но в те времена, благодаря отсутствию удобных путей сообщения, медлительности оборота и низких цен на монгольское сырье в России, не было еще условий к быстрому обогащению. Кроме того, в те времена Монголия вся была покрыта китайскими фирмами, и некоторые из них уже существовали более ста лет и обладали миллионными состояниями, с огромными скотоводческими фондами. Открытие портов Китая давало им возможность пополнять свои лавки дешевыми иностранными товарами.

Все это не могло не замедлить развитие русского влияния.

По рассказам тогдашнего пионера Т. Е. Мокина, с 1850 годов русские купцы с Алтая ежегодно приезжали с товарами на русско-китайскую границу (туда, где теперь Кош-Агач) и устраивали торжище. К ним приезжали с границы монголы, киргизы, китайские солдаты; происходил обмен товаров на сырье и весовое серебро.

В Монголию не ездили. Только в 1865 году, после поездки в Кобдо чиновника дипломатического ведомства, было достигнуто соглашение с китайским амбанем о допущении русских торговцев в Монголию.

Первый русский торговый караван из Кош-Агача вышел в 1868 году, а в 1869 году дошел и в Улясутай русский караван, в количестве 11 русских торговцев из Бийска и Алтая. Прибыли они в Улясутай в июле, торговля их для начала была не очень удачной, тем не менее, они купили в Улясутае до 80.000 шкурок сурка и до 5.000 скотских кож.

Покупку сурка и сырья производили на плис, малескин, юфть и др. товары. Цены в те времена были, примерно, таковы: за кусок в 65 арш. узкого плиса № 4 брали 500 шк. сурка, т.-е. приблизительно 5-6 коп. за шкурку (теперь в 1926-27 г. шкурка сурка в Монголии стоит 3 руб. 60 коп.).

В первые годы основная продукция страны—рогатый скот, бараны, шерсть—русскими совершенно не покупалась. Первые годы русские старались купить сурка, кожу и весовое серебро.

Кожи они золили и облегчали от шерсти, как бы дезинфицировали в примитивных зольниках около Белого бома на р. Чуе, что вполне отвечало тогдашним требованиям ветнадзора. Дальше кустарных кожзаводов Бийского уезда кожа не шла.

Сурок и серебро шли на Ирбитскую ярмарку. Посильнее купцы ехали сами в Ирбит, продавали серебро и сурок, покупали товары для Монголии, слабые сдавали более крупным в Бийске. Сурок в Ирбите тогда проходил от 20 до 28 коп. за шкурку.

Постепенно русская торговля стала распространяться и по хошунам*).

В 1876 г. Г. Н. Потанин в Кобдо нашел 4, а в Улясутае 1 постоянную лавку. Проф. Позднеев в 1892 г. в Кобдо—4, Улясутае—3 русских фирмы. Нужно отметить, что от таких фирм от каждой по округу было разбросано по нескольку кочевых отделений, о которых не упоминается.

Но, благодаря отсутствию капиталов, накопление и развертывание проходило медленно.

Едущие в Монголию вынуждены были брать в кредит у более богатых собратий в Бийске, Кяхте и др. городах товары не в том ассортименте, каком бы желал получить едущий, а в том, в каком ему дает субсидирующий, при чем с хорошей наценкой за годовое кредитование.

Для наглядности приведем цифры Кош-Агачской таможни, характеризующие рост торговли.

Год	Вывоз в Монголию	Ввоз из Монголии
1865	35.000 руб.	45.000 руб.
1873	170.000 „	126.000 „
1891—1893 в среднем в год	254.000 „	170.000 „
1894—1896	300.000 „	416.000 „
1897—1899 в среднем в год	379.000 „	602.000 „
1900	373.000 „	552.000 „
1901	414.000 „	921.000 „
1902	578.000 „	1.168.000 „
1903	496.000 „	1.188.000 „
1904	294.000 „	1.364.000 „
1905	437.000 „	1.541.000 „ **)

Вот красноречивые цифры развития нашей торговли тогда. Кяхтинские цифры не могут быть характерны, поскольку они соединены с транзитными чаями и шелковыми тканями, идущими из Китая—мы их не приводим.

В этой таблице только 1873 г. и 1891-1893 г.г. показывают большую сумму вывоза в Монголию, чем ввоза из Монголии, но и здесь нужно внести коррективы, так

*) Хошун—административная единица, удел.
**) Майский—«Современная Монголия», 201-202 стр.

как с 1873 года несколько русских фирм начали покупать монгольский скот на вывезенные через Кош-Агач товары, а скот угонялся в сторону оз. Косогола на Иркутск. Это нужно учитывать и на все последующие годы.

В общем, как мы видим, медленно, но неуклонно, росли наши обороты с Монголией, по мере внутреннего накопления и расширения кредитов. Мелкий торговец становился постепенно средняком, общий контингент факторий расширялся, средняки становились менее зависимыми от крупных. Они начали самостоятельный выбор, ряд товаров стали находить на месте у китайцев. Постепенно начали превращаться из проводников русских товаров в проводников китайских товаров и европейских.

С 1890 годов укрепляется и сбыт монгольской шерсти. На русском рынке появляются крупные скупщики шерсти. Бийск с каждым годом становится зимней ярмаркой по продаже монгольской шерсти и сурка.

Пришел на помощь и банковский кредит.

Постройка Сибирского пути оживляет торговлю скотом, ускоряется накопление, Боксерское восстание вносит также новую струю. На востоке начинает распространяться русский бумажный рубль, который быстро проникает в Монголию и облегчает, и ускоряет оборот. Русские банки покупают гамбургское весовое серебро в нужном количестве по дешевой цене и снабжают русских купцов.

Благодаря этим новым явлениям, тормозившаяся натуральным обменом китайская торговля находит хороших проводников своих товаров и покупателей высокопробной валютой на скот и шерсть, которых раньше не мог покупать китаец, за отсутствием рынков сбыта.

Русско-японская война закрепила финансовую базу.

1905—1911.

Второй период особенно показателен в торговле России с Монголией. Японская война обогатила русских купцов. Русский бумажный рубль окончательно получил права гражданства в Монголии.

Однако, русский капитал, ослепленный ложным эффектом временного успеха по вывозу монгольского сырья, быстро скатывался под откос, не замечая, что он служит удобрением для китайской торговли.

Все сколько-нибудь состоятельные фирмы отказались от сложной медлительной и невыгодной торговли русскими товарами, а перешли просто к покупке на русские деньги китайских товаров в Урге, Улясутае, Кобдо и др. местечках Монголии. Китайские фирмы открывали русским широкий кредит.

В это время в Урге и Улясутае были открыты отделения Русско-Китайского банка, субсидирующие деньгами и серебром.

Появились и представители центрального крупного капитала по скупке шерсти сурка и прочей пушнины на деньги и серебро.

К этому времени возникло несколько местных крупных фирм, также переходящих на оптовые покупки из вторых рук. Всем этим фирмам важно было купить больше шерсти сурка и проч. Для них было безразлично, кто им продает—китайцы или русские. Этот период еще больше ускорил укрепление китайцев и внедрение восточных товаров.

Теперь китайцам не нужно было тащить для сбыта всякое сырье в Китай, они все с большой выгодой продавали на месте по высоким ценам конкурирующим между собой русским фирмам.

Азарт соперничества часто заставлял русских забывать кон'юнктуру основных рынков сбыта, и китайцы получали от них высокопробное гамбургское серебро или деньги, которые тогда в Китае ценились очень высоко. Такое положение весьма облегчило усиление завоза в Монголию дешевых восточных товаров.

Положение непосредственно работающего с населением хошунного торговца-средняка с каждым годом ухудшалось; окрепшая, благодаря десятилетиям работы, непосредственная связь с населением начала быстро слабеть.

За короткий семилетний период произошла следующая эволюция:

Через Кош-Агачскую таможню в

	1905 г. ввезено в Монголию	вывезено из Монголии
	437.000	1.541.000
1911 г.	634.000	4.367.000

В предыдущий период, увлекаясь востоком, государство и русская промышленность не обращали внимания на монгольский рынок, подобно кяхтинским миллионерам, которые столетиями ездили по Монголии со своими чаями, но не интересовались ею.

Но русско-японская война показала, что монгольская продовольственно-сырьевая база может иметь существенное значение.

Потеря Манчжурии толкала к реваншу в Монголии.

В 1910 году были снаряжены две торговые экспедиции томских профессоров: Боголепова и Соболева и московских промышленников для изучения причин падения сбыта русских товаров.

Боголепов и Соболев в 1910 г. зарегистрировали 13 фирм в Кобдо, 11—в Улясутае и 85—в хошунах этих округов с общим количеством 197 факторий.

Обе экспедиции констатировали наличие угрозы полной потери монгольского рынка; установили факты превращения русских фирм в проводников иностранных товаров и простых перекупщиков сырья на серебро и деньги.

После напечатания отчетов экспедиций был намечен ряд мер. Одной из них — основной—являлось образование «Экспортного Товарищества», в которое вошли почти все крупные фабрики, заводы и банки России.

Товарищество ставило себе задачей вытеснение иностранных товаров с монгольского рынка.

В конце 1911 года Монголия провозгласила свою независимость.

Многие китайские фирмы были разгромлены. Китайской торговле был нанесен тяжелый удар, весьма облегчивший возможность быстрого укрепления русской торговли.

Таким образом, монгольская революция провела резкую грань для второго периода.

1911—1921.

Политические события 1911 года, провозглашение независимой Монголии освободили временно рынок от китайцев. Перед Россией встала задача—обслужить монгольский рынок полностью. Без подведения экономического фундамента политическая, даже условная, независимость Монголии (с русской ориентацией) не могла быть сколько-нибудь долговечной.

При тогдашнем разрозненном анархическом частном капитале единственной движущей силой всегда была только прибыль ближайшего времени, а потому сколько-нибудь продуманного и организованного выступления русского капитала нельзя было ожидать. При том местный капитал, к тому времени превратившийся в проводника китайско-иностранных товаров, был мал для того, чтобы быстро заполнить освобожденное китайцами место.

С изгнанием китайцев, сразу же в Монголии обнаружился недостаток товаров, создались благоприятные условия для спекуляции, и цены на товары быстро начали повышаться.

Открывшиеся перспективы на сей раз привлекли внимание и крупных купцов. Начала широко развертывать свою работу крупная фирма Швецовых, скупая шерсть и пушнину, усилила работу по шерсти фирма Стукен, пришли также московские фирмы Якоби Зоргачен, Бидерман и др. Открыло свои склады в Урге, Кяхтинском Маймачине и Улясутае «Московское Экспортное Товарищество».

Фирмы—Швецова, Стукен, Вогау и др. стали доставлять зеленые чаи из Ханькоу морем до Владивостока и дальше по русским железным дорогам через Кяхту.

С появлением крупного капитала и открытием «Монгольского Национального Банка» (автономный филиал Сибирского Торгового Банка) в дальнейшем недостатка в деньгах не было. Кроме денег, все крупные фирмы начали привозить не только, чаи, но и мануфактуру и другие товары. Среди других фирм по замыслу заслуживает особое внимание «Экспортное Товарищество», в состав которого, как уже выше упоминалось, входили пайщиками все крупные фабрики, заводы, банки (кстати сказать, это «Товарищество» своей задачей ставило, кроме обслуживания монгольского рынка, также обслуживание рынка Персии). Цель «Товарищества»—сбыт русских товаров.

Действительно, это «Товарищество» дало прекрасного качества далембу*), бязь и др. мануфактуру по дешевым ценам, примерно, далемба за кусок 1 руб. 30-40 коп. (8¼ арш.), бязь 16-ти вершковая суровая за 14-15 коп. аршин.

Ставя такие цели, организаторы «Товарищества» не учли, что в редко населенной первобытной кочевой стране, не имеющей своего денежного хозяйства, с тысячеверстными пространствами, нельзя достигать успеха без широко разветвленного аппарата, универсально работающего по закупке и сбыту. Вновь пришедшие крупные фирмы не имели достаточного количества факторий для непосредственной ра-

*) Также была хорошая далемба спец. заказа фирмы Стукен, фаб. И. В. Демина.

боты с населением. Всю работу строили на посредниках. Взаимная конкуренция крупных фирм за посредников весьма способствовала быстрому восстановлению ослабевших было китайцев.

Нужно отметить, что количество китайских купцов превышало хошунных русских торговцев, при чем китайцы обладали большими капиталами. Недостаток товаров и спекуляция 1912-13 г.г. с избытком возместили китайцам потерянное.

Крупные русские фирмы не различали в работе, с русским или китайцем они имеют дело, им важно было купить. «Экспортное Товарищество», не покупая продукции страны, за свои товары требовало деньги.

При наличии товаров у крупных скупщиков происходил взаимообмен с хошунными заготовителями.

Таким образом, благодаря неправильной однобокой постановки дела, «Экспортное Товарищество» не оправдало своего назначения и не сыграло той роли, которая ему предназначалась. При том, благодаря недостатку в товарах, связь с Китаем начала снова налаживаться.

Для развертывания китайской торговли создались чрезвычайно благоприятные условия. Взаимно конкурирующие между собой крупные фирмы, опираясь на китайцев, давали им неограниченное количество денег, серебра, словом, все, что они пожелают. Но полная реставрация китайского влияния развернулась с 1915 года.

При наличии ряда отрицательных явлений все же русская торговля, благодаря монопольному положению за 1912-13-14-15 г. г., сделала значительные успехи. Сурок и прочая пушнина, шерсть, рогатый скот и овчина шли почти полностью в Россию. Также в значительной степени была обслужена Монголия русскими товарами и транзитными зелеными чаями. Этот период выразился следующим общим оборотом:

Годы	Ввоз из Монголии	Вывоз в Монголию	Сумма
1913	8.403.000 руб.	2.689.000 руб.	11.092.000
1914	8.427.000 „	4.184.000 „	12.911.000
1915	11.461.000 „	2.429.000 „	13.890.000*)

Таким образом, обслуженной оказалась только треть оборота страны, остальное и послужило благодатной базой для восстановления китайского капитала.

Подписание тройственного соглашения в Кяхте, приезд китайских представителей в Ургу и др. города с конвоями, затяжка мировой войны, падение курса русского рубля, рост цен на товары и их недостаток—чрезвычайно ускорили укрепление китайцев.

Уступки по тройственному соглашению в Кяхте и затяжка войны быстро начали поворачивать экономическое и политическое лицо Монголии от России к Китаю.

Крупные фирмы начинают нащупывать новые выходы для монгольского сырья.

В последующие годы войны картина быстро меняется. Боясь курсовых потерь на русском рубле, крупные фирмы начинают направлять пушнину, шерсть и сырье через Калган в Тяньзин. Такому направлению транспорта весьма способствовал большой спрос на восточные товары в Сибири, и китайцы оказываются поставщиками товаров не только для Монголии, но и для Сибири. Развертывается бешеная спекуляция товарами и русскими деньгами.

Затяжной характер войны заставил обратить особенное внимание России в первую голову на мясные заготовки.

Скотоводческие ресурсы Монголии представляли значительный интерес. Нужно отметить, что с 1870 годов выгон скота из Монголии в Сибирь происходил беспрерывно.

Главным потребителем монгольского скота являлся Иркутск и города к востоку от Байкала. Западная Сибирь в монгольском скоте не нуждалась. Наоборот, свои избытки скота в 1890 годах из Западной Сибири из Бийского округа прогоняли через Алтай, по Чуйскому тракту, по Монголии на оз. Косогол и дальше по Тункинскому тракту. Скот, т. о, из Бийска и других мест Западной Сибири шел гоном в г. Енисейск.

Г. Иркутск вел оживленную торговлю скотом. Иркутские купцы перед осенью выезжали к оз. Косоголу с деньгами и скупали там у хошунных купцов скот оптом,

*) Майский—«Современная Монголия», 208 стр.

которые подгоняли его со всех сторон Монголии. Благодаря такому методу иркутских скотопромышленников, они никакого следа своей работы не оставили.

Такой метод работы, если и мог удовлетворять Иркутск и другие города Сибири в мирное время, то при возникновении вопроса о снабжении монгольским мясом действующих армий, естественно, эта стихийная торговля не могла удовлетворить огромных нужд государства. В силу этого и была организована «Монгольская Экспедиция» для закупки скота. Во главе ее стал тогда наш известный путешественник П. К. Козлов.

Экспедиция просуществовала с 1915 по 1918 г., развернув обширную сеть своих подвижных закупочных отрядов, разбросанных по всей Монголии, с рядом районных контор, во главе которых стояли уполномоченные. Главная контора экспедиции, возглавляемая единоличным начальником экспедиции, назначаемым правительством, помещалась в Иркутске.

Экспедиция вела свои заготовки, кроме Монголии, в Сибири и на востоке, поэтому трудно точно установить, сколько, собственно, падало на Монголию.

Общие заготовки по годам были в следующих размерах *):

Годы	Получено аванса	Заготовлено				
		Масла	Сала	Кож	Овчины	Шерсти
1915 . .	3.438.266 р.	509.640 п.	10.093 п.	23.888	16.306	—
1916 . .	20.639.232 »	1.662.481 »	141.092 »	175.584	125.944	—
1917 . .	32.165.000 »	1.204.087 »	333.274 »	100.578	113.216	53.507 п.
	56.242.498 р.	3.376.217 п.	534.457 п.	300.050 шт.	255.466 шт.	53.507 п.

На Монголию падает, главным образом, заготовка скота, выражающаяся в следующих цифрах:

Годы	Общее количество	Из него падает на Монголию	Баран
1915	24.000 гол.	14.000 гол.	—
1916	175.000 »	93.000 »	—
1917	120.000 »	80.000 »	—
1918	—	50.000 »	60.000

В лице экспедиции на монгольском рынке в первый раз за всю историю появился крупный государственный капитал,

Первый приход произошел стихийно, без плана и системы, работа протекала в атмосфере военного времени, спекуляций и последующих революционных бурь. Экспедиция смогла опубликовать только один отчет. Остальные результаты остались неразработанным архивом.

Экспедиция была пионером, у ней не было предшественников—аналогично построенных организаций.

Экспедиция, будучи военной организацией, применила просто военные формы. Развернула ряд окружных отрядов с помощниками уполномоченых во главе, дальше шли более мелкие отряды. Основное ядро штата было укомплектовано мобилизованными с большим процентом монголистов. На руководящих постах превалировали ветеринары. Значительное количество было людей случайных, старавшихся укрыться от военной повинности, вернее—от фронта. Причины освобождения создали большую тягу в экспедицию, происходило чрезмерное расширение штатов и бесконечное дробление на палатки с целью непосредственной покупки скота от населения.

Особенно знаменательным был такой факт: начальник экспедиции П. К. Козлов с приездом в Ургу в первую очередь добился издания российским дипломатиче-

*) И. М. Майский—«Современная Монголия», стр. 214.

ским агентом в Монголии обязательного постановления, воспрещающего вольную покупку скота русскими купцами в Монголии. Желающие работать по скоту должны были заключать договора с экспедицией. Тогда были сделаны первые попытки на монополию и регулирование закупок.

При отсутствии основного мероприятия—монополии внешней торговли—серьезных результатов от полумер, конечно, не было.

Экспедиция руководилась теми же принципами, что и крупные фирмы. Важно было купить больше, а у кого и как и каковы от этого будут последствия никто не думал.

Отчетность велась в падающем рубле, скачки цен все покрывали и оправдывали; пока закупленное доходило в Сибирь, изменения цен настолько были велики, что о дорогих закупках, невыгодности и т. д. не приходилось говорить.

Закупки велись всюду как непосредственно у населения, так и у перекупщиков—русских и китайских купцов. Благодаря такой безалаберности развернулась чисто внутренняя конкуренция—междуотрядная.

Районы и отряды часто перехватывали следуемые ценности другому отряду, получалась путаница. Многие отряды-палатки сидели в сезон без средств, и рядом сидящий частник, пользуясь моментом, покупал ценности по умеренным ценам, потом полученные ценности отдавались сразу за готовый уже скот посреднику. Все эти ненормальности были бы гибельны в условиях мирной работы при устойчивой денежной единице и ценах, но учет в быстро обесценивающихся рублях покрывал все и давал ложный эффект больших прибылей.

Но в конце-концов «Монгольская Экспедиция», выбросив огромные суммы бумажных денег на монгольский рынок, получила на них из Монголии реальные ценности в виде скота и прочей продукции страны. Деньги эти в огромном большинстве своем попали к китайским фирмам, как главным поставщикам товаров. У них они так и остались на память. Экспедиция как бы наложила на китайцев косвенный налог на военные расходы России; в меньшей мере этот налог коснулся русских хошунных купцов и монгольского населения. Те и другие, в большинстве случаев, деньги быстро сбывали китайцам на товары, конечно, на курсе часть теряли, но не все, как это случилось с китайцами.

До сих пор крупные китайские фирмы хранят в своих сейфах много миллионов русских царских бумажных денег.

Китайцы в годы мировой войны и революции развернули классически наивную спекуляцию с русскими бумажными деньгами. Они придумали сортировку денег по достоинству, новизне, целости и изношенности бумажек. Лучшими деньгами считались пятисотки и сторублевые, дальше шли: 50, 25, 10 и т. д. Керенки в 1000, 250 по сравнению с царскими ценились ниже на 20-30 процентов. Малейшая потрепанность бумажки или дырочки в ней давали повод на скидку того или иного процента.

В наступивший период революции экспедиция, будучи весьма разнородной по составу, естественно, оказалась многоликой, тем не менее, руководители пытались быть нейтральными, продолжали работать как при временном правительстве, так и после Октября.

Во времена Колчака уполномоченный экспедиции Гей и др. были обвинены в сотрудничестве с большевиками.

(Кстати сказать, тот самый Гей, которого колчаковцы обвинили в большевизме, в 1920-21 г. принимал деятельное участие в организации белых отрядов в Монголии (Хатхыл)—отр. Казагранди и др., захватил серебро Центросоюза. Гей был убит вместе с семьей где-то около Ванхурена теми белыми, которых он сам же выкормил и организовал, убил его тот же Казагранди с целью грабежа. Так бесславно погиб ветеринарный врач Вл. Гр. Гей).

Словом, так или иначе, правительство Колчака решило экспедицию ликвидировать. В 1918 году экспедиция работала последний год, правда, фактическая передача Центросоюзу затянулась до половины 1919 года, тем самым для начала первый год работы Центросоюза был сорван.

Нужно отметить и то, что в бурный период Центросоюз получил весьма бессистемное наследие экспедиции. Работники Центросоюза с первых дней видели всю необходимость коренной перестройки всей работы заново, но по ряду причин лишены были возможности что-нибудь существенно изменить и поэтому продолжали работать почти теми же методами, что и экспедиция, лишь постепенно кое-что изменяя.

Последующий 1920 год оказался для Центросоюза роковым. Бегущие из Сибири как остатки белых отрядов, так и отдельные беженцы, группирующиеся в шайки, смотрели на Центросоюз, как на большевистскую организацию. Препятствовали сколь-

ко-нибудь нормальной деятельности в начале сезона и русские консулы, которые, правда, потом к концу года все бежали в Китай, оставив одних распоясавшихся и обезумевших от злобы беженцев из России. Эти люди, потерявшие человеческий облик от злобы, действовали, как дикие звери: им не только центросоюзники, а и все местные русские колонисты, имеющие тогда кров и пищу, казались врагами, и на них они смотрели со злобой и завистью.

Осенью беженцы перешли в наступление, начали в разных местах Монголии грабить центросоюзный скот, товары и имущество. Эти захваты дали материальные базы для формирования будущих белых отрядов.

Наступление и захват Унгерном Урги окончательно окрылили белых. В дальнейшем под диктатурой Унгерна произошло общее об'единение белых в Монголии.

Центросоюз был всюду разграблен, десятки служащих с женами и детьми были уничтожены за то, что они пытались сохранять центросоюзное состояние.

В 1920-21 г. барон Унгерн потоками крови советских служащих закончил третий период нашей экономической деятельности в Монголии.

Из сжатого обзора трех периодов мы видим, что Монголия была ареной борьбы разнородных иностранных капиталов. Крупные фирмы и торговые организации сменяли одна другую, уходили с монгольского рынка и вновь появлялись на нем. А наряду с этим на местах неизменно оставались русские середняки «хошунцы», преимущественно сибиряки, чуйцы, кяхтинцы, корни которых уходят к 1860-70 годам. *Шаг за шагом, из поколения в поколение они, предоставленные* самим себе, покрывали всю Монголию многочисленными факториями.

Эти колонисты, живя семьями, прочно вростали в монгольскую жизнь. Живя десятилетиями, они прекрасно знали язык, быт и нравы народа, они становились своими людьми.

На эту коренную базу и опирался всегда приходящий крупный капитал до экспедиции и Центросоюза включительно*).

Этот тип колонистов-посредников в относительно нормальные годы зарабатывал в год на основной капитал 18-20 процентов (1914-15 г.г.) **). Их прямая задача была—работать непосредственно с населением. Проводили они и приспосабливались к тому, что им поручена та или иная крупная торговая фирма.

Середняк являлся непосредственным показателем населению тех или других наших пертурбаций.

Когда у русских середняков появлялось в изобилии гамбургское высокопробное *серебро, вместо обычных русских товаров, то монголы говорили: страна ваша стала* богатой, вам незачем возиться по мелочам с товарами—это дело китайской мелкоты. Когда же русский оказывался без гамбургского серебра и русских товаров, а становился проводником китайских товаров, то они определяли, что у русских дела плохи.

В кочевых первобытных странах, где слабы или совсем отсутствуют грамотность и печатное слово, их роль исполняет моссельпромовская карамель, сахар, папиросы, плис, чайники, сукно, юфть, железные товары и т. д.

Эту сторону мы должны всегда учитывать при построении наших работ в первобытных кочевых странах, а также учитывать и то особое значение, какое должен играть теперь советский служащий.

Говоря о русских середняках, как об основе русского влияния, нельзя не остановиться также на их китайских более многочисленных собратиях, с которыми они вели на всем протяжении упорную борьбу за привлечение на свою сторону крупно*го капитала и за непосредственную работу с населением.*

В основном эти два типа русских и китайцев сходятся, те и другие прекрасно знают язык, быт, нравы и условия работы; те и другие начинают работать с 12-13 лет

В дальнейшем есть между ними резкая разница—русские менее экономны, чем китайцы. Оплата у русских выше, чем у китайцев. Русские более прямы в своих действиях, больше нравятся монголам, у них нет политической связи, они добровольные гости.

Китайцы же присасывались к монголам, как клещи, высасывали все соки, чувствовали себя хозяевами, имели за спиной силу власти, которая всегда им охотно помогала.

Метод русских—работать разрозненными мелкими фирмами, опирающимися на служащих, которые не были заинтересованы ничем, кроме жалованья. Каждый на-

*) В экспедиции основной рабочий штат на местах состоял из мобилизованных колонистов, а в *Центросоюзе—уже из добровольных служащих, прошедших практическую школу в Монголии.*

**) Майский, 204 стр.

учившийся работать служащий старался стать самостоятельным посредником. Отсюда постоянное дробление.

Все русские жили семьями, иногда не выезжая в Россию в течение нескольких десятков лет.

Китайский метод—работать компаниями. Все служащие были заинтересованы в процветании фирм, так как за выслугой лет они становились пожизненными пайщиками, могли свою жизнь доживать в Китае, получая свои паи прибылей. Это стимулировало создание крупных китайских компаний в Монголии. Не способствовало дроблению и то, что все китайцы в Монголии жили в одиночку.

По обычаям Китая, вывоз жен в застенный Китай, т.-е. в Монголию, воспрещался.

Каждый китайский служащий, пробывший в Монголии три года, имел право на полугодовой, а с дорогами—годовой отпуск в Китай с сохранением содержания и проездами за счет фирмы. Такая система не отрывала китайцев от родины и не способствовала дроблению фирм.

Вот эти основные кадры русского и китайского капитала вели борьбу, как мы видели, с переменным успехом, часто взаимно пополняя друг друга до 1921 года.

Мы отмечали рост русских корней в Монголии, который был нарушен русско-японской войной 1904-1905 г.г. Последующие годы вносили те или иные перебои и расшатывания, но все-таки не могли вырвать их совершенно. Это дело сделали банды Унгерна.

Унгерновцы уничтожали не только Центросоюз и центросоюзников, но и всех тех колонистов, которых заподозревали в сочувствии большевикам. Людей убивали, имущество конфисковали. Других мобилизовали к себе в отряды, гнали на фронты, где они гибли. Связанные с факториями, обремененные семьями, они не могли никуда двинуться. Все они попали в невероятное рабство белых, которые над ними издевались. Каждый неверный шаг колониста давал бандитам право заподозрить его в большевизме, его и семью уничтожить, а имущество конфисковать. Но, с другой стороны, монголы не могли понять, что их вчерашние знакомцы-колонисты, жившие с ними десятки лет, теперь носятся по Монголии с ружьями за плечами с какими-то пришлыми неизвестными людьми, отбирают у них скот, мобилизуют юношей, присутствуют при расправах над ними.

Бандиты русских колонистов всюду использовали, как переводчиков и знающих местные условия людей. Таким образом, творимые безобразия бандитами монголы приписывали и колонистам. Конечно, были среди колонистов и люди, добровольно служившие у белых. Все это вместе взятое привело к печальным последствиям.

После июльского переворота в 1921 году в Улясутае и округе монгольское население стало избивать ни в чем неповинных русских колонистов с женщинами, стариками и детьми.

Унгерновщина в конце-концов привела к тому, что на всем пространстве Монголии не осталось ни одной целой русской фактории.

Начало разрушения факторий положили белобандиты, а докончили монголы.

Таким образом, 60-ти летняя русская работа в Монголии была уничтожена. Можно полагать, что из русских колонистов в Монголии погибло не менее 50-60 процентов.

Кое-кто из белых отрядов попал в концентрационные лагери Сибири. Уцелевшее большинство просто выбралось в Сибирь. Небольшая часть только осталась в Монголии без средств.

На этот раз победа оказалась полностью на стороне китайцев. Китайцы отделались только частичными конфискациями. Поголовного разгрома китайских факторий не устраивали ни Унгерн, ни монголы. Тем не менее и у китайцев эти вторичные потрясения (первые, как уже отмечалось, были в 1911-12 г. г.) начали расшатывать корни влияния. Исчезла у них основная опора—китайская власть в Монголии и вторая опора—круговая порука. Китайский капитал насторожился, стал более осторожным и выжидательным.

Теперь пред китайцами встала задача, во-первых, возместить потерянное в унгерновщину и, во-вторых, возможно больше своих капиталов вывезти из Монголии.

С ликвидацией унгерновщины Монголия представляла чистое поле.

Китайцы на сей раз использовали свое монопольное положение на все сто процентов. Только у них были товары и только они могли вновь привозить товары в Монголию. В период безтовария 1921-22 г.г. китайцы с избытком возместили свои потери от унгерновщины.

1921—1927.

Четвертый период начался героической борьбой с унгерновщиной.

Под треск пулеметов и залпы ружей на сей раз началась советская торговля в Монголии.

Таким образом, в 1921 году в Монголии у Центросоюза функционировало всего два пункта: Хатхыльская и Кяхтинская конторы, заново реставрированные. Работу они вели под прикрытием военных частей, покупали скот для действующей армии (покупки велись исключительно на весовое серебро).

В то время борьба с белыми и торговля шли рука об руку. Центросоюзники не только покупали быков у монгол, а иногда дрались с белыми с винтовками в руках. В такой обстановке все-таки удалось заготовить только в одном Хатхыле более 16.000 голов крупного рогатого скота.

В 1921 году Центросоюз закончил работу по поставке скота военному ведомству.

С 1922 года Центросоюз строит свою постоянную работу с учетом коммерческой целесообразности и хозяйственного расчета на свои только средства.

Мы уже отмечали потребность всестороннего изучения монгольского рынка и соответствующей перестройки методов работы экспедиции. В предшествующие годы если и не удалось руководителям Центросоюза существенно перестроить работу, то они все же смогли сделать большое дело, а именно: снарядить экономическую экспедицию И. М. Майского, в результате которой и была книга Майского—«Современная Монголия». Книга эта до сих пор является единственной по экономике Монголии ближайшего времени.

Новый период нашей деятельности после 1921 года до сих пор не обследован и не сведен воедино; нужно отметить, что в этом чувствуется большая необходимость.

После 1921 года, в отличие от предыдущих периодов, мы располагаем большими фактическими материалами, как архивы и отчеты работ: Центросоюза, Сибкрайсоюза, Сибгосторга, Дальгосторга, Дальцентросоюза, Акц. О-ва «Шерсть», Торгпредства и др., которые дадут исследователям возможность с известной точностью подвести итоги и сделать выводы.

Для Центросоюза обследование Майского дало ту канву, по которой могла развиваться нормальная работа. Теперь не на авось выступал Центросоюз, а с прочным фундаментом.

Как мы увидим дальше, серьезный подход к делу со стороны руководителей Центросоюза дал отменные результаты.

С начала 1922 года перед Центросоюзом стала проблема установления метода работы. Продолжать ли по стопам «Экспедиции» оптовые закупки скота у перекупщиков, т.-е. китайцев, на серебро (которое к тому же достать было трудно), т.-е. способствовать их укреплению и от них зависеть или построить непосредственную работу с населением? Первый путь всегда был наилегким, и крупный капитал обычно выбирал его, второй—наиболее верный, но трудный и медлительный.

Центросоюз, как и следовало, выбрал второй.

Центросоюз в два года—1922-23 г.г.—провел огромную организационную работу по реставрации русского влияния и связи с населением. Центросоюзом было открыто в Монголии и Урянхае до 20 отделений для универсальной работы непосредственно с населением.

Во всех значительных пунктах, на разрушенных пепелищах русских факторий, были созданы новые фактории Центросоюза, во главе этих факторий стояли люди, знающие работу, язык и нравы страны, из уцелевших колонистов.

На смену разрозненным факториям русских купцов пришла единая сеть факторий Центросоюза, работавшая под единым руководством. Центросоюз не остановился на этом. Для того, чтобы иметь возможность конкурировать с иностранным капиталом, послал хорошо знающих монгольский рынок людей в Китай сделать заказы и покупки наиболее хороших и ходовых сортов: чая, далембы, табака. Открыл отделение в Калгане. Использовал представителя в Тяньзине по закупке китайских зеленых чаев, далембы, табаку, серебряных долларов и сбыту того монгольского сырья и пушнины, которые не нужны были в России.

Таким образом, Центросоюз в первый раз устранил посредников и вошел непосредственно в связь с производителем и потребителем. Многочисленные отделения Центросоюза могли все продавать и покупать у населения.

Мы должны подчеркнуть, что это единственная жизненная форма торговли в кочевых редконаселенных странах для всех общественно-государственных организаций.

Благодаря правильной системы работы, Центросоюз в 1923 году уже смог на пространстве в 1500 верст длиной и 700 верст шириной регулировать и устанавливать единые цены на скот, чай, далембу, табак и наладить сбыт русских товаров, словом, заставил почувствовать свое присутствие, заставил сбавить аппетиты китайцев и других иностранцев.

Авторитет Центросоюза и доверие к нему населения были неограниченные. Рисовались в недалеком будущем перспективы полного охвата монгольского рынка Центросоюзом и монгольским кооперативом «Монценкоопа». Создалась в Центросоюз огромная тяга местных работников. Попасть в Центросоюз считалось честью. Как население, так и конкуренты признавали, что будущее принадлежит Центросоюзу и «Монценкоопу».

Следующий год еще больше расширил и углубил работу Центросоюза. В этом году чай из Китая шли уже не через Калган, а через Владивосток и не с китайскими марками, а с маркой Центросоюза, приготовленные на плантациях под наблюдением его представителей.

Центросоюзная экономическая армия с большим под'емом вела стремительное наступление на твердыни частного капитала. Передовые отряды успешно дрались не только в Монголии, но и на берегах Тихого океана в Калгане, Тянь-Цзине, Ханькоу.

Мерещились фронтовикам большие достижения не только на рынке Северной внешней Монголии, а мечтали уже продвигаться в Восточную и Южную Монголию.

В это время неожиданно на ясном небе успеха появилось маленькое облачко—предвестник будущих гроз. Поступило сообщение о том, что Иркутская контора Центросоюза переименовывается в контору «Сибкрайсоюза». Эта простая смена вывесок вызвала недоумение у работающих, тем не менее, 1924 год прошел без особых потрясений.

Из Центросоюза выделился «Сибкрайсоюз», к которому преемственно перешла Иркутская монгольская контора в феврале 1924 года.

Находящаяся в Иркутске монгольская контора Центросоюза вела большие операции за границей, делала большое общегосударственное дело, имела связь с Москвой и весьма слабо была связана с Новосибирском (вернее— Новониколаевском).

Энергичные и дельные руководители были слишком самостоятельны, а новониколаевцы слишком пассивны, поэтому о ценности работы конторы они не имели достаточного представления.

Классической иллюстрацией таких отношений может служить речь тов. Слисского (Новониколаевский Обь-Союз), произнесенная на первом организационном собрании уполномоченных в Новониколаевске и напечатанная в журнале «Кооперативная Сибирь» (№ 27—1924 г., стр. 15-16) и вот из нее выдержки:

«Иркутская контора имеет 3-х миллионный баланс, но пользы от этой конторы мы не получаем ни на грош, получаем скорей всего медвежью услугу. Товаров из этой конторы не получаем, не получает их, по моим сведениям, и Иркутский союз. Кого же снабжает эта контора—неизвестно. Единственно, что известно, это то, что Иркутская контора заготовила в Монголии 100 тысяч пудов мяса. Сейчас Иркутская контора имеет 1½ миллиона ценностей. По-моему, эти ценности должны быть разбросаны по союзам, а контора ликвидирована».

Нам понятен тов. Слисский, говорящий с Обь-Союзовской колокольни. Монголия далеко за горами. Скоро не увидишь! Это верно.

На тирады т. Слисского не возразил никто, ни члены правления, ни новый управляющий Иркутской монгольской конторой тов. Семенов.

Так решалась судьба большого начинания—сибирской кооперации.

В дальнейшем все внимание правления сосредоточивается не на продолжении дела, а на том, чтобы как можно скорее извлечь средства, найти покупателя.

Как известно, хорошо поставленное дело ликвидировать гораздо легче, чем создать.

Вырученное за заготовки поступало в правление, а товары и все дело на ходу было продано Сибгосторгу.

В течение первой половины 1925 года передача всего дела Сибгосторгу была закончена полностью.

Сибкрайсоюз от монгольского дела получил не 1½ миллиона, как думал т. Слисский, а 2.182.000 рублей.

Для наглядности мы приведем цифры роста основного капитала Иркутской конторы:

	Основной капитал	Прибыли за операционный год	ИТОГО
На 1/I-1922 г.	683.428—24	862.807—95	1 546.236—19*)
» 1/I-1923 »	1.546 236—19	472.439—58	2 018 675—77
» 1/I-1924 »	2.018 675—77	—	—
За 1925 г. по ликвидации .	—	163.224—23	2.182.000—00
ИТОГО . .	2.182 000—00	—	—

Если не была зачтена ликвидация, то за 1925 год контора, по самым скромным подсчетам, ожидала чистой прибыли не менее 500.000 рублей.

В этот трехлетний период, кроме Центросоюза и китайцев, с 1922 года, а особенно с 1923 г., со стороны Китая появился англо-американский капитал, который был заинтересован в покупке пушнины и сырья, а не в сбыте товаров . Рынок Монголии он начал снабжать обильно китайскими серебряными долларами, словно они заменили былых наших скупщиков на серебро. Опирались они на китайских посредников.

Некоторые новые фирмы, как Вуден, Английская Продуктовая Компания, попробовали развернуть широкую сеть факторий по Монголии со скупкой по специальностям; одни покупали только шерсть, другие—баранов, третьи—пушнину.

В работе на факториях они опирались на тех же уцелевших русских колонистов, которые не были использованы Центросоюзом.

Не имея на факториях своих людей или хотя бы владеющих их языком, работая по специальности, а не универсально, они не смогли выдержать расходов и ликвидировались.

Только опытные из них, Бидерман и Роберт Смит, имея в штате русских служащих, работают оптом, опираясь на китайцев. Имеют своих представителей только в крупных центрах Монголии.

Со стороны России, кроме Центросоюза, полезли со всех сторон стихийно в Монголию ближайшие губернские, окружные, районные кооперативы и соворганизации. Все это напоминало 1870 годы. Тащились с кой-какой мелочишкой. Например, агенты Кожсиндиката волочились по Монголии не в сезон на нескольких верблюдах, меняли юфть, порох, свинец, сукно и др. мелочь на плохонькое шкурье, которого набиралось всего несколько десятков, редко сотен штук.

Все такие попытки, конечно, заканчивались сразу и больше не повторялись. Все это можно вспомнить, как поучительный курьез.

В последующие годы пришли и более серьезные организации, как Дальгосторг и Дальцентросоюз с восточной стороны, Сибгосторг из Новосибирска и акционерное общество «Шерсть» из Москвы, коммерческая часть Торгпредства в Урге.

Здравый смысл и государственные интересы с первых дней требовали «единства» наших выступлений в Монголии.

Естественно было бы также усилить работу Центросоюза. Казалось чего проще –договориться бы с Центросоюзом на комиссионных или договорных началах. Однако, ведомственные интересы брали верх даже над здоровым смыслом. Начинала развертываться междуведомственная грызня и конкуренция, парализующая в корне нужную продуманную конкуренцию с китайцами и др. иностранцами на монгольском рынке.

У всех дела, за исключением Центросоюза, шли не блестяще, отсюда развивалась ненависть к центросоюзникам, а потом сибкрайсоюзникам со стороны сибгосторговцев и«Шерсти».

Для начала об'единение выливается в форму приобретения Сибгосторгом дела Сибкрайсоюза, происходит сложная передача и укомплектование аппаратов. Центросоюзный аппарат значительно парализуется и разжижается.

При том руководители Сибгосторга не доучитывают свои ресурсы и потребность в средствах для расширения дела.

---

*) Рост прибылей этого года об'ясняется не только удачными операциями в Монголии, но и приобретением пушнины в Иркутске и сбытом ее на Востоке.

Приобретенное дело Сибкрайсоюза дает до 1.500 т. р. малоподвижных капиталов в товарах, инвентаре и т. д. К этому прибавлялась слабая работа Кобдоской конторы Сибгосторга.

Все это требовало для нормальной работы больших добавочных валютных капиталов. Этого Сибгосторг во время дать не мог. В то же время скованный всякими инструкциями и положениями из Москвы, он не мог разрешить своим монгольским конторам проявить известную инициативу на местах, по принципам Центросоюза.

Прибыльное в предыдущие годы дело Сибкрайсоюза, реорганизованное в духе Сибгосторга, становится убыточным, что дает большие козыри для ведущих поход против Сибгосторга акц. о-ву «Шерсть» и Торгпредству.

В 1925-26 г. работа Сибгосторга расширяется. В Москве договариваются о передаче Дальгосторга. Представители Сибгосторга едут в Ургу принимать Дальгосторг, а также договариваться о передаче коммерческой части Торгпредства.

Если все это, с одной стороны, сулило большие перспективы для единого Госторга, то, с другой стороны чтобы достаточно обслужить монгольский рынок, требовало больших дополнительных средств. На ассигнование же новых капиталов правление Госторга в Москве смотрело отрицательно. Оно было напугано хроническими ежегодными убытками.

Приехавшие в Москву дальгосторговцы добиваются отмены передачи восточных отделений.

В Монголии уже шла приемка Дальгосторга и Торгпредства, а в Москве решается другое, именно: принятые отделения возвратить Дальгосторгу, от принятия Торгпредства отказаться. Вскоре поступает дальнейший приказ из Москвы: всю работу Сибгосторга в Монголии ликвидировать.

В Москве создается новое единое монопольное общество «Стормонг», с основным капиталом в 1.500 тыс. рублей. В состав его входят: акц. о-во «Шерсть», Текстильсиндикат, Кожсиндикат и др. Госторг переходит в другую крайность—совершенно отказывается от вхождения в новое общество.

К концу 1926 года намечается ликвидация Сибгосторга. Упорным трудом выправившееся для работы дело в 1927 г. начинает ликвидироваться на сей раз без всякой преемственности, аппарат распускается. Распыляется без использования для дальнейшего семилетний опыт. В основу нового акц. о-ва «Стормонг» берется аппарат молодого акц. о-ва «Шерсть». В новое общество не входят от Сибири ни Сибгосторг, ни Сибторг, ни Сибкрайсоюз. Таким образом, порывается окончательно 68-ми летняя связь Сибири с Монголией.

До сих пор, как мы видели, Сибирь и сибиряки были основной базой в работе с Монголией.

Сибгосторгом была проделана следующая работа. Особенно показательно по степенное выравнивание этой работы:

	Годы календарные	Годовой оборот в рублях	За год	
			Убыток в рублях	Прибыль в рублях
Обороты Сибгосторга .	1923	282.000	729.000	—
	1924	2.469.044		
	1925	3.388.888	300.000	—
	1926	6.160.202*)	163.000	—
Ликвидац.	1927	3.400.000	—	286.000

Подводя итоги неосновательного ухода Сибири с Монгольского рынка, мы должны отметить недостаточное внимание сибирских организаций к связи с Монголией.

Мы знаем, что мясо монгольского скота, кожа, овчина, шерсть необходимы населению и промышленности Сибири, а сибирская крупчатка, просо и пр. продукты и изделия промышленности Сибири нужны монгольскому населению. Ежегодные их обороты могут выражаться не менее 10.000.000 рублей, а всесоюзные обороты—до 20.000.000 руб. из общего оборота страны, исчисляемого в 50 милл. руб.

*) Журнал «Жизнь Сибири» 1926 г., № 9, ст. 93-95. А. Бурдуков.

Без участия сибирских организаций в «Стормонге» едва ли будет в полной мере обслужен сибирский потребитель монгольского мяса или кожевенно-шубная промышленность Сибири. Если Сибирью не будут своевременно приняты меры, то результаты этого, вероятно, не замедлят сказаться.

Пока что мы знаем, что в Улясутае в ноябре 1927 г. сибирская крупчатка продается уже, вместо Сибгосторговских цен в 5-6 руб. за пуд,—по 10 рублей, и ее нет. Кирпич зеленого чая до 3 руб. 50 к. за кирпич вместо обычных сибгосторговских цен в 1 руб. 30-40 коп.

Это показывает то, что монопольный «Стормонг» слабо справляется со своей миссией.

Единая советская организация для универсальной работы в Монголии—идеальнейшая форма. Но она будет жизненной лишь в том случае, если будет располагать достаточным капиталом для охвата монгольского рынка, и работоспособным, правильно построенным организационно, аппаратом.

Иначе могут быть плохие последствия.

При всем росте «Монценкоопа»*) мы не должны преувеличивать его значения, без совместной работы с соворганизациями монгольский рынок не будет охвачен.

Перенесшие свою главную деятельность во внутреннюю Монголию китайцы, как только почувствуют под собой твердую почву, снова быстро развернут работу. При поддержке крупного иностранного капитала они смогут использовать каждую нашу оплошность и легко захватить вновь монгольский рынок. Нам не следует забывать, что реставрация экономического влияния китайского капитала неизбежно поставит вопрос и о политической реставрации, о восстановлении ненавистного владычества китайской генеральщины, в борьбе с которой пролито немало крови лучших сынов Монголии.

Все это необходимо учитывать.

Также, чтобы не способствовать китайцам, «Стормонг» и «Монценкоопп» должны учитывать опыт прошлого и проводить твердую линию на непосредственную связь с населением.

Это единственно правильный путь для работы в Монголии.

---

*) Вопрос о развитии и росте «Монценкоопа» может быть предметом особой статьи. Мы надеемся в ближайшее время поделиться с читателями «Сибирских Огней» нашими наблюдениями в этой области. Сейчас считаем только уместным заметить, что благотворное влияние Октября на хозяйство этой страны совершенно очевидно.

В. ТИМОФЕЕВ

Великим Северным путем—к устью Лены

(Путевые заметки).

I. Отход.

Палуба «Колымы» была завалена досками, катером, кунгасами (небольшие баржи). Над ними были прикреплены два гидроплана. На свободном пространстве, в одном углу палубы была собрана команда, а на спардеке, ставшем временной трибуной, столпились представители разных организаций.

Тема для ораторов—благодарная: первый торговый морской рейс в устье далекой Лены, по Ледовитому морю; полеты гидропланов с берега Ледовитого моря в колонию, поселенную на о-ве Врангеля; потом полет от устья Лены вверх по всему ее течению. Не обошлось без комического элемента: когда ораторы выражали уверенность, что команда выполнит свой долг—особенно громко, убежденно отвечал один подвыпивший кочегар:

— Постараемся, кричал он,—выполним!—так что товарищам его оставалось только молча соглашаться и дергать его за рукав.

Кое-кто из провожавших жен всплакнул на пристани, что дало повод одному оратору сказать:

— Ваши жены провожают вас с тоскою, пожелаем же вам скорейшего благополучного возвращения к семьям.

— Ничего, у них доверенности на жалованье остаются,—крикнул удалой голос из команды, и набежавшая на лицо тучка на время была смыта веселым смехом.

«Колыма» должна была по пути на север зайти в Японию, в Хакодате и принять там разный груз, закупленный для устья Лены. Поэтому при отходе ее из Владивостока применялись формальности, относящиеся к заграничному плаванию. По каютам и всем закоулкам парохода прошли таможенные надсмотрщики и агенты ГПУ, осмотрели вещи, проверили состав команды и пассажиров и последними оставили пароход.

Были отданы концы, и пузатый катер потащил «Колыму» на буксире на рейд. Сделав свое дело, катер принял брошенный буксир и вернулся к пристани. С мостика «Колымы» прозвенели сигналы в машину, слышно было, как тяжело повернулся вал, забурлил винт за кормой, и пароход, постепенно ускоряя ход, пошел по рейду к выходу из бухты «Золотой Рог», мимо своих и иностранных пароходов, мимо катеров, лодок и китайских шампунок, сно-

вавших по бухте. Мощным, густым басом прозвучали отходные гудки «Колымы», и в ответ такими же мощными голосами загудели по очереди стоявшие у пристани пароходы Совторгфлота. На некоторых пароходах взвились пестрые флаги-сигналы: «Счастливого плавания», на «Колыме» в ответ подняли, по положению: «Ясно вижу».

Плавание началось.

Прошли Эгершельд—часть порта, отделенную для вольного транзитного выхода грузов с Китайско-Восточной жел. дор., с несколькими большими иностранными пароходами, прошли—на другом берегу—сонный Чуркин мыс. Чем дальше отходили от Владивостока, тем отчетливее сжимался он в одну красивую панораму-картину портового города, залитого солнцем, нависшего над голубой водой Золотого Рога. На ясном небе четко вырисовывались над городом голые сопки, еще не так давно бывшие грозными фортами, дававшими смысл имени: Влади-восток. Невольно мысль рисовала картину ужаса и разрушения, которая возникла бы вокруг Владивостока, если бы история в свое время сулила этим мирным на вид сопкам заговорить языком тяжелых крепостных орудий. Кое-где на зеленом склоне сопок виднелись белые полуразрушенные казармы с зияющими пустотой окнами.

— Нас догоняет катер,—сказал кто-то.

Оказалось, катер забрал на пристани семьи моряков и догнал «Колыму», чтобы семьи еще раз простились с нами. Некоторое время катер шел с «Колымой» почти борт о борт. Его палуба была полна женщинами и детьми, перекликавшимися со своими мужьями и отцами на «Колыме». Мы столпились у перил, и каждый торопился перекинуться последним словом с родными. Маленькая девочка лет пяти, в соломенной шляпе и голубеньком платьице, усердно махала платочком, а мать поддерживала ее и любовно улыбалась.

— Это моя дочь,—сказал стоявший рядом со мной кочегар, председатель судового комитета, и вытер платком слезы.

Он один раз уже зимовал в Ледовитом море и знал, что это значит—прожить год во льдах.

— Ничего, товарищ,—попытался я успокоить,—на этот раз не зазимуем.

Пароход дал полный ход, и катер стал отставать, прощаясь с нами свистками. Прозвучали последние гудки «Колымы», сильнее заплескались под ее носом волны, и скоро катер скрылся за поворотом. Остались влево бухты Диомид, Улисс, Патрокл, вправо—Русский остров. Прошли маленький остров Диомид, Улисс, Патрокл, вправо—Русский остров. Прошли маленький остров Аскольд; потом, уже в наступивших сумерках, миновали мыс Поворотный и вступили в Японское море.

II. В Японии.

По Японскому морю мы шли около трех суток. Обычно оно не спокойно, но на этот раз большую часть его мы прошли без качки. Изредка на горизонте появлялся дымок пароходов, иногда в двух-трех милях, а к концу перехода все чаще стали вырисовываться на краю моря белые треугольники парусов и шхун.

К вечеру третьего дня вошли в Сангарский пролив, отделяющий северный остров Японии, Хоккайдо, на котором стоит Хакодате, от следующего к югу острова Ниппона. Шли ближе к Хоккайдо, так что его берег проходил перед нами близко и отчетливо, берег же Ниппона сливался вдали в однообразную синюю полосу.

Берег Хоккайдо и всех островов, разбившихся вокруг него, гористый, как и берег нашего Приморья. Но горы здесь кажутся еще выше, они конусообразны, и покрывающая их зелень более мягкого тона, чем густая суровая зелень Приморья. Вот проходит все ближе островок; высота его больше, чем ширина; в ложбине берега белеют дома деревушки; на воде, у самого берега движутся катера или лодки; по обеим сторонам деревушки берег обрывается в море скалами, а над нею высится гора, и попасть в деревушку можно только по морю. Я вспомнил, как Пильняк описывает свои впечатления от полета над Японией: сверху было видно, как жестоко природа запромоздила Японию бесплодными каменными горами, оставив на пользование человеку долины и ложбины. Да, этому народу становится все более тесно на камнях своей родины, и он умеет бороться за существование.

По расчету времени, мы не могли пройти в Хакодате и войти в порт до захода солнца, поэтому шли не торопясь, чтобы переждать ночь на внешнем рейде. В проливе было спокойно и хорошо. От потемневших берегов, навстречу нам или обгоняя нас, или одновременно с нами, появлялись и уходили небольшие пароходы молча, без гудков и сигнальных флагов. Вблизи прошел какой-то «Мару» (все японские пароходы оканчиваются в названии этим словом); у борта его, облокотившись на перила, стоял матрос и равнодушно смотрел на нас; на корме какая-то женщина вышла из каюты, вытрясла коврик и, не взглянув на нас, вернулась в каюту.

Появились дельфины—один, два, потом стайками по нескольку штук. Они мчались рядом с пароходом, стараясь обогнать его, вспенивая поверхность воды острым гребнем, ныряя в глубину и выпрыгивая на воздух.

Навстречу все чаще стали попадаться ялики-сампаны с высокими парусами в форме трапеции, перекидывающимися, в зависимости от ветра, то на одну, то на другую сторону мачты. В них сидело по одному-два японца. Прошел один моторный ялик. Дельфины отстали.

Первыми на берегу зажглись огни маяков. Их было в разных сторонах горизонта три, один с постоянным светом и два с переменным. Потом, по мере наступления вечера, зажглись огоньки в селениях. Видно было, что в каждой деревушке имеется электрическое освещение. На яликах также висели карбидовые фонарики. Чтобы избежать столкновения с яликами, мы еще замедлили ход и тихо подвигались к Хакодатской бухте.

Спускалась тихая ночь, на фоне которой постепенно исчезали очертания берегов и ярче выступали огоньки. Из темноты выходили сампаны и шли все в одном направлении, от берегов в пролив, на-перерез нам.

— Это все рыбаки идут на ночной лов в море.

Двигаться в темноте между проходящими сампанами было трудно. Бледный свет карбидового фонарика еще издалека казался стоящим на месте и неожиданно оказывался у самого парохода. Мы давно уже зажгли свои огни.

Перед носом парохода вынырнул из темноты сампан и прошел у борта; хозяин его что-то сердито кричал по нашему адресу.

— Наедешь вот так на него,—рассказывал матрос,—а потом в порту хлопот от властей не оберешься и платить много приходится. В старину случалось, что иной капитан так делал: если переедет, так не то, что помочь, а еще раз пройдет кормой и винтом по этому месту, что бы уж следов никаких не оставалось и жалоб не было.

Мимо прошел, обгоняя нас, сверкающий тремя этажами огней, экспресс, совершающий рейсы между обоими островами. На корме его выглядывал из темного углубления конец поезда, который он принимает целым составом в Аморн на острове Ниппон, и перевозит на станцию железной дороги в Хако-

дате. По сравнению с этим блестящим великаном наша «Колыма» выглядела темной и бедной.

Благополучно дошли до мола и стали против его конца, на котором вспыхивал на секунду маяк и опять потухал на несколько секунд.

Загремел якорь. До утра мы должны были оставаться на месте...

Из порта, тарахтя и покачиваясь, подошел катер и вошел в свет огней «Колымы».

— Руськи?—окрикнул стоявший на катере маленький человек в белом европейском костюме.

Катер прошел под кормой, чтобы прочитать под кормовой лампочкой название и порт приписки парохода, и, не останавливаясь, вернулся в порт.

В 6 часов утра мы вошли в порт. Явилось портовое, таможенное и полицейское начальство, в черных форменных фуражках и куртках с маленькими кортиками у пояса, под стать малому росту японцев. Формальности были быстро окончены. Таможенник беспокоился, главным образом, о табаке и просил не выносить в город папиросы; в качестве гарантии, у команды собрали несколько десятков коробок папирос, которые он опечатал в шкафчике в кают-компании с тем, чтобы мы сами сорвали печать по выходе из порта. Доктор удостоверился у нашего судового врача, что на пароходе нет заразных больных. Японцы проверили по пред'явленному списку наличность команды и пассажиров, после чего большая часть японцев уехала, а оставшиеся полицейский комиссар и переводчик начали писать пропуски на выход в город. Всей команде пропуски были выданы немедленно. Составу ехавшей с нами летней экспедиции выдали пропуска позже, по получении разрешения от какого-то более высокого городского начальства, а мне, как скромному представителю торговой организации, выдали пропуск только вечером, после хлопот находившегося в Хакодате по делам той же организации сослуживца.

Вся процедура по оформлению входа в японский порт и выдаче пропусков носила обычный характер, была несложна, быстра и не придирчива и совсем не была похожа на то, как, по рассказам моряков, принимают советский пароход в английских портах и даже в южных портах той же Японии. Это происходит потому, что Хакодате тесно связан с нашими рыбными промыслами. Пароходы Совторгфлота при камчатских и охотских рейсах всегда заходят в Хакодате, и рыбу с русских промыслов Камчатки и Охотского моря на обратном пути также, в значительной части, оставляют в Хакодате.

Сейчас же по от'езде властей к «Колыме» подошло несколько яликов, и на палубу вскарабкались японки-торговки с разной мелочью. Фуфайки, белье, полотенца, зубной порошок, бумага, мыло, гребни, бананы—все, что нужно матросу в его несложном обиходе, предлагалось японками. Матросы называли их Мариями, и японки на это имя охотно откликались.

До выхода парохода из порта на нем дежурили два каких-то низших чина. Они скучали и слонялись по спардеку или дремали в кают-компании. Когда вечером ко мне приехал с берега сослуживец—якут—один чин заинтересовался его монгольским лицом и прошел ко мне в каюту. Долго мы не могли понять его сердитого бормотанья. Позвали переводчика. Японец просмотрел документы у моего товарища, неумело повторяя его русское имя, отчество и фамилию, с сомнением поглядывая на его лицо. Мы отделались от него, уехав в город, но он записал себе в книжечку все, что счел необходимым. Японцу казалось странным: человек по внешности японец—и вдруг русская фамилия; наверно, японский коммунист, законспирированный под русского.

Мы подозвали один из проходивших мимо катеров и поехали к пристани, между пароходами, шхунами и катерами. Порт по японскому масштабу небольшой, но оживленнее и больше владивостокского. На пристани мы уплатили хозяину катера по 50 сен (копеек), прошли мимо таможни и вошли в город.

Мне случилось раньше, по пути на север, провести сутки в Хакодате, так что с расположением его я был немного знаком.

Товарищ жил у японца Василия Васильевича, православного, хорошо говорящего по-русски, которого знал и я. В прошлый раз на прилавке в его магазине еще стояла кружка с надписью: «На построение божьего храма»—теперь ее не было. Но и сейчас магазин Василия Васильевича—сборный пункт для русских, в витрине лежало несколько писем, пришедших с разных концов в адрес Василия Васильевича для передачи и ожидавших своих получателей.

Закончили дело и сделали еще кое-какие закупки по телефону, несмотря на позднее время. На завтра оставалось оформить их через торгпредство.

— А пока поедем в Инокао выкупаться и там же переночуем.

Вызвали автомобиль, который за 3 иены (рубля) должен был отвезти нас троих (меня, сослуживца и еще одного русского) в гостиницу на курорте Инокао, в 12 верстах от Хакодате.

Было 10 часов вечера, но на улицах еще двигалась толпа. Улицы хорошо вымощены и хорошо освещены. Кроме обыкновенных электрических фонарей, у каждого магазина висели разноцветные и разнообразной формы бумажные фонари. Часть магазинов была уже закрыта; в одном месте мы проехали через базар, торгующий всю ночь. Трамваи были еще наполнены пассажирами, а на тротуарах двигалась, стуча каблуками туфель, толпа в кимоно, часто—в пиджаках. Но женщины—все в кимоно, с широкими поясами, завязанными на спине большим бантом.

Выехали за город. Игрушечные домики с цыновочными стенами и высокими черепичными крышами стали попадаться реже; справа от шоссе, из темноты, с полей, наносило запах удобрений; слева—слышался шум морского прибоя.

Инокао—дачная местность для хакодатцев. Довольно долго мы колесили по узким аллеям, с электрическими фонарями на частых поворотах, с домиками, выступавшими из зелени, и цветными резными мостиками через ручьи и пруды, пока не остановились перед красными воротами гостиницы. Выбежали люди и провели нас в прихожую. Мы сняли ботинки, одели туфли без задков, каждую минуту спадавшие с ноги, и поднялись по полированным, как зеркало, ступеням деревянной лестницы на второй этаж, в отведенную нам средней величины комнату. Здесь мы разделись, одели на голое тело кимоно и спустились с полотенцами вниз, в бассейн с проточной горячей водой, проведенной из инокаоского сернисто-щелочного источника. Потом вернулись к себе, уселись на полу и принялись ужинать.

Подавали обычную японскую еду: рыбу и зелень в разном виде, маленькими порциями, и рис с приправой из сои. Пили саке из маленьких чашек и жидкий, но крепкий чай. Прислуживали нам две молодые японки.

Пол и внутренние стены комнаты были из гладких светло-желтых цыновок, стена, выходившая наружу,—из плотной бумаги в переплете из полированных рам; с потолка свешивался голубоватый фонарь. На стенах и на бумаге наружной стены виднелись нарисованные летящие птицы, ветка сосны, маленький пейзаж. В углу на подставке сидела темно-бронзовая статуэтка толстого и добродушного бога счастья с голым животом. Ничего в комнате

резко не выделялось, и все линии и тона сливались в одну картину и давали одно ощущение простоты и уютного покоя. Японки пытались говорить и смеялись над коверканием нами японских слов; они очень вежливо и мило прислуживали нам. Нельзя было назвать их красивыми, но они были милы и женственны.

Ночевал я в этой комнате один, на мягких ватных одеялах, постеленных на полу. Рано утром, проснувшись, я отодвинул одну раму в наружной стене. Внизу, у стены дома, разбит был небольшой садик из карликовых деревьев. Ни одно дерево не доходило до второго этажа, а некоторые были в аршин ростом. Через садик протекал узенький извилистый ручеек, перекрытый двумя-тремя мостиками, длиною в один шаг. За забором лежали поля, и среди них стояли домики, окруженные огородами. Утро было солнечное, пели какие-то птицы.

Накинув кимоно, я спустился вниз, в бассейн. В доме было еще тихо и сонно, но когда я вошел в бассейн, то через двери с другой стороны бассейна увидел в следующем его отделении двух молодых купающихся японок. Смутился я, а не они. Японки приветливо улыбнулись и продолжали спокойно купаться.

После завтрака мы расплатились и, ради экономии, пошли к автобусной станции, чтобы доехать до города на автобусе и в городе пересесть на трамвай. По аллеям мы встречали детей, спешивших в школу. Прошли в плащах с капюшонами, с книжными сумками через плечо, обнявшись и что-то весело щебеча, три девочки. Наш спутник указал на небольшой деревянный храм между домами. Храм был красив и похож на жилые дома, а дома были похожи на маленькие храмы.

В городе у трамваев опять увидели много мальчиков и девочек с книжными сумками. Часть мальчиков и подростков были в форме: кепи, серые тужурки и штаны, чулки и башмаки. Девочки в коричневых европейских блузках и коротких юбках.

III. Камчатка.

Наш путь лежал из Сангарского пролива в Тихий океан и далее вдоль восточной стороны Курильских островов. Еще в проливе нас встретила большая волна, ветер загудел по вантам, а когда вышли в океан—пароход стало так перекладывать с борта на борт, что я, не вынося качки, улегся в каюте и приготовился терпеливо переносить морскую болезнь. Метеорологическая служба поставлена в Японии хорошо. «Колыма», как и все суда, находившиеся в море, получила по радио предупреждение о тайфуне, который шел на север, пересекая наш курс. В сообщении указывалось местонахождение центра тайфуна, его сила и точное направление движения. Капитан определил, что тайфун обгонит нас, так что «Колыма» будет захвачена только его краем, и решил идти дальше. Я вышел на спардек, чтобы на свежем воздухе отделаться от подступившей к горлу тошноты. Было темно. Ветер крепчал и гудел. По небу быстро неслись облака, закрывая и открывая звезды. На мачтах «Колымы» сигнальные лампочки чертили по небу размашистые неправильные дуги. Перила палубы то поднимались выше горизонта, до первых облаков и звезд, то уходили вниз, в волны, ниже валов океана, которые неслись на пароход, шумя гребнями и блестя светящейся пеной. Иногда волна с шумом взбегала на палубу, проносилась по ней, расплываясь ручейками между грузов, и сбегала в желобки по бортам.

С носа волной сорвало и унесло несколько ящиков. На палубе у кормовой надстройки был отгорожен угол для скота, и теперь скот бился и падал

в загородке, окачиваемый водою. Грозила опасность быть смытыми и гидропланам. Капитан решил идти к берегу, в какую-то бухту. В темноте мы зашли за мыс, на котором светился огонек маяка, и отдали якорь. Я опять ушел в каюту. Даже здесь, за мысом, море волновалось. Вещи в каюте качались, чемодан ездил по полу, а у меня и моих сожителей по каюте, двух летчиков, лежащих на постелях, то ноги оказывались выше головы, то голова выше ног.

На другой день «Колыма» продолжала путь. Было ясно, ветер утих, но по океану ходила крутая зыбь, мотавшая пароход неправильной качкой...

Переход до Петропавловска на Камчатке продолжался шесть дней. После Японии на горизонте стали показываться Курильские острова. Утром покажется впереди один остров, постепенно приближается, проходит вдали от нас назад, к Японии, а к вечеру уже виден на горизонте следующий конус-остров. Острова казались безлюдными, но на некоторых из них есть жители, а на самом северном, у Камчатки, японцы вскоре после того, как получили острова от России, построили какой-то заводик.

Во второй половине перехода мы попали под ветер, вырывавшийся из Охотского моря через проливы между Курильскими островами на простор океана. Опять качка, нудное шатание из каюты и опять в каюту... Наконец, прошли последний остров и пролив и отделились от Охотского моря мысом Лопаткой—началом Камчатского полуострова.

Стало тихо. По мере продвижения «Колымы» на север, ночи делались светлей. Насупившиеся берега Камчатки проходили мимо днем и ночью беспрерывной панорамой, ясной и резкой—днем, голубоватой и мягкой—ночью. Покатые, как срезанные ножом, сероватые скалы поднимались из моря, с зубцами и выемками наверху, покрытыми зеленью, а из-за них выглядывали из глубины, как из-за стены, широкие шапки белоснежных сопок.

Берега дикие и безлюдные. Изредка они прерывались бухтами и устьями речушек, но и в глубине бухт жилья нигде не было видно. С нами ехал молодой студент Московского Института Журналистики. Дикость и величавость камчатских берегов он воспринимал так непосредственно, что, стоя лицом к берегу, размахивал руками и что-то декламировал.

— Завтра, часов в двенадцать, будем в Петропавловске,—рассуждали пассажиры.

— Никогда не говорите, что приедем тогда-то,—наставительно возразил помощник капитана, который во Владивостоке уверял меня, что моряки теперь не суеверны.—Море испытывать не следует; пока не отдал якорь у пристани—не говори, что дойдешь благополучно.

— Вы страдаете излишней осторожностью.

— Нет, не излишней. Шли мы когда-то на «Рязани» из Нагасаки во Владивосток, везли сиамского короля. Выходя из порта, телеграфировали во Владивосток, что будем такого-то числа, да еще и часы указали —в два часа дня. И не прошли двух часов от Нагасаки, как сели на камень; снялись через неделю, а сиамский король пересел на какого-то угольщика и уехал во Владивосток на японце. А здесь, перед Петропавловском, вот что раз случилось. Плавала тут каботажем шхуна, наши же моряки собрались компанией и работали на ней артелью. Подходят они однажды к Авачинской губе, уже маяк видно стало, и совсем приготовились ночевать в Петропавловске. Капитан пошел в каюту побриться, хотел придти в порт джентльменом. Не успел сбрить одну щеку, как поднялся такой шторм, что через час они были уже далеко в море. Сорвало у них парус, потеряли они мачты, полтора месяца носились по океану, голодать начали, воду всю выпили, от дождей воду простынями собирали и только по компасу видели, что их несет на юг, все жарче станови-

лось. Принесло к какому-то берегу—пальмы растут, пароходы ходят. Взяли их на буксир. Оказывается, на Филиппинские острова попали. Это вместо Петропавловска-то.

Несмотря на такой пример, мы выразили твердую уверенность, что скоро будем в Петропавловске.

Плавание у камчатских берегов трудное и опасное, особенно осенью. Закрытых бухт почти нет.

— Авачинская губа и Петропавловская бухта великолепны, слов нет. Но в тумане не так-то просто попасть в губу с моря. У маяка сильной сирены нет, на гудки она отвечает пушечными выстрелами и, должно быть, экономию на порохе наводит: гудишь-гудишь, пока не надоест ему слушать, выпалит раз, так что не успеешь сообразить, где он, и опять молчит.

Круговой рейс по восточному или западному побережью Камчатки из-за туманов и штормов затягивается иногда на три месяца. Случается, что пароход штормует против какого-нибудь пункта по пятнадцать-двадцать суток, выжидая возможности выгрузки или нагрузки, и, не дожидавшись, уходит дальше. В северном углу Охотского моря на рыбалках, расположенных вдали от населенных пунктов, такие случаи создают очень тяжелое положение. Сорок-пятьдесят рыбаков остаются зимовать без запасов провизии, с одной соленой рыбой, без теплой одежды, и бывает, что некоторые из них гибнут раньше, чем подойдет помощь, в попытках добраться зимним путем до ближайшего торгового пункта, в трехстах и более верст от рыбалки.

Берега однообразны, в тумане не легко опознаваемые.

— Подойдешь к берегу по счислению. «Выходи»,—говоришь рыбопромышленнику.—«Вон твоя рыбалка». «Ну, что я, не знаю своей рыбалки, что ли? Это не моя». Соберутся его рабочие, все смотрят на берег. А от берега из-за тумана выглянет-то кусочек скалы, то домишко, то еще что-нибудь, и опять заволокет. Одни говорят:—«Твоя рыбалка, Петров», а другие:—«Нет, это японская рыбалка». Выкинешь кунгасы за борт, погрузишь и говоришь:—«Садись, Петров, такую твою, а то силой усажу».—«Да что я, кричит, хуже тебя знаю, что ли? Тринадцать лет на своей рыбалке сижу. Не моя!». Довезешь до берега—его рыбалка оказывается... Вот как здесь бывает. И то правда, все рыбалки похожи здесь друг на друга.

Японцы устроились лучше. У их домов на рыбалках ставни разного цвета: на одной—синие, на другой—красные, на третьей—черные, по ним и опознают.

Ни один год не обходится у камчатских берегов без нескольких десятков человеческих жертв во время штормов или при выгрузке через береговой прибой и речные бары.

— Вчера «Алеут» передавал,—сказал радиотелеграфист,—что у них в Охотском море утонуло пять человек. Слышал конец телеграммы, не знаю, во время шторма утонули или при выгрузке.

— В прошлом году в Олюторке, между Камчаткой и Анадырем, был осенью такой случай. Стояли там мы на «Ставрополе» и «Симферополе». Рыбалку там держал Орлов, хороший мужик. Не везло ему, совсем было прогорел, а тут поймал много рыбы, и мы его еще поздравляли с успехом:—«Да, говорит, теперь, пожалуй, из долгов выкарабкаюсь». Погрузили рыбу, кончили все дело и собрались уходить. У Орлова был свой катер, решил он ехать зачем-то на берег. А штормовало здорово, на баре аж кипит.—«Не езди, говорим, подожди, когда утихнет». Не послушал он, всегда смело ходил через буруны. С ним собрались от нас и все береговые власти: милиция, гепеу, таможня, рыболовный надзор, из местных жителей кто-то, всего 14 человек. И сквер-

ная привычка у них: никогда внутрь катера не войдут, толпятся по бортам, диферент нарушается. Мы смотрим. Берег близко, устье речки и бар, как на ладони. Начальство у них с портфелями стоит по бортам, катер прет на полный ход. Дошли до бара, раз подняло их, скрылись за волной, второй раз подняло, смотрим—катер килем вверх, и вокруг только точки чернеются. А как катер перевернуло—якорь упал в воду, и катер бьется на якоре. Восемь человек тут же утонули, шестеро взобрались на катер, кое-как держатся. И мы, и на «Симферополе» моментально спустили катера, кунгасы. Пошли—рвет волной, невозможно подойти. Если бы не якорь, их бы выбросило с катером на берег. Они это сообразили, стали по двое опускаться вниз, к канату, поднимать из воды. Только нагнутся—готово, смоет. Так смыло четыре человека. Последние двое держались полтора часа. Мы и доски к ним бросили, и круги, и на веревке круги пускали, сами разделись, чтобы легче было выплывать, если опрокинемся, ничего нельзя сделать, невозможно подойти, так бьет, что с ног валит. Так на наших глазах и погибли. А скоро катер опять перевернулся палубой вверх: якорную веревку, должно быть, перетерло или вырвало, и его выбросило на берег. На утро всех четырнадцать тут же в разных местах нашли на берегу. Вместе всех и похоронили.

Крупнейшие рыбалки принадлежат госорганизациям, частные же только считаются таковыми, так как владельцы их фактически являются подрядчиками, работающими для госорганизаций и на их средства...

Прошли входной маяк и вошли в Авачинскую губу. Она простиралась далеко вглубь полуострова, стесненная со всех сторон горами, кое-где выходившими с боков высокими мысами, в обхвате которых ютились тихие бухты. За поворотом показалась Петропавловская бухта, над нею, на зеленом скате—светло-серые домики Петропавловска и еще выше, в разрезе двух зеленых гор—величественный, белый от ледников и снегов, правильно очерченный и отсюда, издалека, казавшийся гладким—прекрасный конус Петропавловской сопки.

Почему-то мы должны были стать на якорь в наружной бухте и ждать прихода портового катера с начальством. Он скоро явился. Выполнив формальности, власти уехали на катере в Ковш, внутреннюю бухту, и когда мы вошли туда же, то на пристани нас встретили те же лица, что и на катере. У борта был поставлен милиционер, чтобы проверять удостоверения входивших на пароход и выходивших с него, а по пароходу часа два озабоченно бродили таможенные чины с пломбирами, щупами и остроконечными шомполами, и нельзя было выходить с парохода, пока они не закончили своего хождения.

Петропавловский Ковш—добродушный подарок природы. Авачинская губа сама по себе—со всех сторон замкнутый залив, Петропавловская гавань в ней также окружена горами полукругом, а в гавани, в глубоком углу, приютилась небольшая бухточка, вместимостью на три-четыре парохода, глубокая, с трех сторон окруженная горой и мысом, а с четвертой отдаленная от бухты длинной, узкой, низкой обрывистой косой, как-будто это не коса, а искусственный мол. Название «Ковш» правильно определяет форму бухточки. Между концом косы и высоким мысом против нее остается узкий вход, настолько глубокий, что морской пароход проходит в двух саженях от конца косы.

В Ковше раньше подолгу стояли наши охранные крейсера. Много здесь было в свое время выпито водки и вина, не мало пьется и теперь. Не даром говорят, что в английских лоциях в описании Ковша сказано так: «Грунт—ил и бутылки».

Петропавловск—веселый городок с двумя тысячами жителей. Есть хороший клуб. Сигнальный мыс, охватывающий Ковш, зарос старой рощей, с густыми деревьями, с цветами, мягкой травой и птицами. Большинство населения Петропавловска—служащие учреждений. Один камчатский абориген говорил нам, что, по его подсчету, на каждые четыре человека населения Камчатки приходится один «управитель». Вероятно, подсчет камчадалов весьма преувеличен, но при посещении Камчатки действительно создается впечатление о переизбытке администрации.

Два дня стоянки в Петропавловске ушли на приемку разных товаров от Дальгосторга, и когда на второй день я, наконец, освободился, то был уже вечер, и знакомиться с окрестностями было поздно. Зашел в клуб, где шел сеанс кино. На разбитом пианино добровольцы из публики играли вальсы в качестве иллюстрации к картине; было тесно, душно, потому что в зале собрался почти весь городок.

Утром «Колыма» снялась с якоря, обменялась прощальными гудками с «Индигиркой» и вышла из Ковша. Город остался позади. Долго шли по Авачинской губе, и вот опять впереди обширная даль океана. Солнце сыплет зайчиками по волнам, и пароход облетают чайки, бакланы и морские утки. Путь наш лежал на мыс Дежнева, без захода в промежуточные пункты.

IV. Мыс Дежнева.

До Дежнева мы шли по Берингову морю семь дней, из них большую часть в тумане. Каждые 5 минут звучал гудок, не столько в предупреждение столкновения с редкими здесь судами (мы не встретили ни одного), сколько для того, чтобы по эху определить близость берега и не наскочить на камень. Гудок, казавшийся таким звучным и приятным для слуха в момент отхода и прихода в порт, теперь при его надоедливом, унылом рявканьи в тумане, был глухим и нудным.

На седьмой день из тумана горой выступили черные голые скалы Дежнева мыса. По ровной вершине его ползли, скатываясь в долины, длинные седые космы облаков. От начала мыса в Беринговое море, в посту Дежнева, с факторией Дальгосторга до конца в Ледовитом море, в поселке Уэлен, где находится административный центр Чукотского района, мы шли четыре часа. Все это время высокие, отвесные гранитные скалы тянулись без перерыва, бросая даже в этот мутный вечер суровую тень на свинцовые воды двух притекавших к его берегам морей. Огромная четырехугольная громада мыса достойна служить северо-восточным стражем материка, протянувшегося отсюда через леса, горы и пустыни до знойной Индии и далекой Гибралтарской скалы. Недалеко от мыса, в Беринговом проливе, стоят два небольших острова Диомида—Большой и Малый, между которыми проходит русско-американская граница.

В ясный день с парохода, проходящего у мыса Дежнева, видна Америка—мыс принца Уэльского. Условная государственная граница служит и границей времени: когда на Большом Диомиде воскресенье, то на Малом Диомиде —через четыре мили—еще суббота.

На восточной стороне мыса, как-раз на грани Ледовитого и Берингова морей, против Диомида, на уступе скалы раскинулось, как кучка птичьих гнезд, эскимосское селение Наукан в 30-40 чумов—яранг. Под'ем к нему шел от берега по косой крутой тропинке; яранги лепились друг над другом на фоне высившейся над ними скалы, и неудивительно, что иногда их сдувает ветром в море. У самого селения, на верхушке берегового утеса, еще недавно высоко над морем стоял укрепленный на камнях большой крест-памятник в

память казака Дежнева с доской-надписью на русском и английском языках: «Память Дежнева. Крест сей воздвигнут в присутствии Приамурского генерал-губернатора генерала Унтербергера командой военного транспорта «Шилка» 1 сентября 1910 г. Мореплаватели приглашаются поддерживать этот памятник». Крест служил морякам опознавательным знаком. Какой-то головотяп спилил его, но взамен ничего не оставил.

К ночи туман рассеялся. Здесь солнце уже не заходило и стояло низко на севере, над потемневшими волнами моря. Когда мы обошли мыс, ставший под холодными лучами полуночного солнца еще более величественным, и повернули на запад к «Уэлену»—на северном горизонте показался парус. Он был увеличен рефракцией и, по мере приближения к нам, становился меньше. По гладкому морю с севера шла шхуна, вся выкрашенная в белое, под парусами и мотором, стук которого доносился до нас. Паруса ее и борта розовели на солнце. Проходя мимо нас к Берингову проливу, она подняла на корме американский флаг. Позднее мы узнали, что она принадлежала богатому американцу, плававшему на ней для развлечения, и в Ледовитое море зашла в поисках скелета кита для какого-то университета.

Уэлен протянулся кучкой жалких яранг по песчаному берегу. Между ярангами как-то оголенно, без заборов, торчали два деревянных казенных здания. Дальше к северо-западу по нашему пути тянулись бурые холмы и тундра. Ничего, кроме низкой желтой травы и мхов, ни кустика. Даже строго-деловая лоция гидрографического управления, говоря о Чукотском полуострове, между перечислением мысов, проливов, банок, якорных мест, пеленгов и астрономических пунктов, делает лирическое отступление: «Ужасно бедное и грустное впечатление производит эта богом забытая земля. Серое, обыкновенно, небо; низкие, почти прилипшие к земле, тучи; бурые горы, бурые тундры, бурый берег».

В Уэлене «Колыма» стояла пять часов. С берега приехало несколько русских, местные служащие, от которых мы узнали, что лед здесь угнало от берега на север только десять дней тому назад, и что дальше по берегу, к Северному мысу, лед еще, вероятно, не сломан.

Скучно и однообразно тянется жизнь на Дежневе. Радиостанции нет; летом заходят сюда два парохода: один почтовый, для которого Уэлен—конечный пункт рейса, от него он поворачивает в обратный путь до Владивостока; второй—грузовой, по пути в устье Колымы. Зимою один-два раза приходит на собаках почта из Анадыря. «Колыма» была первым пароходом, пришедшим к ним в это лето.

— Как перезимовали вы эту зиму?

— Неважно. Недавно потеряли одного товарища, кооперативного инструктора. Пошли они вдвоем посмотреть на моржовое лежбище. Когда шли обратно, надо было перейти вброд устье лагуны. Один, высокого роста, перешел благополучно, и ушел в Уэлен по берегу, а инструктор не рискнул и вернулся назад, чтобы обойти по холмам. Долго его не было, на третий день стали его искать. Нашли туловище на берегу моря под скалой, наполовину в воде, а голова, оторванная, отдельно на песке валялась. Может быть, шел во время прилива по верху по скале и упал со скалы. Но почему голова оторвана—не понимаем. Сейчас милиция занимается этим делом. Есть версия, что убили чукчи, так как, по их поверию, на моржовое лежбище ходить нельзя.

На Чукотском побережьи есть излюбленные моржами места, на которые они забираются стадами и лежат подолгу, сонно переворачиваясь с боку на бок. Такие места считаются чукчами заповедными, так как, если моржей беспокоить, они бросают лежбище и перебираются в другое место. Только

через два года в третий, в особо назначенное время, чукчи собираются и бьют на лежбище часть моржей пиками и гарпунами, по выбору, не трогая самок, и с таким расчетом, чтобы в живых осталось несколько старых самцов; молодые на следующий год не придут, если во главе стада не будет стариков, привыкших к этому лежбищу.

— Начальник милиции в марте месяце отморозил себе обе руки. Поехал на собаках без каюра на пост Дежнева, 15 верст по перешейку, и не сумел справиться с собаками, убежали с нартой. Рукавицы в нарте уехали, отморозил руки. Добрался до Дежнева, там заведующий факторией—бывший фельдшер—лечил его, но ничего не мог сделать. Доктора у нас нет. Есть маленькая аптека, перевязочный материал. Руки стали гнить. Заведующий говорит:—«Надо отрезать кисти, а то хуже будет». Посоветовались, решили:—«Режь». А он никогда самостоятельно такой операции не делал, но парень решительный. Положили мы начальника милиции на стол, усыпили его. Мальцев, секретарь нашего ревкома, держит баночку с хлороформом, я—пакетик с хирургическими нитками, заведующий факторией взял бритву и режет. Вдруг Мальцеву дурно стало, начал падать, я успел подхватить его и поволок на двор, а заведующий кричит:—«Давай скорей хлороформ—просыпается». Бросил я Мальцева, схватил хлороформ, сунул под нос начальнику милиции, он опять утих. Отрезал заведующий кисти, кричит:—«Нитки давай, нитки...». Ниток нет. Стали бегать по комнате, искать. А они у меня в жилетном кармане оказались. Потом вспомнил, что я их туда впопыхах засунул, когда Мальцева вытаскивал. Зашили. Ничего, благополучно все сошло, только без рук человек остался; теперь уезжает во Владивосток.

— Жили у нас здесь трое русских, приехали в прошлом году из Анадыря, старые золотоискатели. Промышляли песцов. Мы постановили выслать их с пароходом во Владивосток. Они решили удрать в Аляску. Сели потихоньку, чтобы мы не задержали, в байдару, выбрали ветренное время, чтоб трудней догнать их было, и поплыли на Диомид. Попали в шторм, потонули.

Главным злом в жизни местных служилых людей были не обычные невзгоды унылого северного житья, а вынужденное тоскливое безделье, в котором большинство их проводит десять месяцев в году. На огромном пространстве Чукотского района живет не более пяти тысяч душ чукоч—оленных, кочующих зимой внутри полуострова, и собачных, живущих оседло по берегу моря. Это самая дикая народность Советского Союза. У них нет твердого родового быта, нет об'единяющих жилых центров, общественная жизнь в зародыше. Каждый живет в сотне верст от соседа, кочует в определенном районе, и далекий Уэлен ему чужд и ненужен, известен только по-наслышке. У них родового или племенного и вообще никакого управления, кроме почитания стариков, и созданные теперь лагерные комитеты являются фикцией. Несложные взаимоотношения чукоч между собою, семейные, брачные и всякие другие, вплоть до нарушений нормальных отношений—воровства и убийства, регулируются обычаями и решениями стариков. Раньше всего чукчам нужен приказчик с товарами, потом—фельдшер, учитель и менее всего—милиционер и вообще администрация. Когда к лету оленные чукчи подходят к морю и стоят по всему его двухтысячному побережью, сообщение Уэлена с районами, естественно, прекращается, так как на байдаре нельзя делать больших поездок. Зимой оленные чукчи уходят в горы, к лесам, передвигаясь в день по 5-10 верст, а на берегу остаются оседлые чукчи, почти всегда голодающие, с трудом прокармливающие и себя, и своих собак. Проезд почты из Анадыря по южному побережью полуострова—для населения тяжелая, хотя и оплачиваемая, повинность, а проезд милиционера по северному побережью—

целое событие для его редких обитателей, вынужденных делиться с проезжающим последними остатками корма. Если бы все, кто посылаются на Чукотку в предположении, что они будут всесторонне обслуживать этот район, вздумали познакомиться со своим районом, то для населения это было бы настоящим стихийным бедствием. Поэтому по побережью раз в год проезжает милиционер, остальные же служащие коротают дни и месяцы в Уэлене, ссорясь друг с другом и практикуясь в чукотском языке на населении ближайших 15-20 верст. И чукчи вдалеке живут, как жили, не ощущая никакого удобства от отсутствия начальства.

С настоящего года по Чукотскому полуострову кое-где открываются культурные базы Комитета Народов Севера, построенные по-новому, более правильному принципу. На культбазе, которая сохраняет за собой и административные права, вся работа строится вокруг основного стержня северной жизни—торговли—и проводится через лавку, больницу, школу, об'единяясь по одной линии поднятия культурно-экономического уровня жизни населения.

V. Из истории края.

От Дежнева мыса мы отошли 11 июля. Наш путь теперь лежал сначала на северо-запад, потом на запад, вдоль северных берегов Чукотского полуострова и Якутии, по Ледовитому морю. Начиналось выполнение поставленной «Колыме» задачи: пройти по Ледовитому морю не экспедиционным, а обыкновенным торговым рейсом, на обыкновенном коммерческом судне, выгрузить в устье Лены груз и вернуться в Тихий океан, положив начало регулярному, раз в год, морскому сообщению с Леной.

Северный Морской Путь из Европы в Азию, осуществить который пытались, начиная с XVI века, голландцы, англичане, норвежцы, шведы и русские, после целого ряда экспедиций, сопровождавшихся часто гибелью судов и экипажей, до сих пор, как торговый путь, не открыт. Нескольким судам, из которых первой была «Вега» Норденшельда в 1878 г., удалось в два года пройти вдоль всего северного побережья Азии в восточном и западном направлении. В конце-концов, торговое мореплавание по этому пути разбилось на отдельные части, по которым успешно и развивается. С запада через Карское море в устья Оби и Енисея ежегодно ходят караваны судов, так называемые Карские экспедиции. С востока, из Владивостока, также ежегодно совершаются рейсы в устье Колымы. Наш пароход должен был продолжить восточную часть пути дальше на запад, за Колыму, до Лены.

Обе части пути, карская и ленская, повторяют плавания «промышленных и торговых людей» XVII и XVIII века. Студеное море в течение полутораста лет посещалось смелыми искателями наживы, пробиравшимися на больших парусных лодках, «кочах», вдоль берега, по чистой воде и между льдами, из устья одной реки в другую.

В той части побережья Ледовитого моря, которую должны были пройти мы, впервые вышел из устья Лены в море в 1633 году якутский казак Иван Ребров и, плывя вдоль берега к востоку, открыл устье реки Яны (приводимые здесь данные взяты из брошюры В. Ю. Визе, изданной Академией Наук в 1926 году).

В 1636 году, плывя далее к востоку, Ребров открыл устье Индигирки. В 1640 году Ребров тем же путем вернулся через устье Лены в Якутск; в своей челобитной он пишет:—«Преж меня на тех тяжелых службах, на Янге (Яне) и на Собачьей (Индигирке), не бывал никто, проведал я те дальние службы». С первых же лет плавания по новым водам начались и вынужденные зимовки и гибель кочей и людей. В 1637 году казак Елисей Буза недалеко ушел от

устья Лены:—«Тут-де их и мороз взял». В материалах того времени часто говорится:—«За случившимся того лета многим льдам нельзя было ходить по морю свободно»; «с великою нуждою из того льду выбивались и просекались», «во льду пробивались подле земли»; «подвергаемы были беспрестанным опасностям ото льдов, между коими с великим трудом пробивались»; «яко к стене мятые льдины загустились, а сзади наплыло много льдов, и судно притеснило» и т. д. Несмотря на частичные неудачи, продвижение на восток продолжалось. В 1642 году казаки Дмитрий Ерило и Иван Ерастов прошли из устья Индигирки в устье Алазеи. В 1644 году казак Иван Беляна в две недели прошел из устья Алазеи в устье Колымы. В 1646 году Исай Игнатьев, родом из Мезени, ходил на коче из Колымы до Чаунской губы. В 1647 году торговый человек Федот Алексеев, родом из Холмогор, снарядил четыре коча и пошел из Колымы на восток с торговыми целями, но из-за льдов ему пришлось повернуть обратно. В 1648 году Федот Алексеев снарядил семь кочей и вышел из Колымы 30 июня; это замечательное плавание составляет заслугу, главным образом, Алексеева, к которому, по его же просьбе, были властями прикомандированы казаки Семен Дежнев и Герасим Анкудинов. Семен Дежнев в своей челобитной царю пишет: «А обо мне, холопе твоем Семенке, те торговые и промышленные люди били челом, чтоб мне, холопу твоему, итти с ними вместе для твоего государева ясачного сбору и для приску новых неясачных людей и для твоих государевых великих дел». Из семи кочей 30 сентября достигли мыса, который теперь называется мысом Дежнева, только три коча, остальные погибли с людьми в борьбе с морем и в битвах с туземцами. В Беринговом море коч Дежнева и коч Алексеева были раз'единены бурей. Часть экспедиции с Дежневым попала в Анадырь, а Алексеев достиг Камчатки.

Различие в условиях плавания между Леной и Колымой и Колымой и Беринговым проливом было не в пользу второй половины пути. В то время, как между Леной и Колымой ходили в обе стороны десятки кочей ежегодно, плавания от Колымы к востоку были редки и совершались с большими трудностями. Последней крупной попыткой торговых людей использовать этот путь было плавание купца Никиты Шалаурова. В 1761 году он вышел из устья Лены 21 июля (н. с.) с целью дойти до Берингова пролива, но 29 сентября из-за льдов и позднего времени повернул от Медвежьих островов на зимовку в Колыму. В следующем году он с трудом добрался до Чаунской губы и вернулся в Колыму. В 1764 году Шалауров опять пошел к востоку и погиб со всеми спутниками у Шелагского мыса.

Постепенно прекратилось плавание и между Леной и Колымой. Бежавшие из-под Якутска от русского гнета оседлые якуты колонизовали верховья Яны, Индигирки и Колымы, оттеснив кочующих аборигенов. Если раньше было удобнее возить товар по морю, чем по горам материка, без проложенных троп и зацепок в виде постоянных жилищ, то с появлением оседлого населения продвижение грузов по суше значительно облегчилось и стало гораздо безопаснее и надежнее, чем по морю, то покрытому льдом, то волнуемому штормами. Да и люди перевелись, необходимые для таких плаваний. Край был покорен, появились земские губы и ярыжки, потом суды и комиссары—некого было наново об'ясачивать, не с кем было впервые торговать. Выгоды торговли и службы приняли устойчивый характер. И смелые землепроходцы—полуразбойники, полукупцы—потянулись на новые места: в Забайкалье, на Амур, через Охотск—в теперешнюю Аляску. Те, которые остались в устьях покоренных ими рек, дали начало существующему на них и сейчас русскому населению; но какому?.. До последних лет в устье Лены числилось десятка полтора душ, составлявших «усть-оленекское крестьянское обще-

ство»; в усте Яны—столько же душ «усть-янского крестьянского общества»; все они совершенно об'якутели, а некоторые и не знают, что они русского происхождения. В устье Индигирки и на Колыме есть довольно сплоченное, обособленное от других народностей, русское население, сохранившее свой язык и обычаи. Тяжелая северная жизнь, гнетущий климат, хронический голод и постоянное питание, из поколения в поколение, рыбой наложили на них печать вырождения. Странно было встречать среди них фамилии казаков и торговых людей, знакомые по истории покорения края, по старинным документам; думалось:—«Неужели ты, шепелявящий, хилый, лениво-беспечный, неподвижный, робкий, с редкой бороденкой, неужели ты—правнук бородатого сильного казака, пришедшего сюда из Великого Устюга или Вологды, через всю Сибирь, по тундре, тайге и холодному морю, воевавшего здесь не только вооруженным пищалью, но и в рукопашную, с мечом и кистенем, падавшего израненным по острожкам при набеге доведенных до отчаяния дикарей и опять жестоко усмирявшего и покорявшего их?..

На примере Колымы мне довелось увидеть, как изменение условий существования влияет на население. До 1911 г. в Колымский край ввозилось муки и товаров 4-5 т. пудов в год, да более и не могло ввозиться по состоянию путей. Цены были очень дороги. С 1911 г. в устье Колымы ходят пароходы и ввозится ежегодно 25 т. пудов, которые разными путями расходятся среди населения.

Колымчане теперь реже едят тухлую рыбу и чаще свежую, у них есть соль, сахар; хлеб постепенно становится основным предметом питания; чаще появляется на столе масло; экономическое состояние населения улучшилось. Многое еще нужно для того, чтобы жизнь колымчан стала удовлетворительной, но и сейчас заметно, что у молодежи спина прямее, взгляд более открытый, движения решительней и характер независимей, чем у старшего поколения.

Развитие морского пути и каботажа по Ледовитому морю должно остановить вырождение русского и тунгусского населения и в других областях севера...

Изучение восточной части Ледовитого моря с целью открытия по нему мореплавания было начато по приказу Петра Великого. Участники Великой Северной Экспедиции—Прончищев, Ласиниус, Дмитрий и Харитон Лаптевы,—уже после смерти Петра, с 1735 г. по 1741 г. совершили из устья Лены ряд плаваний в чрезвычайно тяжелых условиях. Описание их трудов полно авариями, борьбой со льдами, гибелью судов, скитаниями по плавучим льдам летом и по безлюдным снежным берегам зимою. После одной из неудач Дм. Лаптев в 1736 г. решил:—«И на предбудущий год на море не выходить, понеже к проходу до реки Колымы и до Камчатки, по всем обстоятельствам, ныне и впредь, нет никакой надежды». Несмотря на такое категорическое заявление, тот же Дм. Лаптев в 1739 г. вышел из устья Лены и осенью был затерт льдами между Яной и Индигиркой; долго их носило со льдами по морю, и до устья Индигирки они добрались пешком, когда море замерзло. Из Индигирки Дм. Лаптев на следующий год дошел на боте до Колымы и дальше на восток, но принужден был вернуться из-за льдов в Колыму. Не удалось ему пройти к Берингову проливу и в следующем году, также пришлось вернуться в Колыму. После этой последней попытки Лаптев с полным правом постановил: «Впредь на оное море ботом не выходить».

Период работ Великой Северной экспедиции совпал с крайне неблагоприятным состоянием льдов в море, и неудивительно, что, формулируя общее мнение, академик Г. Миллер дал в 1758 г. такой ответ на поставленный еще

Петром вопрос: «Уповательно, ныне уже никому на мысль не придет, чтоб еще производить кораблеплавание по показанному морю».

Но то, что было невозможно для кочей, ботов и дуббельшлюпов—стало возможным для пароходов.

В 1878 г. суда экспедиции Нордельшельда «Вега» и «Лена» пришли с запада, обойдя мыс Челюскина, к устью Лены. Пароходик «Лена» вошел в реку и работает на ней до настоящего времени. «Вега» пошла дальше и после зимовки у Колючинской губы вышла в Берингов пролив.

В 1893 г. Нансен на «Фраме» приплыл от Челюскина мыса в море Лаптевых и от Ново-Сибирских островов начал свой дрейф на север.

В 1901 г. по тому же пути пришла «Заря», судно экспедиции Э. В. Толля, и после зимовки на Ново-Сибирских островах вошла в бухту «Тикси», близ устья Лены, где была оставлена на мели из-за отсутствия угля.

В 1911 г. на нашей «Колыме» был сделан первый грузовой рейс из Владивостока в устье Колымы, и с тех пор колымские рейсы совершались ежегодно, с перерывом на время гражданской войны.

В том же 1911 г. начались работы гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. В 1912-1915 г. г. транспорты экспедиции «Таймыр» и «Вайгач» прошли море между мысами Челюскина и Дежнева в нескольких направлениях. Произведенная ими работа очень велика: карты, промеры и данные для лоции, составленные «Таймыром» и «Вайгачем», являются следующей ступенью после работ Великой Северной экспедиции.

1919-23 г. г. в этих же водах плавал Амундсен на «Mand».

Результатом перечисленных экспедиций должно было явиться торговое мореплавание в Ледовитом море, частично осуществленное колымскими рейсами и развиваемое дальше нашим рейсом в устье Лены.

Все на «Колыме» отдавали должное морякам, проходившим до нас по нашему пути; без их усилий невозможен был бы и Ленский рейс «Колымы».

VI. В Ледовитом море.

В тот же день, 11 июля, недалеко от мыса Сердце-Камень, «Колыма» встретила первые льды. Это были большие плоские береговые льдины, между которыми оставались широкие каналы воды. И без сведений от чукоч, на-глаз было видно, что это—береговой лед, который недавно взломало; он расползся по морю пластинами и стоял здесь до ветров, которые должны были или унести его на север, или опять сбить в плотную массу и прижать к берегу, но уже изломанным и торосистым.

В результате накопившихся наблюдений установлено, что в море Лаптевых и в Восточно-Сибирском море лед у берега взламывается в июле, и море очищается сколько-нибудь ото льдов только к августу, когда часть льда успевает растаять, а часть уносится ветрами к северу. Навигационное время здесь—август и сентябрь. «Колыма» вошла в Ледовитое море на три недели ранее, чем большая часть проходивших здесь до нее судов. Капитан «Колымы» хотел не потерять ни одного дня, возможного для плавания, и быть у льда в тот момент, когда он еще только отходит от берега, даже если для этого где-нибудь придется простоять одну или несколько недель без движения, в ожидании. Поэтому встреча со льдами в самом начале пути никого не обескуражила; мы знали, что впереди льду будет еще больше, но и времени в запасе для его прохождения, до конца сентября, у нас тоже было еще много.

Плавание в Ледовитом море для людей, боящихся качки, хорошее. Нет простора для валов, негде им расходиться между льдинами, и пароход идет по каналам между льдами, как по тихому озеру.

День был туманный, серый. Штиль. «Колыма» шла средним ходом. Прошли прижавшийся к берегу островок Идлидля. Льдины стали попадаться чаще, начали встречаться полосы, тянувшиеся на версту и более. Замедлили ход. К вечеру льды еще более сгустились и окружили «Колыму» большими белыми полями. Остановились у одной из льдин. Несмотря на полное отсутствие ветра, льды не стояли неподвижно; течение медленно передвигало их, открывая проходы по разным направлениям. Когда открылся проход на северо-запад, «Колыма» тронулась тихим ходом дальше. Скоро опять стала, опять пошла и так, часто останавливаясь, прошли всю ночь.

В команде «Колымы» из 39 человек было несколько побывавших в Ледовитом море, но для большинства и почти для всех пассажиров такое обилие льда было в диковину.

Так же медленно продвигалась «Колыма» и на следующий день. Старший помощник старался что-то разглядеть в тумане на берегу. В 1919 г. он ходил в Колыму на «Ставрополе», но «Ставрополь» с трудом дошел во льдах до Северного мыса и в сентябре, не дождавшись возможности прохода во льдах, поворотил обратно. Наступили морозы, льды сковало, и «Ставрополь» зазимовал у берега здесь, между островом Идлидлей и Колючинской губой.

По берегу моря до Колымы изредка встречаются стоянки чукоч. Было такое селение и у Колючинской губы, но мы не могли увидеть его из-за тумана.

Днем мы заметили, что с севера, в тумане, среди льдин, к нам пробирается кожаная байдара с пятью чукчами. Когда они подошли, мы бросили им конец, чтобы привязать байдару, и они взобрались на палубу. В байдаре лежали три нерпы, толстые, серые, недавно убитые, с кровавыми ранками в маленьких головках. Чукчи подтвердили, что лед здесь отошел от берега недавно. Угостили их чаем и галетами; осушив ведерный чайник, они сползли по канату в байдару и поплыли к берегу.

У острова Колючина пароход делал несколько попыток пройти по разным направлениям, но куда ни шел—натыкался на сплошной лед. В одном месте за небольшой перемычкой льда виднелся канал воды, тянувшийся вдоль берега. «Колыма» стала у перемычки на якорь, изредка меняя положение, когда с боков незаметно придвигались льдины и грозили сдавить с двух сторон. На следующий день перемычка разошлась, и «Колыма» пошла дальше.

За Колючинской губой положение льдов опять изменилось. Мы шли полным ходом по широкой береговой полосе воды, встречая изредка небольшие льдины, а к северу, справа от нас, лед тянулся беспрерывной сплошной полосой. Видно было, что он стоит здесь так, как его оторвало и отнесло от берега, целиком; еще не было ветра, который подгонял бы поля и ломал их на большие куски.

Недалеко от Северного мыса мы прошли мыс, у которого наша «Колыма» зимовала в 1914 г., возвращаясь из Колымы. И опять на мысу виднелась могила: здесь похоронен механик, неперенесший зимовки.

В полдень 14 июля пришли к Северному мысу. Он выходит далеко в море острозубчатой стеной, а с материком соединяется низкой песчаной косой, поросшей травой. На косе растянулся десяток чукотских яранг и стоит домик—фактория Дальгосторга. Все оголено, и с какой стороны мыса к косе ни подойдешь—с востока ли, с запада ли—коса едва поднимается над водой и льдинами, застрявшими на песке, а над косой торчат бугры яранг и дом фактории; у фактории на шесте—красный флаг в честь нашего прихода.

Джемс Кук побывал и здесь. Он дошел до мыса Северного со стороны Берингова пролива в 1778 г., встретил льды и вернулся в Тихий океан; там на

Маркизских островах погиб под ударами дикарей этот неустрашимый мореплаватель.

«Колыма» стала на якоре с западной стороны мыса и приготовилась к спуску гидропланов на воду. Отсюда они должны были лететь на о. Врангеля, через пролив Лонга, шириной в 210 в.

В 1823 г. лейтенант русского флота Врангель, производя научные изыскания на Чукотском полуострове, узнал от чукоч, что в ясную погоду с мыса Северного и мыса Якан видна в море какая-то земля. Врангель пытался достигнуть этой земли зимой на собаках, но неудачно. Врангель первый нанес приблизительно на карту местоположение острова и дал сведения о нем в своей книге.

В 1849 г. с острова Геральда видел о-в Врангеля капитан английского судна Келлет, назвал остров «Землей Келлета» и, издали, об'явил о присоединении его к английским владениям.

Американский китобой Томас Лонг в 1867 г. ближе всех подошел к острову и прошел вдоль всего его южного берега. Лонг назвал остров в честь первого, сообщившего о нем, островом Врангеля.

В 1881 г. на остров, наконец, высадились люди. Капитан Гупер поднял на нем американский флаг.

В 1911 году транспорт «Вайгач» установил на острове астрономический знак.

В 1914 г. канадский полярный исследователь Стефансон снарядил экспедицию, из судов которой одно погибло у о-ва Врангеля. Экипаж добрался до острова, но по пути, а также и позднее, из его состава погибло 11 человек. Оставшиеся были спасены промысловой шхуной.

В 1916 г. русское правительство по поводу открытия «Таймыром» и «Вайгачом» новых земель обратилось к американскому, английскому и другим правительствам с сообщением, в котором еще раз подтвердило принадлежность к России всех лежащих к северу от Сибири островов, в том числе и о-ва Врангеля. Ни одно правительство не возражало, и никаких сомнений принадлежность о-ва Врангеля к России не возбудила.

Но в период гражданской войны, в 1921 г., Стефансон направил на остров небольшую промысловую экспедицию из пяти человек, которая добралась до острова и подняла на нем английский флаг, об'явив о присоединении острова к Великобритании. В 1922 г. шхуна, которая должна была доставить на остров продовольствие, не могла добраться до него; трое участников экспедиции пошли зимой на материк и погибли во льдах, четвертый умер на острове, и когда в 1923 г. на остров пришла вторая партия, отправленная Стефансоном, то нашла на острове в живых только одну эскимоску.

В 1924 г. на остров Врангеля был послан из Владивостока небольшой ледокол «Красный Октябрь». Он поднял на Врангеле советский флаг и вывез 14 человек находившихся на острове людей, посланных Стефансоном.

Для окончательного закрепления острова за Советской Россией в 1924 г. на него было доставлено 60 человек, в том числе врач и начальник острова с семьями; остальные—чукчи—промышленники с семьями. Наши самолеты должны были увезти им почту и выяснить, в каком положении находится колония.

Приехавшие с берега чукчи рассказали, что лед отошел от Северного мыса только накануне нашего прихода. У берега плавали по спокойной воде небольшие льдины, а дальше к северу лед стоял плотной массой, над которой должны были пролететь самолеты. Они были готовы к полету на другой день. Стояла тихая ясная погода. Под'ем для самолетов был труден, для разбега им

нехватало чистого пространства воды. Первым должен был лететь «Юнкерс», а за ним более сильный и быстроходный биплан «Савойя». На половине пути «Савойя» должен был нагнать «Юнкерс».

Зажужжал мотор, и «Юнкерс», распластав белые крылья, понесся по воде между льдинами. Вот он оторвался от воды и поднялся на воздух. На льдине у парохода стояли чукчи. Обычно они очень спокойны и невозмутимы, но когда увидели, как полетел гидроплан, зашевелились и оживленно заговорили.

— Какуме (удивительно)!—восклицали они.

Забирая высоту, «Юнкерс» сделал круг, пролетел над пароходом, при чем чукчи шарахнулись в сторону от рева мотора,—и полетел на север, надо льдами. Он становился все меньше, шум его затих; некоторое время он держался над горизонтом точкой на фоне облаков и скоро исчез.

Через три часа взлетел темно-зеленый «Савойя» и также скрылся на севере.

Мы уверены были, что самолеты, достигнув через два часа острова, останутся там переночевать, но часов в десять вечера, через четыре часа после отлета «Савойи», кто-то на палубе крикнул:

— Самолет летит назад.

Над пароходом пронесся «Савойя», сделал круг и улетел к берегу; там он спустился за мысом в лагуну, в 12 верстах от парохода.

Мы не знали, что же случилось? почему так скоро вернулся «Савойя»? где «Юнкерс»? Солнце опустилось надо льдами и косо светило на побагровевшие холмы материка. Через два часа летчики «Савойи» перебрались на байдаре на пароход и рассказали, что они летели в сторону Врангеля два часа, не обнаруживая земли. Надо льдами местами стоял густой туман, а в конце пути, сделав поворот к востоку, они летели над водой. Стены тумана скрывали горизонт, и им пришлось повернуть обратно. У парохода не решились спуститься из-за льдин и пролетели в лагуну.

— Завтра доставим на самолет бензин и полетим опять.

Они вылетели на другой день вечером.

Прошла ночь, прошел еще день, а самолеты не возвращались. Были основания беспокоиться о их судьбе: вынужденная посадка среди льдов означала гибель, так как даже исправный самолет не смог бы со льдов подняться; его носило бы со льдами, а летчики по плавучему льду не могли бы добраться до берега.

Вечером 17 июля один за другим вернулись и спустились у парохода самолеты: «Юнкерс» благополучно долетел до колонии в первый же раз, и когда на другой день собрался лететь обратно, то увидел «Савойю». Они переночевали на острове еще ночь и на другой день полетели к пароходу.

В колонии все обстояло благополучно. Завезенных продуктов было достаточно, цынги не было. Пушной промысел оказался плохой, пушнины самолеты привезли мало.

В факторию в этот вечер издалека пришел чукча и рассказывал, как он увидел самолеты. Шел он с винчестером, дорогой никого не стретил и о самолетах ничего не знал.

— Смотрю—с моря летит большая птица, шумит. Я испугался. Думаю: если она на меня налетит, выстрелю, убью. Если будет очень большая—не буду стрелять, убегу. А она прилетела—и села на воду. А потом еще одна. Вижу—из птицы люди вышли. Легче на душе стало, пошел в факторию.

18 июля «Колыма» пошла дальше, сначала в густых льдах, а потом по выходе из пролива Лонга, пошла по чистому морю, с редкими мелкими льди-

нами. Прошли остров Шалаурова, у которого зимовал в 1924 г. «Ставрополь»; и здесь осталась после зимовки на голом диком берегу одинокая могила. За Шалауровым берег тянется обрывистой скалой, повышается и выходит в море у начала Чаунской губы высоким массивом Шелагского мыса... В ряду многих других мысов от Берингова пролива до устья Лены выделяются, как грозные часовые у широко раскинувшегося лагеря, три величественных мыса: Дежнева, Шелагский и Святой Нос, последний у входа в море Лаптевых.

Чаунскую губу пересекли, не видя льда. У острова Айона, к северу от которого далеко в море тянется отмель, вошли в густые льды и ждали прохода около суток. Здесь зимовал в 1919 г. Амундсен на «Mand». Потом лед немного разошелся, и «Колыма» медленно двинулась дальше. Ближе к устью Колымы встретили чистую воду. 21 июля остановились на один час у низкого Медвежьего мыса, у входа в Колыму. Сзади нас шел колымским рейсом «Ставрополь», к приходу которого должен был выехать из реки на Медвежий мыс лоцман. «Колыма» дала несколько свистков, но никакого ответа или знака с мыса не получила, только эхо гулко разнеслось по горам и тундре; лоцмана на мысу еще не было.

VII. По новому пути.

Пошли дальше, по новому курсу, на север. Мы начинали тот путь, ради которого была послана «Колыма», по которому до нас проходили когда-то парусные кочи, а после них—только «Вега», «Таймыр» и «Вайгач», «Mand»и в прошлом году шхуна Якутторга «Полярная Звезда».

К вечеру подошли к Медвежьим островам, у одного из которых провела свою последнюю зимовку «Mand», и простояли здесь у Крестовского о-ва сутки. В проливах между островами стоял местный рыхлый лед, как в пруду ранней весною, среди которого мы шли тихо, но уверенно. По мысам и приметным камням на островах, пользуясь указаниями «Таймыра» и «Вайгача», капитан взял поправку компаса, показания которого изменились с перестановкой самолетов на полубе, произведенной после полетов на Северном мысе.

Вскоре после того, как мы отошли от Крестовского острова, рыхлый и тонкий лед островных проливов заменился полосами обыкновенного морского, непроходимого льда. Пытаясь обойти его, «Колыма» прошла двадцать миль на север. Один из работников Великой Северной экспедиции Андреев когда-то видел гусей и куликов, летевших на север от Медвежьих островов, и высказал предположение о существовании там земли. «Таймыр» и «Вайгач», по своим наблюдениям, также считали вероятным существование «земли Андреева» по тому направлению, по которому теперь удалялась на сеьер «Колыма». Но наше судно не создано для отыскивания полярных островов, и забираться во льды далеко от берега ему не следует. Капитан повернул обратно, к Крестовскому острову.

В следующие дни легкие южные ветра разогнали льдины и отнесли их к северу. «Колыма» стала медленно продвигаться на запад. Дно здесь настолько мелкое что мы, стоя на якоре на 25 футах глубины, не могли увидеть берег даже с марса; кругом, насколько хватал глаз,—спокойное море ледяных полей, блестящих под солнцем, прорезанных голубыми каналами воды.

24 июля было даже жарко, 26° С на солнце. Из Колымска по радио сообщили, что там также стояли жаркие дни с грозами, что на крайнем севере случается очень редко. Корреспондент «Тасса» в одних трусиках залез в шлюпку и блаженствовал под солнцем; он в это лето должен был ехать в Крым, но вместо Крыма, попал на «Колыму».

— Зато могу сказать, что принимал солнечную ванну в Ледовитом море. Не хуже ялтинского пляжа!

Ясная и тихая погода сопутствовала нам от Северного мыса. Но 25 июля подул довольно сильный норд-вест. Сразу похолодело, и все заволокло мокрым туманом. «Колыма» успела во-время розыскать огромную стамуху (стоящее на мели нагромождение торосов) и стала на якорь под ее защитой. Льды опять подошли с севера и столпились вокруг нас в тумане. Было так холодно, что на палубе вода в ведрах мерзла; не верилось, что накануне любители ходили по палубе нагишом, а теперь им пришлось одеть шубы. К вечеру ветер перешел на норд, потом на норд-вест, и на следующий день подул сильный восточный ветер. По мере того, как менялось направление ветра, «Колыма» меняла свое положение за стамухой, прячась за ее высоким хребтом от нажима льдов с подветренной стороны.

Восточный ветер опять разнес льды и погнал их мимо «Колымы» на запад. Путь открылся. Под свинцовым небом протянулись широкие полосы воды, по которым бесконечной вереницей проносились большие поля и мелкие льдины, подгоняемые шумными всплесками волн. Стамуха, у которой мы стояли, была целым островом из ледяных холмов выше мачт «Колымы», и мы, глядя на нее, рассуждали: сколько же потребуется теплых лет, чтобы она расползлась и растаяла?

Мы получили наглядный ответ. Ветер на следующий день, 27 июля, продолжался еще с большей силой. Полосы воды заняли большую часть моря, и теперь по этому морю на всем пространстве шли с востока и проходили на запад льды, располагаясь большими белыми расплывчатыми полосами, за которыми, обгоняя их и торопясь, шли более легкие мелкие льдины. Напирая на стамуху, льды с шумом поворачивались и уходили стороною, но постепенно от стамухи стали отламываться все большие куски. Набегавшая волна била в нее с такой силой, что брызги летели высоко вверх, а из-под низу стали выворачиваться и всплывать на поверхность размытые куски тороса. К следующему утру от ледяного острова остался небольшой холм, вот-вот готовый сдвинуться, рухнуть и пойти обломками вслед за другими льдинами.

Ветер хорошо расчистил нам дорогу. Два дня «Колыма» шла между редкими льдами, изредка останавливаясь из-за надвигавшихся туманов, все время не видя берега. Только со слов вахтенных помощников, когда они кончали свои определения и исчисления, мы узнавали, что прошли устье Алазеи, потом Индигирку, Гусиную губу и подошли к Хромской губе.

У Храмской губы (между Индигиркой и Яной) льды опять остановили «Колыму». Пришлось ждать, когда непрекращающийся восточный ветер, наш «союзник», как его называла команда, расчистит путь. Как только поредели льды, мы медленно тронулись дальше. Шурша по борту, проходили назад льдины, и одна из них попала под корму и повредила винт «Колымы»; повреждение оказалось незначительным и не задержало нас.

Дни стояли туманные, иногда падал снег. В одно утро я проснулся в каюте от сильного толчка; слышно было, как задрожали борта парохода. Это мы в тумане наткнулись на льдину. Хорошо, что шли малым ходом и отделались только усилением течи в судне.

До Колымы в глубоких местах море было оживленней. Там изредка встречались и люди: чукчи на байдарах в море, чукотские стойбища на берегу. До Колючинской губы попадались и киты и кашалоты, тяжело ворочавшиеся по поверхности перед нырянием вглубину. Несколько раз мы видели и одиноких моржей; увидев пароход, морж приподнимал повыше голову с серди-

тыми усами и свисавшими вниз клыками и бултыхался вглубину, показав тяжелый зад.

От Колымы на мелких глубинах мы видели только нерп и очень редко—лахтаков (крупных тюленей). Берега здесь пустынны. Якуты, тунгусы и местные русские на море не показываются и морским промыслом не занимаются. Моржи держатся далеко на севере от этих берегов, где начинаются большие глубины, и ходят тяжелые глыбы полярного пака (льда). Туда же на лето уходят и белые медведи.

В этой части моря были и другие породы чаек. Они и (реже) стайки уток нарушали общую картину безжизненности. Белые силуэты льдов, перламутровые туманы, смутные горизонты в миражах отраженных льдов, бледное небо—все создавало неясное впечатление, особенно ночью, когда тусклое солнце стояло над горизонтом; и море, и это необычное ночное солнце средя льдов отодвигали в далекое прошлое иные края, с ярким солнцем и темными ночами. Как-будто остановилось время, и мы плывем и не плывем...

Прошел Анодин, матрос 1 класса, огромный, толстый. Истукан на глиняных ногах, как его называли товарищи. Он поднялся на бак и пробил две склянки. Вот и время напомнило о себе; десять часов вечера—можно сыграть партию в шахматы и идти спать...

Под конец пути однообразие плавания порядком утомило. Видно было по состоянию льдов, что мы дойдем до цели благополучно, зимовки не будет. Не придется мне организовывать новый торговый пункт на пустынном берегу, строить склад, опять об'езжать знакомые северные поселки и двигать грузы по разным направлениям, на собаках, оленях, а там, южнее, и на конях. Моя роль сводилась к роли простого передатчика груза на речной пароход в устье Лены. Фактуры, счета давно готовы; пора бы уже и доехать.

Каждый член экипажа «Колымы», отправляясь в этот рейс, знал, что ему может предстоять зимовка. Все хотели избежать ее и вернуться благополучно домой, но часть мирилась с зимовкой и не боялась ее, это те, кому уже приходилось зимовать в Ледовитом море. Они утешались тем, что за время зимовки получат двойное жалованье. Их на пароходе называли «зимовочной компанией». Зимовочники запасались капканами для песцового промысла, и теперь над ними подтрунивали.

— Ничего, наши акции еще на 50 проц. держатся,—отшучивался толстенький радист.—Еще половина дороги остается—назад; может быть, там зазимуем.

— Продавай капканы, двадцать копеек дам,—нападал на него старший механник Эдуард Ансович, латыш.—Со равно пропадут. Потом будешь доплачивать по двадцать копеек,—не возьму.

У входа в Лаптевский пролив отделяющий Ново-Сибирские острова от материка, туман и льды обступили «Колыму» еще плотнее. Причалили к большей льдине, выбросили на нее шланг и стали брать пресную воду. Матросы увидели на льдине песца и поставили ловушку на него, но скоро мы тронулись дальше и ловушка, и песец остались на льдине.

Жизнь на корабле протекала однообразно, в размеренном круговороте вахт для команды и администрации и в довольно скучном прозябании для нас, пассажиров.

Иногда в теплый, светлый вечер музыканты из команды и пассажиров собирались на палубе и играли на гитаре, мандолине и балалайке. Музыка неслась по льдам и волнам, на удивление любопытных нерп и насупившихся лахтаков, высовывающих из воды усатые головы.

Я вспомнил рассказ товарища, который провел лето на Ново-Сибирских островах с промышленниками за мамонтовой костью. Промышленники-якуты, чтобы подманить нерпу ближе к берегу, пели свои заунывные, монотонные песни; нерпа не приближалась; «а я слушал-слушал, не мог удержаться, и как ударил «Во саду ли, в огороде», нерпа сразу ближе подплыла. Так и пели: они свое, а я «Во саду ли, в огороде», так что звон стоял; нерпу все-таки убили».

Когда тают под солнцем льды, то часто туман от таяния льдов стоит над ними густой, но низкой пеленой. Космы его прорываются вверху, и тогда в просвете ярко блеснет луч солнца и опять погаснет. В такие дни бывает тепло, тихо, только слышится шуршание осыпающегося льда. Туман кругом—молочный, пронизанный отблесками света сверху, очертания льдин призрачны, блики темной воды кажутся черными блестящими пятнами на перламутровом фоне льдов и тумана.

Впервые после Медвежьих островов мы увидели землю, когда туман рассеялся, и вдали, слева, показался Святой Нос—высокий, резко очерченный, с изломанными линиями вершины. Справа, ближе, виднелся остров Ближний с невысокой двойной горой, которую промышленники называют Титькой.

У входа в море Лаптевых мы остановились, чтобы с горы острова Ближнего осмотреть льды. На острове никого не оказалось. За последние годы поездки промышленников с материка на остров за мамонтовой костью, которой богаты Ново-Сибирские острова, прекратились, так как понизившаяся цена кости не оправдывает расходов по поездке.

Через два дня, пройдя море Лаптевых вдоль берегов, мы подходили к Лене. Ее мощное течение держало льды далеко в море, и под конец мы шли по широкому водному пространству, без льда, так что ветер здесь смог даже развести довольно крупную зыбь.

VIII. У цели—и обратно.

5 августа мы вошли в бухту Тикси, в 35 милях южнее устья Лены. Войти в самое устье, окруженное широкими и мелкими барами, мы не могли. Те же, что и по всему побережью, бурые голые горы и тундра окружали бухту, глубокую и защищенную от ветров. «Колыма» осторожно вошла в бухту и подошла к берегу. Кругом было тихо и пустынно. Глубокий рев нашего гудка долгим эхом прокатился над водой и горами, еще раз и еще раз. В ответ—тишина, в бухте никого не оказалось; речной пароход с баржами, который должен был нас здесь встретить, еще не пришел.

У берега лежал обгорелый накренившийся остов «Зари»—яхты экспедиции Толя. Поверх воды виднелась палуба, над ней труба и надрезанное основание мачты. Тунгусы, желая воспользоваться свинцовыми частями, пытались растопить их, и вызвали пожар на яхте. Теперь она уже ни на что не годна и служит суровым памятником уцелевшим и погибшим полярным исследователям.

Быстро спустили катер и обследовал место для выгрузки груза. На другой день с раннего утра загремели лебедки, выбрасывая груз из трюмов за борт, в кунгасы, засновал катер с кунгасами от парохода к берегу и обратно, и на берегу стала расти горка кулей, ящиков и бочек.

Команда работала дружно. Крепкие словца и звонкий хохот отпугивали чаек, с любопытством носившихся над бухтой.

— Старайся, старайся, Остров,—кричали матросы своему товарищу, сгибавшемуся под тяжестью большого тюка.—Помнишь, как во Владивостоке кричал: «Постараемся!».

Гидропланы были также спущены на воду и приведены в порядок. Мы распрощались с летчиками. Они уселись на свои места, загудели пропеллеры и гидропланы понеслись по воде бухты. Вот они оторвались от воды, пролетели на фоне горы и скрылись в облачном небе. Путь их лежал далеко: по Лене до Якутска и дальше на Иркутск.

7 августа в бухту вошла шхуна Якутторга «Полярная Звезда», а еще через день пришла из устья старушка «Лена» с баржами. Пятьдесят лет уже с тех пор, как Норденшельд привел ее в Лену по заказу известного мецената Сибирякова, она с честью работает на Лене, на двухтысячеверстном плесе от Якутска до устья. Этот пароходик, казавшийся катером по сравнению с «Калымой», действительно является «героем труда».

Баржа «Лены» приняла на себя груз с берега и с «Колымы», и мы могли идти в обратный путь. Еще до прихода «Лены» наша команда решила устроить смычку с речниками. Команда «Колымы» была подобрана из старых моряков—латышей, эстонцев, русских и украинцев с Черного моря и Дальнего Востока. Много они повидали портов во всех частях света, и теперь с любопытством посматривали на довольно несуразную, с их морской точки зрения, речную команду, на медлительных якутов и угрюмых приленских крестьян.

В трюме баржи, широкой и длинной, уставили столы с едой и напитками, и с вечера началась смычка. После речей стало оживленнее, а через час отчужденность моряков и речников исчезла. Появилась гармоника, и в проходе между столами плясуны начали отбивать дробь «чечетки» и «подгорной».

На корабле не было ни одной женщины. Теперь, на смычке с речниками, наиболее соскучившиеся по женскому обществу матросы «Колымы» посвятили себя ухаживанию за поварихами с речных барж. Другие обсуждали с речниками морские и речные термины.

— Вот вы, вместо «поднимай» кричите «вира», вместо «отпускай»—«майна», «берегись»—«полундра». Дикие слова, почему по-русски не говорите?

— Так повелось на Черном море исстари, а оттуда и по всему флоту. Вы тоже, когда скребетесь по песку, кричите свое «под табан», «не маячит»... У каждого свое. И незачем вам перенимать наши названия. У нас «шкипер»—это судоводитель, капитан; а у вас на барже я видел над дверью баржевого приказчика или водолива надпись—тоже «шкипер». Какой он «шкипер»? Уж больно вы фасон любите.

— А вот войдите в реку, так увидите, там наш шкипер вашему шваброу покажет.

Довольно дружелюбное, но явственное соревнование команд проявилось и в пляске. Лихо отплясывали ленцы, но все-таки были не так ловки, как моряки, и походили в своих ичигах на медведей. Лоск городов был виден на моряках, живей и веселей была их пляска. Пекарь «Колымы» переплясал троих ленцев, сменявших друг друга, пока сам не свалился на головокружительном курбете. Вышел из круга и жадно припал к стакану с квасом.

Веселье продолжалось до утра, когда «Колыма» дала первый отходный гудок. Пока крепили тали и выбирали якорь—«Лена» носилась вокруг «Колымы», как утенок вокруг матери. На капитанском мостике «Лены» гармонист неутомимо играл марши и польки, речники, по северному обычаю, палили из ружей, а мы кричали «ура».

«Колыма» плавно тронулась с места, послав в пространство последний гудок. Прибавили хода. «Лена» с баржами остались позади.

Первый Ленский рейс был выполнен.

Обратный путь «Колыма» прошла без препятствий, льдов было меньше. 18 августа мы пришли к мысу Дежнева.

На Дежневе на пароход явился начальник милиции и обратился к капитану за содействием в поимке выехавшего на байдаре в Америку бывшего местного торговца с семьею.

До 1923 года все Чукотское побережье снабжалось товарами из Америки. Торговцы побережья, смелый, предприимчивый, но большей частью скверный, разбойничий народ, состоявший из русских, норвежцев, американцев, поляков и осетин, имели в Номе, на Аляске, дома, и свои барыши хранили в американских банках. Были среди них и два-три порядочных человека, типа тех симпатичных, если можно так сказать, торговцев полярного севера, которых иногда описывает Джек Лондон. В скитаниях по Аляске и нашему северу они до дна души отдались той могучей притягательной силе севера, которую испытал на себе каждый, побывавший за полярным кругом. Все торговцы Чукотского побережья жили немногим лучше, чем чукчи, и также занимались морским промыслом. Но большая часть выжимала торговлей из чукоч последние соки и копила деньги, чтобы выехать на юг богатыми людьми. Эти же два-три не теряли человеческого облика и жили здесь потому, что и суровый труд на берегу, у жилья, и опасный промысел в море, и даже торговля— давали какой-то достаточный для них смысл их земному существованию. Может быть, они сами этого не сознавали, но я встречал их и так их понял. Чукчи Дежнева мыса часто говорят и долго еще будут говорить о «Чарли», американце, который из Аляски перебрался на наше побережье, прожил на нем более двадцати лет, женился на чукчанке, бил моржей и нерп, ставил капканы на песцов, торговал с чукчами в хорошие годы, кормил их в голодные и уехал бедняком в Америку, потому что пора было учить детей.

Тот торговец, за которым должна была идти «Колыма», был другого сорта. У него были какие-то счеты с властями, и ему не давали заграничного паспорта. Он выбрал удобное время, погрузился с семьей в байдару и поплыл к островам Диомида в утро того дня, когда к Дежневу подошла «Колыма».

Мы направились к нашему Диомиду. Милиция рассчитывала, что, может быть, беглецы еще не переправились на американский остров. Через два часа мы подошли к Диомиду.

Он поднимался из моря обрывистыми стенами, как огромный зубчатый утюг. *Три домика эскимосов лепились на площадке скалы. Пароход отдал* якорь. Спустили шлюпку, в которой милиционеры поплыли к эскимосам. Вскоре они вернулись. По словам эскимосов, беглецы проплыли мимо острова не останавливаясь и теперь были уже на американском Диомиде, вне пределов досягаемости.

Пока мы стояли у острова, в воздухе все время слышался смутный гул, причины которого мы не могли разобрать, пока кто-то не взглянул в бинокль на вершины острова. Высоко в небе носились тучи птиц. Остров был «птичьим городом». Бесчисленные гнезда были там, наверху, так высоко, что даже в бинокль стаи птиц казались тучами комаров.

«Колыма» подняла якорь и пошла к материку. Вечерело. Теперь солнце уже заходило и на светлом небе появилась первая звездочка. Диомид чернел высокой скалою на одной стороне неба, а на другой стороне спокойной сумрачной громадой протянулся Дежнев мыс. В пролете между ними открывалась бледно-голубая даль Ледовитого моря, пустынного и зовущего к себе.

«Колыма» рассталась с Ледовитым морем до будущего года и вышла в Тихий океан.

О себе

(Письмо Л. Анисимову*).

Уважаемый т. Л. Анисимов! Разрешите сказать несколько слов по поводу вашей отличной статьи—«Вопросы художественного творчества». Статью эту я назвал отличной не «из любезности», а по ощущению силы стремления Вашего к гармонизации мнений,—силы, которой Вы насытили статью. Нижеследующее говорится не в целях полемики с Вами и—поверьте!—не по желанию «учить», нет! Я сам все еще ученик и таковым пребуду до конца дней моих, ибо: познание есть наслаждение. К тому же—в отношении к человеку мной руководит—прежде всего—чувство моего равенства с ним.

* * *

Вы, новые люди, мужественно взялись за великую работу гармонизации жизни и, само собою разумеется, что гармонизация мысли также необходима. Мысль есть «орудие производства» временных истин, которые, не имея ценности абсолютной, обладают неоспоримой ценностью биологической, при условии, если они способны усилить активность людей в процессе покорения и осваивания стихийных энергий природы и в процессе создания «второй природы».

Вы приписали мне взгляд «на природу, на космос, как на хаос»,—это не совсем верно. Не стыжусь сознаться, что космос мало интересует меня. Когда я читаю труды космологов, астро-физиков и астрономов, я искренно восхищаюсь работой их воображений, интуиции силою логики, но космос все-таки остается для меня областью многозначных чисел. Соглашусь, что это—величественно, однако, было бы скучно, если б человек не населил область эту в древности—страхами и ужасами, позднее—богами и, наконец, «закономерностями». Закономерность явлений космоса я всецело приписываю мощным усилиям разума и воображения видеть бытие, как гармонию, и так как наша наука гармонию эту установила,—меня космос интересует только со стороны его влияния на литературу, как хорошая тема для поэта. Миры возникают и гибнут, кометы бесприютно бегают «вокруг расчисленных светил» и все вообще идет, как предуказано астрономами, ну и—прекрасно! Займемся своим, земным делом, не менее прекрасным.

Вы сказали также, что я «не верю в прочность мира». Не вижу мотивов для такого утверждения. Нет, я убежден, что мир достаточно прочен и что в нем можно работать, не смущаясь размышлениями о гибели его. Что же касает-

*) Настоящее письмо является ответом на статью Л. Анисимова «Вопросы художественного творчества», помещенную в № 1 «Сиб. Огней», за 1928 г.

ся природы, на мой взгляд она—сырой материал, который обрабатывается и должен обрабатываться все более активно, более умело нашей волей, интуицией, воображением, разумом в интересах нашего обогащения ее «дарами»,—ее энергиями.

Познание—инстинкт, такой же, как любовь и голод. Я уверен, что инстинкт этот должен развиваться и углубляться все более наряженно, работать все более революционно, по мере того, как новая культурная сила будет все яснее сознавать взаимную связь всех творческих и трудовых процессов; Вы, конечно, согласитесь, что при наличии производственной и всяческой анархии, неизбежной в классовом обществе, взаимодействие этих процессов рабочему не ясно.

Вы говорите, что от моих взглядов «прямая дорога к философскому и художественному солипсизму». Думаю, что у меня нет и не может быть причин бояться этого «уклона». Я—антропофил и геофил; для меня, прежде всего, существует человек и земля, на которой работая он создает для себя «вторую природу».

Идеализм для меня неприемлем не только потому, что мой «идеал»—человек, творец всех идей, всех чудес и что я убежден в неограниченности развития способностей человека—идеалистические системы философии органически чужды мне, потому что они, в сущности своей, глубоко пессимистичны в отношении к человеку, рисуют мир, как среду навсегда враждебную ему, а враждебность эту—неодолимой силами человека, тоже навсегда. Вы знаете, что пессимизм основан не на познании мира, а на страхе человека, отколовшегося от мира,—на страхе перед людьми и пред будто бы—неразрешимой социальной трагедией (созданной классовой структурой общества). Прекрасное человеческое дело познания и украшения земли идеализму чуждо, он ищет утешения всегда в «потустороннем» и «сверхестественном»—будут ли эти Платоновы идеи, рай христиан или «инобытие» мистиков. Для меня «сверхестественное»—здесь, на земле и в животном мире ее, это сам человек с его такими «безумствами», как попытки трансформации материи, попытки превращения материи в энергию, вообще—его стремление поработить силы природы и этим прекратить навсегда борьбу за обладание энергией, т.-е.—в конечном результате—борьбу за существование. Опираясь на опыт и успехи нашей науки, уже не могу и не в праве думать, что борьба за жизнь дана людям навсегда.

Таким образом, идеализм для меня решительно враждебен не только его пессимистической сущностью, но потому еще, что он глубоко реакционен, ибо религиозен. Отцам христианской церкви было за что хвалить Платона.

Материализм не враждебен мне, но, конечно, и по отношению к нему я стою в позиции еретика. Здесь мое разноречие не в том, что, по мнению некоторых крупных ученых, материализм уже во многом не согласуется с теорией атомов и что один знаменитый физик, современный нам, самое понятие материи формулирует так:

«Материя есть то место пространства, в котором мы об'ективируем наши впечатления».

Это меня мало трогает, я не философ.

Но я думаю, что материализм тоже «временная истина», а мне часто кажется, что некоторые толкователи материализма возводят его на степень истины абсолютной, вечной. А так как всякие абсолюты неизбежно напоминают мне боговы свойства—всемогущество, всеведение и прочие—и так как всякая религия по существу своему *не человечна*, то я опасаюсь: не проникло ли в новые слова очень старое и вредное содержание?

Затем: у материалистов заметно желание упростить и механизировать человека, а это уже привносит в область социальной морали нечто сродное «тэйлоризму», «фордизму» и прочим ухищрениям, имеющим целью эксплоатацию человека только как вместилище физической силы.

Повторю: человек для меня выше всех идей и всех дел своих, рабочий выше и ценнее продуктов его труда.

Ценность же истины я вижу только тогда, когда она усиливает и дисциплинирует активность человека, не искажая и не ограничивая его. Не должно быть истины, перед коей человек склонял бы голову и преклонял колена. Восторг творца перед созданием своим может увенчаться гордостью, но недостойно человека раболепствовать перед делом разума и воли его.

На длиннейшем, на извилистом пути моем я встречал не мало сектантских начетчиков, партийных лидеров, церковников, редакторов журналов и вообще «учителей жизни». И только один Владимир Ильич никогда не вызывал у меня впечатления «служителя идеи», но всегда был в глазах моих творцом идей.

* * *

Возвращаясь к вопросу о моем взгляде на природу, скажу: у меня нет оснований восторгаться ее творчеством. Она создала человека четвероногим зверем, ничтожеством против мамонта и других зверей; человек сам, без ее помощи, должен был дорасти до Архимеда, Демокрита, Шекспира, Менделеева, Родерфорда, Павлова и т. д. Природа, как известно, тратит огромное количество энергии на создание вшей, комаров, кротов и прочей вреднейшей дряни ей же «несть числа». Васильки во ржи—прелестны, но, ведь, это—паразиты. По должности «художника» я, разумеется, отношусь к цветам с восхищением, но нахожу, что зооботаника и агрономическая химия не менее восхитительны. А сколько бесполезных для человека сорных трав истощают соки земли? Бациллы и бактерии, разрушающие организм человека, созданы природой, Пастер, открывший путь для борьбы с болезнетворными началами, воспитан наукой, т.-е. «второй природой». Нельзя забыть, что на одних точках земли нашей природа выращивает апельсины, миндали и всякие сладости, а на других—только мох и даже редьки или хрена не вырастить.

Землетрясения, наводнения, ураганы, засухи, свирепые морозы и многое прочее, все это—«закономерные явления природы», но я склонен думать, что мы считаем их таковыми отчасти из великодушия, а больше потому, что еще не умеем бороться против них. «Закономерности»—утешительны, но не следует забывать, что в области социальной, где свирепствует беспощадная борьба за обладание энергией, закономерными считаются такие факты, как расстрел рабочих на Лене, казнь Сакко и Ванцетти после семилетних мучений, «Кровавое Воскресенье» и бесчисленное количество фактов такого порядка. Существует класс людей, которым выгодно думать и веровать, что природа—удивительная милочка, а трудовой человек—негодяй. Вера эта основана на том, что бороться против человека легче и тем более легко, что против него борются его же силою. Борьба с природой в задачи командующего класса не входит, ибо класс этот знает: топливо и пищу для него дешево достанет рабочий, машину изобретет ученый, приятное глазам и «душе» создаст художник.

И вот, мне кажется, что навыки мысли людей паразитарного класса несколько заразили и врагов этого класса.

Не стану напоминать о том, что в человеке осталось очень много зоологического, от первой природы, создавшей его животным. Намекаю не на «рудиментарные» органы в роде «червеобразного отростка слепой кишки», а на

страшок человека перед людьми, страшок, который всегда можно прощупать в каждом индивидуалисте, на страхе перед силою способностей человека, на стремлении веровать, все еще преобладающим над стремлением познавать и создавать. Так что для меня природа, если и не хаос, то уж, конечно, не гармония, а именно—материал. Наша человеческая задача—обработать, гармонизировать этот сырой материал, извлечь из него столько энергии, сколько ее потребно для того, чтобы освободить человека от необходимости затрачивать его силы на каторжный и бессмысленный труд во славу и для удовольствия паразитов, которые должны быть уничтожены не только в человеческом обществе, но и в природе.

Наступило время, когда класс, заботившийся только о своем самосохранении, только о защите своей власти над большинством,—истощил все свои здоровые силы и умирает. На его место неуклонно продвигается класс, который в деле создания культуры принимал участие только физическое и подневольное. Чем шире и глубже будет развито в этом классе сознание ценности человека, мощности его способностей, свободы его творчества, тем скорее и вернее он подойдет к своей цели.

У нас, в Союзе Советов, авангард рабочего класса уже хорошо начинает понимать связь и взаимодействие всех творческих и трудовых процессов, действительный смысл всей исторической работы бесчисленных поколений трудящихся. Мне кажется, что эта новая культурная сила должна поставить на место всех временных истин единственную, которая заслуживает имени вечной истины: труд, соединяющий в себе познание, исследование, творчество.

17. III. 28.

Сорренто. *М. Горький.*

Р. КУЛЛЕ

По страницам мировой литературы

Десять лет, отделяющие нас от окончания империалистической войны, помогли установиться некоторой исторической перспективе, способствовали более равномерному распределению световых и теневых эффектов, откристаллизовали спросы, вкусы и интересы подросшего послевоенного поколения и, главное, вернули развитию художественной литературы условия того эпического, мирного спокойствия, которое в периоды «военной непогоды» нарушается не только ревом пушек, но и особым «сумасшествием», маниакальностью «урапатриатических» тем, отнюдь не способствующих цветению художественного слова. Пусть в сегодняшнем мире далеко не все мирно и благополучно, пусть угрозы новых войн и предстоящих социальных потрясений повисли над ним, пусть острота классовых противоречий доведена до высших напряжений,—на земле не грохочут пушки, люди не умирают в ужаснейших страданиях стада, высланного на повальную бойню, и этого уже достаточно для цепкого жизненосного художественного слова, расцветающего преимущественно в эпохи иных потрясений, кризисов, противоречий и сгущенной атмосферы борьбы разных мнений, воззрений и коллизий. Так уж устроена психика писателей и художников, что чем больше шумихи и споров, чем резче несогласия и меньше гнет указаний и программ свыше, тем пышнее расцветает художественное слово, тем оно задорней, напряженней и полнее в отражениях и оценках жизненных неурядиц. Война же всегда означает цензуру, предписания, запрещения и насилие над свободным выбором тем и вольностью критериев для явлений жизни. Словесная война тем плодотворней, чем больше в ней проливается чернил, человеческая бойня приводит к тем более бесплодным результатам, чем гуще поток алой крови ее жертв... Вот почему достаточно сгущенная, осложненная тысячью противоречий и отравленная миллионом гнусностей атмосфера послевоенного буржуазного мира, только бряцающего оружием, оказывается все же благотворной для расцвета и многообразия форм современных литератур Европы и Америки.

За эти десять лет «мира» литература действительно загустилась, зацвела и с буйной цепкостью оплела жизнь, неустанно поставляющую ей удобрение самыми отвратительными своими проявлениями...

Насколько в первые годы после военного социально-экономического и политического кризиса темы войны и пессимизма доминировали наподобие густой итоговой черты под счетами кровавого пятилетия,, настолько в последние годы литература освободилась от них, перестала «считать раны, товарищей считать» и отдалась с жадностью наблюдениям и изучению всего нового и любопытного, что выросло на утучненной трупами земле Европы и задыхающейся в золотом тумане Америки...

А это «новое» так пестро и жутко переплетается со старым, так визгливо кричит фокстротными и джазбандными ритмами опьяневших в погоне за наслаждениями людей, насилу унесших ноги из ада предшествующих жертвенных лет, так затейливо выписывает узоры какой-то звериной, обнаженной нравственности и безостенчивого поведения на похмельном пиру зализывающей раны жизни, что поставило под знак обреченности подросший за это время молодняк, отравив его ядом своего разложения, и дало огромный заряд критической энергии тем немногим, которых талант, совесть и ясный ум поставили значительно выше уровня их эпохи...

Таким образом, в образе современных европейских и американских литератур мы постоянно будем иметь в виду две волны художественных воплощений: одну—средней продукции, той «литературы сегодня», которая не живет дольше трех-пяти лет, но имеет наибольшее число читателей, как отвечающая максимально их вкусам

и запросам, и другую—волну «высокой литературы», обеспеченной переходом в «историю», создающей ценности той высоты, по которым ведется счет культурам и достижениям эпох в памятниках художественного творчества. Есть, конечно, и третья волна, совсем не входящая в поле нашего зрения, как слишком сниженная и рассчитанная на «злобу» текущего момента, забываемая назавтра вместе с газетой и тощим журнальчиком, в которых она плещется и растворяется. Условия современной жизни настолько усложнились по сравнению с прошлым, что эта продукция ежедневной «духовной пищи культурного» человека XX века, хватающего свои мнения и воззрения напрокат из газет и журналов, имеет большое значение во многих отношениях, но для характеристики литературно-художественного уровня современности не играет той роли, какая выпадает на долю более устойчивым ценностям при историческом учете и характеристике эпох. «Бульварная литература» показательна при оценке общекультурного уровня читателей века, но не характерна для определения физиономии литературно-художественных его воплощений, ибо литература—не только «развлечение», но и весьма серьезное общественное дело...

А эта общественная сторона современных европейских и американских литератур достигла весьма высокой степени выразительности в огромном числе произведений, авторы которых в меру отпущенных им талантов и остроты наблюдательности всесторонне освещают бытовые и идеологические формы жизни своих современников, то угождая им расцвечиванием «приятных» ее сторон, то отражая ее теневые и провальные грани, обнажая ее язвы, негодуя на ее пошлость и грязь, но неизменно воплощая человека и его настроение такими, как они выразились в условиях классовых, экономических и социально-политических отношений сегодня. При этом следует отметить, что стилистически, композиционно и лингвистически современная литература стоит, в громадном большинстве случаев, очень высоко: пишут почти всегда хорошо, оригинально, интересно и своеобразно-свежо. То немногое, что скатывается под общий высокий уровень и не теряется в мусоре «сниженной продукции» только благодаря той или иной значимости содержания, составляет сравнительно редкое явление в современных литературах. Обычно формальная сторона произведений безукоризненна, чему, конечно, не мало способствует мощь, богатство оттенков и лексическое обилие отстойных, кованых европейских языков, имеющих за собой длительную и пышную культуру. Характерно, что за последнее время все резче обозначается разрыв между английским и «американским» языками, идущими каждый своими путями развития и потому дающими право говорить сейчас о совершенно особом «американском» языке с своей фонетикой, лексикой и своим синтаксисом.

Этими самыми общими замечаниями о характере, содержании и форме современных европейских и американских литератур мы открываем путь тому далеко не полному и, к сожалению, очень схематическому обзору художественных достижений в странах Европы, Северной и Южной Америк, который имеет главной целью ввести читателя в круг современных авторов и произведений, из которых многие переведены уже на русский язык и потому могут быть прочтены и оценены по достоинству.

Если посмотреть на современную западно-европейскую литературу с точки зрения движения и перерождения жанров, совершенно неизбежного процесса в жизни и развитии литературных традиций, то можно заметить, как постепенно начинает обозначаться у огромного большинства авторов тяга к «бытовому роману» в его различных выявлениях: в одних случаях с преобладанием «семейной-бытовой» традиции, в других—«социально-бытовой». Трезвая и далеко не ласковая послевоенная действительность отказывается питать «романтические» грезы, для конденсации которых еще не назрела пора, и не являет достаточно сложных условий для нового взрыва героического «авантюрного» романа. Мучительное и будничное выкарабкивание из глухой и темной ямы последнего десятилетия ставит слишком серьезные требования к литературе, чтоб она могла себе позволить роскошь отхода от путей реализма, питающего наиболее сложные и социально-ответственные жанры. Частично такие отступы, конечно, имеются и сейчас, но они не на высоте «большой литературы», целиком обратившейся к проблеме быта, а сквозят в произведениях малых мастеров и заполняют продукцию «бульварщины». Так, уголовно-сыщицкий роман, возведенный некогда Конан Дойлем до небывалых высот, растворился в среде небольшого числа писателей, самые значительные из которых—англичанин Десберри и швед Франк Хеллер—своим успехом обязаны все той же «социальной» установке, в силу которой они вводят на свои страницы фашистов, политических агентов, международных шпионов и т. д. «Приключенческий роман» тоже в значительной мере окрасился социально, чтоб не погибнуть под натиском

других жанров, и еще чувствует себя не дурно только в Америке, где так властна до сих пор традиция Джека Лондона.

Европейский же авантюрный роман или закис в болоте «экзотической традиции», виднейшим мастером которой является Пьер Бенуа, или пошел в ногу с социально-бытовым романом, расцвечивая хронику жизни сатирой, преломляющейся приключенчески (швед Г. Эриксон), или уснащая ее пафосом научно-технических достижений, как реакция на ужасы бывшей или предостережение будущей войны («Люизит»—Бехера, «Кракатит»—Чапека, «Разбудивший вулканы»—Ж. Тудуз и т. д.).

Традиция «психологического романа», значительно ослабленная им и экспрессионизмом, также вплелась в линию бытового романа, обогатив ее своими бесчисленными возможностями, и в такой перерожденной форме засверкала яркими лучами в творчестве самых крупных талантов современных европейских литератур от Честертона, Голсуорси, Ромэн Роллана, Келлермана, Цвейга, Пиранделло, Синклера Льюиса и т. д. до Лео Перуца, Франка «унанимистов», и американских городских эпиков, как Дос-Пассос, У. Франк и проч.

«Исторический» роман переживает также известное перерождение. Он или стал «хроникой» бытового типа, замкнувшись в пределы истории семьи в нескольких поколениях (Георг Герман, Хергешеймер и проч.), или вылился в «биографический» роман с центральной фигурой какого-нибудь знаменитого человека. Этот вид «биографического» романа стал за последнее время самым модным чтением наряду с «мемуарной» литературой. Романы из жизни Бетховена, Шелли, Бальзака, Рембо, Фр. Виллона и т. д. читаются с неотрывным интересом и вниманием, может быть, потому, что современная безгероичная эпоха находит известное утешение и утоление в яркости личностей прошлого...

И, наконец, так упорно выращивавшаяся традиция «экзотического» романа с колоритными и цветистыми описаниями этнографического порядка, имевшими целью подсвежить дряхлевшее сознание европейцев яркостью и новизной колорита колоний и загадочного востока, вылилась в особый жанр «колониального» романа, отрекшегося от всех сусальностей слащавой «таинственности» и с упорством «натурализма», начавшего высказывать жуткую правду о быте и помышлениях «цветных», угнетаемых «белыми», устами таких талантливых туземцев, как Ренэ Маран, Луи Фэвр, Элиза Райс и др.

Таким образом, в своих основных течениях современный европейский и американский роман может характеризоваться, как реалистический по преимуществу традиций и приемов творчества, как «бытовой» в его жанровой установке с различными оттенками, в зависимости от художественных целей писателя и, как гибридный в отношении тех идеологических воззрений, которыми так пестро снабжена наша эпоха кризисов, потрясений, нечеткости ориентаций в распадающемся буржуазном обществе. Если только очень немногие знают, куда они идут и чего хотят, свидетельствуя этим относительную ясность классовой идеологии, передовой или реакционной, то большинство писателей находится на каком-то трудном перепутьи, где кошмары прошлого еще плотно обступили сознание, проклинающее старый мир со всеми его несправедливостями, ужасами и уродством, а заря нового не вызывает доверия своим несколько холодным и чрезмерно алым блеском. Интеллигенты и мирные пацифисты—они боятся неведомого будущего и потому весь жар души и страсть темперамента растрачивают на отрицание прошлого, не доверяя будущему и стараясь свое «сегодня» замкнуть в рамки мастерства, в котором видят спасение и покой от вихревого сквозняка перекрестка.

Самым консервативным и последовательным в своем развитии является роман современной Англии, где до сих пор текут, переплетаясь и расходясь, два главных течения—«реализм» и «романтизм», конечно, значительно видоизменившиеся соответственно коррективам времени и настроений против первоначальных их концепций.

«Маколеевская» традиция английского реализма находит наиболее полное отражение в бытовом романе почти неисчислимого количества авторов, среди которых только что умерший Томас Харди был одной из славных вершин, если вспомнить, что именно он был хранителем традиции Диккенса и Теккерея в ее наиболее чистом виде. Многочисленные ученики Харди расточали это наследство по мере сил и уменья, то выступая с чисто натуралистическими приемами, как Темпл-Серстон, Арнольд Беннет, Соммерсет Могэм и др., то разбавляя реализм изрядными дозами психологизма и пейзажной лирики, как Томас Берн, Джордж Мур, Хью Вальпол, А. Хэтчисон и т. д. Все зависит от степени одаренности автора, остроты его наблюдательности и того «социального чувства», степенями которого измеряется отзвучность писателя в читательской среде.

Конечно, крупный и отзвучный талант Уильяма Локка открывает перед ним гораздо большие возможности, чем среднее дарование сотен сегодняшних героев литературного успеха. Поэтому Локк неизменно пользуется головокружительным успехом, даря каждый год по одному-два романа, с неподражаемым мастерством рисующие в несколько юмористическом освещении общественно-психологический тип современного англичанина. Последние книги Локка—«Приключения Аристида Пюжоля», «Старый мост», «Перелла», особенно, «Великий Пандольфо»—свидетельствуют о неувядаемости таланта автора, но и о социальной узости этого типично английского романиста.

Но многообразное великолепие палитры Локка—явление, далеко не столь частое у современных английских бытописателей, упорно вращающихся вокруг тем home'a (домашнего очага) и социальной обстановки англичанина. Часть повествований растворяется в описаниях пошлого благополучия «добродетельного» бритта, спротсмена, деляги, верного супруга и честного малого, попадающего в коллизию непредвиденных обстоятельств, борющегося с соблазнами и выходящего, наконец, победителем из самых невероятных нагромождений. В числе самых «боевых» тем продолжают занимать первенствующее место темы любви, брака, политической злобы дня и деловых отношений в атмосфере современной Англии, куда «восточный большевистский ветер» заносится иногда весьма резкими порывами, вызывая подозрения и возмущение в уютных особняках и торговых конторах Сити. Вот этой главной бытовой теме потревоженного благополучия и колючих неудобств, проистекающих от самых разнообразных причин, и посвящено большинство романов средних авторов-реалистов, среди которых: Уорвик Дипинг («Китти», «Сорел и Сын» и др.), Коллинзон Оуэн («Ноль», «Бриллиант Букингема»), Р. Хитченс («Бог в нем». «На экране», «После приговора»), О. Уэчел («Ее сын»), А. Хэтчинсон («Когда наступит зима», «Страсть мистера Марапита»), Ант. Карлейль («Игра на сердце», «Дети счастья» и т. д.) и множество других, вращающихся в кругу жизни и переживаний среднего английского буржуа, сознанием которого социальные сдвиги всегда усваиваются неторопливо и без энтузиазма.

А сдвиги эти происходят и заявляют о себе весьма недвусмысленно. Распадается старинный уклад семьи. Устаревшие законы о браке и разводе отстают от жизни и создают массу неудобств в обществе, уже не могущем дольше удовлетворяться презрением к «разведенным женам» и невниманием к новой породе людей, стремящихся как-то иначе оформить отношения полов. И эта тема становится доминирующей в бытовом романе от пошлой продукции бульварной Оливии Уэдсли («Пламя», «Миндаль цветет» и т. д.) до потрясающей эпики крупнейшего писателя Д. Гэдсуорси, о котором речь еще впереди...

Наряду с трещиной в семейных отношениях наблюдается неблагополучие и во всех прочих устоях кондового быта «старой Англии». Война и, особенно, послевоенные вакханалии испугавшихся до потери сознания буржуа, тративших безумные средства на организацию интервенции и иных видов попыток подавления «большевистской революции в России», провели резкую черту через все счета завещанных капиталов и потрясли отстойное английское общество до самых основ настолько, что наиболее чуткие и умные его члены завопили и забили тревогу. В литературу стали прорываться эти вопли или в виде струи пессимизма, порой граничащего с анархической озлобленностью, или в виде напряженных попыток скрыть и понять необычные явления анализом фактов и людей.

Тип пессимиста и скептика, потерявшего веру в величие современной Англии, мы находим не однажды и во многих его разновидностях; если у Харгрева в романе «Редактор Харботл» он обрисован чертами пассивного аналитика, страдающего припадками меланхолии и «гамлетизма», если у Томаса Берка («Полуденное солнце»*) приговор произносится над всем поколением, из которого не может вырасти большого таланта, то у крупнейших современных романистов—Г. Уэллса и Д. Честертона—он получает черты безумца («Отец Кристины Альберты») и чудака Хирно Фишера, готового «подложить динамит под эту помойку и разнести ее ко всем чертям, без ущерба для человечества» («Человек, который знал слишком много»).

Так, от идиллистических тонов бытописания благополучия и счастья в спокойной и выдержанной среде феодальных аристократов, денежных тузов и «деловых англичан» линия бытового романа подымается к тревожным сигнализациям об опасности, возвещает о неблагополучиях в старинном home'e, затканном во всех углах паутиной предрассудков, чванства, самоуверенности и тупости, не замечающих начавшегося кругом развала.

*) По-русски—«Карьера музыканта», изд. «Время».

Чем талантливее и умнее автор, тем с большей чуткостью он сигнализирует пользуясь всеми средствами и приемами художественного воздействия. В таких случаях чисто реалистическая традиция переплетается и сливается с «романтической», «карлейлевской» и не обнаруживает четкости школ и направлений, как всегда в области «высокой литературы», не давая схем, а являя синтез.

От таких писателей, как Максвелл, Т. Берк, Майкл Арлен, недавно умерший Джозеф Конрад, значительно опустившийся и постаревший Ред. Киплинг—эта линия «большой» литературы подымается к немногим современным писателям, чьи таланты значительно превысили уровень того общества, которое они изображают, как и обычные приемы, тенденции и направления литературы своей эпохи.

Кто скажет, «реалисты» или «романтики» Бернард Шоу, Джильберт Честертон, Г. Уэллс, Джон Гэлсуорси? К какому преимущественно жанру отнести большую эпику этих прозаиков, к какой драматургии причислить Б. Шоу?

Такие дарования поглощают условные деления, и в их творениях можно открыть столько же «психологизма», сколько и «реализма», их романы можно рассматривать и как «семейно-бытовые», и как «социально-бытовые», и как «авантюрные», и как «исторические» и т. д. В том-то и заключается особенность перерождения жанров современной литературы, что огромное дарование без труда поглощает их зыбкие границы, а малое—спотыкается о них и плавает в очень ограниченном бассейне, полагая, что мир кончается за пределами его узенького горизонта...

Не будем здесь касаться Бернарда Шоу не только потому, что он драматург, но и потому, что, кроме «Иоанны», он ничего не опубликовал за последние годы, расточая свое дарование на публицистику, далеко не столь удачную, как его драмы Обойдем также вынужденным экономией места молчанием современных ирландцев, среди которых имеются весьма значительные таланты, как Джим Джойс, Лайэм о'Флаэрти и о'Деффи, и обратимся к последним трем романам Г. Д. Уэллса, не касаясь его творчества вообще, как очень хорошо знакомого нашим читателям.

Из трех последних романов—«Отец Кристины Альберты», «Мир Уильяма Клиссольда» (3 т.) и « Meanrohile » (роман из истории последней забастовки горняков)—наибольший интерес представляет собою первый, потому что в нем Уэллс показал себя совершенно исключительным аналитиком и наблюдателем современности. «Мир Уильяма Клиссольда» менее показателен, вследствие весьма недвусмысленно вложенной в роман тенденции показать, что спасение запутавшегося в противоречиях мира следует ждать не от демократии и социальных учений марксизма, а от вручения судеб всех стран в руки «бизнисменов»—дельцов и финансистов... Художественное чутье не изменило Уэллсу только в том, что он не привел своего героя к свершениям, убив его накануне свадьбы с любимой девушкой при катастрофе автомобиля во Франции.

«Отец Кристины Альберты» интересен типом «новой» девушки Англии. Она—воплощенное нарушение всех «добрых традиций» буржуазии, она питает симпатии и тяготеет к большевизму, потому что все, кого она ненавидит за косность и предрассудки, ненавидят большевизм. Мотив, как видит читатель, не слишком глубокий и убедительный, но он показателен для нравов современного Альбиона. Кроме того, Кристина бесповоротно отрицает все приличия и вкусы, установленные в «порядочном» обществе, и потому обречена вращаться в кругах «сомнительной» молодежи несколько богемного типа, которой тоже сильно претит современность. В этом отношении ей не мало, хотя и совершенно бессознательно, помогает ее отец, чудак, спятивший с ума на мысли, что он «шумерийский царь Саргон». Конечно, Уэллс в этом типе безумного утописта, жаждущего возвестить «спасение миру», хотел воплотить идею в сущности антиобщественного порядка. Ведь мистер Приймби, замечтавшийся над социальной проблемой реформы общества и дарования людям счастья, изображен маниаком, и, хотя этот вид мании величия и достаточно добродушен, все же самый образ весьма недвусмысленно свидетельствует об отношении автора к вопросам общественной эволюции и революции... Но эта-то сторона романа наименее действует на читателя по сравнению с повествованием о жизни и судьбе дочери этого маниака «царя Саргона». А в бытовой окраске и в художественной полноте рассказа и заключается вся прелесть романа, знаменующего авторитетом самого Уэллса о том, что в современном английском обществе не только не все благополучно, но и народились уже «новые люди», презирающие и попирающие «устои»...

Иначе, но о том же, сообщает читателю другой талантливый писатель «романтик» Джильберт Честертон. Его произведения, как теперь принято выражаться, «стопроцентная литература», т.-е. совершенно ничем не прикрытый вымысел, даже и не претендующий на что-нибудь выше этого. Все, о чем пишет Честертон,—только «на-

рочно», построенное на игре слов, стилистических сочетаниях, вспышках фантазии, словом, виртуозно нагроможденных «великолепных нелепостях». Все содержание — парадокс. «Человек жив» потому, что он ведет себя не так, как все, ходит кубарем, пробирается к себе домой с величайшей таинственностью ночью и попадает в свой дом не через двери, а через трубу. Что может быть нелепей? А любовь? Принято жить с женой под одной кровлей и испытывать тихие семейные радости. Но разве это для Честертона? Конечно, он заставляет жену своего героя поселиться в чужом доме под видом незнакомки, посылает мужа пробираться тайком к ней на свидания и организовывать ее похищение при самой «романтической» обстановке. Вот, если человек закрутит такое чертово колесо нелепостей, заставит людей ломать головы над вопросом, «что это значит?»—тогда жизнь еще бьется в крови человечества, и человек «еще жив»... Сколько надо иметь презрения ко всему «установленному» и «принятому», чтоб воспеть такое «сумасшествие»! Все романы и рассказы Честертона и построены на прославлении самых нелепых парадоксов с целью разбудить в людях критическое отношение к косности и мертвечине раз навсегда заведенного порядка жизни. Правда, Честертон ни о чем не говорит прямо, он тщательно вуалирует и маскирует свою ненависть и «романтически» балаганит, но для вдумчивого читателя не остается сомнений в подлинности отношения писателя к существующему миру. Честертон—самый интересный писатель сейчас во всем мире. Никто не знает, что он выкинет завтра, какую еще «нелепость», возведет он в степень нормы. Наш читатель знает его книги—«Человек, который был четвергом», «Человек, который знал слишком много», «Охотничьи рассказы», «Наполеон из пригорода» и две книги об «Отце Брауне»*), к которым присоединилась еще не переведенная третья—«Tneuisdom of father Braion»**). Кроме того, не переведенными остались еще несколько романов и блестящие очерки о Диккенсе и о современной жизни. Место не позволяет нам задерживаться дольше на этом исключительно талантливом, интересном и «трудном» писателе, горячо рекомендуемом читателю, как особое чтение, над которым можно много думать, прежде чем постичь лукавую соль мысли автора.

Перейдем теперь еще к одному «настоящему» писателю, слава которого вышла далеко за пределы его родины. Имя Джона Гэлсуорси стало одним из немногих имен «мировой литературы», благодаря исключительному диапазону эпического таланта этого писателя. Со спокойствием и неторопливостью Гомера описывает он быт, нравы, привычки, жизнь и типы своих современников. Подлинная жизнь в ее пульсирующей трепетности не может быть более убедительной, чем произведения Гэлсуорси, всегда густые, мастерски сделанные и насыщенные правдивостью настроений. Изумительна продукция этого эпика верхнего и среднего среза буржуазной Англии за 25 лет. Его романы буквально охватывают все стороны жизни: политику, экономику, аграрные проблемы и проблему классовой борьбы, промышленность, технику, парламент, собственность, семью, брак, развод, мужчину и женщину... Целые галлереи дышащих, действующих, любящих, страдающих, живущих и умирающих лиц проходят перед читателем во всех их классовых и человеческих выявлениях. «Патриции», «Фарисеи», «Братство», «Земля», «Темный цветок», «Сильнее смерти», «Белая обезьяна» и трехтомная «Сага о форсайтах»—составляют главные его романы, к которым нужно прибавить еще четыре непереведенных, огромный сборник рассказов «Караван» и пять томов пьес, тоже не переведенных. За 27 лет работы писателя один этот перечень свидетельствует о необыкновенной продуктивности, качество которой поставило Гэлсуорси в первые ряды мировых писателей.

Темы, над которыми мучительно ломают головы десятки писателей средней волны литературы, Гэлсуорси развертывает с необычайной простотой, потрясающей полнотой и редкой убедительностью. Он видит все тайные пружины, которыми буржуазное общество приводится в движение и обнажает их, он раскрывает противоречия и неясности строя жизни, он выводит на свет всю затхлость чопорного и лицемерного общества—«членов палаты лордов», землевладельцев, дельцов адвокатов, писателей, рантье, аристократов и т. д., и т. д. Но с особой полнотой он описывает женщину во всех оттенках ее современного общественно-психологического типа. И гордая леди, полная предрассудков, и легкомысленная красавица, пользующаяся жизнью, и расцветающая девушка, еще хранящая в себе бабочку, какой она развернется в замужестве, и отверженная обществом «разведенная жена», и вдова, и просто «любимая»—из всех классов общества—проходят перед нами. Над ними или «белая обезьяна» пустоты и тщеславия царит, или «темный цветок» страсти, или они обречены в своих страданиях и радостях, но всегда и неизменно во всех героях и героинях Гэлсуорси пульсирует и бьется горячая кровь живого человека, наблюдаемого ум-

*) «Невинность отца Брауна» и «Неверие отца Брауна».
**) «Мудрость отца Брауна».

ным автором в окружении социальной среды и обстановки, в связи с коллективом, болезнями которого они болеют, радостями которого радуются. Огромную лабораторию представляет собой творчество этого тонкого англичанина, ставящего самые сложные и самые глубокие эксперименты над современным «социальным животным» Англии.

В противоположность Англии французская художественная проза современности не столько отличается вершинами, как широтой и полноводностью потока средней литературы. Конечно, официально насчитывается сорок «бессмертных» академиков, но высота академического кресла далеко не всегда совпадает с высотой дарования и значения в литературе занимающих его... Со смертью Анатоля Франса высшие точки «большой литературы» оказались обнаженными, и только одинокими тенями бродят на них сухопарая фигура Ромэн Роллана, не академика, но величайшего французского мастера современности и архаиста—романтика, безукоризненного мастера—Анри де-Ренье. Правда, на эти высоты пытаются возвести и Андрэ Жида, писателя совершенно особой складки, скорей философа и эрудита, чем художника. Все произведения этого мыслителя-прозаика свидетельствуют о несомненной глубине мысли и отзвучности на внутренние искания французского общества в его самом верхнем срезе интеллигенции, они имеют большое влияние на читателей и молодежь, но они слишком недвусмысленно прозаичны, лишены той «сладости вымысла», по которой мы узнаем подлинно-поэтическое творчество.

Андрэ Жид—бытописатель и психолог, работающий методами историка, не поэта. Поэтому его трехтомный автобиографический роман «Si le grain ne meurt»*) поражает потрясающей полнотой аксессуаров, сводок, документов, но не волнует сердца, питая только ум. В этом романе рассказано детство и отрочество «человека третьей республики», т.-е. охвачена эпоха конца XIX века. Читатель выносит из чтения этого романа солидные сведения о быте, нравах и психологии людей того времени, но закрывает книгу с облегчением, как ученую монографию, которую удалось, наконец, одолеть. Примерно такое же впечатление оставляют и другие произведения Жида: «Имморалист», «Подземелье Ватикана» и особенно нашумевшие «Фальшивомонетчики». Автор упорно изучает настроения своих современников, классифицирует их и изображает в схемах персонажей. При этом он охотно вращается вокруг «проблемы пола», понимая ее содомически и тщательно разыскивает в обществе для своих коллекций все, что так или иначе подтвердило бы его «догадку» об увлечении современной молодежи однополой любовью. Может быть, этого и нет в действительности, и французская молодежь с честью продолжает галльские заветы своих отцов, увлекаясь представительницами другого пола, но Жид подозрителен и маниакален, не даром он написал даже апологию однополой любви в виде «Трех сократических диалогов» под названием «Corydon»...

Вот за его «ищущий дух» и за размах и смелость его писательского диапозона часть французского общества проталкивает. А. Жида на вершину современной «большой литературы» Франции. Мы не склонны помещать его рядом с Ромэн Ролланом, Анри де-Ренье и Марселем Прустом, который хотя и умер в 1922 г., но обрел славу и признание накануне смерти, получив в 1919 г. «гонкуровскую премию» и с тех пор сделавшись самым признанным и читаемым автором не только во Франции...

Слава Пруста вполне заслуженная, и надо только удивляться странности судеб иных книг, не находящих сначала издателя, а потом «вдруг» приобретающих мировую известность. Многотомный (кажется 19) роман Пруста—«В поисках за утраченным временем»—еще не опубликован полностью, но то, что уже известно, свидетельствует о совершенно исключительном таланте и мастерстве Пруста. Эта серия романов также охватывает эпоху «Третьей республики» конца XIX и начала XX в. в., но романы Пруста неизмеримо глубже, шире и художественнее произведений Жида. Пруст—колючий, тонкий наблюдатель, умнейший человек своего времени, проникновенный психолог и огромный мастер слова. В его романах раскрывается как бы внутренняя сущность людей, вещей, атмосферы, действий и смысла огромного отреза времени. Он показывает эпоху в ее изнанке, в обрисовке тех внутренних пружин, помышлений и настроений, какими она жила и двигалась, и эта «интимная» сторона эпопеи закована в такой могущественный строй образов и стиля, что в мировой литературе может быть поставлена рядом с величайшими произведениями Толстого, Бальзака, Золя, Данте, Сервантеса...

Что касается Анри де-Ренье, то все его необыкновенно изящные, полные особого очарования романы, которое испытывается, когда долго наслаждаешься каким-нибудь изумительным по художественности осколком прошлых культур, стали

*) «Если зерно не умрет».

уже классическим образцом мастерства для всех современных писателей Франции, так или иначе пьющих от этого крепкого вина подлинного искусства. Но большой социальной значимости произведения этого писателя не имеют, так как он не является ни бытописателем, ни моралистом современности. Он весь в прошлом, которое оживает под его магическим пером, несколько идеализируется, преломляясь сквозь призму его чарующего таланта и пьянит сознание читателя крепчайшим настоем проникновеннейших откровений, бросающих свет на людей и дела былых эпох, преимущественно XVII-XVIII в. в., предстающих перед нами не в героическом величии истории графов, а в будничной обстановке страстей, волнений и борьбы, на которые поэт умеет набросить всеоправдывающую и всесмягчающую дымку времени.

Анри де-Ренье—это высшая точка искусства, как такового, мастерства и снисходительного всепрощения примиренной философской мысли, сознающей все слабости человека, не взыскующей строго, а добродушно характеризующей неисправимость и слабости вечно живого человечества, подчиненного законам классовых, социальных и психологических градаций жизни...

Если теперь обратиться к тому широкому, достаточно бурному и почти неизмеримому потоку, который составляет продукцию средней литературы, таящей пока еще возможности всплесков до вершин «большой литературы», то здесь прежде всего мы сталкиваемся с многочисленными дроблениями писателей «на школы», соответственно их художественным credo. «Унанимисты», «дадаисты», «симультанеисты», «архаисты», «супрематисты» и т. д., и т. д. с их шефами, доктринерами, теоретиками, отступниками и проч. шумят, воюют, проливают чернила и вертятся на беличьем колесе вопросов искусства и жизни, как все это в свое время проделывали «натуралисты», «символисты», «парнасцы», «аббеисты» и тому подобные «исты»... Все это закономерно, жизненно, не лишено значения для историков литературы, но совершенно не важно в таком общем обзоре, как наш, который строится по линии несколько иных классификаций.

Доминирующим направлением современного французского романа является тоже реализм, а основная жанровая установка—на бытовой роман. В этих двух направлениях мы и пройдемся по ниве современных всходов и уже созревших колосьев...

Старые знакомые имена В. Маргерита, Пьера Ампа, Жюля Ромэна, Ж. Дюамеля, К. Фаррера, А. Барбюса, П. Бурже, Э. Эстонье, Рони, Г. Шеро и других, написавших уже первый десяток и больше книг, стоят незыблемо в зените своей славы, вызывают почтительное отношение критиков и имеют обеспеченные тиражи у издателей.

Это—мосты и устои современной прозы, вокруг которых плещется и пенится поток более молодых, менее признанных, или не столь заметных авторов, на перебой рвущихся занять самое видное место.

Мы не имеем возможности даже перечислить всех, кого мода одного дня, мимолетный успех или каприз спроса ненадолго выносят на гребень тут же скатывающейся волны. Эти успехи иногда отмечаются актом особого признания—выдачей премии многочисленными «академиями», в большинстве случаев ошибающимися в своем выборе. Но на несколько лет «лауреат» сияет звездой некой величины, чтоб потухнуть столь же неожиданно, как он и вспыхнул.

Но, несомненно, среди современных французских писателей, имена которых у нас менее известны, чем вышеназванные, имеются значительные и прочные дарования. Вот на некоторых из них и следует остановиться, ибо они уже внесли что-то свое в литературу или достижениями мастерства, или оригинальностью и свежестью подхода к теме и в оценке «куска жизни, простой и бедной», из которой они сумели «сотворить сладостную легенду».

В числе значительных имен современных мастеров прежде всего следует упомянуть Жана Жироду, весьма оригинального писателя, до такой степени усложнившего и затруднившего свой стиль, что чтение его произведений равняется порой решению ребусов. Это «барокко» стиля Жироду свидетельствует, конечно, о том, что за счет виртуозности лингвистической расплачивается сторона содержания. И, действительно, романы Жироду не блещут ни тематической остротой, ни свежестью «проблем»: если он останавливает свое внимание на излюбленной французскими романистами теме—женщине в семье и обществе, то у него ничего нового не получается, что дало бы читателю какой-нибудь яркий просвет в гуще банальных описаний. («Бэлла», «Беллита» и проч.). Но когда Жироду поставит своей целью «освежить» избитые сюжеты, он растворяется в стилистических мелочах и все «обновление» может свестись к тому, что он заменит привычный образ Робинзона девушкой, попавшей на необитаемый остров («Сузанна-островитянка»), или переставит ряд мелочей в затасканных декорациях быта («Провинциалка»).

Как-то проще стилитически, но оригинальное в смысле новых просветов пише- Тьери Сандр, сумевший дать незабываемый образ современной женщины, типичной буржуазки, лживой до последнего изгиба в своем остроумном романе «Mienne»*), нарисовать живую девушку Парижа сегодня, прошедшую через все его бездны и принесшую в дом алчного папаши—мещанина Требюк—ребенка, вместо денег и мужа (« Mousaline »**). Тьери Сандр всегда свеж и интересен, и потому имеет будущее. Известный уже нашему читателю Жозеф Дельтей с его сочной кистью бытописателя плоти, лауреат и любимец парижской молодежи, делит свой успех с Жаном Кесселем, который своей популярностью обязан отнюдь не своему дефективному стилю, а темам романа из жизни русских эмигрантов. Он их историограф и бытописатель. Сам он провел детство на Урале, учился в России, был летчиком на французском фронте, из времен которого написал целый роман («В воздухе»), но заинтересовал французского читателя именно эмигрантской тематикой. В первом романе «Les oteppes rouges» рисуются довольно романтически революция и колчаковщина в тонах полного непонимания смысла событий и с центральной героиней сомнительной героичности. После этого Кессель к темам войны не возвращается, а переносит своих наблюдений, не переходя в сатиру, но держась на уровне «сказа», как бы вложен заметил и довольно удачно описал, но не отказался и от дурного тона бульварщины, несколько поэтизируя эту безнадежную среду и проливая слезинки сочувствия незадачливым судьбам отдельных героинь («Nuils des princer», «Ues cocuvs puri»). Если успех Дельтей основан на сочности его кисти, то успех Кесселя следует отнести к анемичности и кисти, и сюжетов. Крайности сошлись.

Французской провинции с ее архаическим и глухим бытом посвящено не мало произведений, авторы которых неизменно юмористически относятся к предметам своих наблюдений, не переходя в сатиру, но держась на уровне «сказа», как бы вложенного в уста бесхитростного повествователя.

Таков прием бытописателя средней Франции Жозефа Жолинон; так же повествует и неизменно веселый, чуть циничный, но яркий и талантливый новеллист юга Раймон Эсколье («Кантегриль», «Dansons la trompeuse»).

Целый ряд других наблюдателей провинции пользуется всеми жанрами, но никто не довел своих повествований до такой степени бойкого, развязного и пересыпанного солью юмора «приключенчества», как Жан Дро в целой серии историй о глупом Галюпэне, выдавшем дочерей замуж за американцев. Как известно, богатые залежи французского накопления всякого рода материальных ценностей разбазариваются сейчас усиленно и в Париже, и в провинции; все скупают богатые янки и увозят к себе, вплоть до замков. Дро и смеется горько и сквозь слезы над этим грустным процессом опустошения родины.

К типу смешанного жанра, переплетающего авантюрность с бытописанием, следует отнести романы не молодого уже Мориса Ларун, прекрасного знатока моря и занимательного рассказчика. Его роман «Боковая качка» не лишен сатирических черт и осмеивает парламентские порядки, в силу которых юрист становится морским министром и, конечно, чудачит. В основу романа положен едва ли не исторический факт, когда знаменитый математик Эмиль Борель тоже был морским министром. Чисто морским романом с сильной фабулой и блестящими описаниями гибели подводной лодки является «Последний рейс Анемоны». Другие романы этого «моралиста» не столь ярки, но не менее занимательны. Интерес же читателей к приключениям на море и в приморских портах не угасает, побуждая писателей поставлять эти темы на книжный рынок. Из множества произведений этого типа выгодно отличается занимательный роман Андрэ Савиньон «По женщине в каждом порту», хотя это произведение скорее—ряд новелл, об'единенных личностью рассказчика. Савиньон—тоже лауреат, получивший гонкуровскую премию в 1912 г., но 15 лет пролежавший на славе премии без успехов в литературе, т. к. его три морских романа, вышедшие за это время, не превышают уровня посредственности.

Нет возможности перечислять авторов и произведения, в которых находят отражение современные французы за пределами Парижа, продолжающего оставаться центром литературных интересов и преимущественным полем наблюдений для большинства писателей сегодня.

Но одна книга бесспорно заслуживает особого внимания, как выдающаяся по свежести, темпераменту и интересу своего содержания. Это—не переведенный еще роман Мориса Бедель, получившего премию в 1927 г. «Jérome. 60° latitude nord»***).

*) «Любимая». Изд. «Книга».
**) По-русски—«Дом в квартале Батиньоль». Изд. «Мысль».
***) «Жиром, или под 60° северной широты».

Автор рисует современную Норвегию с ее нравами и обычаями так обнаженно и выпукло, как никогда и никакой норвежец сам не решился бы это сделать. Занимательность повествования увеличивается еще и от того, что автор рисует в лице парижского драматурга Жерома того мечтателя и наивного чудака, для которого нравы норвежских красавиц так неожиданны, что он теряется и плачет над разбитой сказкой любви... Там на севере, под 60°, перещеголяли «развратных» парижан простотой и тривиальностью решения «половой проблемы»...

Но французские писатели только временно выезжают из Парижа, чтобы набраться сил и впечатлений. Одни путешествуют далеко и привозят из Африки, Америки, Англии, СССР и др. стран свежие впечатления, которые и излагают в книгах, не всегда большого достоинства, как например, последний отчет о поездке к нам. Ж. Дюамеля—«Путешествие в Москву» или уже давняя книга Де-Монзи—«От Люксембурга до Кремля»; другие кружатся в пределах родины, и, как Люи Дюртен, спутник Дюамеля по поездке в СССР, описывают прогулку на мотоциклетке по югу Франции*). Но рано или поздно, а в Париж возвращаются все. И Париж попрежнему горит огнями, вихрится в урагане нескончаемых празднеств для богатых, стонет, обливается потом и пугает жутью асфальтовых мостовых—бедных, мыслит и создает ценности искусства, науки и литературы как в действительности, так и на страницах романов.

Париж—главная тема большинства романистов. Мак Орлан блещет своими парижскими впечатлениями в книгах легкого кружевного стиля, наряду с целым рядом других поклонников «вечного города», завороженных его бульварами, его кафэ, его атмосферой труда и легкомыслия, творчества и разврата.... Тень Бодлэра еще стоит над всеми произведениями современных бытописателей Парижа. И все стороны жизни—общественной, политической, семейной и бульварной—проходят в тысячах книг, пытающихся уловить, подслушать, подсмотреть и рассказать тайну этой гигантской, многомиллионной жизни города, содрагающегося в противоречиях, истекающего кровью, потом и трудом, готового каждую минуту построить баррикады из опрокинутых автобусов и трамваев, кружащегося в диких ритмах джазбанда и сатанической пляски американского золота, но и напряженно и упорно шлифующего мысль творящего искусства.

Поэты и романисты дышат и вдохновляются им. Старые испытанные мастера написавшие десятки книг, находят все новые и новые стороны в этом несокрушимом Вавилоне людей, вещей и фактов... Жизнь бьет неустанным ключом, формируя психику, характер, направляя волю и эмоции людей всех классов и положений. Поэтому струя творчества не иссякает и у писателей: ведь им так много важного, нужного и нового можно сказать о современности в Париже.

Война, экономический кризис, падение курса франка, парламент, голос пролетариата, звучащий иными нотами, «нувориши» с их звериной психологией, «новая женщина», крушение старых канонов и устоев и просто неопределенные веяния, которыми охвачены все в Париже, в провинциях, во всей Франции—составляют богатейшую тематику для современного бытового романа, впитавшего в себя и прежний психологический, и былой «салонный» жанры. Писатели всех идеологий и настроений отражают эту многоликую жизнь текущего социального момента, но все без исключений сходятся на том, что какой-то отрез времени закончился, какая-то итоговая черта подводится, и что страна накануне какого-то нового и значительного поворота колеса истории, вслед за которым проигравшей стороной будет буржуазия. И поэтому именно она сделалась мишенью всеобщего литературного обстрела из всех лагерей и группировок. Одни бьют «нуворишей», их наглую беззастенчивость и живоглотные аппетиты, их тупость и мертвую хватку в условиях трудных времен родины, и тогда мы имеем выразительные жанровые картины в романах Клеман Вотеля—«Наш кюрэ у богатых», «Наш кюрэ у бедных» и «Я—заядлый буржуа»,—сатиру старика М. Кордэ—«В Триконни» и др., полные юмора гротески Леон Лафажа—«Ботье Лампэнь—депутат» и целый ряд менее значительных, но не менее острых бытовых зарисовок.

Другие направляют всю силу своего литературного огня на сокрушение позиций старой буржуазии, на обличение того духа мещанства, которым пропитан весь строй жизни французского общества во всех его слоях и разрезах, и тогда перед нами эпически спокойный бытовой роман, продолжающий традиции больших мастеров—Бальзака, Золя, Мопассана, раскрывающий язвы и психологию современников из господствующего класса, из представителей богемы, интеллигенции и т. д. Наиболее популярные романисты выполняют это задание по мере сил и талантов. Франсис Карко, сделавший, между прочим, весьма удачный отступ в историко-бытовой

*) «На стальном коне». ГИЗ.

роман своей «Жизнью Франсуа Виллона» (XV век), как и С. М. Карре в жанр биографического романа книгой «Жизнь и приключения Жана Артюра Рэнбо», обстоятельный А. де-Шатобриан («Monsieur de Loudrines»), изящный Ж. де-Буазен, Андре Кортис («Только для меня»), Эдмон Жалу, Жак Ружон, нарисовавший тип буржуа-хозяина в лице миллионера Дома («Un homme si riche»), Рене Трэнсиус («Je soleil du pére») и великое множество других, не считая старых и уже канонизированных в литературе—В. Маргерита, Рони, Жюля Ромэна, Пьера Ампа, Ж. Дюамеля, Г. Шэро, А. Эрман, П. Буржэ и т. д.—ведут главную струю современной французской прозы, в которую только отдельными и неокрепшими еще голосами врываются звуки представителей пока накапливающего еще внутри силы пролетариата в лице Анри Пулайля, Жана Туссель и немногих других молодых, но крепнущих пролетписателей.

Эти голоса революционного пролетариата гораздо громче и крепче звучат в современной немецкой литературе.

Германия прошла кровавую полосу войны, разгрома, задушенной революции, жестокой инфляции, потрясшей все основы быта, и огромного национального унижения, заставившего ее корчиться от боли в когтях озлобленных мстителей и мародеров мирового капитализма. Побежденная и раздавленная страна заголосила, застонала и разлилась скорбными жалобами на страницах своей литературы, преимущественно устами стариков, видавших лучшие времена и гордившихся «славой немецкого оружия».

Но если старые патриоты в роде Густава Френсена, Клары Фибих и др. находят выход только в плаксивых жалобах и трогательном изображении страданий немцев в оккупированных областях, то революционная молодежь сумела взять твердый, далекий от хныканий тон и рассказать о героизме и жертвах революции, о зверствах и ненужности бойни во имя аппетитов капиталистов и оценить по достоинству предательскую политику врагов рабочего класса. В прозе и стихах, в газетах, журналах и книгах звучат призывы небольшой численно, но крепко спаянной внутри группы пролетарских писателей Германии, ориентирующихся на СССР.

Франц Юнг, Иоганн Бехер, Эрик Мюзам, Макс Бартель, Эрнст Толлер, А. Лихтенштейн, К. Брегер, К. Эйнштейн и др. составляют основное ядро этой группы, неизменно растущей и крепнущей. Они составляют крайний левый фланг не только в политике, но и в искусстве, культивируя и ища новые формы и ритмы для выражения своих настроений....

Среднюю высоту либерально-патриотической литературы современной Германии пугают эти крайности убеждений и исканий, и они протекают в значительно более умеренных берегах тематики и стилистики. Еще совсем недавно господствовавшие настроения угнетенности с уклоном в сторону мистики начинают постепенно забываться в связи с экономическим укреплением хозяйства, и основное русло главных течений литературы сегодняшнего дня пролегает уже через реалистический бытовой роман, то подвергнутый сильнейшей «импрессионистической» обработке, как у Генр. Манна, то выдержанный в эпических тонах спокойного повествования, как у большинства средних авторов, не ищущих откровений и модернизаций...

Однородность буржуазных вкусов примирила идеологически литературы всех стран Европы, еще так недавно делившейся на военные лагери. В современной немецкой литературе, как и в английской, и во французской, преобладают тона бытописания жизни мелкой, средней и крупной буржуазии послевоенного периода со всеми ее попытками приспособиться к новым условиям существования. Этот процесс вживания и осмысления форм новой жизни осложняется национальной особенностью немцев—добросовестно и глубоко вгрызаться в явление, изучать его всесторонне, прежде чем принять и проглотить. В художественной литературе он сказывается особым приемом «разбега», заключающимся в том, что автор, прежде чем начать рассказывать о самом существенном и главном в романе, посвятит сотню-другую страниц так наз. «Yorgeschichte», заполнит самую подробную анкету о предках, событиях и прошлых фактах героя, его рода и всех, кто в дальнейшем будет играть ту или иную роль.

Этот «разбег» стал совершенно необходимой частью каждого большого бытового романа, иногда так и не имеющего иной фабулы, кроме повести об истории такого-то семейства. Вспомним огромную семейную эпопею Томаса Манна «Буденброки», или романы-хроники Георга Германа о семействах Гебертов и Якоби, или еще целый ряд романов В. Хегелера, Г. Зудермана, К. Фибих, Г. Федерера и т. д. вплоть до самых ординарных повествований, в которых «разбег» служит приемом мотиви-

ровки характеров и событий, описываемых в самом романе, зерно которого порой микроскопически ничтожно. Такая немецкая добросовестность в «изучении материала» для романа об'ясняется до известной степени стремлением осмыслить до дна поток событий, столь трагически обернувшихся к ним своим историческим лицом...

Как бы то ни было, но современная немецкая проза полна самых животрепещущих тем, освещаемых то в плане общественно-бытовых сдвигов в семье, учреждениях, профессиональных организациях и т. д., то в аспекте переживаний личности, принесшей с полей сражения опустошенную душу и злые мысли и встретившей дома обман, подлость, запустение. Нередко разрабатывается тема подстановки личности: на войне умер один, а его бумагами воспользовался другой, пришел в его дом и взял его жену. У психологов-мистиков эти темы осложняются, конечно, «раздвоением», «переселением души», у бытовиков она передвигается в план «завоевания женщины»—жены чужого, которая, может быть, и догадывается, что пришедший не «он», но по разным соображениям не обнаруживает этого. Ярче и полнее других эту тему разработал Леонард Франк в новелле «Карл и Анна», автор вообще беспокойный и наблюдательный, ненавидящий современную буржуазию, но растворяющийся в неглубокой трагике.

Постепенно пришедшее в берега взбаломученное войной и революцией море немецкой жизни сигнализирует в литературу не только о том, в какие формы укладываются ее новые волны, но и о том еще, что притоптанное революцией «старое» вновь подняло довольно высоко голову, и многие писатели охотно возвращаются к старым и испытанным повествованиям из жизни немецких юнкеров и аристократов, как-то по-новому приспособляющихся к жизни. Дочерей своих они повыдали замуж за богатых бюргеров, банкиров и биржевиков и, таким образом, получили свежий приток средств. А в семье, образовавшейся от такого брака, происходят любопытные вещи. Вот, например, модный сейчас автор Вальтер фон-Холлендер рассказывает о такой ситуации в романе «Дом в лихорадке». Урожденная графиня и вдова прусского офицера вышла замуж за еврея-банкира и не знает, любит ли она его. Если до сих пор в романах принято было рассказывать об истории любви и завершать ее браком, то Холлендер делает наоборот: сначала брак, а потом уж путь к любви—какая-то своеобразная модификация старо-русского «стерпится—слюбится». Но не в этом дело: почему бы обеспеченным людям и не развлекаться таким способом. Но у жены сын от первого брака, и мальчик мучительно решает вопрос разжигаемый товарищами в школе, как ему, сыну офицера, быть, когда у него отчим—еврей?

При всей ничтожности «проблемы» это очень показательный факт; сейчас бытовой роман из жизни современной германской буржуазии на все лады и решает такой именно вопрос: как быть в условиях такого буфера: с одной стороны—юнкерские традиции феодалов, переведенных революцией на ренту, с другой—«новые веяния», пролетариат и вся эта неприятная история с положением побежденной страны. Дельцы-банкиры «спасают» родину весьма своеобразно, как это показано в ряде романов от Хегелера до «Братьев Шелленберг»—Б. Келлермана. Но надежды на «спасение» у большинства писателей средней волны возложены на «дельцов», финансистов и инженеров, к ним присоединяется еще и «профессор«, ставший типичной фигурой немецкого романа. Нет такого бытового или авантюрного романа, в котором непременным персонажем не был бы «профессор». У Ганса Филиппа Вейца в его самом занятном романе «Симфония эфира»—профессор Фольрат, у А. Фрея в забавном романе «Много шуму из-за любви»—тоже профессор, в подражающем келлермановскому «Туннелю» романе Г. Рихтера «Канал»—инженер-профессор, в технически-утопическом романе П. Эрхарда «Последняя власть»—профессор химик, даже в устарелом романе Г. Зудермана—«Шальной профессор».

Часть этих ученых мужей призвана авторами для провозглашения «материальных ценностей»; другая часть—для спасения Германии, мира, человечества своими гениальными изобретениями и трудами... А на эту сторону социального реформизма и направлено все внимание авторов бытовых романов. Их много, так много, что и перечислить всех нельзя. Но на двух современных немецких писателях стоит несколько остановиться, как на безусловно талантливых и выходящих за уровень средней значимости. Казимир Эдшмид дал в своем несколько странном романе «Die gespenstigen Abenteuer des Hofrat Brüstelein» совсем незаурядную концепцию современного человека, запутав его вуалями мистики, но очень живого и незабываемого на фоне тоже «профессора», открывшего способ перевоплощений путем электричества. В условиях современных научных достижений нет ничего странного в том, что в романе действует «машина времени и психики», на которой человек уносится в прошлое и в оболочки живших уже людей...

Другой автор, поражающий глубиной, поэтичностью и редкой культурностью—Альбрехт Шефер. Его роман «Элли, или семь ступеней» рисует потрясающе-трагический путь современной женщины, спускающейся со ступеньки на ступеньку общественной жизни, но сохраняющей живую душу до самого дна. Несколько «под Достоевского» написан роман, но ему никак нельзя отказать в незаурядности, талантливости и выпуклости.

Минуя чисто авантюрный жанр, имеющий большое количество представителей всех оттенков—от уголовно-сыщицкого и международно-шпионажного (Рахиль Санзара—«Потерянное дитя», Даутистель—«Закрыто по случаю траура», Юбельгер—«Один против миллионов» и т. д.)—мы подошли к современной «большой» литературе Германии.

В преддверии ее стоит, несомненно, очень талантливый всегда интересный и находчивый Лео Перуц. Он не знает чистоты жанра. В его произведениях так насыщена атмосфера, так перепутаны все линии, так много неожиданностей, метких наблюдений, тонких характеристик и отзвучностей на злободневность, что ни один из них нельзя с достоверностью отнести к определенному жанру. Вот идет все по правилам хорошего детективного романа («Мастер страшного суда), а в конце автор раз'ясняет, что все приключения—только игра ума и рассуждений человека, пишущего мемуары. То же и с «Прыжком в неизвестное», который также оказывается только бредом и фантазией...

Перуц большой мастер неожиданных поворотов и развязок и потому он «труден», как художник, но этим же об'ясняется его пристрастие к историческим темам. «Парикмахер Тюрлюпен», «Маркиз де-Боливар», «Третье ядро»—обрабатывают историческую обстановку, дают псевдоисторическую фабулу методами крепкой романтической школы этого талантливого и всегда свежего писателя.

Если ослабить напряженную авантюрность Перуца и возвести его романтику в некоторую степень мистико-фантастической густоты, если снабдить такой роман эрудицией и начитанностью автора в вопросах религиозно-исторических исканий и остроты «проблем христианско-иудейских» традиций и заветов в их взаимоотношениях, как они сохранились в среде немногочисленных хранителей этой мистики в отдельных уголках Европы, то получится сложное, насыщенное и провальное творчество Густава Мейринка, роман которого «Das grüne Gesrcht» особенно поражает мобилизованностью всех этих элементов. Нашему читателю Мейринк как-то и ненужен, и непонятен, но в настроениях послевоенной Германии он находил полный отклик на свое мастерство и имеет множество читателей. Ему во всяком случае нельзя *отказать в большом и глубоком таланте.*

Вершину современной немецкой литературы занимают десятка два крупнейших имен, из которых одни больше известны в пределах Германии, другие—всему миру. Но из числа этих маэстро значительное большинство живет на проценты от былого поэтического капитала и в настоящее время его не преумножает. Обаяние созданного имени, старческие раздумья, сумерки таланта и просто нелепая неукладность современности служат достаточными основаниями для заслуженного отдыха на лаврах.

Живые представители еще десятка два лет назад сверкавшей всеми огнями талантов «венской школы» теперь подводят итоги, как Петер Альтенберг в своей последней книге «Сумерки жизни», или пишут для кино всепокупающего Холливуда и наживают деньги на этой легкой продукции, как Ф. Мольнар, Фольмеллер, или изредка дарят небольшие и не имеющие больше острого запаха пряностей вещи, как Артур Шницлер, Бар, Стефан Георге, Бер-Гофман, или, наконец, замкнулись в гордом круге «поэзии для немногих», как талантливейший и изысканнейший Гуго фон-Гофманстал, интимный и ищущий Райнер М. Рильке...

К «старикам» следует отнести и прославленных романистов, поэтов и драматургов, начавших задолго до войны свою писательскую деятельность и к сегодняшнему дню сказавших уже все, что им положено было сказать. Так, старик Гергард Гауптман не представляет уже больше никакого интереса, Яков Вассерман дописывает свои тяжеловесные романы, одновременно приспособляя их и для кино («Христиан Ваншафе», «Иллюзии мира», «Laudin und die seinen»*), «Патриарх»). Герман Зудерман после успеха «Шального профессора» написал действительно полноценный и общественно-значимый роман «Жена Стефана Тромхольта», в котором он дал как бы синтез всех своих многолетних размышлений и наблюдений над «артистической богемой», которой противопоставляется «мещанство» и «филистерство»; однако, Зудерман не венчает богему, он ее осуждает и бытописанием жизни большого художника Тромхольта иллюстрирует, как ложно понимается немецкой богемой «ме-

*) По-русски—«Семья». ГИЗ.

щанство», которое не в том, чтоб иметь семью и любить одну женщину, а в лживости всего социального строя. Посрамляя буржуазию, Зудерман, конечно, не противопоставляет ей пролетариат—для этого он слишком косен и стар, но этим отзвуком на современность он просто доказал, что большой талант не знает дряхлости..

К «большой литературе» относятся и братья Манны, столь различные и по темпераментам, и по миросозерцаниям. Томас—эстет и продолжатель традиций семейно-бытового романа, в области которого он создал большие вещи, Генрих—импрессионист, нервный художник, блестящий стилист, мыслитель и весьма отзвучный на социальные темы писатель. Его огромная трилогия—«Верноподданный», «Беднота» и «Вожди»—производит совершенно необычайное впечатление огромностью охвата жизни Германии и вширь, и вглубь, и ввысь: все классы, все группировки общества и его кругов изображены с потрясающей полнотой и громадным знанием материала, психологии, быта и исторической обреченности людей...

По этому же пути широких социальных картин с бытовыми деталями и попутными психологическими и сюжетными заданиями идут и последние романы Г. Манна—«Светские люди» и «Мать Мария», повествуя о социальном неблагополучии в современной Германии. Талант Г. Манна не обнаруживает ни малейших признаков усталости и исчерпанности, и читатель в праве ожидать от него еще многих блестящих произведений.

Более молодой Бернгард Келлерман, хорошо известный своим научно-технико-фантастическим романом «Туннель», обнаружил в течение своей писательской работы редкую многосторонность и неувядаемую свежесть дарования. Он—тонкий лирик и пейзажист, трубадур любви в таких романах, как «Иэстер и Ли», «Ингеборг», «Море», проницательный психолог и знаток человеческой души во всем ее диапазоне противоречий, взлетов и провалов—в «Идиоте», «Святые», революционный общественник и тонкий аналитик движущих социальных сил в «9 ноября» и огромный мастер социально-бытового романа в «Братьях Шелленберг». Келлерман изумителен такими чертами таланта, которые в немецком писателе составляют большую редкость—он чрезвычайно гибок, многолик и динамичен, при полном отсутствии «легкости» и поверхностности...

В самое последнее время в Германии появилось молодое, но очень яркое дарование типа Келлермана в лице Конрада Ринека, вызвавшего большие разговоры в критике и в обществе своим романом «Bürgerschreck». В этом произведении с необычайной остротой вскрыты такие язвы современности, как буржуазная пресса с ее тайными пружинами, ее продажностью и колоссальным влиянием в жизни. В лице героя этого романа автор сумел нарисовать чрезвычайно полный общественно-психологический тип современной Германии, беспринципного, наглого, но умного и ловкого дельца «из молодых, да ранних», шагающего через труп женщины, через дружбу к успеху и погибающего от руки сошедшего с ума мужа жертвы... Роман полон, как и чаша жизни, и потому представляет очень значительный интерес, как документ эпохи...

Но бесспорной и высшей точкой современной немецкой литературы является Стефан Цвейг. Он—венец, как и Шницлер и Гофмансталь, и представляет младшую линию этой талантливой плеяды, о которой говорилось выше. Блестящий и проникновенный психолог, изумительный стилист и совершенно необычный темперамент,—Цвейг занимает в немецкой литературе совершенно особое место, с которого он виден всему читающему миру. Его единственной темой всех произведений сделалась страсть, неистовство, перенапряженность и фатальность эмоций, какими бывает одержим человек в отдельные, редкие минуты жизни. Ежедневные прохладные чувства, разбавленные дозами будничности, его не интересуют, и поэтому С. Цвейг не пишет романов. Большая форма потребовала бы равномерных распределений и контрастовых планов, а Цвейг может говорить и живописать только вспышки, яркие, мучительные, внезапные, но потрясающие, испепеляющие и бросающие человека в бездну, на край гибели, в ничто... Азарт, игра, ужас, страх, любовь в форме «Амока», жгучее любопытство и страсть, страсть во всех проявлениях—и как движущая пружина бытия личности, и как обреченность, как рок, приводящий к гибели. На высочайшей волне возможных и доступных человеку эмоций протекает творчество Цвейга. И повествует он обо всех этих охваченных стихийно ураганом страсти жертвах с необычайной трагической напряженностью, как и подобает повествованию об исключительных и редких минутах в жизни человека. С того момента, как читатель открыл книжку Цвейга, он может быть уверен, что начинается волна совершенно необычных, волнующих и пожирающих переживаний, и что охваченный этой стихией персонаж вступил в жизни на какой-то перекресток, на котором его подхватили, закружили, измяли вихри, он слепнет и глохнет, теряет ощущения ко всему в мире и

маниакально несется по воле рока эмоций или в бездну, или на какую-нибудь вершину откровений, или, наконец, к очищающему прояснению, искупленному трагикой великого потрясения.

Не о будничном и мелком рассказывает Цвейг, а о «празднике» чувств, о роскошестве и неистовстве их игры, всегда такой героической, независимо от того, к гибели или триумфу будет приведен взысканный этой милостью рока человек. Отмеченные страстью натуры, таящие в себе до поры до времени вулкан, должны рано или поздно испытать его извержения: это неизбежно, как смерть, на пути которой лежит роковое потрясение.

Новеллы и легенды Цвейга потому и имеют такое огромное литературное значение, что в них отмечены эти высшие точки возможных для человека напряжений, до вершин которых не поднимаются каждый день и не все в условиях разряженной и будничной современности. Но они **есть**, эти точки, они лежат в пределах диапазона человеческой гаммы эмоций, и потому еще не так плохо в этом безгероичном сегодня, но таящем героические возможности мире...

Современная германская литература и представляет собою всю шкалу этих возможностей от низших бульварных жанров до такой лучезарной и праздничной вершины, как творчество С. Цвейга.

Если литературное сегодня рассмотренных нами стран являет и обилие имен, и разнообразие творческой мысли, то в Италии с художественной прозой обстоит далеко не так благополучно.

Правда, на оскудение продукции Италия пожаловаться не может: книг выходит много, число авторов тоже довольно значительно, но вся литература современности носит очень заметный отпечаток усталости и исчерпанности. Времена бурных порываний, большого блеска и отрадной свежести, какими итальянцы дарили мир еще так недавно, повидимому, прошли, и литература вступила в полосу теней и итогов.

К итогам нужно отнести полный закат Г. Д. Аннунцио. Этот некогда потрясавший откровениями мир поэт «перестал быть». Он еще жив, он богат, он принял из рук Муссолини титул «принца Монтеневосского», он чудачит и захлебывается от избытка материальных благ, но поэт в нем «перестал быть». Может быть, «принц» что-нибудь и пишет, но опубликованием своих творений мир не удостаивает, увлекается театральными постановками и пьет былую славу из золотого кубка. Пока он возвестил миру, что готовит «полное собрание» своих сочинений в 80 томах, при чем 30 томов составят совершенно новые произведения. Приходится, очевидно, обождать выхода в свет обещанных 30 томов.

К итогам же следует отнести и только что умершую Матильду Сэрао, которая для современной литературы все равно непоказательна, но представляла собою значительную величину в жизни и интересах прошлого поколения. И, наконец, Грация Деледда получила «нобелевскую премию» по литературе за 1927 г., что, собственно, тоже следует отнести к итогам. Деледда—интересная писательница, выступившая в литературе вместе с новым веком и посвятившая свое творчество бытописанию родной провинции—Сицилии. Новеллистка по преимуществу, Деледда поздно нашла дорогу к большой форме и разрабатывает жанр семейно-бытового романа, столь принятого в Италии. Ее два последних романа—«Бегство в Египет» и «Танец ожерелья»—не выходят за пределы этого жанра.

Если говорить о современном итальянском романе средней волны, то и его можно определить, как реалистический и бытовой. Семья, город, учреждения, биржа, церковь, театральный мир, улица и ее обитатели, провинция, пейзаж и человек—служат темой и фоном для самых причудливых хитросплетений, интриг, завязок и развязок, которыми опутывают авторы своих героев и героинь, цементируя части неизменной любовной пастой.

Здесь море возможностей безбрежно. Старые, испытанные авторы, как Флавия Стено, Джиованни Верга, Анни Виванти и др., придерживаются традиционных форм классического романа и дают порой изумительно полные и мастерски-выдержанные отражения убогой итальянской действительности фашистского сегодня. Если Флавия Стено в «Сиротах живых» рисует волнующие картины судеб детей, сданных разошедшимися родителями на руки воспитательниц пансионов, не заботясь о душе и впечатлениях несчастных «сирот», то Анни Виванти охотно вводит читателя в удушливую атмосферу обманов жизни большого города, куда попадает наивная провинциалка, заманенная содержательницей притона и проданная для оргий («Naja tripusians»). Джиованни же Верга неизменно вносит обличающую социальную нотку

во все свои произведения, прекрасно рассказывая о провинции и типах крестьян и рабочих, изнывающих под ярмом эксплоатации.

Тем же бытовым темам посвящают свое творчество и наиболее читаемые авторы—Гвидо да-Верона, на произведениях которого за последнее время лежит налет известной «бульварщины», Луциано Цукколи, Уго Тамазини, Марино Моретти, А. Панцини, Фр. Кьеза и очень многие другие. Продуктивность Цукколи неистощима, а его особое уменье «коснуться до всего слегка с ученым видом знатока» делает его романы заманчивым чтением в мелко-буржуазных и чиновничьих кругах. Да и не могут не иметь успеха такие бойкие и злободневные романы, рисующие современную женщину Италии в целой серии любовных приключений, как «La divina fanciulla», «La stvanieraincasa» «Perche ho lasciata Zina Scercow» роман с русской героиней и проч. Зато Кьеза серьезнее и документальнее, он склонен к психологии и анализу, что отяжеляет его романы и роднит их с «натуральной школой».

Отрыжке военных переживаний посвящается все еще не мало произведений, а мутный вал фашизма, перекатывающийся через Аппенинский полуостров, находит только очен скудное отражение. Если войне и послевоенным настроениям посвящают свои книги П. Мастри, М. Мартини, Вирджилио Брокки (последний целую серию «I romanti del!' Isola sonante» то изображению уродств и ужасов фашизма отдана книга Паоло Альбетрелли «I conquistatori»*). Большинство же современных бытовых романов пишется на старые темы—любовь, ревность, дом, семья, капитал, церковь, родина и т. д.

Конечно, и эти заезженные темы могут получить остроту и трепет под пером большого мастера, что и доказал Луиджи Пиранделло—высшая точка современной литературы—в одном из последних своих романов «L'esclusa»**). С эпическим спокойствием развертывает Пиранделло отвратительную картину распада современной буржуазно-католической семьи на фоне уродливых социальных отношений, снабжая повествование глубокими и меткими замечаниями, рисуя характеры выпукло и ярко и заставляя читателя переживать перепитии фабулы так же трепетно, как их переживают сами персонажи романа. Огромное дарование Пиранделло еще раз восторжествовало над сложным и противоречивым материалом.

Если сказать к этому, что излюбленный итальянскими беллетристами жанр новеллы имеет неослабное стремление расти и шириться, захватывая в свой плен все большее число художников, то к беглому отчету о состоянии современной итальянской прозы прибавить ничего не придется. Она проходит трудный и безрадостный период сумерек, отделяющих один литературный день от другого, который для нее несомненно займется...

Современная испанская проза тоже не блещет крупными талантами, у нее даже нет своего Пиранделло, ибо ни Бласко Ибаньес***), романист, не создавший своей школы, ни Мигуэль Унамуно, изгнанник, живущий в Париже и более популярный во Франции, чем на родине, не обладают силой таланта этого изумительного итальянца. Испания тоже проходит период литературных сумерек, даже без особой надежды на близкую зарю.

Литературное прошлое этой страны свидетельствует о больших силах, таящихся в даровитом и живом народе, а безотрадное настоящее не дает соответствующей атмосферы для их расцвета. Экономическая отсталость страны, политическая ночь диктатуры и деспотизма, религиозный гнет католического клерикализма, все еще мыслящего себя в Испании прямым наследником «священной инквизиции», и общая социальная ретроградность испанского буржуазного общества при весьма низком культурном уровне и рабочих и крестьян—создают ту неблагоприятную атмосферу, в которой задыхается живое творческое слово. Если к этому прибавить специально литературные беды Испании, то причины отсутствия в достаточном количестве питающих художественную литературу витаминов выяснятся с приблизительной обстоятельностью. После обильного и количественно, и качественно цветения поэзии и прозы Испании в XIX веке, давшем во второй половине такие значительные имена, как Рамон де-Кампомор, Хуан Валера и Алкало Галиано, Хосе Марио де-Передо, Бенито Перес Гальдос, Армандо Палисно-Вальдес, Эмилио Пардо Басан и др., современная литература оскудела, растворившись в традиции и подражаниях, не сознавая этого оскудения. Гордая «кастильская честь» диктует известную самоуверенность, для которой нет крепких оснований, и тот десяток-другой значительных писателей, каким представлена Испания сейчас, занят больше отстаиванием своего достоинства,

---

*) По-русски—«Мутный вал». ГИЗ.

**) «Отвергнутая». Изд. «Время».

***) Статья была уже написана, когда телеграф принес весть о смерти писателя в Париже 28 января 1928 года.

чем прогрессом художественного слова, и исканиями. Консервативная самоуверенность диктует большинству из них возноситься над своими соперниками из латинской Америки и употреблять все силы, чтобы сохранить видимое первенство перед ними.

Между тем это первенство с заметной быстротой уплывает, и современная латинская Америка ярче, талантливей и богаче литературно, чем старый, многоопытный Пиринейский полуостров Европы. Поэтому и нам придется говорить о двух разных испанских литературах: европейской и американской. В первой горит на художественном небосклоне вечерняя, во второй—утренняя заря.

Из больших имен континентальной литературы имена Бласко Ибаньеса и Унамуно, пожалуй, крупнейшие. Общественник и республиканец, Бласко Ибаньес стоит в реакционной Испании на крайне левом фланге, был изгоняем, ссорился с королем и вообще считается опальным человеком. Его литературная заслуга в том, что традицию Переды и Пардо Басан он сумел развернуть в широкий жанр «провинциального» романа с бытовой окраской, социальными тенденциями и охватом широких народных масс. Его родная Валенсия нашла на страницах его романов более выпуклое выражение, чем даже Монтанья у Переды и Галисия у Басан. Глубоко гуманное и неизменно прогрессивное настроение творчества Ибаньеса находится в равновесии с его реалистической манерой, заимствованной им у натуралистов, но очищенной от их крайностей.

С огромным трудом испанская литература предшествующего поколения освободилась от длительного французского влияния и нашла тоже своих национальных воплотителей. Бласко Ибаньес сумел удержать свое искусство на высоте этой самостоятельности, и в этом его преимущество перед Мигуэлем Унамуно, который далеко не чужд настроений литературных кругов современной Франции.

Одно из самых значительных произведений Унамуно, роман «Nubla»*), вполне отвечает своим содержанием заглавию, рисуя упадочнические, нездорово-туманные настроения героя—писателя Аугусто, умирающего на последних страницах после целого ряда неопределенных переживаний, рассказанных в оригинальной и орнаментированной форме.

Рядом с этими наиболее признанными писателями можно поставить несколько крепких, интересных и свежих дарований, достигших своего расцвета. Тонкий пейзажист и хронический юморист каталонец Сантьяно Русиньоль занят наблюдениями над жизнью крестьян и мелких буржуа, мещан средней Испании, и описывает их необычайно красочно; горожанин и эрудит Рамон Гомес-де-ла-Серна, тяготеющий скорее к новелле, чем об'ясняется композиция его романа «Eldociov inverosimil»**), состоящая из сцепления ряда мелких анекдотов об успехах доктора Вивара, «cinelandia»***),—повествование из жизни и быта кино-работников, сделанное по тому же методу. Гомес де-ла-Серна, выступивший печатно в 1914 г., выпустил много книг характера «этюдов» («essais») и эту манеру кратких, обрывочных очерков перенес в область художественного повествования, почему у него и получилась основная установка на анекдот. На большие и связные вещи у Серна нет материала вследствие того, что он сознательно суживает поле своих наблюдений, не выходя в широкую общественность.

В этом отношении отзвучнее на современную жизнь Пио Бароха, реалист, бытописатель кругов испанской интеллигенции с захватом всех сторон жизни большого города с его газетными редакциями, игорными домами, тюрьмами, салонами и т. д. В своем социально-бытовом романе «Mala hierba»(*) он с большой обстоятельностью и правдивостью рассказывает о пульсирующей всеми фибрами жизни уродливого Мадрида, о богеме, художниках, писателях, женщинах и рабочих современной Испании. Пио Бароха—анархист, подпольщик, революционер, сторонник общения Испании со всем миром, в противоположность националистам-католикам, проповедующим рецепты «спасения» Испании путем вываривания в собственном соку.

К таким реакционно-католически и национально-шовинистически настроенным кругам принадлежит писатель Рикардо Леон, имеющий огромный успех своими романами у аристократов, клерикалов и крупных буржуа.

Среднюю продукцию современного испанского романа поставляет на рынок целый ряд писателей с более или менее зарекомендованными именами: Луис Белло, Фернандес Флорес, Хозэ Энрико Родо, Габриэль Миро, Альберт Инсуа, София Казанова, Армандо Сегри—представитель светского бульварного романа «с настроением»

*) «Туман».
**) «Необыкновенный доктор». 1920 г. По-русски изд. «Всемирн. Литер.». 1927 г.
***) «Киноландия». «Всемир. Литер.». 1927 г.
(*) «СорнаяТрава». ГИЗ. 1927 г.

(«El ultimo decadente») и многие другие. Среди большого числа поэтов-лириков, о которых в этой статье вообще не говорится, есть и такие, которые пишут в прозе иногда очаровательные новеллы, как например, поэтесса Мария Энрикета родом мексиканка, но живущая в Мадриде.

Самыми последними новинками испанской прозы являются: роман Хосэ Мария де-Акоста—«Las eternas mir nas»*), посвященный анализу психологии старых дев, которые «не имеют в жизни любящей руки, на которую они могли бы опереться», и отражающий бытовое явление современности—уклонение молодежи от ранних браков—и роман Руфино Бланко Фомбона, венецуэльца, живущего в Мадриде—«Ja mitra en la mano»**), имеющий целью изобразить испанского Эльмера Гантри, что ему блестяще и удается.

Читатель видит, что уже замелькали имена уроженцев латинской Америки, и потому мы поспешим скорей туда переправиться.

Как уже было сказано, в испано-португальской Америке занимается ясная литературная заря. Количество испанских поэтов и прозаиков растет неудержимо быстро, а качественно они поражают необычайной силой и свежестью, может быть, еще и потому, что пейзаж, обстановка, люди и быт, описываемые ими, экзотичны, невероятны и немыслимы для европейского сознания. Этот реквизит сам говорит за себя своей красочностью.

Действительно, перуанец Вентура Гарсиа Кальдерон, аргентинцы Роберто Пайро и Энрике Ларрето, мексиканец Хавнер Икаса и целая плеяда кубанцев, уругвайцев, бразильцев и т. д.—пленяют исключительной свежестью дарований, волной благородных и прогрессивных эмоций и необычайной красочностью описаний.

Вентура Гарсиа Кальдерон—новеллист. Он сейчас живет в Париже и пишет о Перу по воспоминаниям, которые у него сохранились совсем отчетливо. Его рассказы, всегда насыщенные колоритом экзотики, известны русскому читателю по переводам изд. «Время» («Человек, облегчающий смерть» и «У предела»). Р. Пайро представлен сатирико-бытовым романом «Приключения внука Хуано Морейры», Энрика Ларрета—романом «Подвиг дон-Рапиро», а некоторые другие—мелкими новеллами в сборнике «Латинская Америка» (изд. «Книжные Новинки»).

Однако, большинство произведений испано-американских писателей не переведены еще на русский язык. Между тем многие из них затрагивают самые животрепещущие темы современности. Достаточно указать, что творчество Хавнера Икаса посвящено изображению революционных движений в Мексике с 1910 г. по сей день. Его «gente Mexicana»***) является одной из сильнейших книг, в которой собраны три больших новеллы с основной мыслью, что человек—только игрушка в руках обстоятельств и жизни, толкающей его на протест и бунт, в котором он гибнет.

Новеллы Роберто Ортелли «Micado»(*) пропитаны трагическим восприятием жизни, а романист Боливии Тристан Мароф все свои книги посвящает описаниям своей родины, таящей такие неисчислимые богатства и возможности, но находящей так мало внимания в Европе.

Перечисление авторов и книг грозит затянуться до бесконечности и потому придется ограничиться указанием на два-три самых интересных романа, типичных и тематически и жанрово.

Это, во-первых, авантюрный роман Хосэ Эустасио Ривера—«Ja Vovagine» с целым ассортиментом самых невероятных приключений в лесах Амазонки, с похищениями, дуэлью, любовью, с потоками крови и всяческими ужасами вплоть до кайманов, которые пожрали злодея Барреру. В этом романе жанр приключенческого романа доведен до предела, уснащенный самой живописной экзотикой природы, нравов и страстей. В таком же стиле, но менее кроваво написан роман Альберто Ранхель «Jnfemoverde» с богатейшими описаниями пейзажа Амазонки.

Другое произведение любопытно по внесению сентиментализма в жанр бытового романа. На заре литературной зрелости сентиментализм почти неизбежен и крайне показателен. Хуан-Мануэль Пленас и вводит в свой роман «Florde Manigua»(**) мотив самопожертвования и смерти молодого человека, решившегося умереть, чтоб любимая им, но не его, а друга любящая девушка досталась этому другу. Точно проще нельзя было это устроить! Но иначе не получилос бы сентиментального романа, совершенно необходимого для вкусов читателей Гаванны.

*) «Вечные поиски» — не переведен.
**) «С митрой в руке» — не переведен.
***) «Люди Мексики».
(*) «Страх».
(**) «Цветок из Манигуа» (одно название чего стоит (!).

И наконец, социально бытовой роман Луис Энрика Сантистебана «La que no gueria amar»*). Здесь выведена дочь миллионера, отказавшаяся от богатств отца и ушедшая в трудовую жизнь. Она становится писательницей и передовой женщиной, отрицающей любовь и признающей только дружбу. Но любовь подкралась, отомстила, привела с собой и ревность, и страдание. «Феминизм» испарился. Этот роман крайне показателен, как сплетение двух концепций: англо-американской и латинской, не даром действие перенесено в Нью-Йорк, а на всем романе лежит печать «испанской страсти».

Литература современной Бразилии—на португальском языке—не представляет такого обилия авторов и произведений, как латинские страны с господствующим испанским языком, но и в ней наблюдается значительное оживление во всех направлениях. Величайшие писатели Бразилии XIX в.—Хозе де-Аленкар, Франклин Тавора и Бернардо Гимараеш—нашли достойных продолжателей в лице современников Эуклидеш да-Кунья, Аффонао Аринош, Альсидеш Майя, Медейрос-е-Альбукеркэ и др., пишущих романы и новеллы из многокрасочной жизни Бразилии.

За последнее время внимание читателей привлек Афронио Пишото, не только романом «Paginas Escolhidas», но и трудами по составлению четырехтомной Antologia Brasileira», в которой собрал лучшие образцы бразильской литературы с исследованием о Кастро Альвеш, Марии Бонита и де Бугриньа—ярких представителях бразильского художественного слова. Свои критико-публицистические очерки он опубликовал в книге «Mincha terra e mincha gente» (1926 г.).

Литературе латинской Америки открыто будущее.

Чтобы не уезжать из страны, в которую мы уже забрались, мы перейдем к литературе Соединенных Штатов, так называемой «американской», и заранее откажемся возвращаться в Европу для посещения северных и славянских стран, о которых расскажем в другой раз.

Американская литература дала за последние два десятка лет необычайное цветение. Количество писателей и писательниц умопомрачительно разрослось, стиль стандартизировался и знаменует заботливую культуру слова, самый язык получил большую определенность и выступил на путь развития самостоятельной «американской» ветви английского языка.

Нигде, может быть, в Европе мы не имеем такого четкого деления литературы на слои, как именно в Америке, где жанры отстоялись и социально. В самом деле: литература низшего слоя, рассчитанная на маловзыскательного в художественном отношении читателя, ищущего только занимательности фабулы, сложности интриги, бульварной окраски с детективами, преступлениями, приключениями, контрастовой необычностью обстановки, укладывается почти исчерпывающим образом в авантюрный роман всех оттенков. Обульваренный Джек Лондон, американизированный Шерлок Холмс, уголовно-преломленный Диккенс и перелицованная на американский лад Жорж Занд—плывут широким потоком у бесчисленных авторов, ищущих дешевого успеха и большого сбыта. Д. О. Кэрвуд, Уайт, Кэллэм—вплоть до Бэрроуза с его «Тарзанами» разбазаривают на все лады наследие великого Джека; детективно-сыщицкие темы находят бесчисленное множество повествователей, а самая жизнь кишит преступлениями, порой столь сложными и загадочными, что они не требуют даже особой разработки, чтоб наполнить интересом бульварный роман; в духе реализма Диккенса пишутся романы из быта уголовного мира с его представителями на всех ступенях общественной лестницы—от бандита на большой дороге до депутата и «общественного деятеля» американской буржуазной демократии; в этом отношении показательны два романа среди их огромного множества: «Я—бандит»—Чарльза Френсиса Коу и «god got one vote»**)—Бреннена. В первом нарисован путь юноши от украденного яблока к убийству, ограблению и тюрьме, во втором вскрыта бандитская техника выборов и распределение общественных должностей среди лиц «победившей партии», насчитывающей в своем составе далеко не безупречных в уголовном отношений деятелей. Обе книги—самые последние новинки и потому особенно показательны.

Заветы Жорж Занд продолжает громадная армия писательниц. Все они буржуазно-прогрессивны, все «борются за права женщин», все не чужды сентиментальности, склонны к лирике деревенского пейзажа и в той или иной степени «посрамляют» темные стороны американской общественности, ставящей женщину в тяжелые условия быта.

---

*) «Та, что не хочет любить».
**) «Бог дал один закон». Не переведена.

Конечно, каждая из этих писательниц имеет свой «уклон». Так, Марта Остэнсо его обнаруживает в сторону бытописания фермерской жизни; Эдит Уортон любит психологию горожанок и быт средней буржуазии; старушка Мэри Рейнхарт любовно-сентиментальна во всех своих 32 томах; Эдна Фарбер имеет две слабости—описывать среду американских евреев с непременным гением, жизнь которого разбивает женщина-христианка («Самостоятельная Фанни») и посылает проклятия городу из идиллического уединения фермерского быта. Наталия Седвин Кольби рисует жизнь высших чиновничьих кругов Нью-Йорка, ибо ее муж занимает один из важных постов; Анзя Езерская целиком погружена в темы об евреях в Америке; самая одаренная из них—Фанни Херст—избрала себе область жизни домработниц, пролетарок и мелкой буржуазии.

Нельзя сказать, чтоб все это было блестяще, талантливо, но скромно рисует разные уголки современной жизни. Больших требований нельзя и пред'являть этому слою литературы, честно выполняющей свою миссию «отразить» текущий момент в беглой бытовой зарисовке. Этот тип литературы не живет долго, и его авторы обречены на забвение еще при жизни, если они только не будут упорно напоминать о себе неисчислимыми ежегодными романами, как это делает устаревший, но все еще «лезущий» Бус Таркингтон, типичный поставщик книжного рынка.

Выше этого слоя стоит ряд значительно более одаренных писателей, творчество которых и многосторонней, и глубже. В жанровом отношении они склоняются тоже к бытовому роману, расширяясь порой, как Эптон Синклер, до размеров социально-бытового, не чуждаясь экскурсов в область психологического романа, который в чистом виде не культивируется сейчас в Америке, за исключением очень небольшого числа «урбанистов», эпиков города, которые стараются отразить ритмы грохочущего города капиталистической страны в прихотливых и болезненных изломах психики современного горожанина-американца. Нервность, беспочвенность, оглядка, страх и неуверенность бытия свойственны неустойчивой психике человека из современного американского Вавилона и находят очень выпуклое отражение в странных и каких-то ущербных по форме произведениях Каммингера, Эвелина Скотта, Фр. Нивена, Франка Эльсер, Роб. Кэрза, Флойд Делла, Уольдо Франка и др. Некоторые из этих писателей, как Флойд Делли, Холгер Кэхил и критик Конрад Эйкен в своем «Голубом путешествии», обнаруживают себя не только большими мастерами, но и очень тонкими наблюдателями с огромной культурой. Такие книги, как «Причуды старика»—Фл. Делла, «Горизонт»—Р. Кэрза, «Перекресток»—У. Франка, приближаются к наиболее значительным произведениям современного американского романа.

По силе дарования, широте размаха, трепетности темы и социальной значимости фабулы выделяются несколько американских романистов разных направлений но с общей целеустремленностью—понять и рассказать другим понятое о сегодняшнем обществе.

Несколько романтически настроенный, но весьма правильно улавливающий настроения большого города Дос-Пассос создал целую симфонию на тему о современном городе-гиганте, ритмы и дыхание которого он так чутко воспринял и выразил в «Манхэттэн», «Ночные улицы» и др.

Круги американской богемы, артисты, художники, поэты и литераторы нашли своего летописца в лице Бен Хекта, вносящего какую-то жестокую ноту в оценку современности, не даром он в одном из самых сильных своих романов «Эрик Дорн» так потрясающе полно сумел описать революционные события в Баварии, поэзии которых он противопоставляет будничность и пошлость послевоенной Америки.

Среди его романов особенно выделяется «Игра в жизнь», рисующий трагику сознания писателя, принужденного капитулировать перед несокрушимым буржуа, и «Гений начинающий», посвященный изображению богемы. Другие еще не переведены, но серия «Broken necks» заслуживает внимания своей социальной установкой.

Большое и серьезное дарование Т. Стриблинга относится к тому слою литературы, который ближе всего к «высокой» литературе современности. Стриблинг умеет быть очаровательным при описании экзотических приключений в условиях южно-американских феерических «революций» («Генерал Фомбомбо»), он умеет быть обличительным и громить предрассудки, косность и невежество мелко-буржуазной и рабочей среды Южных Штатов, где поповская глупость находит широкое поле для своих подвигов («Тифталоу»), он умеет и быть увлекательным повествователем жизни и нравов испанцев («Красный песок») и, наконец, он серьезный социолог, ставящий проблему «проклятия» черной расы для ее представителей в условиях «демократической» Америки в романе «Драма крови»... Негрский вопрос вопиюще-уродливо стоит в этой «цивилизованной» стране с судами Линча и нена-

вистью к цветным. Стриблинг заставляет читателя почувствовать и ужас, и неясность этой «проблемы» в современной постановке.

Писателем большого общественного диапазона является и Джозеф Хергешеймер. Его романы неизменно насыщены воздухом современности, которую он видит в ее самых мелких подробностях уродств общественного строя с его откровенно грабительскими тенденциями. В таком обществе героизма быть не может. Если и был когда-то героизм в Америке, то он выродился со времени первых пионеров капитализма. В романе «Три черных Пенни» показывает писатель путь этого закономерного вырождения. Все остальные романы Хергешеймера—«Явайский пик», «Линда Кондон», «Яркая шаль», «Бэлисеку» и «Тампико», как и сборники его рассказов, можно рассматривать, как художественные этюды по изучению и освещению темных и провальных сторон современного буржуазного общества, одержимого империалистической лихорадкой стяжания колониальных богатств.

Картина при всестороннем освещении в романах современных американцев получается весьма безотрадная и возмутительная. Государственный и общественный строй, политика, экономика, религия, нравственность, весь уклад социального бытия полны до краев пошлостью, мещанством, лицемерием, алчностью, ненавистью и бессердечием. Над этими неутешительными явлениями большинство писателей размышляет, плачет, скорбит о них и пытается указать пути к спасению. Серьезность тона говорит о глубине переживаний.

Но не менее глубоко чувствует эти недостатки и величайший юморист современной Америки—Вильям Вудворт, находящий для их оценки формы острейшей сатиры, свидетельствующей о том, что дух Марка Твэна жив еще и нашел достойного преемника. Три романа этого молодого сатирика—«Вздор», «Лотерея» и «Хлеба и зрелищ»—обнажают общественные язвы с необычайной беспощадностью, заставляя читателя хохотать до упаду, но ни на минуту не терять и ощущения глубокой серьезности, скрытой под маской этих убийственных насмешек.

Вудворт сразу проложил себе дорогу на вершину современной «большой» литературы Америки, занятой тремя крупнейшими художниками—Шервудом Андерсоном, Теодором Драйзером и Синклером Льюисом.

В противоположность Вудворту, Андерсон трагичен. Он не чужд юмора, но основная его концепция мира—трагическая. Видя и сознавая все недостатки и уродства современной жизни, Андерсон понимает и безотрадность выводов, которые современники могли бы сделать из этих наблюдений, если бы они обладали той силой проницательности, которая выпадает на долю немногим. Но те, кто сознают это, не могут не относиться трагически к жизни, если они не социалисты. Андерсон не социалист, но, как чуткий художник, он прекрасно понимает грядущую роль пролетариата в Америке. Происходя сам из бедной фермерской семьи, Андерсон и все свое творчество посвящает описанию пролетарско-крестьянских слоев населения Америки.

Психолог-аналитик и немного романтик, Андерсон обладает изумительным даром рассказчика, так что значительные пробелы в его общественных взглядах читатель охотно прощает, увлеченный манерой повествования, не имеющей равной во всей современной Америке.

Подчинив себе читателя, Андерсон ведет его по путям своего неистощимого воображения, показывая мир и его явления с необыкновенной убедительностью. В новеллах, стихах и романах у Андерсона одинаково полно проступает эта сила суггестивности, достигающая в последнем авто-биографическом романе «Тар» совершенно неслыханных высот. Романтическая трагедия мира изложена в произведениях этого поэта с увлекательностью плавной и прекрасной новеллы.

Полною противоположностью Андерсону является тяжеловесный Теодор Драйзер, ученик величайшего романиста Америки Д. Грэхем Филлипса, «последний натуралист», «золаист» и основательный знаток жизни. Его романы необычайно трудны по языку, тяжелы по стилю, сложны по композиции и изрядно скучны, вследствие невероятных нагромождений. Но они монументы, по которым историки будут изучать эпоху, прошедшую от первой буквы до последней перед глазами этого неутомимого наблюдателя. 15 романов—это 15 тяжелых глыб, из которых построен памятник столь же неуклюжей, тяжеловесной и жестокой эпохе. Все стороны жизни нашли в них отражение: женщина и ее судьба («Сестра Кэри» и «Дженни Герхарт»), биржа и деньги («Финансист»), борьба и гений («Титан» и «Гений»), мир, идеология, труд, отдых, будни и страсти, словом, вся гамма жизни, весь ее спектор до классовых, городских, индустриальных и проч. выявлений разграфлены и исследованы с потрясающей полнотой. Все здание увенчивается огромной двухтомной «Американ-

ской трагедией», заключающейся не в чем ином, как в самих условиях жизни и строя капиталистической Америки империалистов.

Жуткий и холодный талант Драйзера терзает и гнетет сознание, не давая ему ни выхода, ни успокоения...

Гораздо гармоничней, человечней и гибче талант Синклера Льюиса. Этот писатель прежде всего не схематик, а радостный наблюдатель. Даже отрицательные явления подвергает он анализу с бодрой и снисходительной улыбкой человека, сознающего слабости людей, но заранее прощающего их им.

Синклер Льюис одинаково силен во всех жанрах. Начав с авантюрного романа («Наш мистер Рейн», «Полет сокола»), он перешел к бытовому («The job», «Главная улица»), вернулся несколько назад и смешал оба жанра («Свежий воздух»), потом создал потрясающую картину социального дна провинциальной жизни («Мистер Беббит»), перешел к широчайшему полотну с обличительно-негодующими тонами, обрисовав нравы, царящие в кругах высшей ученой интеллигенции («Мартин Арроусмит»), вновь вернулся к смешанной форме авантюрно-психологического романа («Ментрап») и с этого трамплина набросился на ханжество и лицемерие клерикальных кругов Америки в совершенно исключительном по силе романе «Эльмер Гантри». Экскурс в психологию был ему, таким образом, необходим, как подготовительный этюд к огромному бытовому, социально-психологическому роману. Сейчас Синклер Льюис закончил еще один роман, содержание которого мне пока еще неизвестно.

Несомненно, Синклер Льюис—вершина современной американской литературы как по силе таланта, так и по глубине проникновения в живую ткань жизни.

На этом наш обзор должен оборваться, ибо совершенно невыполнимой является задача дать исчерпывающие сведения по всем странам Европы и Америки. Мы не исчерпали ни материала, ни стран, но и задача наша была не столь широкой. Она заключалась в том, чтобы наметить только общие линии в литературных направлениях и интересах сегодня по главнейшим и значительнейшим достижениям художественного слова, чтобы помочь читателю быть сознательным читателем переводных авторов, не набрасываться на халтуру, уметь разобраться в книгах и книге.

Автор льстит себя надеждой, что это задание выполнено и эта цель достигнута.

Ф. ТИХМЕНЕВ

О литературных „зазубринках" В. Зазубрина

...«Мы тянемся к шкале культурных завоеваний десятого Октября, чтобы на этой огромной шкале сделать скромную, маленькую, но свою зазубринку».

(Из юбилейного доклада Зазубрина о сибирских писателях, 21 марта 1927 года).

I. РВАНЫЕ СЛЕДЫ.

Шесть лет тому назад Зазубрин ворвался в литературу в больших, грубых красноармейских башмаках. Смело отпечатал в ней три шага. Порывистых и неуклюжих. Резкие следы угловатых подошв, рваные царапины гвоздей еще и теперь свежи. Их не затирает насыщенное «зазубринками» время.

Эти следы: «Два мира», «Щепка», «Общежитие».

Я вглядываюсь лишь в эти произведения, ибо говорить о мировосприятии писателя, искать исчерпывающую его «изюминку» еще рано. Автор и годами молод (ему 32), и переживает к тому же тот период литературного роста, коему свойственны неожиданные уклонения и прыжки. Но отметить то, что выявляется, как определяющее и характерное для зазубринского пера, уже можно. Это—фанатическое и воинственное устремление его ко всему здоровому человечно-яркому и жестокая брезгливая и откровенная ненависть к худосочному, пошлому, поганящему «землю чистую».

В большом нервном напряжении при восприятии обычных жизненных фактов, во всегдашней взволнованности и свежести зазубринского восприятия, придающих заурядным словам его сочность, силу и своеобразный перец остроты и жгучести в этом и заключается основной секрет литературного воздействия Зазубрина на психику читателя.

«Зазубрин злой». Это обычный отзыв о нем среди его сотоварищей по работе. «Когда Зазубрин даже просто что-нибудь говорит, что-нибудь констатирует, создается впечатление, что он ругается», —пишет Итин во 2 книжке «Сибирских Огней» (за 27 г.).

Зазубрин говорит взволнованно, напрягаясь кровью включительно до ушей. И пишет, напрягаясь кровью. Страстностью, неистовостью он волнует и заражает. В ней его успех.

Примечание: Настоящая статья поступила в редакцию до напечатания в предыдущей книжке журнала «Сиб. Огни» статьи А. Топорова «Деревня о современной художественной литературе». Отдельные совпадения в оценке романа «Двух миров» крестьянами и автором настоящей статьи не могут быть об'яснимы позаимствованиями.

Остро рвать, дергать, взвинчивать настроение читателя до уровня накаливания—основное устремление писателя. И «Два мира», и «Общежитие», и «Щепка» рваною царапают пассивность восприятия. Они дергают неотступно и настойчиво, в явных целях дать рваную рану, зазубрить ее «на носу» читателя, чтоб острей и дольше болела.

Автор не только стремится хватать больно, с ущипом, проявляя жестокость в области трактовки темы. Он и хватать предпочитает за «больное». Выбирает острую, злободневную тему.

Иллюстрировать это не трудно.

Гражданская война вызвала «Два мира». Книга появилась в 21 году, когда еще, буквально, не улеглись запахи трупов. Но вот с поля битв острота физического столкновения двух миров перенеслась в подвалы Г. П. У. Писатель с жадным любопытством торопится туда же и дает «Щепку». Утихла борьба и диссонансом новому миру оскалился старый быт. Писатель уже кричит о его пошлости своим «Общежитием».

Только раз автор сорвался: в «Бледной правде» попробовал спокойный и тихий тон. Проба не удалась. Фактичность темы и спокойствие трактовки погубили рассказ. Он вышел бледным и затерялся.

II. «СТРАШНАЯ КНИГА».

Передают, что Ленин после прочтения «Двух миров» сказал о них:

— Страшная книга.

Он умел отодвигать рассматриваемые вещи в их исторический фокус.

Без этого отодвигания «Двух миров» в их историческую перспективу книга, конечно, не может быть «страшной книгой», и никто больше не называет ее таковой. Она, во всяком случае, не страшней тех ужасов, через которые мы перешагнули. Но страшное лицо у книги все-таки есть, и мы не видим его не только потому, что мы огрубели. Мы пронизаны ненавистью и не можем быть остро-чуткими на страдания. В слепоте к страданиям сказывается инстинкт нашего классового самосохранения, в ней залог наших революционных побед. Только будучи жесткими и каменными, мы сможем перевернуть страницу истории.

Но наступит время, когда напрягшаяся в нас теперь ненависть переживет сама себя и схлынет. Вот тогда, читая книгу Зазубрина, мы, несомненно, будем содрогаться и «сжимать брови», ибо счастье революционных побед найдет тогда у нас еще одно измерение—в потрясающей глубине уплаченных за это счастье человеческих страданий. Роман станет тогда «страшной книгой» для всех читателей, а, вместе с тем, развернется в полной мере и его социальное значение, скрытое сейчас внутри жестких, сурово-сдержанных, ломающихся от засохшей крови страниц.

Вполне естественно, что указанное достоинство книги не могло быть полностью оценено критикою сразу же на другой день после гражданских схваток. Роман не встретил у нее особенно теплого признания. Критика поставила на романе штамп «полусырье». Во втором издании шаг к этому сделал и сам автор*). «Полусырье», как обобщение недостатков, как бы впитало в себя все их частности.

И, однако же, «полусырье» сразу создало автору имя в масштабе Союза. «Азната» Зазубрина изредка берет в орбиту своих литературных обзоров «европейская» критика. Признанный за автором талант скрепляется эпитетами: «несомненный», «бесспорный», «незаурядный». Автор определенно признан «творцом», хотя роман и не вполне признан «творением».

*) Предисловие к роману «Два мира» в издании «Уралкниги».

Что же помешало бесспорному признанию «Двух миров»?

Кому как: Пильняку—«боевой психоз» автора, Правдухину—«недопустимая грубость и обнаженность некоторых сцен», плакатность отдельных мест, их невыношенность; Воронскому—чрезмерное заслюнение мира «дымящимся человеческим мясом»...

Наиболее суровый отзыв о романе дал Пильняк. –«Романа, в сущности, нет, как нет ни фабулы, ни завязки, ни персонажей, как нет ни Красной армии, ни ее бойцов и дивизий, ни души и мозга»... «Содержанием романа является баталия. На первых 50 страницах я насчитал 27 боев и 141 смерть. Смерти какие угодно»... («Печать и Рев.». 1922 г., кн. 1, стр 295).

Пять лет истории, тяжело сдвинутые после этого отзыва в прошлое, выпрямили горячие выводы. Все изменяется. И очень многое, еще вчера воспринимавшееся «укором» книге, воспринимается сегодня к ее «чести».

Гражданская война перевернула Сибирь. Жизнь в ней вдруг и сразу превратилась в жестокую азиатскую баталию «Неумеренный реализм», «обнаженный натурализм» (в злоупотреблении коими упрекнул Зазубрина Правдухин) и даже звериный физиологизм стали обыденностью во взбаломученной человеческой гуще. Жизнь стала раскидистой и громадной, но простой и схематичной, как плакат. Революция буровила целиной, через трупы и смерти «какие угодно», оголяя, обостряя и упрощая. Этой же оголенной и упрощенной прямой она потребовала и от литературы, нисколько не смущаясь тем, что прямолинейность в ней есть тезисность, публицистичность.

Зазубрин шел в плечо с жизнью: оголил, упростил, обострил. Дал «страшное» лицо революции, не накладывая не него грима.

В силу авторского следования методам революции, в романе действительно есть то, что мы пренебрежительно называем сейчас «агиткой».

Этого никто и не отрицает.

В предисловии к «Двум мирам» автор сам указывает, что его задачею являлось «использовать агитационную мощь художественного слова». Борьба еще не остыла, и роман начинялся, как снаряд. И выпущен этот снаряд Пожармом 5, тем самым, который только что вышел на бруствер окопов и железной логикою мысли крушил врагов, еще несокрушенных его железом. «Два мира» это литературный кирпич революции, вложенный в советское здание в нужный момент гражданской войны.

Год выхода в свет «Двух миров» (1921 год) был для Сибири годом крестьянских восстаний. Напряжение революционного натиска перенесено было на идеологический фронт. Интересы революции требовали художественного специально-сибирского публицистического плаката. Прямолинейного, без вычурных фабульных завитушек. Без загадок. С нарочитым подчеркиванием социального и классового и нарочитым отодвиганием всего загораживающего, узкого и личного. Прямолинейность и публицистичность, таким образом, дружно оправдывались в романе по двум линиям: доминированием методов революции по линии причинности и агитационными задачами дня—по линии целесообразности.

Наряду с изложенным отпадает и третий упрек—в поспешности*), поскольку автор не мог вынашивать и ждать.

Указанные выше причины неумолимо обуславливают основные недостатки романа.

Автор забрасывает острые углы агит-тезисов торопливыми тряпками фабул, но углы резко проступают с первых же строк:

*) «Может быть, т. Зазубрин поспешил выпустить свой роман»—Пильняк. «Жаль, что автор так спешно ее (книгу) издал».—Правдухин.

Глава 1. Атамановцы:
1) расстреливают;
2) насилуют;
3) жгут...
Об'екты этих расправ—крестьяне:
1) умирают от ран;
2) сгорают;
3) сходят с ума;
4) бегут к партизанам и т. д. и т. п.

Все «леса» романа на ¾ представляют собою походный конспект агитатора, набросанный скупо и форсированно, с вынужденной небрежностью революционного недосуга.

Намеренно сухо шагая по кратчайшей, в ногу с агитационной мыслью, впереди чувства и интуиции, автор, кроме того, стискивает и тюкует материал, закупоривает отдельные сюжетные мотивы, торопится через отдельные жизни-винтики к большому социальному концу. В результате этой прессовки и закупоренности роман довольно часто раздражает непривыкшее к новым формам восприятие совсем слабо сделанными кусочками—сценами. Вот один из наихудших в этом роде образцов:

Пятеро конных крестьян едут разбирать железнодорожный путь, чтоб спустить «белый» поезд.

«—Если поезд спустим, расстреляют наших баб-то, Семен. Заложники ведь они.
— Расстреляют.
— У меня отца расстреляют.
— Ну, и пусть, хоть всех родных, по крайней мере, будем знать, что за нас их убили, за наше дело.
— Спустим.
— Решено».

Это заключительное «решено», эти необычно серенькие, как бы нарочито застуженные слова, не углубленные к тому же ремарками автора, конечно, не удовлетворяют читателя, ибо они не вмещают пафоса описанного события и напоминают страницу из Загоскина или еще более ходульную—из «Жизни за царя».

Мы нарочно останавливаемся на недостатках: их нельзя не признавать, но в общем конспекте романа это пятна отдаленного, заднего плана. Они не выбивают из романа чувство и эмоциональность. Они лишь сдвигают внимание читателя с безликих лиц в другую плоскость, в плоскость ощущения массы. Композиционное стремление выдвинуть эти массы на первый план заставило автора подчеркнуто небрежно «смазывать» частности и детали. Роман «не доделан». Но «недоделанность» эта особенная: внутренне оправданная и внешне завершающая.

Каждую главу романа автор темпераментно обливает кровью своего всегда взволнованного настроения. Но эта взволнованность в «Двух мирах» более социальна, чем лирична, и потому в ней почти нет привычной дореволюционному читателю комнатной интимности, обоснованности малейших движений маленьких частей и винтиков. Автор ведет не интимную беседу с глазу на глаз. Он часто «кричит», или на протяжении целых глав «рубит», как это отмечено уже критикой. Рубит скупо, с жестким утверждением неизбежности страданий, с закушенной губою, с проглоченным протестом «гуманной человечности»: «Так было!..», «Так надо!..», «Так должно быть!..».

В 1920 году мы делали себе стулья из сутунков. Это было грубо, но крепко и практично. А самое главное—это было вполне адэкватно суровой, торопливой и аскетической действительности. Эти «стулья» рисуют свою со-

временность не менее ярко, чем всякая другая, стильная же мебель рисует свою. Стулу, сделанному мощным топором «изо всего дерева» в 21 году, незачем в 25 и позднее приделывать изящные точеные ножки нашего времени. Зазубрин разумно сделал, что оставил эту вздорную затею. Благодаря этому, на страницах «страшной книги» сохранились четкие оттиски жестких и «корявых» пальцев революции, нетерпеливо перевертывавших еще не совсем дописанные страницы. Уже и сейчас есть ценители, кои, не задумываясь, предпочтут эти грубые хватки пальцев многим безукоризненно чистеньким следам кабинетной, спокойной усидчивости. Это не слова и не предсказания. Это уже констатирование факта. Ибо уже сейчас, вопреки Пильняку, роман читают не только историки, публицисты и литераторы, коим он рекомендовал книгу по ее выходе в 1 издании, но и «широкая публика», коей, по той же его рецензии, «едва ли нужно его читать».

Со времени сурового отзыва Пильняка роман вышел 3 изданием. К 1927 году и оно разошлось полностью в количестве 5.000 экземпляров. На рынке книги не достать. В библиотеках роман затрепан: он всегда «на руках». И чем далее отодвигается от нас героическая, но «страшная» эпоха, тем с большей охотой читает и будет читать жуткую книгу родов революции новый советский читатель. Как глубоко-верное отображение колчаковщины, она на сто процентов выполнила и выполнит для него свою историческую социальную роль. Она отображает для него свою эпоху не только «страшным» содержанием, «картинами пыток, расстрелов, разгромов, развороченных черепов, разбрызганных мозгов»*), но и беспримерно жестоким волевым равнодушием, безудержно-упрямым шаганием по развороченным черепам, через разбрызганные мозги, напрямки через какие бы то ни было страдания—к конечным целям революции. Это последнее столь характерное для гражданской войны, столь «историческое» и ценное оголено и рельефно подчеркнуто в романе именно той самой торопливой грубостью авторских приемов, той самой своеобразно неуклюжей, но в конечном счете художественно прекрасной топорностью, которую непривычный глаз воспринимал первоначально, как недоношенное и недопеченое, как сырье.

III. КОМПОЗИЦИЯ «СТРАШНОЙ КНИГИ».

Спокойная «биография»**) Сибири была прервана стихийной схваткой «белого» и «красного». В стремительном потоке развернулась другая, новая Сибирь. Новое качество. Роман кончается там, где достигается кульминация этого катастрофического развертывания. Крушение белого мира, торжество мира красного—вот основная сюжетная ось произведения, которою сколот весь роман.

Выдвигая социальное лицо сюжета на первый план, автор намеренно должен был в «Двух мирах» заслонить деревья лесом, заставить читателя почувствовать всю девятимиллионную вздыбленную революцией Сибирь. Эта трудная задача была в 20 году совершенно новой задачей.

Чтобы дать «лес», автору нужно было предельно насытить роман не только событиями, но и «деревьями»—людьми, до отказа напичкать страницы движущейся, мятущейся и борющейся людской массой. Обилие людей в романе должно было напоминать станции и теплушки и тифозно-вшивый 20 год.

Автору удается эта трудная задача. Страницами романа захвачены тысячи действующих лиц. Впечатление конгломератности жизни, ее многоли-

*) Воронский—о «Двух мирах» и «Щепке» в ст. «Об искусстве».
**) Термин Н. Асеева («Ключ сюжета», «Печ. и Револ.». 1924 г., кн. II).

кости и глубокой социальной взбудораженности в период гражданских схваток выдвинуто и подчеркнуто. И в то же время единицы со своими драмами не загораживают масс. Лица мелькают, не успевая внедриться в читательскую память. Автор достигает этого эффекта приемом поперечного сечения: упрямо рубит и режет поперек человеческих биографий, не увлекаясь в сторону продольного развертывания частных мотивов. Он сам захвачен стремительностью общественных сдвигов и катаклизм. Смотрит, но не рассматривает. Только что завязав в очередной главе романа пучок свежих человеческих узелков, он тотчас же торопливо разрубает их. Это гармонирует со стремительным развертыванием захваченных романом событий, в коих люди романа готовы обрубить гужи и постромки у лошадей, чтоб еще быстрее мчаться вскачь, сломя голову, дальше к неизбежному большому концу, к большой развязке.

Впечатление многолюдности при одновременной безликости романа усиливается благодаря использованию автором приема «смещения плана»*). Прием этот дал автору возможность с предельной динамикой укоротить сюжетную ось путем рваных переходов от одной главы к другой. Благодаря постоянному сдвигу фокуса по плоскости, картины резко перекошены. Главы романа круто обрублены, оборваны. Фабульная ткань составлена из пестро-лоскутных обрывков без умиротворяющего конца в частностях с мудрым концом в синтезирующем целом.

Указанные литературные приемы приносят в роман вместе с существенными композиционными достоинствами ряд осложнений с читателем и один весьма существенный композиционный минус.

Достоинства:

1. Контапруя с жизнью и перерезая поперек, автор дал вместе с тем идеально социальный сюжет. Сниженная роль литературного героя, отведенная ему теорией прозы 20 года, роль атома в большом социальном целом, благодаря этому, безукоризненно выдержана в «Двух мирах». Указанная особенность—заслоение единичным и многоликим в революции—вплотную приближает роман Зазубрина к широко известному «Падению Даира»—А. Малышкина.

2. Поперечным сечением достигнута такая степень напряжения, динамики и стремительности, каковая, при столь же широком охвате в стороны, была бы недостижимой при продольном вдольсюжетном разрезе.

Но из указанных достоинств вытекает с непреложностью один существенный недостаток.

Поперечный разрез человеческих жизней (выпячивание социологии за счет биографий) связан с пренебрежением к психологии и ее нюансам. Отсюда налет грубой плакатности на сечениях. Люди романа не загораживают в нем своею индивидуальностью классовой своей сущности, но именно по той самой причине, что задача эта достигнута через субстрагирование классового и человеческого, они уже не заражают нас порознь, сами по себе, своими глубоковнутренними «интимными» переживаниями. Мы не глубоко индентифицируемся с ними, сопереживаем поверхностно мелконько и потому эстетически не можем быть полностью удовлетворены при чтении.

Непривычное «устроение» романа вызвало, в придачу к сказанному, ряд временных недовольств со стороны читателя. Отметить здесь эти недовольства весьма кстати, поскольку они являются в значительной своей доле результатом использования все тех же литературных приемов.

*) Пильняк.

Прежде всего необходимо отметить недовольство, вызванное якобы более чем обильным количеством «сырой» крови в романе.

Это правда, что люди сотнями гибнут, перерезаемые пером автора, едва только они попадают на страницы романа. Но так как, в интересах захвата романом наиболее «фабульного», а также и наиболее существенного, поперечный разрез через гражданскую войну должен был пройти не иначе, как через отдельные маленькие колизии, через драматические кровью набухшие узелки отдельных человеческих жизней, обилие крови было неизбежным. Крови в самом деле много, но мы не находим ее количественно нереальной, а драматизм романа скол-либо преувеличенным и чрезмерным. *)

Замечательно, что Зазубрин одновременно получил в этом пункте упреки с двух сторон. Один за сгущенность драматизма («писатель почти галлюцинирует»...«не надо пугать ужасами». Воронский), другой за разряжение драматизма, за неосмотрительное бездушие таких, примерно, «солдатских» фраз, как «партизаны рубили N-цев, как капусту», «крестьяне валили орловцев, как снопы» (упрек Правдухина). Это как-раз подтверждает положение, что Зазубрин выдержал среднюю линию. Там, где художник типа Достоевского, с жестокой влюбленностью в страдания, сладострастно топтался бы вокруг да около, где Л. Андреев конвульсировал бы истерически и сумасшедше, Зазубрин, не торопясь и не медля, прошел по прямой кратчайшей, прошел с бледным, но достаточно спокойным лицом, нарочито в отдельных местах автоматизируя описания, показывая события быстро и в неразвернутом их виде.

«Кровь в искусстве не кровава, она рифмуется с «любовь» она или материал для звукового построения, или материал для образного построения».

Это (весьма относительное) утверждение Шкловского («Теор. прозы», 151), вполне приложимое, скажем, к Бабелю, у которого герои, лишая других жизни, напоминают крыловских пастухов, спокойно потрошащих барашка (пример: «Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись» «Конармия». Берестечко. 89), совсем неприложимо к Зазубрину. У последнего люди расстреливают, вешают и режут человека. Показываемые им страдания и кровь (даже в тех случаях, когда она брызжет, как из откупоренных бутылок, как их рисуют на плохих вывесках») надрывно-человечны и, вследствие этого, никак уж не заслуживают упрека в разряжении драматизма.

Пучок оборванных ниток, кровоточащих органических сосудов схвачен поперек кумачной лентой—победой красного. Она держит все части, об'единяя их воедино. Ею завязан последний узел, узел «мудрой точки».

Все это хорошо. Но разбросавшийся по многоликой фабульной ткани читатель, поставленный в необходимость синтезировать, дополняя причинную увязку автора, мог и не уяснить сразу, что к чему. В первое время могли быть и казусы на этой почве. Примером такого казуса является утверждение Пильняка, что в романе «совсем не ярко видна революция», что «автор смешивает скотобойню с революцией и арсеналом скотобоенных необходимостей воссоздает ее—революцию». Если «арсенал» классовой борьбы 17 года и есть «арсенал» революции, что не вызывает у нас никаких сомнений, то всякие дру-

---

*) Следует (в части количественной нереальности) оговориться, что—за исключением одной сцены, кстати сказать, весьма неудачно зарисованной и со стороны лексики:

— «По всему лугу от первой линии раненые шли хромая или, поддерживаемые товарищами, лежали на носилках торопливо идущих санитаров. За ними по траве тянулись красные полосы (!) и пятна (?) крови, и их (?) зеленые гимнастерки и штаны пестрели яркими кровавыми заплатами» («Два мира», стр. 97).

гие возражения против необоснованности утверждения рецензента будут здесь совершенно излишними. Другое совсем дело, когда тот же Пильняк утверждает, что «романа, в сущности, нет, как нет ни фабулы, ни завязки, ни персонажей». С этим, конечно, можно согласиться, но с такой же основательностью, как можно и спорить. Литературные понятия, вырастая, распирают изнутри старые футляры —термины, и, если они не модернизируют этих футляров, то они, во всяком случае, в праве пользоваться ими до тех пор, пока дальнейший процесс роста не даст им совершенно новых футляров. Спор об этом есть, таким образом, спор об определениях, о словах. На нем мы тоже не будем останавливаться.

IV. ЛЮДИ РОМАНА.

Охваченная пожаром революции Сибирь растопилась и потекла тремя основными руслами: карательно-атамановским, колчаковским и красно-партизанским.

Когда старые полицейские устои рухнули под пятки сапог и броден, социально беспринципная часть мещанства восприняла эту брешь в социальном костяке, как брешь в анархизм. Ринувшись в свалку с раздутыми ноздрями раскованного зверя, эта часть создала живую штыковую силу полковников Орловых, героев колчаковского тыла, работавших «за совесть». У Зазубрина это—безыменные фельдфебеля из роты Нагибина, «ребята»-добровольцы, которые весело и охотно выводят арестованных на двор и, быстро раздевая, рубят их шашками, не стесняясь количеством.

Борьба «белого» и «красного» проявилась не только борьбой интересов, но и тактики. «Белые создали тысячи мучеников. Кровавый посев давал красные всходы»—партизанщины. Но и первое неосторожное «деканье» красных на Урале тоже создало сотни убежденных белых добровольцев из рабочих N-ского завода, сражавшихся с Красной армией под своим «красным» знаменем*). Сдержанная позиция N-цев в романе, временно ослепших политически благодаря личному и шкурному, разбуженному в них неосторожным «деканьем», хорошо противопоставлена безудержному садическому разгулу беспринципных красильниковцев.

Литературные герои романа (как красные, так и белые) поставлены автором на вторые и даже третьи места. Подавляющее большинство их не «под скобель», а «под топор». Они не оструганы, а оболванены наскоро импрессионистически. В характеристиках героев проявилась не столько типизация, сколько персонификация, воплощение отвлеченных групповых и классовых признаков в одной личности. И поручики Громов и Нагибин, с одной стороны, и партизаны: Мотыгин, Суровцев, Жарков и старик Черников—с другой не столько оригинальные единицы, сколько безличные «воплотители социальной множественности». Классовый колышек, к которому каждый привязан,—причина их эмоциональной сухости и рационалистичности.

Люди в кожаных куртках, стильные большевики индустриального типа, естественно, отсутствуют в романе. Они не типичны для Сибири 18 года, и полем их непосредственного действия могли быть лишь страницы II части романа. Остальные—внутренние «доморощенные» красные: «деповские», крестьянство и трудовая интеллигенция проявляли себя в то время в значительной степени под знаком классовой неопределенности. Вот почему носители белой идеологии испеклись значительно удачнее. Мотовилов и Рагимов—чет-

*) «Ульи разбивали да мед не только лопали в три горла, а и телеги свои им смазывали. Разве это не деканье». («Два мира», стр. 88).

кие сочные типы. Их вполне можно анализировать. В придачу к выручающей их резкой и определенной классовой подоплеке, авторский ланцет нарочито пришелся им наискось, а третьему, классическому «самоковыряке» Барановскому (благодаря типичной эволюционности его развития), даже определенно вдоль. Названная тройка составила композиционно весьма удачную группу, в коей каждые два служат оттенителями для третьего. Вот почему при значительной схожести они сохраняют и глубокое внутреннее своеобразие.

V. ТРОЕ.

Самый удачный образ романа, бесспорно, Мотовилов. Он крепче замешан и более определенен и густ. Но это совсем не потому, что он более «удался». У Мотовилова, у этого «крепкого старого дуба, потерявшего опору», цветистей и красочней та классовая глина, из которой его приходилось лепить автору. Мы не будем злоупотреблять выписками из удачного анализа, сделанного Правдухиным («Сибогни», № 5, 24 г.). Хочется лишь указать в дополнение на один импрессионистически брошенный на фигуру Мотовилова мазок, рисующий этого «последнего могикана буржуазии», во все его цепкое и жадное до жизни нутро. За два дня до своей явной гибели, когда расползлись последние жалкие остатки «белой вшивой грязи», когда обмикроскопился и уже бесцветно погиб «верховнейший» правитель Колчак, Мотовилов искренне завидует однокашнику Рагимову в том, что тот «уже» поручик и георгиевский кавалер. «Хоть бы мне Владимира иметь и то хорошо. Шикарный крестик...»

Честолюбивая страстная мечта о символической побрякушке в тот момент, когда ничего другого не остается уже в жизни, как только, засунув в рот браунинг, разбрызгать по стенке последней «станции» свои мозги, характеризует Мотовилова кратко и проникновенно вплоть до глупого придаточного отростка его слепой кишки.

Барановский, с точки зрения технической зарисовки, удался нисколько не хуже. Правда, он несколько бесцветен и водянист, но ведь показать его таким и было об'ективной задачей автора. Несоответствующая стремительности событий эволюционность роста Барановского сохранила ему в романе жизнь. Он проходит через все страницы романа и все-таки еще не достиг своего порога. Психологическое и идеологическое разрешение его кризиса и вытекающий из него «скачок» еще впереди, он произойдет позднее, после 4-8 лет жизни в недрах советского строя.

Как типичный герой-созерцатель, он вязнет и в 1919 году все в той же исконной «об'ективной правде», которую не дано ему познать и, будучи бессилен повернуть руль своей жизни, плывет, «как поврежденная ладья по вольной прихоти теченья». Он задушевен и симпатичен, когда логично, глубоко и вдумчиво критикует позиционную безыдейность белых (180-181 стр.). Тем большую досаду, смешанную с брезгливым презрением, вызывает он же своей тряпичностью. Он «только ноет от заноз, а разом вспыхнуть не умеет». Его пьяненький вывод «уйду к красным» остается прекраснодушным замахом. «Проспится и опять будет подпоручик Барановский»,—ехидно иронизирует по поводу его громких выпадов подпоручик Колпаков и с ним автор. С «Октября» даже пятибальная хорошесть при политической инертности стала превращаться, по меньшей мере, в нуль. Нуль тянется на буксире Мотовиловых и других единиц, превращает их своею ничегонезначащей особою в десятки и несет пред историей ответственность за все действия единиц. Читатель всецело на стороне Мотовилова, произносящего по адресу презираемого им «живого трупа» и «мягкотелого нытика» брезгливую и гневную речь. «Как противны мне такие людишки, как презираю я этих мягкотелых неженок. Они палец о па-

лец не ударят, все философствуют. То не хорошо, это подло, Мотовилов, по-ихнему, грабитель, мародер, а сами преспокойно кушают награбленное им. Красные, по-ихнему, хороши, но перебежать на их сторону открыто и смело они боятся» (313).

Гораздо положительнее и определеннее для ответственного революционного момента позиция Рагимова.

«Я, брат, не буржуй и не пролетарий. Я середняк. И для меня безразлично: у буржуя служить или у пролетария, у белых, у красных, у черных, у зеленых. Я буду работать одинаково добросовестно и чорту и богу, лишь бы платили хорошо. Я торгую своими знаниями. Перейду к красным, нашью себе три квадратика и тоже буду командовать батальоном (307-308).

Рагимовы командовали и командуют ротами, батальонами, служили и добросовестно служат, но бывало, что так же круто изменяли и подличали. Их изобличали, расстреливали, чистили за злоупотребления, растраты, бюрократизм, гнали из партии, из совучреждений; брали от них их горячую сочность и выбрасывали ядовитую скорлупу. А Барановские в это время тихонько и медленно перерастали в Сергеев из Гладковского «Цемента». Эти сырые дрова долго сохнут, но, разгораясь на 8 и 10 год революции, дают ровный, но упорный и без риска быть смелым говоря — надежный советский жар.

VI. «ГРЯЗНЫЙ РАССКАЗ».

В «Двух мирах» плюгавенький елейный мужичончишка, староста Кадушкин, зарывает в могилу живого, цепляющегося за жизнь человека. Зарывает и уговаривает: «Ты, Петра, ляг, ляг ничком. Оно лучше так без мучениев задавит». А когда человека забросали землей, и человек, не желая умирать, шевелился под ней, сострадательный Кадушкин хлопотливо семенил над ним и упрашивал, приговаривал: «Надо, ребятушки, утаптывать, утаптывать. Он скорее так кончится, без мучениев»...

Эта побочная почечка—«семенение» и утаптывание—развернулась в 21 году в «Щепку».

«Щепка» куплена одним московским издательством и ждет более спокойного на нервы времени, чтоб появиться в печати. Разговор о ней по этой причине—дело будущего.

В тех же «Двух мирах» есть и другая незаметная почечка—росток будущего «Общежития».

Добровольцы-красные шли к сборному пункту. «Город спал. Из темных щелей полуоткрытых окон на улицу лился вонючий воздух спален, грязного белья и нечистот» (126).

Чувствовать сильней и глубже—особенность таланта. К тому же (как прекрасно отметил Правдухин) «Зазубрина отличает от других писателей особый фанатизм, ненависть к изъянам нашего быта и бытия, фанатизм, который рождается у него в конечном счете из-за любви к здоровому человеку» («Сибогни» 24 г. № 5).

Нет сомнения, что добровольцы не заметили вонючего воздуха, потоками лившегося из окон: этот воздух заглушала вонь городских дворов. Но автор не только заметил и почувствовал, он воспринял это, как удар, и не забыл удара.

В 1924 году вонючий воздух спален, грязного белья и нечистот он подперчил ужасами сифилитического призрака, который неумолимо движется из спальни в спальню, и бросил через «Сибогни» в читательскую массу.

Так, в 24 году мимоходный штрих 21 года дал развернутый рисунок-повесть.

В «Двух мирах» Зазубрин заострил интерес на социальной борьбе миров. Быт, психология на втором плане. В «Общежитии» Зазубрин дает быт затвердевший, застоявшийся, тот тошнотворный быт, который держит живого за ногу.

Давая быт, статику, Зазубрин с большей основательностью верен себе. Он ищет пряное и острое. Будни революции, как они есть, не могут удовлетворить темпераментного автора. Поэтому в выборе сырья он нарочито гиперболичен. Он берет не любовь, а похоть. Похоть крепкую, крутую—сгущенную комбинацию похотливых устремлений, сексуальный зоологизм (об'яснение Скурихина к Спинек, 79-80 стр.; изнасилование Паши тем же Скурихиным—стр. 86).

В сгущенную атмосферу похоти он вводит сифилис. Мало того, он добавляет сюда терпкой грязи. Грязь жизни, столь часто отображаемую, как придаток жизни, как созвучное, сопутствующее ей явление, он делает самодовлеющей, центральной. Это не случайная, привычная нам грязь, занесенная на сапогах, это—разительная вонючая грязь на нарочитой лопате.

Быт—больное место нашей действительности, и удары попали по больному. Они уцепились за мысль читателя (дали «зазубринку»). «Общежитие», на фоне «спокойных» вещей бросилось в глаза, приковало внимание. Читатель раскололся в оценке повести. Многие ею восхитились. Многие восприняли ее, как художественную сатиру, едкую, но верную, заслуженную. Другие увидели в ней социальную клевету. Нашелся читатель, который пошел еще дальше: увидел в повести клевету на партию. Это Лелевич.

«Общежитие»—отвратительный пасквиль на революцию. На коммунистическую партию. Сифилитический бред человека, который ухитрился превратить местную организацию РКП в какой-то сплошной дом терпимости. Грязный рассказ. Возмутительный рассказ...» (Лелевич ст. «1923 год». На Литер. Посту», октябрь, 1924 г., стр. 40-41).

Конечно, устами т. Лелевича в данном случае кричит и возмущается не спокойный критик, а темпераментный публицист. Это—критика под горячую руку. Конечно, повесть затрагивает проблемы половой жизни в современности, в той самой современности, в которой наряду с беспартийными есть и коммунисты. Но было бы в высшей степени странно, если-б автор из какой-то необоснованной стыдливости (или в угоду Лелевичу) стал бы делать исключительно беспартийный подбор персонажа только потому, что он тащит сексуальную тему. Зазубрин—коммунист и в данном случае он несомненно прав, когда находит, что вопросы пола и вопросы политики имеют весьма отдаленную точку пересечения.

Лелевич, как высказавшийся в данном случае сгоряча и по первому впечатлению, упустил из виду, что быт—это статика и что его интересно «подать» можно только в коллизии. Если мы будем искать эти коллизии, обостренную борьбу с бытом, то мы увидим, что она сильней всего в верхах нашего советского общества, в активе, к великой чести этого актива. Естественно взять коллизии в активе, что Зазубрин в данной повести и делает.

Но в несправедливых обвинениях, выслушанных автором, отчасти повинен и он сам: он дал повод понимать себя превратно. Причина этого в том, что выброшенные им же самим бытовые вопросы не разрешены, а выброшены наискось и с идеологическим туманцем.

Повесть с первых же строк обращает на себя внимание оригинальностью авторского подхода. Перед нами как бы операционный исследовательский стол. Автор явно намерен произвести эксперимент, анализ. Чувствуется, что он—хирург, а первые страницы повести—социальная анатомия.

Рассматривается дом, как большая социальная коробка. Дом взрезается и бесшумно для его ничего не подозревающих обитателей разлагается на комнаты. Комнаты предварительно нумеруются и только потом вскрываются.

Комнат в доме 5.

В 1 Зинаида Иосифовна Спинек лежит с Петром Петровичем Крутиковым, с которым она еще пока на «Вы».

В 3 прелюбодействуют.

В 4 тоже.

В № 5 доктор по венерическим. Делает цифровую сводку своих работ в области разрешения половой проблемы.

И только в комнате № 2 сидит человек над Бухариным. Но и у того совсем не Бухарин в голове. В голове его женщина, от которой он отделен толстою капитальною стеною и... мужем.

Дом застигнут автором врасплох ночью. От автора ничто не укрыто. Он врывается за перегородки, за запертые на крючки двери. Включает яркий дневной свет и сдергивает покрывало со всего, что люди тщательно и стыдливо прячут.

Читатель видит людей с ночными зоологическими гримассами, грязное белье, потную постель, отвратительную слюнявую любовь, ее последствия— Тошу, Гошу с горшками, вонью и другими аттрибутами семейного счастья.

Средоточие, центр этой грязи — семья Вишняковых.

Утро. Потная пухлая распутиха-жена «с глазами заезженной лошади». Черная каемка ногтей. «От одеяла пахнет потом, застарелой постелью. Простыня, давно нестиранная, в пахучих клопиных пятнах». Наволочки засаленные в темных потеках слюны. Полный ночной горшок. Гоша тузит Тошу. Гам и грязь. Клочья ваты из одеяла. Грязный свинарник-постель. И через губы ребятишек неодолимыми возжами сопли

Так густо и откровенно брезгливо дана семейная жизнь «Общежития».

Но вот со вскрытиями покончено.

Автор тасует несколько раз колоду карт из королей и дам и раскладывает поочередно. И разные короли ложатся с разными дамами, как когда придется (стр. 79-80).

Это тоже эксперимент. Любопытствующий читатель воспринимает это, как весьма нужное, в результате чего должно обязательно что-то получиться, какой-то синтез, который завершит столь интересно начатый анализ.

Результат эксперимента—заражение сифилисом всех королей и всех дам. Это драматический узел повести. Кульминация сюжета и, к сожалению, кульминация авторских достижений. Дальше должно быть или разрешение (художественный прогноз), или четкое и ясное заострение вопроса без его разрешения. Автор не разрешил вопроса и в то же время не проявил нужной ясности в его постановке. Ловко разрезав живое, чтобы показать непривлекательные внутренности, он не зашил разрезанного и не оправдал озорства.

Причина этого в неорганизованности вещи.

В ней два плана, две сюжетных оси, и ни по одной из них мы не найдем разрешения художественного замысла.

В первом своем плане «Общежитие» есть протест против горшечно-кричного быта, заедающего женщину.

Автор—публицист. Он и пишет в этом плане стилем убеждающего публициста:

«И для того, чтобы пообедать восьми взрослым и троим детям 4 женщины должны плыть полдня».

«А в комнатах—неубранные постели, невынесенные горшки, немытые полы. Нужно итти в комнаты и на потные руки, шеи, лица, головы собрать пыль с мебели и полов».

Из первого протеста вытекает второй протест против семьи, как пошлого клоповника, против вонючей спертой коробки пошлости и грязи.

Кто острее чувствует эту грязь и смрад обнаженного мещанства? Не женщина. Она—заезженная лошадь. Чувствует их мужчина. Муж Вишняков.

Он чувствует драматически остро и от брезгливости мотает головой. В результате,—комфоркой, завершающей самовар,—придирки к жене, брезгливое фырканье, дрязги, ссора.

Брезгливая гримаса Вишнякова играет в повести громадное композиционное значение. Она удесятеряет ощущение пошлости и грязи, и благодаря ей, Вишняков, бесспорно, главный герой. Но он слишком маленькая козырная карта в колоде. Он не выдерживает тяжести заданий автора и проваливает и себя, и основную идею, и что хуже всего—проваливает ее ранее, чем она становится понятной читателю.

«Всю ненависть к семье, семейной жизни вкладывает лектор губпартшколы Вишняков в свои лекции». Об этом же он пишет статью для «Коммуниста». Отыскивая изюминку в общем контексте повести, невольно останавливаешься на этой статье: не в ней ли отыскиваемый философский гвоздь.

Надежд на удовлетворительность этого «гвоздя» у читателя уже нет, ибо афоризмы из писем Вишнякова к Спинек (с которыми читатель знакомится ранее статьи в «Коммунисте») напоминают прежде всего афоризмы самой Спинек, а те и другие вместе—почти Вербицкую.

«Когда долго протягиваешь руку в пустое пространство, то делаешь это робко или небрежно».

«Свет всегда радостен, даже иллюзорный» (из писем Спинек, стр. 91-92).

«Зима всегда—белое слепящее веселье, бодрящая сила».

«Осеннее, ведь, всегда прошлое»... и т. д. (из писем Вишнякова, стр. 88-89).

Философия одинаково жидкая, с расслабленным «грустным» туманцем и у коммуниста Вишнякова, и у Спинек. И ту, и другую философию с ее метафизическими «истинами» в «Коммунисте» одинаково не примут.

Но вот и ст. для «Коммуниста». Ее основные мысли: «Современная супружеская постель—эшафот, на котором после долгих мук гибнет лучшее человеческое чувство—любовь». «Органы, данные (? *Т.*) нам для продолжения рода, мы обратили в орудия разврата и наслаждения. И природа жестоко наказала нас за это рядом страшных и гадких болезней» (стр. 80-81).

Последнюю мысль вполне можно было бы считать авторской идеей, если б автор проводил ее не через Вишнякова. В устах же этого мещанина—мораль вяла и тряпична. Звериная мудрость вырвавшейся из-под его пера фразы нигде не развернута. Культ чревной физиологической простоты входит в его мировосприятие случайным «между прочим» и совсем не вяжется с его же сахарным мудрствованием, проявившимся в письмах, и в его типично слюнтяйном поведении.

В результате остается от «борющегося» Вишнякова одна брезгливость. И в самом деле: что положительного кладет он на другой полюс. Чем «вишняковщина» в области брезгливого восприятия семейного быта отличается от «арцыбашевщины».

«Свободный» роман Вишнякова подтверждает, что—ничем.

Вишняков—человек старого поколения. Он к тому же далеко не великан. Мы и не требуем от него невозможных в наших условиях героических

чудес. Но, поскольку он претендует в повести на наше усиленное к нему внимание, и поскольку после «времен Арцыбашева» мы исторически перешагнули уже через «Октябрь»—будь, друг, «груздем»: сделай хотя бы в теоретической постановке практически неразрешимого еще вопроса шаг от героев Арцыбашева.

Семейная жизнь—грязь, пустота, но любовь к Спинек тоже вылилась в грязь и пустоту. «Свободные» супруги «расходятся, как чужие». Заключительная картина: «Мужчина и женщина (Вишняков и Спинек. *Т.*) медленно гладят черную рукоятку браунинга».

Это уже совсем мелодраматично и нисколько не уступит столь же устрашающему читателей детского возраста: «Двенадцать человек на ящике мертвеца, и-о-хо-хо! И бутылка рому».

...Путь через Вишнякова не дает читателю разгадки, плехановского «социологического эквивалента».

Но в повести есть другой путь, другая сюжетная ось, пересекающая первую без заострения на точке пересечения.

Это—сифилис, как общемировая угроза человечеству.

Через Спинек сифилис переходит ко всем королям и дамам всей колоды. Перешагивает за пределы ее: в конце повести Спинек играет на пианино и «играет» с новым «гостем», с управделами губисполкома.

Сифилису новая дорога. Линии нет конца. И—точки.

С сифилисом неутомимо борется в повести лишь одно существо—врач Зильберштейн. Он обнаивен и окаррикатурен автором по образцу мужа из «Декамерона».

Его идеи: «Человечеству грозит всеобщее заражение сифилисом и, следовательно, вырождение». «Спастись от вырождения человечество может только полным уничтожением семьи, функции мужа и жены должны отпасть. Оплодотворение должно быть только искусственным».

«Муж и жена Зильберштейны давно, по взаимному соглашению, не выполняют функций мужа и жены». Муж применяет на жене опыты искусственного оплодотворения и ждет результатов.

Но и в этом нет спасения. «Должна же я жить с кем-нибудь»,—говорит Спинек Скурихину. Так полагают и все обитатели «Общежития». Люди шагали и будут шагать через запрещения, что и делает на первых же шагах осуществления спасающей человечество идеи жена Зильберштейна. В доме ее мужа появляется младенец, зачатый «противоидейным» натуральным образом. В придачу к этому выдержанному в стиле «Декамерона» концу, вместе с невинным младенцем, проникает в дом бойца-Зильберштейна его смертельный враг—«овеществленный» сифилис.

По всей шутливо-насмешливой трактовке изложенного мотива чувствуется, что автор не может разделять идей Зильберштейна. «А Зильберштейн все-таки дурак. Не с того бока начинает»,—говорит в повести Скурихин Вишнякову. Определение не встретило возражений со стороны Вишнякова и не встретит их со стороны читателя.

Путь через Зильберштейна, таким образом, тоже путь к обрыву. Поиски идеи не увенчиваются успехом. «Голый, безыдейный натурализм»,—характеризует Воронский основное «Общежития» в докладной записке на имя ЦК партии.

«Но так уж устроена жизнь, что все совершающееся в ней должно быть записано в книгах» (стр. 78).

В том числе и пошлость.

Видимо, исходя из этого, автор «записал» и ее.

С точки зрения простой «записи», беспретенциозного рисунка «Общежитие»—явно ошеломляющая вещь. От первой части повести так резко и остро пахнет смрадом, пошлостью обнаженного мещанства, что кажется будто сами страницы книги в потеках грязной и липкой слюны. Их страшно перелистывать, хочется вымыть руки. С точки зрения достижений художественно-описательного эффекта, это, бесспорно, замечательнейшие страницы в нашей литературе.

VI. МАНЕРА И ЯЗЫК.

Творческая индивидуальность Зазубрина проявляется более в тематике и в манере «подавать». Темы его всегда остры, а в трактовке их он как бы следует совету Альбала: «Чтобы выразить те же мысли более остро, постарайтесь быть грубее, говорить вещи резче»*).

Уберите из «Двух миров» кровь, кошмары, садизм; из «Общежития»—вонь, грязь, и сотрясающую брезгливость, и вы снизите их эффект на 75 проц

Зазубрин берет и любит крупные вопросы и большой сюжетный размах.

Но сама манера разработки этих вопросов в отдельных страницах находится у него еще под сильным наслоением разнородных влияний.

Стиль «Двух миров» резко отличается от стиля «Общежития». Этому есть свои причины. Непреложный закон причинной необходимости тяжело виснет над романом и стремительно давит к развязке, к конечным катастрофам с первых же глав. Туда устремления автора. Некогда рассматривать, копаться. Баловаться словами, фразами. Отдельные торопливые, но нервные и густые абзацы, как гардеробы, остроугловатые и тяжкие, громоздятся с нарочитой неуклюжестью, давят этой неуклюжей силой. В торопливом беге их часто голова абзаца вклинивается в хвост предыдущего, как вагоны курьерского при катастрофе:

«— Братцы, помогите,—толпа вздрогнула.

— Братцы, выручите. О-о-х...—Кадушкина трясло».

В последней фразе говорит совсем не Кадушкин. И эта манера писателя пристегивает свои ремарки к диалогу не на основах единства говорящего и действующего, а на основах единства времени, весьма оригинальна.

Несмотря на явную небрежность и даже как бы пренебрежение к фразе, стиль неровен и невыдержан, но, за малыми исключениями, всегда ярок и образен.

Часто он «по-пушкински» прост.

«Тапер барабанил на пианино. В зале стоял гул. Подвыпившие гости шумели. Хлопали пробки» («Два мира», 29).

Вот примеры образности:

«Рот форточки открыт. Комната глотает свежую холодную сырость» («Общежитие», 93)

или

«Орудия судорожно подпрыгивали, давясь, с болью, оглушающе харкали и плевались длинными кусками огня и раскаленными воющими сгустками стали» («Два мира», 8).

Очень часто образ дается с очень удачным эпитетом, характеризующим основное («боковая характеристика»):

«За окнами, с шелестом черных мокрых юбок, идет ночь» («Общежитие», 73).

---

*) «Искусство писателя». «Сеятель», 1924 г., стр. 109.

Здесь черные и мокрые юбки ночи, как характерные признаки ночи, как нельзя более характеризует и общую картину «Общежития», заполненную юбками, бельем и похотью.

Но иногда писатель вдруг ломает этот хороший и свежий язык и заменяет его упадочным, манерным:

«Генерал вытянулся вдоль рельс, вверх лицом. Надо ждать красную. Она скоро придет. Белый мохнатый чех на тормазе не видел, а она с косой смеялась над ним. Красная не шла открыто. Зачем пугать. Из тайги по сторонам поля она наскоро нарезала зеленых лоскутьев, нацепила их на себя, косу острую, огненную, спрятала под полой...» и т. д.

Чем бы ни была эта загадочная «красная» с нацепленными на нее в декабре, в разгар зимы, зелеными лоскутками, образ—неудачное использование «андреевщины», неудачное даже и для Колчака, ради которого автор, видимо, и предпочел провести главу в похоронном тоне. Это определенное снижение яркости и убедительности. Срыв своего здорового и молодого голоса чахоточным кашлем чужого упадочничества.

Будучи призван к «Сибирским Огням», Зазубрин стал собирателем сибирских художественных сил и одним из организаторов этих сил в союз. С этого момента часть его личной творческой энергии уходит в других. Он реже выступает в литературе.

Но это лишь одна из причин длительных периодов «молчания». Другая причина—Зазубрин работает над крупными насыщенными социальной психологией романами. Он упрям и настойчив и предпочитает шагать не только резко, но и крупно.

Есть все основания полагать, что он сделает намечаемые им крупные шаги, развернет свои, несомненно, яркие и красочные творческие дарования. Это дело будущего. «Сегодня» же мы ограничиваемся утверждением, что на шкале Октябрьских завоеваний Зазубрин уже сделал «скромную, маленькую, но свою зазубринку».

А. ТОПОРОВ

Деревня о современной художественной литературе

Ник. АНОВ.—„Награда" („Сиб. Огни" № 5, 1927 г.).

НОСОВ М. А. Все написанное принадлежит тому и другому элементу: и правде, и небылице. Но большая часть—правде. Вот действительно правда: вода под луной на Иртыше серебряной чешуей сверкает, кринка отпотела, когда ее принесли из погреба. Это очевидное. Но таких мест в рассказе не шибко много. Наречие у автора плавное, прекрасное, можно так выразить. Сказочное. Чем дальше тянется рассказ, тем понятнее он. Фигуры Петрованових похожи на журавлишинских Санкиных. Как-раз! Такие же скряги и жадные. В восстание Санкины у меня, бедняка, последнюю кобылу отняли! Петрованов одного с ними покрою: ишь, сволочи, деверю только четвертной хотели дать из 500 рублей. Я подтверждаю, что есть такие жадные женщины, как Дарья-Петрованиха. Они будут столбы ворочать и при беременности. Ей деньги дороже ребенка. Она сама-то готова повеситься, лишь бы денег добыть.

СТЕКАЧОВ П. А. В рассказе есть трагедия, но какая-то она вялая. Все время она одинаково идет. Не выше, не ниже.

ТИТОВА Л. Е. Деньги шибко манут людей. Беготня мужичья за деньгами в рассказе обсказана на самый лучший раз. Дарьино положенье меня все-таки малость задернуло. Но дюже-то оно к моему сердцу не относится. Шевелит она меня, как «сорочка» (последний, слабый сорт самогонки. **А. Т.).** Будто и угостился, и будто нет. Может, кто и разберется в этом рассказе, как следует, а я... что-то не могу про него всей ятности обдумать.

БОЧАРОВ Ф. З. Расшибать на-нет всю эту штуку нельзя. Для разности она в деревне безусловно нужна. Занятливая штучка. Что-то от нее ожидалось. Но конец немного прерывистый был. Автор, если судить по «Награде», писатель средней руки.

ШИТИКОВ Д. С. Когда Силантия дернули по затылку, то вряд ли у него сразу в уме пронеслась вся жизнь. Сумнительно мне.

НОСОВ М. А. Чакнуть бы тебя так по затылку, как Силантия, небось, и ты таким же манером живо потянул бы свою прошлую жизнь! Не бывал ты, значит, в таких мяльцах.

ЗУБКОВ П. С. Автор прав. Болел я тифом. И когда приходили трудные минуты, вся жизнь моя—от ребячества до самой коммуны—проносилась передо мной Тетка Дарья—баба низкого роста, но грузная, должно быть, обрюзгшая и жадная. А старик Федулиных должен быть похож на Бышку (овчинник из села Верх-Жилинского. Неимоверно нечистоплотный и сильный мужик. **А. Т.).** Пятки потрескались! Сам, как чорт, в грязи! Волосы лепешками слиплись—не чесаны. Сергея и Силантия вовсе не представляю. Личность писаря тоже мной не поймана. Не воображаю и Андрюху Федулиных. Немножко тревожила меня сцена вытаскивания утопленника из воды стариком-баканщиком. Рассказ такой... потешный и... ловится иногда за слушателя. Но только. Автор нет-нет да и попытается посмешить слушателей, но удовольствия от этого смеху нам не было. Этот смех в рассказе ни к чему. Как бубен в нашем оркестре. Никакой радости от него. Порой он даже портит музыку. Хоть его и не будь... Вечер хорошо нарисован... «Иртыш догорал расплавленным золотом»... Это запоминается. Или еще там: вода, как масло. Бывает, немного изжелта... Баканщик снял портки, когда начал корчажки вытаскивать. Это в роде как нарочно, для смешка автор сделал...

КОРЛЯКОВА Н. В. Что ж тут особенного?! У нас дед Гаськов повсегда без штанов рыбачил. Неохота штаны мочить, вот скидывает их... Нечем бедному старичку было попользоваться от утопленника. Колец-то на нем не оказалось. Облизнулся.

БОЧАРОВА А. П. Я думала, что старик вытащит утопленника, испужается его, да драть в деревню без порток. Вот потеха-то где была-бы!.. Счастье свое старик нашел, да не удержал в руках. А возрадовался он было! От будущего удовольствия у него закружилась даже голова. На сам-деле, может, и не так было, но пущай так. Тут грех у писателя подходный к жизни.

ШИТИКОВ Д. С. Никакого тут греха. Ясно, что голова у деда от счастья должна завертеться. Подумайте сами: 500 рублей сулят!

НОСОВА П. Д. Наш брат за 500 целковых и отца родного кобелем назовет. Что уж тут! Все истинно! Только такая жадность есть и у интеллигенции. Не у хрестьян одних. Ково ни коснись—она есть. Да что и говорить?.. Все, что написано правда. Мне было страшно. Ужастка брала мое сердце. Дома я никак не могла про утопленника забыть. Пробужусь ночью, а утопленник как ровно коло меня стоит. Зубы ощерил, весь в водяной траве. И тут на мое сердце лед холодный падал. И о Дарье мне болезно. Сколько она билась, хлопотилась—и все прахом пошло. Дарья эта мне гластится, как хорошая кобыла! Кабы знатье, люди не гнались бы за деньгами. Да то-то что беда-то вот наша: не знаем мы, где убьемся. Соломки бы подстилали.

СТЕКАЧОВА П. Ф. От скряжества на деньги дед Федулиных аж заплакал. Да эти деньги хоть кого с ума сведут. Ведь он, этот рыбак-то, сроду, поди, больше капиталу не имел и не видал. Его досада-то и берет, что он первый утопленника поймал, а денежки не получит... И то еще умственное в рассказе, что для людей—люди не при чем. Деньги дороже людей. А кое-где для меня рассказ этот неубедительный. Силантий и Сергей напрасно поехали из города с деньгами, что за утопленника получили. Они беспременно заночевали бы в городе, переговодили бы до утра. Утопленника они берегли, как драгоценность, вон сколь торкались с ним, а с деньгами как-то не поопасались. Сами себя не поберегли. Не так надо бы мужикам делать. И верится тут, и нет.

ТИТОВА Л. Е. А пошто мужики в городе остались бы годить? Нет. Они шибко обрадовались и поехали скорей домой. А на ум-то, вишь, им не пало, что их могут на дороге ограбить. Это сколь хошь таких случаев бывало! У них, значит, с радости мнение отшибло. Не одумали сами себя.

СОШИНА Е. И. Потрудилась же тетка Дарья со столбом! Все ей хотелось, чтобы никто утопленника не слямзил. Над Дарьей, я приметила, люди смеялись. Но смех был незабольшный. Отрыгнется раз-и будя. Рассмеется слепка народ, да-и задумается.

БЛИНОВА Т. П. Где тут тебе смех? Полетели мужики с утопленником в канаву—говорят—смех. Откуда? Досада тут, а не смех. Нарошный смех. Писатель хотел посмешить, да зря. Чо же тут смешного, когда утопленника прячут, а он сидит на носилках—зубы оскалил, будто дразнится. Не понравилось мне, что край рассказа ладом не выяснен. Охота про Дарью дольше знать... Мне ужасно все, как это старик Федулиных ночью с утопленником валандался?!. От этого писанья у меня внутри все ворочалось. Будь этот утопленник хоть весь золотой, и то не стала бы я с ним маяту принимать. Да, видно, человек на деньги зарен... Кто знает, почему рыбак не выбил у покойника золотые зубы? То ли в этом дед виноват, то ли писатель? По-моему, пуще виноват писатель. Он оставил утопленнику зубы, чтобы протянуть рассказ. Отец и сын Федулиных убили из-за денег Петрованових. Вон куда слетали за деньгами! Где же такой дьявол, как рыбак, оставит утопленнику зубы золотые?!. Никогда!

ЗУБКОВА В. Ф. Если бы писатель дозволил сторожу-бакалщику сразу выбить у утопленника золотые зубы, то и рассказу тут пришел бы конец. Без зубов нужного утопленника мужики не нашли бы. Весь рассказ растянулся из-за того, что старик оставил у Ермилова зубы. С хитростью это писатель сделал. Потом не верю я и тому, что в городе Силантий и Сергей ходили хоронить утопленника. Нет, они после получки денег скорее побежали бы присмотреть себе какую-нибудь сельскохозяйственную машину. Нужен им теперь покойник!.. Люди в рассказе для меня темны. Ясно описаны только ребятишки, которые купались, трава на покойнике и сверк на Иртыше, при луне. А личности человечьи замазаны как-то.

ТИТОВА Л. Г. Старанья и суеты у мужиков Петрованових было много, а все у них вышло пошто-то не по пути... Обсказ этот занесен про нашу человеческую зарость. Крутни даже много в этом деле. Жалости нету. Все обсеклось на конце. Бестолковый конец.

СТЕКАЧОВА П. Ф. Послушала я этот рассказ, как все едино квасу с редькой поела. Не сыта, не голодна. Ни разу меня от него не щипануло.... Митрий (Шитиков, Д. С. А. Т.) давеча сказал про утопшего: «он, поди, от долгого таскания опо-

л о з, как наши огурцы, засоленные спецом Аполинашей»—это придает смеху больше, чем писателевы смехули. На второй день после чтенья я за обедом взяла огурец, вспомнила Митрия—и тошно мне стало. Не стала обедать. Какой это смех: веревку промеж ног продергивать да плешь у покойника узнавать? Веревка да плешь, веревка да плешь—только и всего. Приложено это с умыслом. Писатель при этих словах про нехорошую плешь думал. Надеялся этим рассмешить людей. Худо он так делал... А речь у него хорошецкая, деревенская. Про н а с т о я щ е е бы ему писать! Правда, может, он и не про т у е плешь понимал, а нехорошо было слушать. Народ гоготал над словом «п л е ш ь» от своего дурного понятия. Лишнее в рассказе это слово. Его надо заменить «лысиной». Поаккуратнее нужно было тут написать.

ЗУБКОВА В. Ф. Смеялись на чтении много. Много этому смеху подмогала Пелагея Носиха (коммунарка П. Д. Носова. **А. Т.**). Она сидела позади нас и ч у д и л а, прицеплялась к рассказу: «Лишь бы плешь была цела у мужика—это главное», «Ох, как бы мужики утопленнику не стерли все меж ног»... Над ней некоторые смеялись.

СТЕКАЧОВ И. А. С краю было не очень интересно. А после «р а з'е х а л о с ь», пошло любопытно. А как пошли мужики утопленника таскать, тут писатель нас тоже затаскал. Скушно мне сделалось. Я совсем не ожидал «убийственного» конца. Покойник Ермилов еще двух человек утащил за собой на тот свет. Из-за денег пропали люди. «Награда»—какой-то чудной рассказ: о ж и д а н ь е он дает, а в душу не залазит. Хохотали только над «плешью». Все «м е ш а л и» плешь на-двоякое. Она, и я говорю, зря в рассказ вставлена. Язык автора ясен и прост. Шибко сильным его назвать нельзя, но и слабым не назовешь. Из Анова должен образоваться х р у ш к о й писатель, если он напрасные выдумки бросит и за большое дело примется.

ТИТОВ Н. И. Рассказ этот, с моего пригляду, п р о с т о р е ч н ы й рассказ. Писатель ведет свое дело так, как мужик какой про быль иную. Занятность в чтении есть, а сильного мало. А все-таки слушать его надо. Про человеческую душевность он ведется, про денежную ненасытность. Мне приходилось это испытать, когда я копил в чулок деньги и по полям их ночами прятал.

ШИТИКОВА М. Т. Мне тоже интересно было слушать рассказ, но он меня не взял за внутренность. Писатель в нем продернул деревенских жителей за жадность, а городских—за расточительность. Во время революции было расхищение народных денег. Могли за утопленника платить по 500 рублей. Хитрого в этом ничего нету. Надоедливого в рассказе не слышно, но т а с к а мертвеца неправильно описана. Мертвеца Петрововы всего истаскали, а с деньгами не приняли никаких предосторожностей. Чувство от рассказа у меня такое же, как от «Утра». (Рассказ А. Коптелова, прочитанный накануне. **А. Т.**). Слушаешь,—как-будто интересно, а не трогает. Но в деревенских библиотеках «Награда» нужна. Она присовестит жадного. Предметы, о которых рассказывает автор, я вижу, но красоту природную слабо берет моя голова. Ехали чиновники из города в деревню смотреть найденного утопленника. Автор пытался здесь описать природу, но у него слов нужных нехватило. А, может быть, он не хотел много возиться с природой. Тут бы надо описать звуки природные, цветы, небеса и т. п.

ЗУБКОВА Е. Я. Сама себя не пойму: пошто это у меня никакой чувствительности от рассказа нету?!. Слушала—ну вот как со вниманием, а ничего... Даже нисколь рассказ этот не похож на «Два мира» (роман В. Зазубрина, недавно прочитанный в нашей аудитории. **А. Т.**). Т а м после каждого чтения, бывало, пойдешь куданибудь и думаешь-думаешь-думаешь, ровно ты с бою сам сейчас пришел, как-будто воевал где. После «Награды» в думках н и к о в о. Прочитали, ну, и только. А после него должно еще страшнее быть. Но нету страху. Человек утоп, беременная баба на столбе плывет по реке, под конец—убийство двух человек—не боязно! Хоть ты что хочешь делай со мной, и ровно все в рассказе, складно и понятно. Компот у нас варили ребятам на угощенье на новый год. Глядеть—хорош, а есть никто не стал. Вот и рассказ этот под пару компоту. Интересный, а не помнится. Весь он какой-то такой... кто его знает?.. Написан завлекательно, а раздумаешься—он плохой делается.

НОСОВА М. М. Сходный рассказ. Верный. Были и сейчас есть жадные люди. Особенно на деньги. Скажи-ка кто-нибудь нашей коммуне: «ищи, ребята, утопленника в реке—500 рублей награды будет тому, кто найдет»—все бросятся лазить по реке. Работу бросят... Фразы у писателя подбористые, ясные хоть для кого, но художественных слов мало. Два места в рассказе мне показались жуткими: когда старик Федулиных находит мертвеца и когда парнишка схватил утопленника за руку, он думал, что это—простая коряга. Красив Иртыш вечером. Автор сравнивает звезды с полтинниками. Это хорошо. Все рассказано по порядку.

ТИТОВ П. И. Как только Петрововы ребятишки начали нырять на Иртыше, так я сейчас же изобразил, что они найдут «дорогого» покойника. Затем сам я догадался наперед, что пара Федулиных обязательно встретят Силантия с Серегой и убьют, чтобы ограбить их.

НОСОВА М. М. Никакого впечатления не оказывает тогда рассказ, когда наперед знаешь, что будет дальше. Если не знаешь будущего в чтении, тогда оно занятнее. В «Награде» почти все сразу узнаешь, что будет потом. Какое место ни возьми... Силантий и Сергей раздумывают, что они купят на полученные за утопленника деньги, а ты уж хорошо знаешь, что не пользоваться им этими денежками. Потом это и выходит.

КОНЦЕВАЯ М. П. По ходу всего дела—рассказ должен быть ужасным. Я читала у Максима Горького рассказ «Челкаш». В нем факт жизни меньше взят, чем в «Награде». Но рассказ Горького впивается в тебя занозой... А здесь слушаешь, как сказку, и сам себе твердишь: не так было, по-иному было. Было бы, конечно, вернее, если бы Федулиных золотые зубы у мертвеца выковырнул сразу. Но автор от этой дороги сворачивает на ложную. А выбей дед утопленнику зубы, автору не про что дальше было бы и писать. Остался бы у него совсем малый факт.

ШУЛЬГИНА А. Т. Есть в рассказе такие картины, которые за нутро и м а ю т-с я. А возле них совсем неинтересно написано.

СТЕКАЧОВА П. Ф. Шибного в чтении не было, но все-таки мне не дремалось. Интерес к чтению д о л и л. Недовольна я краем. Мне хотелось, чтобы вся семья Петрововых порадовалась на деньги. Надо было мне узнать, что Петрововы стали бы делать с деньгами? Пошто это писатель край отрубил? Щелкнул—и все.

СОШИНА Е. И. Ехала-ехала Дарья на столбу—и ничего не добилась. Как в пословице: «поехала по дрова, а осталася вдова». В зарь вошла, а без толку. Брюхата была, а со столбом в а л т у з и л а с ь и не боялась, что ребенок пропадет. За пять сотен она рада, должно, была и ребенка кончать. Да чо ей ребенок? Ребенка даром добудешь, а денежки—нет! (Общий смех. А. Т.). А могло и достаться Петрововым за утопленника. Какой-нибудь лютой человек так-то п р и ш ь е т с я, вот и отвечай перед ним, кто задавил утоплого, как да где? Потому-то они и старались дюжей хоронить мертвеца, пока суд да дело. Окромя того, им и жалко было деньги из своих рук упускать.

САШИН Ф. М. Никогда не поверю, чтобы старик Федулиных не повышиб утопленнику золотые зубы! Доведись до меня, так и вынес бы их к чорту совсем с с а н к о й. За бутылку кому-нибудь продал бы, и то даешь сюда! У нашего Павла Ивановича шесть золотых зубов вставлено. Стоят они сорок целковых. Шутка чо ли? Федулиных—бедняк и толк в золотых зубах понимал. Повыковырнул бы он их к чортовой матери. А он их—у писателя—и не тронул. Дескать, не нужны. И трудиться не стоит. Да, не стоит!!! Пущай это нам автор не р а з м у з ы к и в а е т. Просто ему хотелось с мертвецом волокиту завести. П о д д е л ь н о писатель оставил мертвецу зубы.

ТИТОВ П. И. Рубль губит человека—вот что выражено в рассказе. П и н е н з ы едят человечью душу. Не будь их, человеку, может быть, и лучше жилось бы на белом свете. Местами в рассказе встречается яркое художество. Например: вода стекала с мертвеца, как гной. Но подобных мест в чтении было мало. Рассказ не рвется на куски, а тянется беспрерывно. Смеяться я лично никак и нигде не мог... Нить своего составления автор будто умно вяжет. Дошел до золотых зубов,—здесь она у него и оборвалась. Что делать? Пришлось ему фальшивый, гнилой узелок завязать и плести дальше. Этот узелок—о с т а в л е н н ы е з у б ы. Автор в этом месте мог лучше сделать, правдивее. Таким, например, манером. Старик-баканщик не видит, не замечает зубов утопленника. В рот утопленнику не заглядывал. И все. Потом сын Андрюха приходит и говорит отцу, что казенный человек утоп, дают награду в 500 рублей; приметы покойника—золотые зубы и плешь. И оба они начинают искать мертвеца. Остальная суматоха в селе пусть бы шла, как идет в рассказе теперь. Вот тогда у автора ниточка была бы целенькая, без фальши... Про речь автора худого не понесу. Речь чистая, первый сорт. Может он сочинять. Пусть он пишет какие-нибудь здоровые и правильные истории, без ложной выдумки.

ЗУБКОВ П. С. «Награда»—не анекдот. Рассказ этот, в общем, правда. Он показывает: деньги для человека—все. Мужики выражены сильно. Все их иудские душонки—вот они—гляди на них. И, кроме того, автор дельно подчеркнул, как люди безразлично относятся к жизни и смерти других людей. Они помышляют только о заработке на другом человеке. Против этого ничего не возразишь. Бывают часто такие писатели, которые чересчур расхваливают мужиков. Например, Лев Толстой. Анов рисует нам мужика таким, каков он есть. Это—честно и благородно. Никакой обиды в этом для деревни нет и не может быть. В «Награде» автор не презирает деревню, не смеется над ней, а сожалеет, что она еще такая мрачная, несчастная, глупая. Излишнее хваление деревни не нужно... Сельский секретарь обрисован не шибко, но видать, что он знает себе цену. Бюрократического в нем я ничего не вижу. Он с Силантием поступил совершенно правильно. Петунникова в бюрократизме тоже завинить нельзя. Что чисто одет, так это разве бюрократизм? Награду за утопленника он очень скоро выдал Петрововым. Это ясно показывает, что он не склонен к бю-

рократизму. Немножко щеголевато он был одет во время приезда в деревню Славянку. Ну, так это его форсистым автор сделал. Нравится мне, что автор скряг в рассказе вывел. Вся Славянка до денег жадюги. В каком-то году, не помню, зимой нашу Журавлиху одолели волки. Днем скот драли. Из города приехала к нам артель охотников. Хотела побить волков. И вот стали охотники просить журавлишинцев помочь облаву сделать. А наши подлые мужички им на это отпели: «Почем в день дадите за работу?», «Они будут наживаться на наших волках да еще гоняйся с ними за волками бесплатно. Нужно было!».—Вот они каковы, сударики!.. А старик Федулиных—чистый наш Вася Куклин! Кот мартовский. До чужих баб ходок.

ШИТИКОВ Д. С. (Перебивая П. С. Зубкова. А. Т.). Али в роде Лаврушки Черепка, который бабу Веснина Осипа обхаживал, гад рыхлый!

ДЖЕКАЙЛО Ф. Ф. Не зря Андрюшка опасался, что отец все деньги на баб спустит, если ему награда достанется... Синяя рука утопленника мне все мерещится. И сам—весь осизлый! Противно и страшно.

ЗУБКОВ П. С. (Продолжает)... Инвалид Бурков хоть кому бумагу подпишет, хоть кому пойдет в свидетели и на кого угодно. Как жилинский Портовой. На него никто и обижаться не будет. Нужда его задавила. Петрованновы уж очень долго прятали труп Ермилова. Сам писатель, мне кажется, нарочно волынку с укрыванием затянул. Грешно его подозревать, но, думается, он строки нагонял. Сдельщиной занялся... Зачем их чорт так таскал с трупом?!. Анов разговор вел и про местность, про природу, но я их ни чуть не вижу. Как Федулиных портки снял—вот это так, это представительно! Портки всунуты в рассказ просто, чтобы посмешить публику. Впрочем, возможно, что дед и берег штаны, чтоб не сопрели. Автор ради смешка, думается, и привязал-то утопленника к носилкам. Кувырканье через него носильщиков тоже напрасно описано. Вид трупа удался автору только тогда, когда баканщик вытаскивал Ермилова из воды. Плохо «приехал» в деревню Петушников... Вместе с жадными людьми автор показал нам и одного бескорыстного мужика—деверя. Его рассуждения о звездах и должны указывать на ум и нежадность. Но не всяк догадается, к чему тут автор припустил именно звезды? И, как будто, деверь не смог бы так умно рассуждать о загробной жизни, как он это делает в рассказе «Награда»... Мужицкая речь в рассказе легковата. Мужики говорят ядреньше, образнее, чем у автора. «Душу бередишь», «хрен седой» и т. п. - хоть и мужичьи выражения, но они не смачные, не уемистые. А слова «душу бередишь» я ненавижу. Невыразительные они. Ведь мужики иногда говорят так, как обухом садакают! Сравнение звезд с полтинниками я считаю не новым и неудачным. Гораздо лучше у автора: «Иртыш засеребрился живой чешуей» У кого-то из старых поэтов сказано: «Звезды меркнут и гаснут, в огне облака»... Вот как надо сочинять! Вода в Иртыше и слизь с трупа хорошо описаны в «Награде». Слизь, похожая на гной, бывает даже на бревнах, которые долго оставались в воде. Удивительно как-то Анов изображает людей: характер их понимаешь, слышишь, а самих этих людей никак не вообразишь. «Награду» я принял бы в деревню с большой охотой. Пусть чуть-чуть автор допустил в ней неправдоподобия, но в ней хороша основная мысль. У нас в деревнях есть еще множество людей, которые не чувствуют за собой противной жадности. Так пусть они возненавидят это чувство хоть у других людей. Может быть, они устыдятся тогда и своего порока. Хорошей стороной рассказа является и его простота и понятливость.

САЩИН Ф. М. Вот штука-то: жалкости в рассказе нет. Внимание к нему разбирает, а внутреннюю живность он не переворачивает. Старик Федулиных, как Перша Веснин, скряга, жила. Но личность его я не могу сообразить. Не маячит предо мной ни рост его, ни рубаха, ни голова. Одна только скупость слышится. Рассказ идет про ужасное, а мороз по коже от него не ходит. Жуткого нету. И смешного нету. Но интерес к рассказу есть. Что за штука?!.

ЖЕЛЕЗНИКОВА Т. Ф. Дьявол же его забери этого Гришку-паршишку! И как же он не побоялся имать мертвеца?!. Да я бы тут ума решилась! Неужли он мог так насмелиться?!. А верно, что в деревне не токма люди, а все кобели и суки за полтыщей позарятся! А Ермилкин-то этот, видно, пива облопался и подох. Туда тебе и дорога!

КОРЛЯКОВА Н. В. Ох, и было же бедному покойнику терзавства! Голый, гнилой он, весь в траве, распухлый, а Петрованновы таскают, волочат его по островам да по берегам. Он весь проквасился, душной, а они его все волокут и волокут! Он ощерил зубы, ровно смеется на них, а они волокут и волокут!.. В глазах стоит все это волочение мертвеца. Видно, стереглись Петрованновы, что поумней кто найдется и перепрячет дорогого утопленника, а после за него денежки в карманчик и положит... Про крынки справедливо опись дадена. Их принесешь из погреба, они всегда бывают потные. Ровно роса на них капельками наружу насядет. Пот с молока и с воздуху дают. Охватит их, значит, теплым духом, ну и капельки гупушками вскочат... Про мужиков ни единого слова хлопни нет. Они

не то, что за пять сотенных, а за два рубля всю реку выбродят. Только посули за что нибудь.

СТЕКАЧЕВ И. А. Федулиных, отец и сын, должно быть, жили так же, как Хотеевы Тарас с Петрушкой. Бывало, сидят эти Хотеевы за обедом, хлебают щи, все ничего, тихо смирно. Вдруг, чорт его знает, почему, Тарас как заревет на Петрушку: «Сукин сын, сволочь юруй! Зарежу!!!». А тот на него: «Сатана хрипучая, мать твою так, оболдуй старый, чтоб те поперхнуться! Кинься, я те чкну в лобизину пестом!!!». У—ух! И пойде у них матершина. После разберутся—пустяка дело стоит; сын отца коленкой под столом задел. Но они матерятся добродушно, без злобы. После ругани опять у них дружба. Человеческие фигуры в «Награде» выведены, как в потьмах: видишь их, а не различаешь друг от друга... «Промежь ног перевяжу»... этот смешок незаметно прошел. Этакое выражение в разговоре может быть и бывает, ну, а «плешь» примощена для веселости. Искусственная веселость. Не смеешься от нее. Событие рассказа не к смеху тянет. Я замечал, что писателеву «плешь» наша публика поняла не серьезно, в шутку. Не про головную плешь она на этом слове думала, а про «кое-какую другую». У нас никто головную лысину не называет плешью. Еще в начале рассказа было заметно, что автор растянет свою историю. Растяжка началась еще с тех пор, когда старик Федулиных бросил ковырять у мертвеца золотые зубы. Мне тогда уже подумалось: автор с хитростью оставляет трупу зубы. Я понял, что с трупом потом **что-то** будет. В рассказе много длинного и ненужного. Зачем автору понадобились такие подробности, как хлебопродуктовские барышни, их накрашенные губки, завитые кудряшки, чайные стаканы без блюдечек и и т. д.? Хоть будь они, хоть и не будь—не в них соль. Обошлось бы дело и без них. Описание скрывания утопленника ужасно растянуто! Аж покойника мне стало жалко Но для чего это? Неизвестно. С островом большая у автора мешанина получилась. Никак невозможно простому человеку вообразить ту местность, по которой Петровановы волочили труп Ермилкина. Не пойму я и вот чего: в одном месте Анов называет утопленника Ермилорым, а потом Ермилкиным. «Вонять может только живое существо». Смеха из этой фразы не образовалось. Если же это намек на то, что живой человек воняет, а от мертвого Ермилкина пахнет пятью сотнями рублей. то такого мудреного намека крестьяне, пожалуй, не поймут. Не резкий и не шибко остроумный намек... Письмо в рассказе все ровное, гладкое и незатруднительное для самого малообразованного читателя. Особенно сильных сцен нет. Убийство не пугает нисколько.

ШИТИКОВ Д. С. Вот в чем надо поддернуть писателя своей критикой... Ни худыщние слова он должен бросить, заменить их хорошими. А то как только прочитают слово плешь, так бабы со смеху на стульях и покатятся. Смех же этот непутевый... Если это скостить, то рассказ получится подходящий. «Награду» написал человек умный и хитрый. Ума тут приложено! Про старика Федулиных нужно в рассказе сделать добавку: описать, какие у него глаза, волосы, морда. Иначе—все сомневаешься. Какой он, чорт его знает! Не точный он у автора. А это мужицкое сомнение все дело гадит. Девяносто девять раз уважь, угоди нам, а раз нет, ну, пошибло все старание. Такая уж у крестьян завычка... Теперь оборочусь к Дарье Петрованновой. Ну об ней скажу тебе примером. Пришел ты к нам на собрание. Привел с собой женщину и спрятал ее в туе комнатку, чтоб народ не видал. Выходишь сам перед народом, и ну туе женщину выхвалять. «И она вам кружева может вязать, и она вам снопы может вязать так, что пальца под свясло не подденешь, и она вам хлеб испечет, и она вам суп сварит такой-сякой, и еще что-то умеет, и еще что-то». Сам про нее балабонишь, а женщина там где-то, за стенкой посиживает. Народ слушает тебя и думку держит: «хороша баба. Только почему-же он не выводит ее на сцену и не показывает нам? Поглядеть бы, какая она собой, какого корпусу и какой обнарядки!». Ты женщину перед народом взял да и не вывел. У народа досада и сомненье. Так и Анов поступил с Дарьей. Расхвалил, что она—лев, а она, может быть, видом-то своим козявка, никто. И все люди в рассказе одинаково недорисованные. Только мертвец, маленько художественность, имеет. Может, писатель станет супорствовать: я, мол, старика без порток показал. Дак это что? Это не мотифа его будет. Портки со старика спущены для нарошки. Типов своих автор не смог дополировать. Вижу я: в понимании этого рассказа люди колыбаются. Не хотят его пустить на дно, потому что он ятен и весел, а, главное, с умственным настроением о человечестве. А с другой половины—рассказ кое-где брехаторию разводит и не доделан, как следует. Народ умом и разошелся насчет его. Куда его сунуть?.. Покойник, мой дядя, говорил: деньги—змеи. К этому и «Награда» гласит. Когда-нибудь деньги злом над человеком выкажутся. Писатель взял для своего сочинения точку ядреную: комиссара Хлебопродукта. И до «порток» писал верно. Не сшибался с прямой дороги. Потом наглядность человеческая стала теряться, тухнуть. Запутлялся, товарищ Анов! И развез во какой рассказ! Может и не длинно, но нам показалось, что в свою историю автор добавил несколько лишних стра-

ниц (Обращаясь ко мне. **А. Т.**). Беспременно ты от нашего крестьянского лица начерти Анову такую писулю: «ладно, друг, пиши. Ты можешь по-мужицки речь вести. Только не ври про крестьян. Трись чаще меж ними, слушай их чижолые слова. О чем пишешь, то показывай. Торговки на базаре—пирожки покупателям беспременно показывают; с чем они—с маком или с повидлом! А ты людей в сочинении и то плохо кажешь. Показать же ты их можешь. Обязательно можешь! Русскому человеку надо полапать типов. А если не полапать, то хоть поглазеть на них. Значит, чувством глаз понять»... Пусть он, этот самый сочинитель «Награды», читает такое наше желание!.. Мало, думаете, на свете писателей хвостотрепов? Много! Только что званье, что писатель. Пишут без фактической видности. А надо писать и полно, и наглядно. Если пишут, например, про женщину, то и должны говорить: щечки у нее пухленькие, пышечкой; подбородочек крючечком; личико форсистое и т. д. Вспоминал я сейчас, что в «Двух мирах» у Зазубрина про женщину сказано: волосы каштанового цвету. Я, как только это прочитали, сразу завлекся каштановым цветом. Призадумался немного о каштане и враз понял я, про какую женщину писатель говорил. И полюбил я тут же эту видимую художественную женщину. А скажи мне Зазубрин: «пришла женщина, скинула с себя все»...—ничего не понял бы; все шаталось бы в тумане. Может быть, эта женщина вся в коросте, подь она к чорту! Безусловно, Анов писать может. Хаманить его невозможно, но нельзя и сказать, что у него все идет на-ять. Деревню он слабо знает, только по разговору. А в середке у мужика был. В описаниях часто мечет большие крюки. Сочинение его ко вниманию липнет, тянет к себе, а потом... обманывает.. Ждешь-ждешь, сидишь тихо, слушаешь-слушаешь, а в конце нет ни окаянного! Все остается в воздухе. Как кость гложешь. Ждешь: вот это обгложу, а потом и мозжечком посластюсь. Глядь, а кость без мозгу! От конца рассказа «Награда» нет моей душе блажности. Про этот рассказ скажу еще один пример. Допустим, человек гонится за драгоценной хромой лисицей. Вот-вот он ее схапает. Хлоп!—лисица нырнула куда-то в пропасть, а человек стоит, как дурак, и разводит руками. Был интерес—и нет интересу... Такое же у меня душевное неудовольствие от «Награды». Писателю Анову надо составлять действительные повести, пространные. Их бы мы послушали! Охота послушать.

БЛИНОВ Е. С. До чего здорово в этом рассказе выяснены крестьянская жадность, глупость и недоверчивость! После получки денег Силантием я был согласен дальше рассказа не читать (Е. С. Блинов к общей читке «Награды» опоздал—был в городе. Поэтому он читал ее сам, в одиночку. **А. Т.**). Я уж сообразил, что дальше писатель подпустить что-нибудь зряшное. И вышло так. Петрованы не пойдут на похороны утопленника. С 500 рублями они скорее бы домой подрали. Оплошности они тоже не могли допустить. Уголовный агент представлен шибко глупым. Ему не мешало бы поумней быть. Ни про деревню, ни про советских чиновников ничего особенно зловредного и опасного нет в рассказе. Пускай его в любое место. Смешных фраз в нем я не находил, а интересных много. Все главы в рассказе пригнаны прочно, складно. Читается он со вниманием. Вчера в школе агроном читал лекцию по свиноводству, а я под его чтение читал «Награду». И лекция мне нисколько не помешала. Будто ее в школе и не было. Весь рассказ я отлично взял в ум. Значит, он настоящий. Плохое сочинение один-на-один читать не будешь, а этот я продул под чужой шум и говор, и ничего, получил нужное понятие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. (Принято всеми против двух). За глубину идейного смысла «Награда» достойна второй очереди. Мы поставили бы ее и в первую, если бы автор не допустил в ней одной очевидной и грубой скрепки в настроении сюжета. Эта крепка—оставление зубов у трупа баканщиком Федулиных. Неимоверно алчный, способный из-за денег на какое-угодно преступление, баканщик не мог, конечно, расстаться с золотом, хотя бы оно попалось ему и в виде зубов.

Психологию крестьян Анов знает, но народный язык в его произведении—избитый, не веский. Однако, автор «Награды», нам кажется, будет один из полезнейших крестьянам писателей, если он непосредственно окунется в гущу деревенской жизни, ближе и пристальнее вгляднтся в мелочи ее быта и обогатит свой язык ядреными мужицкими словами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я затрудняюсь припомнить случай из моих чтений, когда бы в оценке произведения крестьяне чувствовали себя так неловко, как при разборе «Награды». Для их «судейской» совести этот рассказ оказался сущей пыткой. На чашках весов лежали равновесные, по понятиям коммунаров, величины: на одной—некоторая фальшь в сюжете, бледность крестьянского языка и низкопробный юмор, на другой — психологическая правда, большое идейное содержание, высоко ценимый деревней, незасоренный, как слеза, слог и интригующее сплетение событий. Вследствие этого, почти все отзывы о рассказе пронизаны «колебательными» нотками. Крестьяне давали мне эти отзывы с видом крайней растерянности, недоумения и смущения. Ясно было видно, что каждый «судья» переживал

внутреннюю борьбу, когда я ставил его перед последним, решающим вопросом о нужности «Награды» в деревне. Но не нашлось ни одного голоса, решительно отрицающего право этого рассказа на включение в сельские библиотеки.

Принимая «Награду» в число избранных для деревни произведений, коммунары все же твердили, что Анову впредь нужно брать для своих работ «истории покрупнее» и правдоподобные во всех частях.

Разбор «Награды» в нашей аудитории, надеюсь, будет для автора недурным уроком в том смысле, что одна непродуманная, ложная деталь в канве рассказа способна обессилить его и подорвать к нему доверие крестьян...

Штрихи юмора, кое-где разбросанные в рассказе Анова, не смогли заразить коммунаров искренним смехом. Правда, смех в аудитории иногда слышался, но он был каким-то выдавленным, неполным, хихикающим. И возбуждался он только вокруг нарочитых двухсмысленностей (см. оценки!), которые были вскрыты крестьянами и подчеркнуты далеко не одобрительно. Самые же серьезные коммунары от п о т у г автора посмешить читателя кисло морщились.

Крестьянские оценки замечают отсутствие в «Награде» таких комических положений действующих лиц, которые (положения) могли бы п о з в а т ь слушателей и читателей рассказа к естественному горькому или веселому смеху. Юмор не разлит по произведению ни тонкой, добродушной, иронией, ни жесткой, колющей сатирой. Нет, просто несколько надуманных «смешных» фраз вклинено в рассказ чужеродным телом. Крестьяне этот «фокус» автора разгадали и осудили.

Общее заключение о рассказе не было поддержано двумя слушателями только в пункте, касающемся зубов утопленника. Эти слушатели неискоренимо убеждены, что автор «Награды» был прав, не дозволив баканщику повыворотить у трупа золотые зубы...

От Анова крестьяне ждут солидных новых произведений. И верят, что он их даст непременно.

Исаак Гольдберг—«Гроб подполковника Недочетова».

НОСОВ И. А. Штука—подходящая для деревни. Изображает белогвардейщину, последние ее безобразия перед гибелью. Безобразия эти описаны на-отлику. Точно, Среди безобразников—одна честная женщина—подполковница. Страдания вдовы оставляют большое впечатление. Она—хорошая женщина, если посмотреть на нее не с политической, а с человеческой точки зрения... Проституток за белыми нужда гнала и воображение, что они с офицерами скоро придут на Дальний Восток и будут там жить-поживать мое почтение! Да не сбылось по-ихнему... Партизан Коврижкин немножко, по-моем, того... мужиковат. Не может этого быть: он же четырехклассное училище прошел. Хоть и в тайге он жил, а все-таки таким обрубком он не может быть. И еще вот что, мне кажется, не совсем верно: больно партизаны у писателя серы и грубы. Я в своих отрядах таких мужиков не видал, какие были у Коврижкина. В партизаны шли люди мало-мальски тесаные. Т е л е п н и не были, пожалуй, в партизанах. Умные были. А у автора они больше тюхи какие-то. В отношении вдовы описание мне понравилось. Хороша сцена женского рева. Жаль, что вдова не понимала того, что везли в гробе вместо тела ее мужа. Все описание насчет вдовы интересное. Ну, просто все это представлено в виде какой-то хорошей сказки. Видно, что рассказчик—способный к литературному делу человек. И много-много у него человеческих чувств. Он рассказал нам про многое дурное, что было в белой армии. Деревенскому жителю надо знать, как подходили мы к нынешнему положению. Ведь мало кто знает, что было с последними белякамн, как они доживали свои предсмертные минуты и как их по снегам, по тайге настигали красные партизаны. Рассказ этот—воспитательный. Про баб деревенских писатель ни слова не солгал. Им все равно: белые или красные. Они тогда почти все были бестолочью. Правильно описано и отношение деревни к белым и красным. Я партизанил. Именно так и было дело, как тут рассказано. А сибирскую жизнь этот писатель знает, как свои пять пальцев. И морозность сибирская видна у него.

СТЕКАЧОВ Т. В. Теперь мне все ясно, что сталось с белыми. А то не знал я этого. Эх, много у них м е ч т о в было, чо они будут делать, когда доберутся до своего места! А с гробом они хитро обтяпали дело. Ад'ютант был пройдоха. Сначала я думал, что офицеры зароют золотые деньги. Но они еще хитрее удумали. Шибко тревожно мне показалось, когда Коврижкин допрашивал оелых, которые попались ему в плен. А бабы эти просто разнесчастные. Шут их нес! (Задумывается, сладко улыбается и мечтательно продолжает. А. Т.). Природа, лес, на стволах ружей мороз, как бус, сел. На показе все перед тобою. Вот какое ловкое, настоящее описание! Ровно я свидетелем всего этого дела был. Уезжают белые. Скрипят полозья. Находит,

вот как иной раз по бору едешь, а морозяка!!! Сосны стоят все закуржавели, а у людей воротники и усы замерзли, белые... Вчера после чтения я слышал, некоторые говорили про Валентину Яковлевну: «ах, туды ее душу мать!». Это зря. Она все-таки, по женскому своему сердцу, поступила справедливо. Она же несчастная. Пошто же ее ругать? Я ее жалею, но только что по злобности мужа ее, подлеца, гада такого, не могу сильного сочувствия к ней иметь.

МОРЕВ Ф. А. Вдова была омманута. Своими же была омманута. Она не пошла бы за беляками, но для нее дороже всего на свете был муж. Нисколько я на нее не злоблюсь. Терзательно моей душе за нее. Противны мне все, кто изводил эту несчастную женщину. Уж дюже много кары она, бедная, приняла! Надо бы такую женщину не в тюрьму садить, а на руках носить. А то взяли да и затворили ее за решетчатые окошечки. Здря! До того, значит, она страждала, что подпослед сил уж не стало. Вот что хошь возьми, а за золотом она не пошла бы с белыми! Мужа она хоронила. Не плохое у нее помышление было... Кабы у нас, в Косихе, читали такие похождения, каждиен ходил бы слухать. (Морев из районного села Косихи. Попал в коммуну случайно, на поденную плотницкую работу. Старик 60 лет. А. Т.). А то нету у нас такого чтенья. Я спервоначатья так к вам в школу зашел, посмотреть. Да теперь вот три вечера и хожу. Охота. Все про вдову надо знать. Куда ее призведут? Чо с ней будет?

АФОНИН Н. В. (Тоже плотник из Косихи. А. Т.). Интересно мне задалось, как Коврижкин с партизанами встречь белякам шли, как он лазил по снегам. Глубоченные, видать, снега. Вообще тут было дело!.. Мужик Роман смекалистый был. Он сразу смикитил, что солдаты, которых он вез, не хотят за беляков воевать. Ну, и того... сговорил их дезертировать. Тут было дело! С одной стороны, вдову жалко, а с другой—чорт с ней! Но только не яственно описано, как она к деревенскому народу относилась. Ежели б это было известно, можно бы сказать, хороша она или никто А то не знаешь, к какой политике тут приклоняться с этой вдовой. Книга шибко интересная. Наши косишане заслушались бы...

МОРЕВ Ф. А. (Перебивая Афонина). Кабы я был грамотный, я бы эту историю на гумажку списал себе и читал бы людям хоть где... Ну, а эта девка, королева-то, как ее там зовут-то, парная была! Что тесто! Ух, и лепеха! Как только ее офицера на коленках удерживали?!. А, ишь, смотри жалостливая была.

БОЧАРОВА А. П. Не могу ладом в толк взять, за что же это партизаны вдову посадили в тюрьму? Большая у нее сумнота на сердце лежала. Ни в каком смыслу она не была повинна. Беспокойность за нее у меня была все время. Тихая она какая-то. Сидит возле грубочки, греется и горюет. Сильно несознательно красные с ней поступили. Вон, погляди-ка, столь она за гробом по снегу пропехала! Числа нет, сколь она горя-муки приняла. А ее к чему-то еще на термыканье посадили.

УЛЬЯНОВ А. И. Поглянулось мне это чтение. Жалостное тут. Кайлом из головы не вылущишь то, что я слыхал. Моя работа плотницкая, трудная. Намнешь за день руки-ноги вон как, ну, а все-таки я три вечера под-ряд этот рассказ слушаю с охотой. Сон не берет... Ад'ютант и все прочие офицеры, конечно, сволота. Чорт с ними, что они погибли там где-то. Это все правильно. Вдову бы только надо было партизанам выпустить. Пущай бы путалась себе где-нибудь на работе и зарабатывала кусок хлеба. И так она всеми была обманута, пальцы поотморозила. А тут еще в тюрьму. Не согласен я с этим... Рассказ дюже сурьезный и печальный. Сочинитель его может горячо за дело браться.

СТЕКАЧОВ И. А. Лишку в рассказе малость есть. Красным было от дезертиров известно, что в гробу лежит, а Коврижкин этот гроб бросил без внимания. Немножко тут не приходится у писателя. Расклинилось. Некоторые говорят, что Коврижкин груб. Ну, что ж. Зато он душой мягок. Правда, маленько ему и помягче можно бы быть, но ничего, сойдет. Вот командир, который повез пойманных белых с бабами, нос-то картошкой, тот, действительно, чересчур балда большая. Настоящий наш Алешка Лазеев (Лазеев—верх-жилинский сельский унтер Пришибаев. А. Т.). Писатель должен был хоть начальника-то конвоя поумней сделать... Если вдову Недочетова понимать, как женщину, то можно и пожалеть ее, а по классу политическому я ее ненавижу. Не подходит она, чтобы ее жалеть. И мне ничего, что ее засадили. Верно сделали партизаны, и верно это изображено. Так бывало. Писатель тут не мог соврать. Написано все образно. Длинного и скучного я не нахожу в этом сочинении. А Сибирь здесь настоящая! Ровно на книжке мороз трещит!..

БОЧАРОВА М. Т. Почему так? Коврижкинцы не знали, что в гробу у белых золото, а дрались около него особенно зло. Интересно! Хотели уж гроб закапывать. Королева Безле сказала, что деньги в гробу. Ведь слух же проносился, что в гробу деньги, а Коврижкин до последу этого не знал. Как же это так?!. Гроб занесло сильно снегом. Сначала шибко дрались около него, а потом не стали биться. Это мне как-то смутно... За что красные бились у гроба? Много полегло их, а за что? Если бы

это поясней было написано! А то путаешься. По правде сказать, завлекательное чтение. Как в роде ты сам в той картине т р е ш ь с я.

НОСОВ М. А. Как бабы орут—вот тут тебе сразу целое представление. Про офицеров в книжке мало растолковано. Про женщин до конца рассказано, а про главных воротил—нет. Если этот рассказ прочесть с выражением, то хоть в каком месте его выслушают с аппетитом. А есть книжки дуром написаны. Хоть ты как старайся читай их—ничего не удобришь. Ч у ч а ч у ч е й и останется. Правда, этот «Гроб» надо с большим сердцем читать. Народный разговор у писателя—самый натуральный. Так он и поставлен, как мы балабоним.

БЛИНОВ Е. С. Все написано и живо, и болезно, и правдиво. Партизанские командиры такие и должны быть сутуики, как они представлены. Ведь эти партизаны—бывшие солдаты. И Коврижкин тоже. С военной службы придет, бывало, солдат, ну, фельдфедель или там унтер старший—сначала вид кажет, форс дает. А потом—поживет в деревне, пороется в земле—такой же к о л у п а й с б р а т о м станет, как и все. Коврижкин жил в тайге. Туигус. Одичал, конечно, человек. Какая там у него вежливость?!. Откуда она?!. Вдову жалеть нечего. Посмотрите-ка, как она кляла всех и все, когда очувствовалась. Всех бы красных она тогда поела! А ее муж, гад, как Анненков, целые села сжигал. И такого подлеца может ли любить порядочная женщина?!. Имела она человечество, когда ее муж разбойничал? Муж мог ее послушать, если бы она его отводила от зла. Но, видно, она его не останавливала перед зверством. Ценю я эту книгу для будущего, для ребят. Кто не знал и не знает про зверства белых, пусть эту книгу изучает. Историческая в ней картина заложена. Лет через сто хорошо будет человеку эту книжку раскрыть и прочитать в ней про гражданскую войну. Узнают из нее люди, где была правая сторона и как офицерство о л ы р и ч а л о. В деревнях этот рассказ будут читать наперебой. Много в нем для крестьянства нового, неизвестного.

ЗУБКОВА В. Ф. Я к Блинову присоединяюсь, но только с одним не согласна—про вдову. За любовь к мужу подполковница много страдала. Как бывает в жизни? Хоть какой подлец муж, а его жалко, ежели любишь. Ежели человек страдает за любовь свою, пущай к дурному человеку, то его ненавидеть, по-моему, нельзя. Он тогда невиновный. Любовь—дело природное. Мне кажется и писатель такую думку в голове держал, когда сочинял этот рассказ... Наречие писателя очень ясное. Без думки все понимается. К о ж и л и т ь с я умом нигде не приходится. На первый сорт этот рассказ н а ш и б а е т. Во мне щемленье аж было, когда вдова шла ко гробу мужа, а солдат красный протаптывал ей дорогу, проворачивал снег. Вот и гляди: хоть подполковница и вражецкого классу, а солдат ей дорожку протоптал. Сочувствие в нем пердолило. Не посмотрел, что она буржуйка. Умно это у писателя упомянуто. Дескать, хоть какой будь человек, а ежели у него горе, его жалко. Может быть, потому так вышло, что подполковница попала не к нашим роговцам. Те бы с ней иначе поговорили.

ТИТОВ П. И. Поход Коврижкина это—да!!! Угруз весь народ к снегу. Над вдовой, с моей половины, нечего слюни распускать. Каждая женщина может вертеть своим мужем так и этак. Почему подполковница не повернула своего храпондола, зверюгу на добрую сторону? Паршивка она. Не жалею я ее! Мало ей красные тюрьмы дали. Говорят, мужа она любила. А для чьего это дела? Для своего личного. Коли б она была порядочная женщина, она поступила бы так: муж умер, ну, значит, старая жизнь пересеклась. Ищи новую. Куда итти? Иди к новой власти. Так, нет! Она прется с белыми. И не муж ей нужен. Ей только удобней с ним было пробраться на Дальний Восток. Вот зачем она муки-то принимала.

ТИТОВА А. И. Не пойму я вдову. Почему же она чужому горю не сочувствовала? Вот это чуточку охолаживает меня к ней. И проституток она презирала, с у п и л а с ь на них.

ШИТИКОВА М. Т. Все написано хорошо, художественно, а горе вдовы обрисовано фальшиво. Ежели у нее были человеческие чувства, то она не должна была любить мужа-зверя.

БОЧАРОВА А. П. (Возражает М. Т. Шитиковой). Ой, девка, не хлопай. Ты сама нам читала книжку про разбойника и подгижателя Юду. Сколь он шкоды людям наделал! А когда его мужики ранили да в тюрьму посадили, так, небось, жената его пришла к тюремному окошечку и ревом ревела с горя, жалковала о муже. Здря это люди х а м а н я т удаву.

СТЕКАЧОВА М. И. Главная соль этого сочинения, по-моему, такая: Сибирь, тайга, ужасные морозы, вообще природа, а тут, посреди всего этого, людишки шаперятся. У них тут война, а природа давит их, как камешек.

ГЛАДКИХ А. И. Верно. Земля вертится. Кругом люди разных мастей. Политика тут у них, война, драмы разные, а природа знает свое—воротит, прижимает их всех, по-своему оборачивает... Самоохрана для человека выше всего. Вот к чему рассказ ведется.

НОСОВ И. А. В этом произведении много больших мыслей. Во-первых, противопоставлены хорошие и дурные женщины. Во-вторых, бесчеловечность офицерства. В третьих, доброта и человечность партизан. В конце концов, автор доказывает то, что, когда человеку нужно спасать свою шкуру, он плюет на всякую святыню. Это отлично подчеркнуто историей с гробом подполковника. Героизм подполковника, может быть, уважался офицерами. Может быть, они верили и в бога. Но, когда спасение жизни зависело от золота, которое нужно было сохранить, ад'ютант по боку дал и бога, и гроб, и героя—спрятал золото в гроб. Жизнь каждому среднему человеку дороже всех святынь.

КОРЛЯКОВА Н. В. Любая баба так сделала бы, как подполковница. Свое горе всего дороже.

ШИТИКОВ Д. С. Офицеры были доки хоть на какую пакость—вот еще какое поученье есть в этом рассказе. Без ошибки это сказано.

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ. В сельских библиотеках «Гроб подполковника Недочетова» по праву займет место в ряду классических произведений современной художественной литературы. В легкой, общедоступной форме он представляет крестьянам один из наиболее памятных эпизодов гражданской войны в Сибири.

Почти с каждой страницы рассказа встает ожесточенная борьба людей между собою и с суровой, неумолимой природой; веет морозом и тайгой, которая шадит только сильных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Произведениями Ис. Гольдберга из цикла «Путь, не отмеченный на карте», я впервые познакомил моих слушателей с литературно-художественным изображением гражданской войны в таежной Сибири. Все рассказы этого цикла нашей публике чрезвычайно понравились. Но исключительно сильное впечатление на нее произвел «Гроб подполковника Недочетова». В нем чаровала коммунаров не только человеческая трагедия, развернутая на величественно-жутком таежном фоне, но и само живописание тайги и быта ее обитателей. Не даром, коммунар И. А. Носов, кстати сказать, человек грубоватый, эстетически «невоспитанный», проговорился, что «Гроб подполковника Недочетова» напоминает хорошую сказку.

Один из лучших наших певцов тайги—Ис. Гольдберг—жадно принят крестьянами. Язык его произведений, почти всегда доведенный до предельного изящества, ни на минуту не перестает быть мудро-простым, народным, общепонятным.

Гольдберг глубок идейно. Фабулы его рассказов, прочитанных в аудитории, свободны от излишних мелочей, нагромождений и путаницы. Они классически строги, логичны, правдивы и скомбинированы из захватывающих положений действующих лиц. Эти особенности писателя в сочетании с его богатейшими знаниями природы и быта населения таежной Сибири, как-раз и составляют то, чем особенно дорожат в художнике наши крестьяне.

Историко-революционное значение «Гроба подполковника Недочетова» также нашло у моих слушателей должную оценку.

Крайне мягчительно и подкупающе подействовал на них и гуманизм автора. Вдова подполковника Недочетова (см. отзывы) окружена была почти всеобщим сочувствием. Многие слушатели, очевидно, делали ее центральной фигурой рассказа. Ее судьба занимала их гораздо больше, чем что-либо другое во всем сюжете произведения. В каждый последующий вечер, перед читкой, я слышал от коммунаров возгласы ожидания:

— А ну, куда вдова последует?

— Послушаем, чо с ней будет дальше?

Так было. И, вероятно, вопреки ожиданиям автора, который, несомненно, не хотел делать из подполковницы фокуса рассказа. По вопросу отношения к ней, уже значительно позже читки рассказа, между коммунарами шли горячие препирательства. А плотники Морев и Афонин при этом доходили даже до «крупных разговоров». Старик Морев был целиком на стороне Недочетовой, а молодой Афонин «резал» ее... Морев и Афонин, по их собственному заявлению, за всю их жизнь никогда не бывали на литературно-художественных чтениях. «Гроб подполковника Недочетова» был для них первым произведением, которое они слышали. И что же? Оба они на читках «ели» меня глазами. После рассказа Ис. Гольдберга они аккуратно посещали наши чтения до тех пор, пока не уехали из коммуны, закончив в ней свою работу.

ВИВИАН ИТИН

Моя встреча

1.

Многие писатели обязаны М. Горькому своим существованием. Он сделал писателями Федора Гладкова и Всеволода Иванова. Он переписывался, ободрял и поддерживал. Я не принадлежу к их числу. Моя встреча с М. Горьким ничтожна; но иногда и мелочь может быть характерной.

2.

Шел третий год войны. В студенческих столовках исчез хлеб, и я питался супом. Издававшийся Рейснерами журнал «Рудин», в котором должно было появиться мое первое стихотворение, закрылся. Надежда на большую жемчужину, фамильную драгоценность, не оправдалась: жемчужина оказалась подделкой. Я написал рассказ, направленный против войны, гордо назвав его романом. Рассказ назывался «Открытие Риэля». Аналогия между солнечной системой и атомом казалась в то время смелой. Я думал, что подобного представления достаточно, чтобы армии бросили оружие. Я был молод.

Пришла Февральская революция. Война продолжалась. Мой любимый товарищ, Ларисса Рейснер, писавшая рецензии в «Летописи», отнесла «Открытие Риэля» Максиму Горькому. Скоро она принесла неожиданную весть: «Рассказ принят, но Горький хочет видеть автора».

Алексей Максимович принял меня в редакции. Он стоял за конторкой (такой же, как в «Обществе Взаимного Кредита»). Волосы его были коротко острижены. Я смотрел на эти волосы и думал, что Горький всегда был таким, а в журналах изображают его длинноволосым для театральности. Он достал мою рукопись. Он сказал, что рассказ ему понравился. Голос Горького был тихий и низкий. Он раскрыл рукопись и посмотрев сказал: «А вы не находите, что здесь надо еще поработать?». Я кончал университет и служил, я едва ли мог серьезно работать. Я замялся. Мой рассказ того времени мало походил на «Открытие Риэля», напечатанный в «Сибирских Огнях». Благородный пастор высказывал в нем высокие мысли, блоковская девушка смотрела на луну.

— Ну, ладно,—сказал Алексей Максимович быстро. Только деньги, пожалуйста, потом. Ведь вы не нуждаетесь?

Рубашка на мне была белая и чистая.

— Вас не тянет написать социальный роман?—спросил он на прощанье.

Я ответил, что «очень тянет», и мы расстались.

«Летопись» так же, как и «Рудин», закрылась прежде, чем для моего рассказа нашлось место. Я зашел за рукописью.

Алексей Максимович вернулся не скоро. Он подошел ко мне близко, как все близорукие люди. На нем был его обычный черный глухой пиджак и низкий воротничок с черным галстухом. Плечи казались приподнятыми. Я смотрел на него, подняв голову.

— Не могу найти,—сказал он, чуть разводя руками.

Мне было в сущности безразлично. Мы поговорили о том, что вообще «сейчас» нельзя печататься, не до искусства!. «Но вещь мне понравилась, понравилась», повторил Горький, вероятно мне в утешение. Больше мы не встречались. На обратном пути Лариса Рейснер говорила о том, что в такое время надо крепче держаться за жизнь и не жалеть других. Мы работали в Наркомпросе. У Троицкого моста, у гранитной набережной, пищал беспризорный кот. Лариса Рейснер, в лирических стихах, говорила о себе в мужском роде, но она была женщиной. Она подобрала беспризорника и засунула его ко мне за пазуху. Я принес его домой, вместо «Открытия Риэля».

3.

В 1920 году я был «вридзавгуботюстом» в Красноярске. Это был первый оседлый год, считая с октября 1917 г. Я подписывал смертные приговоры в коллегии Губчека и выручал спешно приговоренных к смерти, председательствовал в «Реквизиционной Комиссии» и вводил революционную законность, раздавал церковное вино—губздраву, колокола –губсовнархозу и руководил «комиссией по охране памятников искусства и старины», работавшей в связи с отделением церкви от государства. В «Красноярском Рабочем» я редактировал «Бюллетень Распоряжений». В Красноярске были поэты. Я стал редактировать еженедельный литературный уголок, называвшийся «Цветы в тайге». Кажется, именно в «Красноярском Рабочем» было напечатано первое мое стихотворение. Город был вообще «литературным»: председателем губисполкома был в то время Феоктист Березовский. Но т. Березовский хитрил и писал тогда только мемуары и критику, направленную против современных, несуразных, по его мнению, литературных новшеств. «Цветы в тайге» были признаны товарищами из губкома «навозом в тайге», а редактирование их слишком легковесным для заведывающего губернским отделом. Я был переброшен в Канск. Я был одновременно завагитпропом, завполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда. В это время я получил копию «Открытия Риэля», сохранившуюся «чудесным образом», как говорили. Мне стало жаль воскресшей рукописи. Она могла пропасть бесследно в любую минуту. Я выкинул благородного пастора и блоковскую девушку, поместил «героев» в более подходящее место и напечатал на бумаге, принадлежавшей газете «Канский Крестьянин» книжку под названием «Страна Гонгури» На обложке стояла надпись: «Государственное Издательство». Это было совершенно незаконное и самозванное издание; но в данном случае я действовал по линии «охраны памятников искусства и старины». Расходы мне удалось вернуть. Канские крестьяне покупали книжку: бумага была подходящая для курева, а цена всего 20.000 рублей за штуку.

В прошлом 1927 году, после выхода моей книги «Высокий Путь», М. Горький прислал мне короткую записку. Там говорилось, что писать надо проще, что к людям и вещам надо подходить «изобразительно», а не «описательно» и что книга Михельса «От Кремлевской стены до Китайской» лучше «Каап-Карэдэ». «Открытие Риэля»,— писал Горький, -«было издано под титулом «Страна Гонгури» в Канске, в 22 году. Об этом вам следовало бы упомянуть. Сделанные Вами исправления не очень украсили эту вещь. Однако, мне кажется, что Вы, пожалуй, смогли бы хорошо писать «фантастические» рассказы. Наша фантастическая действительность этого и требует. Всего доброго.

А. Пешков».

В те дни стояли большие морозы. Антициклон лизнул нас сухим языком. Ртуть Реомюра падала до —40. Записка Горького была не менее суха и его «пожалуй»—даже сурово. Но почему-то все же казалось, что это не морозный, а теплый туман Тирренского моря залил мою новосибирскую улицу Максима Горького. Если величайший писатель современности говорит, что он до конца жизни останется учеником, то что сказать о себе?.. Но не потому, что «познание есть наслаждение», а потому, что познание— страсть, как голод и любовь, ведущая к той же цели, независимо от того, радует она или мучает.

Новосибирск, 31 марта 28 г.

В. ЗАЗУБРИН

Заметки о ремесле

ЛЮБЕЗНЫЙ ТОВАРИЩ И ПИСАТЕЛЬ.

На многолюдном собрании во время перерыва один любезный товарищ подошел к молодому писателю и спросил:

— Вы автор книги?..—Любезный товарищ назвал только что появившийся роман молодого писателя.

— Я.

— Как верно у вас описаны расстрелы... Вам, что—приходилось самому? Вы участвовали?..

Молодой писатель улыбнулся:

— Вам это, так сказать, на какой предмет?

Любезный товарищ расхохотался.

— Нет, нет, я просто так, из любопытства, из литературного любопытства. Мне это дело, видите ли, очень хорошо знакомо.

Молодой писатель ответил:

— В наше время не нужно участвовать в расстрелах для того, чтобы описывать их. Теперь в каждом доме вспоминают, рассказывают. Писателю надо только слушать, комбинировать, концентрировать. К тому же писателю совершенно не обязательно делать самому все то, что он описывает.

Любезный товарищ покачал головой, задумался.

— Ну, если не делать, то хоть посмотреть... Знаете что, приходите ко мне, я вам все покажу.

У молодого писателя запершило в горле. Он долго откашливался. Потом сказал чужим голосом:

— Хорошо. Приду.

Мостовые и тротуары были смазаны черным густым маслом. Ветер рвал с бульваров багровые листья. На стынущей грязной жиже они лежали нерастекающимися кровяными лужицами. Молодому писателю было холодно в тонкой шинели. Тяжелые красноармейские ботинки его вязли в грязи. Он очень долго ходил по городу и в конце-концов решил, что все улицы ведут в белый трехэтажный каменный дом. Он вошел.

Любезный товарищ встретил его в своем большом светлом кабинете. Писатель попросил показать ему альбом с фотографиями тех, кого уже нет на земле. На столе появилась большая книга. Гость и хозяин долго перелистывали ее страницы. На них смотрели люди, задыхающиеся от страха. Их лица были перекошены, глаза расширены. Казалось, что чья-то невидимая рука сжимает им глотки. Иногда мелькали люди с наигранным, неискренним спокойствием на лице. Любезный товарищ и молодой писатель задержались на фотографии человека в белой русской рубашке. Его лицо не было искажено

страхом, но каждая черточка на нем была скована глубочайшей тоской. Сидел он на стуле с высокой и прямой спинкой так, как-будто у него вынули позвоночник. Его тело, раскисшее, изогнутое, едва держалось. Любезный товарищ встал, закрыл книгу, потянулся, прошелся по кабинету.

— Да, никто не хочет умирать.

Молодой писатель молча кивнул головой и попросил показать, как они падают. Любезный товарищ стал к стене лицом и показал. Потом он рассказывал, как они стонут, как переплетаются у них ноги, что говорят, что кричат они в последнюю минуту. Писатель попросил показать ему то место, где они падают в последний раз. Любезный товарищ позвонил. Вошел человек высокий, в красных галифе, с большим револьвером на поясе и молча застыл у дверей.

— Сведи вниз.

Высокий вопросительно посмотрел на своего начальника, потом на писателя. Начальник засмеялся.

— Нет, нет, только покажи.

— Зачем?

— Он тебе об'яснит.

Лестница, ведущая вниз, велика. Два человека, спускавшиеся по ней рядом, успели договориться. Высокий, замедляя шаги, отвечал на вопросы писателя.

— Умирают хуже те, кто чином повыше или положением. Люди рядовые гораздо смелее, мужественнее.

— ?...

— Бывает, плачут, молят о пощаде.

— ?...

— Ругаются, дерутся редко.

— ?...

— Наиболее типично состояние полного безразличия, какой-то мертвенной пассивности, равнодушия.

Когда стали спускаться в самый низ по крутой винтовой лестнице, писатель быстро спросил:

— Здесь падают?

— Частенько.

Писатель увидел узкое каменное помещение с земляным полом. Было темно. Высокий светил фонарем, с которым обычно конюхи ночью обходят конюшни. Он стал об'яснять:

— Вот здесь они...

Все, что рассказал писателю высокий, все, что потом ему рассказывали десятки других людей, и все, что увидел сам, он тщательно записал. Из этих записей у него выросла повесть, повесть разрослась в роман. Роман этот скоро будет закончен и напечатан, и здесь нет надобности излагать его содержание. Мне ведь только хочется рассказать о первых шагах в литературе моего близкого товарища.

Молодой писатель был бледен, когда снова поднялся наверх и вошел в кабинет любезного товарища. Тот посмотрел на него внимательно и, едва заметно усмехаясь, спросил:

— Ну, что же—придешь ночью?

Молодой писатель понял, что ему пора поставить точку. Он быстро решил, что его роль праздного зрителя будет гораздо тяжелее ролей действующих лиц. Писатель твердо сказал:

— Нет, не приду, я и так себе все ясно представляю.

МОЙ ТОВАРИЩ.

Познакомился я с ним очень давно. В моих тюремных дневниках, относящихся к временам отдаленным, я нашел записи, явно указывающие на это знакомство. Мой товарищ еще тогда пытался заниматься литературой. Он послал как-то даже рассказ в одну из «Правд», но его не пропустила цензура. Товарищ этот советовал и мне заняться беллетристикой. В дневнике у меня записано, что он часто старался помочь мне разложить имевшийся у меня материал по полочкам романа. У него к роману особое пристрастие.

Конечно, в гражданскую войну и в годы военного коммунизма некогда было писать. Но в 20 году, очнувшись после трех недель тифозного бреда, мой товарищ в тифозном же бараке взялся за перо. В 21 он издал свой первый роман. Гонораров тогда еще не было. Тем не менее, ему выдали в качестве премии 5.000.000 рублей. Пять миллионов рублей! Мой товарищ не был особенно расчетливым человеком, он не положил денег в сберкассу или на свой текущий счет, а истратил их сразу же все на дрова, купил целых три воза настоящих березовых дров. Помню, мы с ним жарко натопили комнату, и он немедленно же сел за новый роман.

Идея нового романа у него возникла в результате знакомства с любезным товарищем. Он рассказывал мне об этом человеке с чувством какой-то особой нежной признательности.

— Ведь любезный товарищ один из немногих людей, говоривших со мной с подлинной товарищеской откровенностью. Когда он мне рассказал о своей тягчайшей работе, я понял, что напал на нетронутые золотые россыпи материала.

Мой товарищ оказался старательным приискателем. Пять лет он упорно разрабатывал найденную жилу. Теперь его работа близка к концу.

Нужно сказать, что за эти пять лет мой товарищ порядочно надоедал и мешал мне. Он, без преувеличения, лишил меня самых простых радостей бытия. Дело в том, что мне редко удается обмануть его и улизнуть куда-нибудь одному. Обычно он ходит за мной по пятам.

Я знакомлюсь с женщиной. Она мне нравится. Товарищ шепчет мне на ухо:

— Эта женщина для нас с тобой сущий клад. Она разденет нам не одного ответственного работника ГПУ.

Я как-то невольно слушаюсь его, и женщина с хохотом бросает мне:

— Вы эксплоататор. Вы подходите к людям, как к поставщикам материала, нужного для ваших писаний. Я не люблю писателей. Вы какие-то ненастоящие люди.

Я краснею и пытаюсь возразить. Женщина отмахивается.

— Настоящие люди строят, организуют, творят жизнь. Вы только описываете. Какая это скука писать вечно о том, что делают другие, вечно радоваться чужими радостями, огорчаться чужими неудачами и никогда, ничего не делать самому. Мне вас жаль.

Я встречаюсь на озере с незнакомыми охотниками. На озере люди проще. Мы садимся на кочки друг против друга, и у нас сразу же завязывается бесконечный разговор о том, какое ружье любит крупную дробь и какое мелкую. Неожиданно появляется мой товарищ. Он долго сидит молча и внимательно изучает лицо собеседника. В конце-концов, он по разным, едва улавливимым, может быть, ему одному известным, признаком определяет, что разговаривающий со мной охотник работал в чека. Товарищ тянется к моему уху:

— Наведи его на разговор о его прежней работе. Даю голову на отсечение, что он—чекист. Мы его используем.

Если я встречаюсь с крупным работником ГПУ, товарищ немедленно кладет мне руку на плечо и тоном, не терпящим возражений, говорит:

— Бери его лобовой атакой. С ним хитрить нечего. Ставь вопросы прямо:—что вы чувствовали, когда в первый раз присутствовали на расстреле? Что дает вам большее удовлетворение—процесс борьбы с врагом или его ликвидация?

Я, как суфлер, повторяю его вопросы. Товарищ из ГПУ смеется:

— Вы что это, допрашивать меня начинаете? Я привык больше к роли допрашивающего.

В течение этих пяти лет мой товарищ диктаторски определял круг моих знакомств. Конечно, как и у всякого работника редакции, он вообще велик, но это знакомства, которые, так сказать, приходили самотеком. Мой же товарищ толкал меня исключительно на встречи с работниками ГПУ или с людьми, знавшими работу этого учреждения. Он буквально дрожал, как охотничья собака, почуявшая дичь, когда ему попадался интересный чекист. Часто мне казалось, что он обращает всю мою жизнь в сплошную охоту за людьми.

НЕНАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ.

Мне иногда завидуют. Мне говорят:

— Вы такой счастливый. Вы близко знакомы с писателями.

Мне тогда хочется рассказать о писательском счастье.

Зайдемте в редакцию одного известного сибирского журнала, там каждый день толпится добрый десяток писателей и поэтов.

Люди, стоящие в стороне от литературных дел, нередко считают писателя существом особенным, чуть не «божественного» происхождения... Финотделы, например, при обложении налогом писателя ставили его на второе место после служителей религиозного культа. Только в последнее время, вероятно, по настоянию опытных фининспекторов, изучивших быт писателя, он облагается, как кустарь-одиночка без двигателя.

Конечно, были и есть учреждения, которые не верят в «божественное» происхождение писателя и весьма ласково при случае говорят ему:

— Как же, читали, читали, знаем вас, а все-таки давайте заполним анкетку.

Хозяйственники—так, те еще проще подходят к писателю. Они его считают совсем никчемным человеком. У них даже слово такое есть ругательное—беллетристика.

Заведующий типографией мне однажды сказал:

— Художественный журнал—четвертое блюдо на сытое брюхо. Будем печатать вам в последнюю очередь.

С тех пор, как финотдел об'явил писателей кустарями-одиночками без двигателей, мне стало казаться, что каждый писатель ходит с громадным лубяным коробом через плечо и громко предлагает свои изделия.

Чего только нет в этих коробах! Пухнущие трупы расстрелянных и улыбающиеся женщины, бандиты и честные труженики, звери и птицы. Они лежат, покорные и тихие, потому что они... ненастоящие. Они химеры, созданные писательским воображением.

Мне каждый день приходится рыться в этих коробах, отбирать, покупать наиболее удачно сделанные вещи и вещицы. Цены назначаются самые дикие. Например, хорошо сделанный контрреволюционер идет в одинаковой цене с хорошо сделанным коммунистом. Плохо написанная кокетливая изящная

женщина ценится дешевле хорошо написанной канарейки. Но, сказать по совести, мы все-таки, в конце-концов, всегда набавляем немного за свои фигурки и не доплачиваем за враждебные.

Свежему человеку, случайно попавшему к нам, делается несколько неловко. Он слушает и руками разводит.

Поэт кричит на всю редакцию:

— Моя лирика выше барабанных стишков с гражданскими мотивами, а вы мне по тридцать копеек за строчку предлагаете. Ведь это гнусность.

Я улыбаюсь и советую:

— Пишите лучше с гражданскими мотивами—заплачу от семидесяти копеек до рубля.

Прозаик утрюмо басит:

— Вы совершенно не поняли моей основной мысли. Вы не правы. Я вовремя убил председьсовета и, конечно, я хорошо сделал, что дал скрыться убийцам.

Другой прозаик:

— Посоветуйте, пожалуйста, когда мне лучше свергнуть советскую власть—до женитьбы Стрельникова или в момент его развода с женой? К слову, нужна, по-вашему, любовница Стрельникову или лучше свести его жену с кем-нибудь?

Робкий беллетрист спрашивает шопотом:

— Мне очень хочется посадить на нос секретаря окружкома большую бородавку или родинку. Это не сочтут за?..

Я машу рукой:

— Сажайте!

Счетовод Симонов, ведающий выдачей гонораров, слушая наши разговоры, горестно вздыхает:

— Господи, и за что деньги людям платят. На что расходуют народные средства.

Но писателей и поэтов не смутят укоризненные вздохи и всей бухгалтерии. Они закуривают папиросы и трубки, садятся с ногами на столы, подоконники, стулья. Дым, треск, шум, сжатые кулаки, крики, хохот. Они переплывают моря, переходят горные хребты, они летят на аэропланах, скачут на степных скакунах, они женят, разводят, расстреливают, убивают, родят.

Редакция делается похожей на сумасшедший дом. Не преувеличиваю. Недавно был в нескольких психиатрических лечебницах. Пока еще не лечился сам, а искал там «героев» из романа своего товарища.

Работать в редакции невозможно. Теряет работоспособность и весь издательский отдел. Г. М. Пушкарев идет к Басову. Басов вызывает меня, морщится.

— Слушайте, гоните вы в шею своих поэтов. Нельзя же ведь так.

Но как разогнать! Лучше и легче «разогнать» самих себя, чем поэтов и беллетристов, заспоривших о своем ремесле. Мы с Николаем Ивановичем Ановым посматриваем друг на друга понимающими глазами и... одновременно поднимаемся. Я забираю рукописи и иду домой. Он берет корректуру и уходит в типографию. Заведующий подписным отделом товарищ Абдулин хватает меня за рукав.

— Если вы их не выгоните, я не отвечаю за распространение журнала. Подписчиков путают, уверяю вас.

Я вырываю руку и ускользаю в коридор. На углу около магазина ЦРК'а я останавливаюсь, оглядываюсь. Из редакции вываливается на улицу ватага молодых людей. Они становятся в кружок под окном кабинета заведующего Снб-

крайиздатом, загораживают весь тротуар, возобновляют прерванные споры. К ним подходит человек в красной фуражке.

Дома меня встречает растерянная соседка:

— Я не знаю, хорошо ли я сделала или плохо, но я приняла на хранение ваши вещи.

— ?

— Тут был фининспектор. Я сказала, что никого нет дома, но он сам открыл вашу квартиру и описал у вас самовар и умывальник.

Хорошо, что он не описал у меня рукописи и не сдал их на хранение моим соседям.

На другой день мне об'яснили в финотделе, что произошло недоразумение, что три рубля (последний налоговой взнос за мое кустарное писательское производство) давно мной внесены, и что самовар и умывальник у меня продавать не будут.

Я сажусь за стол. Передо мною гора рукописей. Сейчас я буду читать, как люди плывут по морям, как лезут через горные хребты, как они женятся, расходятся, родятся. А мой товарищ будет меня дергать за бороду и советовать:

— Отложи хоть на час чужие рукописи—займись своими. Вчера мы оставили с тобой автомобиль с приговоренными в воротах Губчека. Сегодня надо его вывести за город и начать расстрелы.

Я не успеваю возразить, как мой товарищ уже вытаскивает свою толстейшую папку, и мы начинаем думать о том, что думал чекист, когда ему пришлось расстреливать женщину, которую он любил. В процессе работы мы приходим к заключению, что нам надо выяснить, что читали наши герои в 21 году. Тогда мы бегаем по книжным магазинам и библиотекам. В нашем книжном шкафу становятся рядом: «Геология Сибири», «Государство и революция» и «Дрессировка домашних животных». Наши гости, подходя к нашему книжному шкафу, покачивают головами и смотрят на нас недоумевающими глазами.

— Что за странный подбор книг у вас?

— Эти книги чужие. Т.-е. они наши, мы их купили, но они чужие.

Гости ничего не понимают.

Мы живем чужими радостями и горем. Мы страдаем и радуемся за тысячи людей, которых мы сами же выдумали.

Наш мир многоплоскостен и призрачен. Мы ненастоящие люди. Но у нас бывают настоящие радости. Мы бываем самыми счастливыми людьми на всей земле, когда ставим последнюю точку на последней странице своей новой книги и когда видим, что рука читателя, ее читающего, радостно вздрагивает, и на лбу у него мелькают облачка раздумья.

НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ.

Близился XV с'езд. Я пошел к С. И. Сырцову и заявил ему, что мне надоела литература, что я хочу побыть среди настоящих людей. Много я говорил и писал отсеку Сибкрайкома. В конце-концов он согласился, что мне нужно самому себя выбрать на с'езд партии. Конечно, без его помощи такие «выборы» не имели бы под собой никакой почвы. Он помог. Я пишу эти строки, как выражение признательности человеку, который понял, что литератору надо быть на с'езде, так как с'езд—это колоссальный аккумулятор волевой энергии масс. Я пишу так потому, что лишь один человек сказал мне просто:

— Я полагаю, что беллетристу надо быть на с'езде. Думаю, что это можно будет устроить.

Другие же очень удивлялись:

— Зачем тебе на с'езд? Ты же ведь сплошная беллетристика!

Их недоумевающие взгляды ложились на мои щеки краснотой пощечины. Я сжался, замолчал и в поезде на вопросы знакомых отвечал, что еду в Москву только по делам Сибирского Союза Писателей.

Может быть эти строки попадут на глаза кое-кому из работающих на местах и может быть они задумаются над своим отношением к писателю. Вот почему я и не боюсь обвинений в подхалимстве.

На с'езде С. И. Сырцов подошел ко мне улыбаясь.

— Вы не очень-то стесняйтесь. Пробирайтесь вперед, поближе к трибуне.

Я уже успел заметить, что вторая от трибуны ложа Коминтерна никогда не бывает занята целиком. Я нерешительно сел на один из ее стульев. Нечего и говорить, что мой неизменный спутник сел со мной рядом и потребовал, чтобы я немедленно вытащил записную книжку и карандаш.

Мне хотелось просто слушать, смотреть и жить одной жизнью со всей этой многотысячной массой людей, заполнившей Андреевский и Алексеевский залы большого Кремлевского дворца. Но товарищ толкал меня в бок.

— Пиши. Ведь ты запишешь то, что ни один стенограф в мире не запишет.

Я хватал карандаш и писал.

...Здесь собрались настоящие люди. В их сознании планы грандиозного перестроя огромной страны.

Мне как-то хорошо от сознания того, что вся эта многотысячная толпа—люди одной партии и единой воли. Пусть это общество еще иногда раздирается распрями, потрясается противоречиями нашей сложнейшей действительности, но оно в стальных рамках дисциплины, организованности и точной целеустремленности.

Коммунистов сейчас сотни тысяч. Скоро их будет миллионы.

Как-то немного даже странно, что вся эта многотысячная разноликая, разнополая толпа—исключительно коммунисты. На несколько тысяч человек—ни одного беспартийного. Мы привыкли к обратному «соотношению сил».

Наши городские партсобрания обычно очень однополы. Мужчины составляют подавляющее большинство. Здесь же много женщин.

В одной ложе со мной сидит какая-то изящно одетая женщина. Мне показалось, что она забыла на своем стуле маленькую пудреницу, когда уходила в обеденный перерыв. Вечером я сказал ей об этом. Она спокойно возразила:

— Нет, это не моя пудреница. Мне ее уже пред'явили в комендатуре.

Она сделала паузу:

— Я таких грубых вещей не имею.

Улыбнулась и вынула из своей сумочки изящную блестящую коробочку.

— Вот моя пудреница.

Парикмахер смотрит на бороду, на усы, на волосы, портной—на рост, на фигуру, сапожник—на ступни, писатель—на лицо, на жест, на голос, писатель слушает слово.

Председательствующий Г. И. Петровский гораздо добродушнее, проще в действительности, чем на своих портретах. Он типичный рабочий. Он иногда говорит «будуть», вместо «будут». Когда оратор говорит долго—Петровский тихонько бочком проходит за спиной президиума, берет в зубы бутерброд, в

одну руку стакан чая, а другой, осторожно отодвигая стулья, снова садится на свое место.

Рыков говорит, положив руки в нижние карманы жилета. Он откидывает голову назад и сияет белизной воротничка и манжет. Синтаксис его очень своеобразен. Он ставит восклицательные знаки в средине фразы. Он говорит:

— Я считаю, что наши успехи *известны!* теперь не только каждому члену с'езда, но и каждому гражданину Советского Союза!, о них хорошо известно и за границей. Поэтому я считаю *излишним!* иллюстрировать сейчас перед вами всю гигантскую работу, которая проделана трудящимися нашей *страны!* в области хозяйственного и культурного строительства.

Возможно, что органический недостаток—заикание, заставляет его говорить с ударением на словах, которые он, может быть, и не хотел бы подчеркивать. Вероятнее всего, упираясь палочкой восклицательного знака в одно слово, он прыгает к другому через канавку заикания. Но эти невольные и неожиданные ударения очень хорошо действуют на аудиторию. Они взбудораживают, заставляют иногда вздрогнуть, они усиливают, освежают внимание. Рыков постоянно откидывает голову, даже когда сидит или ходит. На губах у него часто усмешка. Кажется, что он говорит уверенно:

— Я везу. Я могу.

Иногда Рыков нервничает, волнуется.

Сталин всегда спокоен. Ходит по президиуму с трубочкой, улыбается. Остановится, положит руку кому-нибудь на плечо и слегка покачает, точно попробует—крепок ли. Возьмет за талию или за плечи двоих и толкает их друг на друга. Сталин тащит на своей спине тягчайший груз. Он генсек. Но с'езд видит только его спокойное, улыбающееся рябоватое, серое лицо под низким лбом с негнущимся ершом черных волос.

В докладе он был как-то по-настоящему, по-большевистски груб. Ему трудно, вероятно, было бы ходить в туго накрахмаленном высоком воротничке и тщательно выглаженных брюках. Он носит неизменный свой зеленый френч, серые мятые, свободные штаны и простые сапоги. Он не оратор—он собеседник. Он не выступает перед собранием, он беседует с собравшимися, в особо важных местах спрашивает:

— Слышно ли? Товарищ, направь радио!

Зал слушает его с живым вниманием.

Утрами у входа в гостевой зал—цветные лоскутки билетов. Контролирующие отрывают у разовых билетов уголки. Каждый день около дверей цветистый коврик из тысячи картонных лоскутков. Каждый день окрашен в свой цвет.

Утром холодок, пустота. Радист выходит на трибуну и металлическим голосом говорит в пустоту зала:

— Алло! Даем пробу. Даем пробу. Раз, два, три, четыре, пять. Вчера товарищ Сталин был встречен бурными аплодисментами всего с'езда. Раз, два, три, четыре, пять. Выступление нашей делегации в Женеве. Даем пробу. Даем пробу.

За столом президиума появляются Сырцов и Орджоникидзе. Вспыхивает свет. Блестят золоченые колонны зала. Места президиума постепенно заполняются. Зал оживает в многотысячном гуле голосов.

На с'езде нет Ленина, но ораторы так часто на него ссылаются, что создается впечатление, будто он несколько минут тому назад выступал и сейчас куда-то вышел.

Набальзамированный труп Ленина лежит под стенами Кремля. Ногти на руках у него чернеют. Неправильная или не к месту приведенная цитата из книг Ленина кажется мне его мертвой рукой с почерневшими ногтями.

Зачитывается резолюция по докладу Сталина. Шелестят листы, засыпающие оппозицию. Гремят камни аплодисментов. Резолюция принята единогласно. Полыхнул красный огонь карточек. После голосования над президиумом виснут облачка дыма. Дым, конечно, от папирос. Но кажется, что это дымок после взрыва. Что-то рухнуло.

Бухарин, улыбаясь и потирая руки, как на крылечке дома, присел на ступеньках, ведущих в президиум. Был он, как маленький рыженький попик, с петушиным легким хохолком на голове, вышедший побеседовать в ясный погожий денек с прихожанами.

На трибуне в ответ на овации он очень простенько и застенчиво облокотился на кафедру. Минутами казалось, что он говорит на сходке, где-то в ссылке, что Сталин только что пришел с рыбалки и довольно посасывает трубочку.

В Туруханске когда-то Сталин был не плохим рыбаком. Не один десяток осетров попал в его крепкие руки. Сталин, смеясь, разговаривает с Коссиором. Коссиор стоит на коленях на стуле. Некоторые члены президиума сошлись группами. Дым над президиумом густеет.

С'езд громко засмеялся, когда Бухарин сказал, что некоторые профсоюзные бюрократы в Америке получают 50.000 долларов в год. Бухарин поднял руку:

— Успокойтесь и не завидуйте.

Бухарин говорит ровным спокойным голосом о величайших событиях. Он, как хирург, неторопливо вскрывает гнойники классовых противоречий буржуазного мира. Иногда он останавливается и две-три секунды стоит в раздумьи с пальцем, приложенным к губам.

Сталин одобрительно и лукаво посматривает на Бухарина, демонстративно ему аплодирует.

В зале начинают кричать о перерыве. Сталин отрицательно трясет головой и энергично машет руками. Он первый поднимает красный билет против перерыва. Большинство за то, чтобы дослушать доклад. Сталин хлопает в ладоши, смеется. Меньшинство демонстративно покидает зал, поднимается шум. Петровский, смеясь, встает и об'является:

— Так как произошло нечто в роде бунта, и меньшинство пошло курить—об'является перерыв.

Зал с озорным хохотом встает и устремляется в двери. Рудзутак дурашливо ерошит волосы Ворошилову. Петровский ласково блестит очками. Сырцов жует бутерброд. Несколько человек толкаются локтями.

Как не похоже все это на чинный парламент.

Костюм Бухарина—какая-то переходная эпоха. На нем черная толстовка, воротничок, манжеты. Толстовка перетянута широким офицерским желтым ремнем. Брюки заправлены в сапоги. Одним словом, до пояса—новая экономическая политика, ниже—военный коммунизм.

Когда он кончил свой «семичасовой рабочий день», с'езд встал и заревел. Бухарин мелкими шажками запрыгал по лесенке в президиум. Его встречают десятки хлопающих рук. Сталин подбежал к нему, слегка приседая и аплодируя. Казалось, он сейчас запляшет. В эту минуту в Сталине было что-то глубоко человеческое.

Перед вечерним заседанием зашел в мавзолей. Очередь стояла длиннейшая. При описании с'езда надо упоминать об этих толпах, идущих к Ленину.

Заметил, что много пишу о Сталине. Задумался и решил, что Сталин живее всех в президиуме. Он бросает реплики ораторам, он разговаривает с соседями, переходит от одного к другому, перемигивается с кем-то в зале. Он первый при голосовании поднимает руку, потом, спохватившись, хватает делегатский билет. Он живет на с'езде каждой частицей своего тела. Нужно было видеть его лицо, сияющее какой-то отеческой нежностью, когда он слушал молодого Ломинадзе.

Все это прошло через мои глаза, как через об'ектив фотоаппарата, и запечатлелось на бумаге. Я записывал все, что видел. Я ничего не выдумывал и никому не отдавал предпочтения.

Бакинский рабочий Гасан Салим говорил на своем языке. Ему аплодировали, когда сквозь поток незнакомых, непонятных с'езду тюркских слов прорывалось понятное всему миру слово—Ленин.

Совещались—Сталин, Рыков, Молотов и Бухарин. Они стояли тесным кругом. У Рыкова очень длинное лицо и вдавленная грудь. Они со Сталиным одного роста. Сталин курит трубку и пускает дым вниз. Рыков с папиросой закидывает голову назад и дымит через голову Бухарина.

Буденный неожиданно мал ростом. Я смотрю на него равнодушно. Он использован Бабелем. Вот Бабель только не видел его с громадным портфелем. Громаднейшие усы и волосы цвета воронового крыла, ордена Красного Знамени в пылающих красных бантах и огненный румянец делали Буденного похожим на его портрет с гизовского календаря.

Видел Феликса Кона и Менжинского. Менжинский почти не изменился за эти десять лет. Только утрей стало больше на лице. Лицо у него серое от бессонных ночей и пыли тысячи тысяч страниц рассмотренных дел. Феликс Кон, в валенках, в толстых брюках и френче, показался мне похожим на стареющего и слабеющего рыцаря в тяжелых латах.

Чичерин часто поднимает свою большую рыжеватую седеющую голову и умные дуги бровей. Он встает и садится, машет рукой, улыбается, когда оратор говорит вещи, по его мнению, не подлежащие оглашению по радио.

Прения прекращались, как только ораторы начинали повторяться. До этого с'езд терпеливо выслушивал каждого. Здесь собирается коллективный опыт масс.

Многие говорят:— пара слов, в общем и целом, целиком и полностью, т.-е. масляное масло.

И днем, и вечером заседания идут с электричеством. Электрический свет и золото очень утомляют глаза. Я ходил в курильном зале и с досадой думал, что у нас нет еще своих простых, спокойных и просторных помещений для с'ездов. Мы вынуждены толочься под сводами неудобных царских зал.

У Томского неправильная голова. Две головы на короткой шее.

Ворошилов говорил просто и убедительно. Его голос звучал скорбно, когда он сравнивал нашу химическую промышленность с промышленностью буржуазных стран. Подложная статья Сталина, появившаяся в иностранной прессе, говорит, что мы так сильны, что задушим своими газами весь мир. Ворошилов, цитируя это место фальшивки, невесело усмехнулся:

— Вот и души их, товарищи, с нашей-то химпромышленностью.

На дворе звенели орудия и подковы. Артиллеристы возвращались с занятий. Был мороз, ночь и снег. У Наркома виски, как в снегу. Глаза у него утомленные. Он обернулся к президиуму и тоном уставшего человека сказал:

— Я скоро кончу.

Ему продлили время. Аплодировали Ворошилову долго и искренне. Томский ласково хлопнул его по спине.

Литвинов одет безукоризненно. Его костюм нов, чист. Он кажется выходцем совсем из другого мира на этой трибуне среди простых и скромно одетых людей. Откашливаясь, он каркает. Он круглолиц, лыс, толст. Большие роговые очки, увеличивают полноту его щек. Литвинов дипломат. Он умеет отливать свои мысли в тончайшую форму. Ни одного лишнего слова. Его стенограмму не нужно править. Как хорошо, что у нас есть и такие работники.

Микоян молод. Он производит впечатление хорошего командира. Военная форма очень идет ему. Она молодит его еще больше.

Рядом со мной сидят два делегата с Волги. Оба с перевязанными руками. Они ранены еще в гражданскую войну в 19 году, но на с'езде от волнений, от усталости у них вновь заболели старые раны.

Один из лучших хозяйственников Ленинграда Михайлов говорит «зерькало». Эта обмолвка выдает социальные корни наших ответработников. Их очень много от станка. Михайлов говорит: «мы—машиностроители». В нем чувствуется человек, уверенный в своих силах и в своем деле. Мы строим, мы строители машин.

Молотов—человек с необычайно сильным лицом. Мне кажется, что люди, подобные ему, в домашней обстановке очень громоздки, они должны быть похожи на мощных коней, введенных в гостиную. У Молотова коротка верхняя губа. Он заикается. Кажется, что сильный конь спотыкается, дергает головой, наклоняется, задержанный невидимыми вожжами. Жест в начале доклада у Молотова почти отсутствовал. Начал он скучновато, но глубоко. Потом он оживился, появился и жест. Молотов стал поднимать деревенскую целину и крепкими руками цепляться за все, что есть нового, социалистического в нашей деревне. Он говорил о тех ростках социализма в крестьянской части СССР, которые пробиваются сквозь море мелко-буржуазной стихии, сквозь пласты косности, лени и пережитков старого. Молотов сделал один из глубочайших и обоснованных докладов на с'езде

При выходе из Кремля я каждый день встречаю китайцев одного из наших восточных университетов. Они говорят на непонятном мне языке. Но я чувствую, что струйки мировой революции текут около стен Кремля.

Слово получает представитель Цека польской компартии. Постоянные выступления иностранцев говорят о том, что сердце мировой революции тепло, что оно бьется. С какой радостью и надеждой мы смотрим на иностранцев. Поляк говорит о выборах в больничную кассу. Какая это для нас страна. Но вместе с тем это показатель того, что путь наш—один.

Здесь тысячи людей получают зарядку. Они раз'едутся и будут воспламенять, организовывать новые тысячи.

Мои выписки из записной книжки все растут. Меня могут заподозрить, что я пишу о партс'езде, а не о своем ремесле. Партс'езду надо посвятить отдельную книгу. Со временем я это сделаю. Пока—точка.

КНИГИ И ПОРОХ.

С'езд для меня прогрохотал орудийным залпом. Я оглох после него ко всему миру.

Глухой, я спускался с Уральских гор. Чем ближе Сибирь, тем тише суета около поезда, ниже и реже дома, выше снега.

Вот и дом. Неделя, и уши мои и глаза снова жадно раскрыты. Снова пристает ко мне мой товарищ.

Наша маленькая уличка очень напоминает деревенскую. Низенькие домики с крепкими воротами и ставнями обложены снегом, как мягкой белой бумазеей. В бумазее глохнут шаги прохожих и вязнут крепкие, как камни, матерки ломовиков.

Наша уличка ничем бы не отличалась от деревенской, если бы не две вывески на ее двух углах.

Портной **ТРЕТЬЯКОВ**		*Склад* **СИБКРАЙИЗДАТА**

Но когда склад закрыт и портной Третьяков неизвестно чем занят за своими плотными ставнями, когда фонари потушены «по случаю луны», и на воротах не разберешь ни номера, ни вывески, тогда уличка наша совсем деревенская. Рощица старого кладбища у самых наших окон, вероятно, поэтому нам иногда кажется началом тайги.

В мороз на ветру обледенелая березовая роща звенит ветвями, как железными прутьями. Черными тенями стоят кресты, как люди с широко растопыренными и застывшими руками. На крестах покачиваются железные венки. Железные цветы гудят заглушенно, как пчелы зимой в холодеющем улье. Стальным штыком часового торчит над острой шапкой церкви золоченый крест. За рощей—окна домов, как глаза зверей.

Вечерами, когда мушку на винтовке почти не видно, в роще на спортплощадке увлекающиеся спортсмены расстреливают мишени. Я выхожу на двор, прислушиваюсь к шипящим и протяжным ударам винтовок и иду к соседу. Мой товарищ идет со мной. Он читает ему куски из своей пятилетней книги о тех временах, когда на кладбище еще не было спортплощадки, а мишени заменяли живые люди со связанными руками. Наш сосед слушает внимательно. Перед ним большие листы бумаги с лиловыми колонками цифр. Я знаю, у него свои, другие мысли. Он строит большое дело—издание и распространение книги в безграмотной, отсталой стране. Мой товарищ кончает. Сосед, слушающий себя и свои мысли, спокойно говорит ему:

— Я давно не читал книг о простых вещах и простых людях. Почему их никто не пишет?

Моему товарищу делается неловко за его листки, липнувшие от крови. Он выходит на двор. Его встречает визгом наш остроухий Соболь. Он спускает его с гремящей цепи, и они начинают бегать. Они крепят свои мускулы и легкие для того, чтобы весной погулять на медвежьих свадьбах.

Мой товарищ бросает свои окровавленные листки, отодвигает в сторону книги, заваливает стол порохом, пыжами, патронами. Скоро весна. Полярная мышь у нашего приятеля-зоолога заметно сереет. Наш Соболь линяет. Прилетели галки. Где-то близко колеблют воздух хрустальные лебединые трубы. Снежной нашей весной в шелесте книжных страниц мой товарищ всегда слышит свистящий шелест птичьих крыльев. Весной моему товарищу писательское ремесло делается особенно тягостным. Я крепко жму ему руку. Мы оба охотники.

Еще Чингис-хан считал охоту лучшей школой войны. А теперь каждый пионер знает, что нам надо военизироваться. Будем военизироваться.

Пародии

1. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ СТРАСТИ.

От твоей юрты до моей юрты
Горностая следы на снегу...
П. Драверт.

От моей юрты до твоей юрты
Бронтозавра следы на снегу.
Обещала вчера навестить меня ты,
Но ушла с бронтозавром в тайгу.
Я ревнив, как бизон в первобытных лесах,
Мои ноги топчут снега,
Амулеты из кварца в твоих волосах,
Ты мне хочешь наставить рога.

Бивнем мамонта я тебя оглушу
(Крепок я, как исландский шпат),
И врага я убью, и на нем спропляшу
Дикий танец тунгусских услад!
Бронтозавра я сжарю у дымной юрты,
И шаманы придут на банкет.
Будут: хвост бронтозавра, морошка, цветы,
А булыжник пойдет на десерт.

2. ТИХИЕ ЖЕЛАНИЯ.

...Землей и травами утрусь...
...Невыразимы, непонятны:—
Твой утренний веселый час,
Румянец знойный, ароматный
И темнокрылый вечер глаз.
Ив. Ерошин.

Невыразимы, непонятны
Полночный и полдневный час.
Решаю: есть на солнце пятна
Иль это все—отвод для глаз?
Душа стремится так высоко,
Куда не залетят орлы.
И мне всевидящее око
Мигает из небесной мглы.

Земля полна житейской скверны.
Моя невыразима грусть...
Умоюсь росами с люцерны,
Овсом и донником утрусь!..
Оденусь в нищенское платье;
У нивы отдохнуть присев,
Я с грустью песнью, с благодатью,
Удобрю ближнего посев...

3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ.

...Мохнатый праотец
Возьмет тебя за плечо...
...Тангенс высочайшей воли
Вдруг проваливается в пустоту.
В. Итин.

Я—пропеллер в эфирном поле,
Презираю ходячий хлам,
У которого перпендикуляры воли
Переламываются пополам.
Мой компас на страну Гонгури
Указует везде и всегда.
Кто теперь на верблюде в бурю
Попадет в ее города?

Буря в 20 баллов погубит
Тех, кто пустится в дальный путь...
Авиатор в квадрате и кубе
Я... И в этом—главная суть!
О, мой прадед—шершавый ящер,
Не отдавший хвоста дучу...
Я твой правнук, живой, настоящий,
Я, который всегда лечу!!

4. ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА.

— Если метишь на мой мешок,
Буду метить в башку тебе я...
Леонид Мартынов.

Страшно жарко... Меня знобит,
Как на озере дальнем Урракта.
Почему же сейчас мне грубит
Этот злой насмешник-редактор?
Я пришел, я рухнул на стул
И корзину двинул штиблетом.
(Он в нее стихи затолкнул,
Не считаясь совсем с поэтом).
Он со мной обращается так?
Я вскричал:
— Послушай, ты низок,
Ты встречал лишь жалких писак,
Чьи стихи грязнее киргизок!..
Но в ответ лишь подлый смешок.
Я кулак поднимаю робея:
— Помести хоть один стишок—
Благодарен буду тебе я!
Но редактор наморщил нос...
Нет, я с ним сегодня не слажу!..
Я обратно стихи унес,—
Холодеющую поклажу.

5. И ГРЯНУЛ БОЙ...

Похабной тяжелее шутки
Шинели егерей.
Г. Павлов.

Пусть матерятся
Пушки и винтовки.
Штыки кричат
Похабные слова.
Ведь стала
Тяжелее
Трехдюймовки
Поэта голова.
Стихи писать,
Окончив на рассвете,
И раздавив на гимнастерке вошь,
Сквозь чемоданный и свинцовый ветер
Кричу:
— Даешь!

Н. Ф—в

Воспоминания о Н. Г. Чернышевском

(К столетию со дня рождения).

В текущем году 25 июля исполняется столетие со дня рождения одного из замечательнейших людей прошлого века—известного революционера, публициста и критика, Николая Гавриловича Чернышевского. В течение многих десятилетий он был «властителем дум» революционной молодежи старой царской России. За это Чернышевский заплатил долгими мучительными годами сибирской каторги и ссылки.

Сосланный в Сибирь, Чернышевский прожил здесь около двадцати лет. Этот период жизни Чернышевского мало изучен и чрезвычайно мало исследован его биографами. Вполне понятен, поэтому, тот интерес, который представляет каждое появление новых сведений об этой полосе жизни Чернышевского. Особенно ценны и интересны воспоминания современников Николая Гавриловича, встречавшихся с ним в Сибири в эти глухие годы (Чернышевский прожил в разных местах в Сибири с 1864 по 1883 г.). К сожалению, очень немногие из тех, кто соприкасался тогда с Чернышевским, могли оставить свои мемуары о нем, и тем ценнее, тем интереснее должны быть воспоминания о знаменитом изгнаннике, которые пишет сейчас Лидия Антоновна Яшерова (рожденная Павлуцкая), любезно согласившаяся на их опубликование в «Сибирских Огнях».

Знакомство Лидии Антоновны с Чернышевским относится к 1867 году. Окончив иркутский институт весной 1867 года, Лидия Антоновна возвратилась домой на родину в Александровский завод, Нерчинского округа, где ее брат Александр Антонович тогда служил бергмейстером. Чернышевский был в это время переведен из Акатуйской каторжной тюрьмы в Александровский завод. Здесь он пользовался некоторою свободой: ему разрешено было жить на квартире, которую он снимал у дьячка, жившего недалеко от тюрьмы. Чернышевский был частым посетителем дома Павлуцких. Здесь произошло их знакомство. Николай Гаврилович любил молодежь, Лидия Антоновна с удовольствием вспоминает долгие беседы с Чернышевским, в которых и сама она принимала живейшее участие. Мне несколько раз приходилось слышать увлекательные рассказы Лидии Антоновны о далеком прошлом, и меня всегда удивляла исключительная четкость и ясность ее памяти. Вообще она может рассказать много интересного,—детство Лидии Антоновны прошло на Александровском заводе, отец ее был начальником этого завода, здесь Лидии Антоновне приходилось встречаться со многими политическими ссыльными, работавшими в заводе, между прочим, она хорошо помнит Петрашевского, участников польского восстания и др. Впоследствии, в Томске, она встречалась с П. Крапоткиным и многими другими революционными деятелями той отдаленной уже, но не потерявшей своего исторического значения и интереса, эпохи.

Примечание. Воспоминания Л. А. Яшеровой о Н. Г. Чернышевском будут помещены в очередной книжке «Сибирских Огней».

Антон Семенович Сорокин

Мы невнимательны и ленивы. Живых людей мы часто не замечаем.

Сорокин служил счетоводом, жил на грошевое жалованье и случайный литературный гонорар. Ютился он в одной проходной комнатушке.

Сорокин умер от туберкулеза легких, умер нищим, оставив совершенно без средств человека, который прошел с ним весь его трудный путь.

Настоящий номер журнала был сверстан, когда на редакционном столе легла плитой телеграмма Всеволода Иванова:

«Новосибирск. Сибкрайиздат. Басову или Зазубрину.

С глубокой скорбью извещаю вас, что вчера в Остроумовской больнице Москвы умер от туберкулеза Антон Сорокин. Похороны во вторник. Жена без средств. Сорокина больного в третьей стадии направили в Крым, хотя известно, что таких больных в санатории не принимают. Он должен был вернуться и доехал только до Москвы.

25 марта.

Всеволод Иванов».

Сорокина хоронят сегодня, во вторник, 27 марта, в Москве. Мы не можем отдать последнего долга покойному—бросить на его гроб горсть земли, как братское прощай.

Но все же мы стоим у раскрытой могилы своего собрата. На могиле говорить трудно. Не нужно говорить под стук мерзлых комьев земли о крышку гроба. Надо уйти с кладбища, посидеть в комнатушке покойного, перечитать его рукописи, его книги.

Надо отобрать лучшие рассказы Антона Семеновича. Надо опубликовать его переписку с крупными современными писателями. Надо напечатать воспоминания о покойном.

Писатель-гражданин, поднявший свой голос против гнусной мировой бойни, против угнетения братских малых народностей, против колчаковцев, должен быть известен широким слоям трудовых читательских масс.

Что по невниманию своему, по халатности, мы не сделали при жизни Сорокина, то обязаны сделать хотя бы после его смерти. Наш долг сделать так.

Сейчас же мы только склоняем головы над трупом собрата.

27 марта 1928 г.

Г. ВЯТКИН

Памяти М. А. Цейнера

9 марта в Томске скончался от разрыва сердца старейший сибирский литератор Михаил Абрамович Цейнер.

Покойному было около 60 лет. Вышел он из бедной еврейской семьи. Литературную работу начал еще в девяностых годах прошлого столетия, но ему не удавалось на ней сосредоточиться. Писал он мало, существовать на литературный заработок—в то время нищенский—было невозможно. Всю жизнь тянулся Цейнер к литературе и всю жизнь проработал в области ей чуждой: сначала в купеческой конторе, потом в железнодорожном управлении, потом в переселенческом ведомстве.

Литературная продукция покойного не велика: книжка стихов, несколько рассказов, разбросанных по сибирским газетам и журналам, и трехактная пьеса «Семья Цыгановых», вышедшая отдельным изданием в Томске в 1902 г.

Как поэт, Цейнер не блистал ни мастерством форм, ни оригинальностью содержания. Тем не менее, стихи его в свое время охотно печатались, с удовольствием читались, подкупая своей простотой, искренностью, а иногда и внутренней значительностью,—он горячо откликался на гражданские мотивы (тут сказывалось и влияние Некрасова, которого он очень любил) и посвятил не мало строф сибирским темам: поэма о борьбе Ермака с Кучумом, ряд картин сибирской природы и др.

Социальные мотивы явно преобладают в прозаических произведениях Цейнера. Таков, например, один из лучших его рассказов—«Ванюшка». Десятилетний ямщик Ванюшка, сын хозяина деревенского постоялого двора, везет «господ» по зимнему сибирскому тракту и попадает в мятель. Свою злобу на непогоду «господа» срывают на Ванюшке: они ругают и бьют его, а потом, словно устыдившись, дают несколько копеек на пряники.

Наиболее крупная вещь, написанная Цейнером, это «Семья Цыгановых» На чисто художественных достоинствах пьесы останавливаться не приходится: две-три рельефно сделанных фигуры, несколько ярких и колоритных сцен, и только. Гораздо важнее удельный вес ее с точки зрения общественно-политической. «Семья Цыгановых»—*первая сибирская пьеса из жизни заводских рабочих*. Попытка поставить ее в томском театре четверть века тому назад кончилась скандалом: рабочие шумно одобряли ее, купцы и чиновники возмущались, а жандармерия сочла своим долгом взять

автора под наблюдение: «уж не социалист ли он?»—и пьеса была к постановке запрещена.

Социалистом автор не был, никогда в политической жизни активно не участвовал, но «Семья Цыгановых», написанная почти с натуры, сыграла для тогдашнего томского пролетариата, несомненно, большую агитационно-пропагандистскую роль. Под фамилией заводчиков Цыгановых, безжалостно эксплоатирующих рабочих, Цейнер вывел известного сибирского купца Ф. и его сына. Их управляющие, мастера и нарядчики откровенно помогают им обсчитывать рабочих, выжимать последние соки. Такую атмосферу бесправия и обмана не переносит конторщик Свободин, повидимому, alter ego автора. Свободин протестует (правда, не очень решительно) против всех этих безобразий и уходит от Цыгановых. На этом пьеса и заканчивается. Ничего особенно «революционного» в ней, конечно, нет и не было, но в ту пору черной реакции и глухого застоя пьеса прозвучала, как набатный звон—и в этом несомненная заслуга Цейнера.

После революции, за последние два-три года Цейнер уже почти ничего не писал. Мы помним лишь несколько бытовых и сатирических стихотворений и басен, помещенных им в томском «Красном Знамени» в прошлом и позапрошлом году. Эти последние его произведения относятся уже к области газетного жанра, маленького фельетона, а не к поэзии и беллетристике, и ценны лишь постольку, поскольку свидетельствуют о том, что и на шестом десятке лет М. А. Цейнер желал итти в ногу с современностью.

Н. П. БЕЛДЫЦКИЙ

27 февраля в Новосибирске схоронили старейшего работника просвещения Николая Петровича Белдыцкого. Он был большим культурным человеком. С 17 лет он поступил на службу сельским учителем в глуши Чердынского уезда на Урале. Живя в крайне тяжелых материальных условиях, часто не доедая и отдавая все свои силы работе, Н. П. еще в молодости подорвал свое здоровье, приобрел туберкулез легких, который на 57 году жизни привел его к могиле.

Весь Пермский край знал Н. П., как ученого краеведа и общественного работника. Деятельность Н. П. в период советской власти протекала в Сибири, в роли зав. библиотечным п/отделом Новониколаевского уОНО (а затем и губОНО), с 1920 года Н. П. проделал огромную работу. Последние два года жизни Н. П. прошли тяжело: помимо мучительных физических страданий—большая нравственная неудовлетворенность. Магазин «Просвещение», куда был послан Н. П., как книговед, нашел нужным «использовать» его... за прилавком в качестве продавца карандашей и бумаги.

Н. Ф-ОВ

П. Б. Яшеров

6 февраля в Омске умер Павел Борисович Яшеров. Старым сибирякам хорошо известно это имя. Западная Сибирь знает его, как видного общественного работника, охотоведа и садовода. Три четверти своей долгой жизни Яшеров прожил в Сибири.

После окончания военного училища он приехал в Сибирь и несколько лет служил в Иркутске. Несмотря на улыбавшуюся ему военную карьеру, он скоро вышел в отставку. В Сибири П. Б. познакомился с политическими ссыльными, среди которых были: Клеменц, Якубович (Мельшин), Митрич (Соколов), Рафаил Гоц и другие. Здесь же он встретился с сибирскими областниками: Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным. Все эти встречи, а также долгая и прочная дружба с Г. Н. Потаниным, повлияли на П. Б. в смысле оформления его мировоззрения.

В начале девятисотых годов мы видим Яшерова в Омске принимающим участие в редакции одной из прогрессивнейших газет того времени—«Степного Края». Некоторое время он был фактическим редактором этой газеты, работая вместе с Мельшиным, Митричем, Соколовым и Гоцем. Еще несколько раньше началась его работа в Западно-Сибирском отделе Географического Общества. Здесь он работал, содействуя своим трудом и вкладами экспонатов созданию общественного музея, имеющего теперь краевое значение.

Очень много Яшеров работал в Омском обществе правильной охоты, бессменным председателем которого он состоял в течение многих лет.

Как садовод, Яшеров является пионером культурного плодоводства в Сибири. Он первый привил и акклиматизировал в Сибири несколько видов яблонь, опровергнув своими опытами утверждение о невозможности развития плодоводства в суровых условиях сибирского климата.

Нельзя также не упомянуть о его работе в цензовой омской городской думе. Неподкупный, честный и строгий, он был грозой пресловутых «отцов города», имевших большую склонность к бесконтрольному пользованию «общественным пирогом». Он был одним из немногих гласных городской думы, ратовавших за открытие школ и больниц на окраинах города, в рабочих районах.

Уже на склоне лет П. Б. суждено было увидеть великую революцию, она не вызвала в нем зоологической злобы, столь свойственной большинству деятелей той общественной прослойки, к которой принадлежал Яшеров. Он спокойно и внимательно наблюдал за развитием новых форм общественной жизни, в течение десяти лет, следил за творческою работой пролетариата, и когда, в последний раз, мы виделись с ним в сентябре прошлого года, он в беседе со мной сказал: «не правы те, кто говорил, что революция может только разрушать. Я вот десять лет смотрю, как строится и поднимается новая жизнь, и уверен теперь, что жизнь идет к лучшему». Я не слышал от него обычного стариковского хныканья, ни одной жалобы, ни одного бранного слова по адресу строителей новой жизни. В нем жила эта глубокая об'ективная житейская мудрость примирения с новыми побегами неумирающей жизни, которая спасала его:

> От чувства затаенной злости
> На новый современный мир,
> Где новые садятся гости
> За уготованный им пир.
>
> *(Тютчев).*

Умер он глубоким 83-х летним стариком. После него должны остаться некоторые мемуарные записки и письма его современников. Все эти материалы несомненно имеют большую историческую ценность, и о сохранении их необходимо позаботиться.

Андрей Тимофеевич Трубачеев

(К 25-ти летию врачебной и общественной деятельности).

Исполнилось 25 лет со дня окончания Томского университета первого врача-бурята А. Т. Трубачеева.

Сейчас ему 53 года, родился в 1874 г. Место его рождения—улус Шунта, Боханского аймака. Первоначальное образование получил дома, затем в г. Иркутске. По окончании гимназии поступил в Томский университет. Звание врача получил в 1902 году. До 1909 года жил в Иркутске и работал в местных лечебницах и больнице, набирая опыт для дальнейшей своей деятельности В 1909 г. он—участковый врач в с. Тунке, а с 1910 г. до 1918 г.—заведывающий Черемховской участковой больницей и приемными покоями на копях. В 1918 году перешел на службу в Боханский аймак, где организовал первую врачебную амбулаторию аймака. Через год после этого, по просьбе населения Аларского аймака, он получил назначение в Аларь, где заложил начало нынешней аларской врачебной амбулатории. С 1920 года по 1922 год А. Т. работает в отделе здравоохранения бывшего Аларского аймака. С осени 1922 года по 1923 год—заведывающий областным отделом здравоохранения.

С 1923 года, с момента образования Бурреспублики, А. Т.—нарком Здравоохранения БМАССР.

Вот тот путь труда и борьбы нашего ныне здравствующего, первого врача и первого наркомздрава Бурреспублики.

А. Т.—не врач, который специализировал себя по тем или иным болезням, не узкий спец медицины, он врач-общественник, врач-массовик; он—грузовик, битюг, который запряг себя в тяжеловесную бурят-монгольскую телегу, нагруженную всякого рода болезнями: туберкулезом, сифилисом, горловыми, ушными и прочими недугами.

Тьма, которой была сплошь окутана бурят-монгольская действительность, невежество и косность, в плену у которой находилось бурят-монгольское понятие о жизни, о здоровье, суеверие и вера в загробную жизнь, в бурханиаду—вот та обстановка, те условия, при которых начинал свою здравоохранительную деятельность Трубачеев.

Не было тогда врачей в улусе, с кем мог бы посоветоваться А. Т., не было интеллигенции среди бурят, от которой он встретил бы поддержку в своей работе и в особенности в своей борьбе с шаманами и ламами—этими сильнейшими агитаторами и пропагандистами за завоевание массы в пользу шаманства, бурханиады и пр.

Эти условия усиливались еще тем обстоятельством, что Трубачееву пришлось начинать свою врачебную и общественную деятельность в тот момент, когда любой бурятский одиночка-интеллигент, не разделяющий политику руссификизма святейшего синода и романовской династии, попадали под подозрение «охранного миссионерства» и царской жандармерии; когда каждое слово Трубачеева на бурятском сходе, каждое предложение его, этого бывшего неблагонадежного студента, естественно, подвергались проверке со стороны полицейского надзора на местах.

Кроме того, А. Т. Трубачеев без всяких колебаний и со свойственной ему прямотой пошел в советскую медицину и начал строить ее. Здесь он нашел самого себя: не только врача-общественника, но и администратора, организатора и расчетливого «хозяина».

Если до октябрьской революции население Бурреспублики имело всего двух врачей-бурят, то теперь оно имеет 9 врачей; если сельских больниц было 4, то теперь имеет 19; коек в сельских населениях было 90, теперь—310; врачебных амбулаторий было 6, теперь—25; если санитарно-профилактических учреждений не было совсем, то теперь Бурреспублика имеет 40 таких учреждений и т. д., и т. д.

Пройти мимо этих цифр мы не можем, ибо они красноречиво свидетельствуют о заслугах всего медицинского персонала Бурятии и прежде всего, и больше всего о заслуге именно самого руководителя дела здравоохранения—врача Трубачеева.

А. Т.—любимый и популярнейший врач всего бурят-монгольского населения. Каждый аймак Бурреспублики, в особенности западные аймаки—Бохан, Аларь, Эхирит-Булагат, Тунка—знают его, не только как врача с сальварсаном, шприцем, пинцетом в руках, но и как врача-общественника, волнующего, отстаивающего на сходах и с'ездах свои проекты по здравоохранению.

Если приедет Тэхшхэни Андрэ (так зовут по-бурятски А. Т.) в какой-нибудь улус, то за ним неизбежно следует длинная вереница больных с обычными «Намау узэж уг ш (меня осмотри сделай—точный перевод).

Но «ноен» по нутру, не бюрократ по духу, Андрэ не оставит без внимания больных: напишет рецепт, даст совет и т. д.

Таков наш юбиляр Тэхшхэни Андрэ.

Б. В.

Труд и быт рабочего и крестьянского населения Урала конца XVIII и XIX в. в.

Под таким названием открыта в Москве выставка, являющаяся результатом работы трех историко-бытовых экспедиций, организованных Московским Государственным Историческим Музеем в 1925-26 и 1927 г. г. для изучения старых заводских поселений и собирания предметов, окружавших рабочих и крестьян Урала в их рабочей и домашней жизни.

Экспедиции обследовали ряд старых заводов и поселков при них, а также несколько крупных селений, лежащих близ трактов (Меркушинского и Ирбитского). Главнейшие обследованные пункты: Нижне-Тагильский Горный Завод, Черно-Источенский, Висимо-Шайтанский, Верхне-Уфалейский и Нижне-Уфалейский, Верхне-Кыштымский и Нижне-Кыштымский, Каелинский и др. Кроме того, был обследован город Верхотурье и притрактовые селения: Прокопьевская Салда, Пушкарева Гора и др.

Экспедиция собрала большой материал—606 предметов, особенно ценный тем, что он поступил в музей не через частные руки, не через перекупщиков, а с места, от старожилого населения.

Выставка занимает 3 зала. Чтобы подчеркнуть разносторонность собранного материала, укажем на характер выставленных предметов. В первой зале экспонируются предметы следующего назначения: обстановка хлебопечения (совки для муки, кувшины для закваски, каравайницы и пр.), настольная посуда, хозяйство у печи, приготовление домашних напитков, посуда для молочного хозяйства, домашний инструментарий, конское снаряжение, принадлежности детского быта, одежда (женская и мужская) и др.

Не менее богата материалом и вторая зала, где выставлены предметы, связанные с трудом рабочего и крестьянина (домашняя работа, кустарные промыслы, земледелие, работа на заводах). Здесь привлекают внимание следующие отделы: женская работа (обработка льна, вышивка, тканье), звероловство, охота и рыбная ловля, труд шахтера, работа одиночек-золотоискателей. Очень интересен отдел кустарных промыслов, где, кроме изделий из лыка и бересты, даны и расписные подносы, которыми некогда так славился Урал, поставлявший их не только на всю Сибирь, но вывозивший их также на ярмарки европейской части России.

В третьей зале сосредоточены предметы, освещающие быт рабочего и крестьянского населения за пределами домашнего хозяйства.

Интересна бытовая обстановка, например: железные светцы, деревянные железные светильни с корытцами для опадающих с лучин нагара и пепла, чугунные подсвечники, дворовые фонари и деревянные станки для изготовления сальных свечей. Слабее представлена внешняя отделка дома—этот отдел не дает столь полного представления о жилище уральского населения.

Надо отметить, что, эта выставка является значительным событием в научно-музейном мире.

Подобные же собирательские работы следовало бы повести и в разных уголках Сибирского края. Такие захолустья, как Илимский край, таят весьма большие возможности для обогащения историко-культурных отделов наших музеев. Илимский край—это только один из многих возможных примеров (Бухтарминский, Туруханский край и т. д.).

Опыт выставки, несомненно, следует учесть.

Палеоэтнологические раскопки

Летом 1927 г. Г. П. Сосновским на средства, отпущенные Главнаукой, музеем Приенисейского края и о-вом изучения Урала, Сибири и Д. Востока, производились палеоэтнологические раскопки в окр. г. Красноярска и в северной части Хакасского округа.

По палеолиту им продолжалось исследование стоянки на берегу Енисея у «Переселенческого пункта» напротив г. Красноярска.

Раскопками была обнажена площадь стоянки в 20 кв. метров, на которой обнаружены кострища первобытного человека, несколько десятков каменных орудий, много каменных осколков, костяные орудия и расколотые кости животных, принадлежащие горному барану, северному оленю, зайцу и быку.

В степи около ул. Орак исследователем было вскрыто 15 погребений бронзового периода, относящихся к трем различным культурам: андроновской, карасукской и курганной.

В могилах андроновской культуры был встречен обряд захоронения умерших в каменных гробницах и грунтовых ямах с деревянным обрамлением, в скорченном положении на левом боку. В головах у костяков найдены глиняные сосуды с плоским дном, украшенные геометрическим орнаментом. В женских погребениях у черепа были находимы бронзовые височные кольца, на ногах—украшения из бронзовых бус.

Интересна находка в одной из могил этой культуры кусочков ткани, а в другой—остатков берестяной посуды.

В могилах карасукской культуры были обнаружены расчлененные человеческие костяки, иногда с частичным сожжением отдельных костей скелета и черепа. Около человеческих костей группировались разбитые глиняные сосуды бомбовидной формы и бронзовые предметы. Поверхность сосудов тщательно украшена узором из ромбов, треугольников и сложного меандрового узора. Из бронзовых вещей найден: нож, проволочные кольца, шило, бляшки, пуговицы и пр.

В курганах бронзового периода добыт обычный для этой культуры погребальный инвентарь. В одной из могил, потревоженной грабителями, вместе с бронзовыми предметами найдено несколько обломков бронзовых изделий, обложенных листовым золотом.

Коллекция из раскопок Сосновского, после их научной обработки в Гос. Академии Истории Материальной Культуры, поступят в музей Приенисейского края в гор. Красноярске.

Юбилей Максима Горького в Новосибирске

В день 35-ти летнего литературного юбилея Алексея Максимовича Горького Сибирский Союз Писателей, редакция журнала «Сибирские Огни» и пролетарские писатели Сибири отправили юбиляру приветственные телеграммы:

ИТАЛИЯ, СОРРЕНТО, МАКСИМУ ГОРЬКОМУ.

Сибирский Союз Писателей от имени всех писателей Сибири приветствует своего внимательного читателя, старшего собрата и строгого критика в день его шестидесятилетия.

Председатель Зазубрин.

ИТАЛИЯ, СОРРЕНТО, МАКСИМУ ГОРЬКОМУ.

Редакция журнала «Сибирские Огни» приветствует первого пролетарского писателя и надеется увидеть его в качестве своего сотрудника.

Редакция: *Басов. Зазубрин.*

ИТАЛИЯ, СОРРЕНТО, МАКСИМУ ГОРЬКОМУ.

Привет дорогому учителю, великому творцу от пролетарских писателей Сибири. Дорогой Алексей Максимович, Сибирь, в которой вы никогда не были, ждет вас к себе в гости.

По поручению пролетарских писателей Сибири:

Акимов, Анов, Феоктистов.

ПОЧЕМУ?

Сиббюро ВАПП'а и Правление Сибирского Союза Писателей с помощью Культотдела Крайсовпрофа организовали в Клубе Строителей вечер, посвященный М. Горькому. Билеты не были своевременно розданы членам профсоюза, хотя за это дело и взялся Культотдел Крайсовпрофа. Печатники, например, совсем не получили билетов. Зал был наполнен наполовину. Поднятием рук было установлено, что в зале находится 1 строитель и 1 пищевик.

В президиум были поданы четыре записки. Две спрашивали, как смотрит М. Горький «на развитие питейного дела в СССР» и критикует ли он «стоящих у руля частично»?

Две других по содержанию были совершенно одинаковы. Приводим одну из них:

«А не врет ли Горький нам в том, что он раскаялся и осознал свою ошибку, веря в культуру буржуазии раньше? Может, он едет к нам сюда посмотреть и не больше, продолжая и сейчас верить в культуру буржуазии? И чем намерен он здесь заняться? Долго ли? А почему он не написал революционной пьесы? Почему не подавал голоса в трудные для нас годы войны? А главное: почему удрал за границу, бросил родную ему пролетарскую семью и укрылся под крылом буржуазного мира?

И. Лебедев».

С докладом выступали: Г. В. Круссер и Н. В. Феоктистов, с воспоминаниями—Г. А. Вяткин. Отвечал на все «почему» В. А. Итин.

Через день в «Советской Сибири» появилась заметка:

— Позавчера *при большом стечении преимущественно рабочей молодежи* в клубе строителей состоялся литературный вечер, посвященный шестидесятилетию со дня рождения М. Горького», и т. д.

---

29 марта литератор В. Зазубрин спросил ответственного редактора «Советской Сибири» И. Шацкого:

— Почему вы не поместили в газете телеграмму Сибирского Союза Писателей, посланную им Максиму Горькому?

— Потому, что сейчас юбилей Горького, а не Сибирского Союза Писателей,—ответил, довольно улыбаясь, ответственный редактор.

П. Н.

ХРОНИКА

В СИБИРСКОМ СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ.

Правлением Сибирского Союза Писателей постановлено созвать в Новосибирске второй Сибирский с'езд писателей (первый состоялся в марте 1926 г.). На второй с'езд приглашаются писатели Бурято-Монголии и Ойротии, что послужит началом федерации писательских об'единений народов Сибири. В программу с'езда включены: вопросы культурной революции, отчетный доклад правления, доклад профессора Азадовского о сибирской художественной литературе, доклады о бурятской и ойротской литературе, о современном литературном мастерстве, о работе с молодняком, вопросы смычки читателя с писателем и пр., а также выборы нового правления. На с'езде будут участвовать и члены сибирской ассоциации ВАПП'а, с которой у союза наладились хорошие творческие отношения.

Созыв с'езда намечен во второй половине апреля. Подготовка к с'езду на местах началась еще в феврале.

СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ.

По инициативе сибирской группы АПП, создано Сибирское организационное бюро АПП в составе—Г. Акимова, Н. Анова, Вальдена, Панкрушина, Феоктистова, Шацкого.

Своей первой очередной задачей оргбюро считает об'единение до сих пор разрозненных, не связанных между собой, работающих во многих местах Сибири отдельных групп и одиночек пролетарских писателей; созыв для этой цели сибирского совещания АПП и создание сибирского центра пролетарской литературы.

Сибирское совещание намечено созвать в конце марта—начале апреля этого года.

Оргбюро обратилось как ко всем группам АПП'а на местах, так и к одиночкам пролетарским писателям с просьбой немедленно связаться с оргбюро. Необходимо сообщить списки имеющихся организаций АПП и пролетарских писателей-одиночек в городах, на заводах, фабриках и местечках Сибири с высылкой своих произведений (напечатанных и рукописных) и сведений о продолжительности литературной работы и принадлежности к ВАПП'у.

Материал следует посылать по адресу: г. Новосибирск, Октябрьская, 63, Сиброста, т. Феоктистову.

ПИСАТЕЛИ У КРАСНОАРМЕЙЦЕВ.

Отмечая десятилетний юбилей существования Красной армии, Союз Писателей и Новосибирская группа ВАПП провели ряд литературных вечеров в казармах и красноармейских клубах. На каждом вечере т. В. Итин делал доклад—«Красная армия в художественной литературе». В клубе N дивизии ГПУ с докладом «Чека и ГПУ в литературе» выступал т. Зазубрин, впервые прочитавший отрывки из нового своего романа «Щепка».

Со стихами выступали поэты: Г. Акимов, И. Ерошин, Г. Павлов, С. Марков, Пелекайтис, Н. Феоктистов. Следует отметить новые мотивы в творчестве поэта Ерошина, читавшего в красноармейских казармах стихи, проникнутые гневным чувством протеста против английских империалистов.

Беллетристы Г. Павлов, К. Урманов, В. Итин, Н. Анов читали рассказы, посвященные Красной армии и гражданской войне.

СМЫЧКА ПИСАТЕЛЯ С ЧИТАТЕЛЕМ.

В течение двух месяцев (февраль-март) Сибирский союз писателей совместно с группой ВАПП устроил восемь больших литературных вечеров в рабочих и красноармейских клубах:

1) в Домпросе для работников просвещения (150 ч.);

2) в клубе Краснознаменного полка для красноармейцев (300 чел.);

3) в доме Красной армии для комсостава (250 чел.);

4) в клубе войск ГПУ для красноармейцев (500 чел.);

5) в Домпросе для студентом (250 чел.);

6) в клубе работников Нарсвязи для почтовиков (100 чел.);

7) в клубе строителей для строительных рабочих (400 чел.);

8) в клубе «Транспортник» для железнодорожников (1.000 чел.).

Таким образом, в течение 2 месяцев путем клубных выступлений и вечеров было обслужено около 3.000 человек.

На литературных вечерах выступали: Г. Акимов (стихи), Николай Анов (рассказы: «Ядовитое жало», «На братской могиле», «Любовь Ивана Максимовича», «Партейный», «Янтарь»), Афанасьев (рассказ «В вагоне» и стихи), Павел Васильев (Стихи), Илья Горный (рассказ «На реке Зее»), Иван Ерошин (стихи), В. Зазубрин (отрывок из романа «Щепка»), В. Итин (рассказ «Люди»), Липин (юморески), Илья Мухачев (стихи), Георгий Павлов (рассказ «Петроградская эпопея Петра Куницы» и стихи), Глеб Пушкарев (рассказ «Утопленник»), Рассонс (рассказ «У доктора»), Стрижков (рассказы—«Фарт», «В шахте»), Николай Титов (стихи), Кондратий Урманов (рассказ «Заноза», отрывок из повести «Половодье»), Н. Феоктистов (стихи).

С докладами на литературных вечерах у красноармейцев выступали В. Зазубрин и В. Итин.

ОЖИВЛЕНИЕ ВАПП'овской РАБОТЫ.

В конце января месяца в Новосибирске организовалась группа пролетписателей-он ПУ -ав-(с у оен оен смв оен оена и ВАПП'овцев. До этого времени работа велась с перебоями, не выходя из рамок кружковых занятий, носивших случайный характер. По оформлении группы литературная работа в ней значительно оживилась: еженедельно устраиваются очередные собрания, на которых проводится читка и разбор произведений членов группы. В течение этого времени, помимо мелких рассказов и стихотворений, зачитаны были и обсуждены две больших повести: Ильи Горного—«Жизнь отрока Ениксима» и М. Макарова—«Мост». За полтора месяца число членов группы удвоилось. Открытые собрания группы привлекают значительное количество слушателей.

Новосибирская группа уделила особое внимание массовой работе, проведя, совместно с Сибирским союзом писателей ряд больших литературных вечеров в рабочих и красноармейских клубах.

Дальнейшая работа намечается в следующем виде. Подготовка к участию в издании Сибирского Альманаха Пролетписателей, к организации ряда литературных вечеров в профсоюзах и создание рабочих литературных кружков на производствах.

ВАПП В ЗАБАЙКАЛЬИ.

Работа читинского филиала ВАПП развернулась довольно широко. Недавно в красном уголке Читинских главных мастерских состоялся литературный вечер, организованный ассоциацией. Руководом секцией прозы т. Абратовой был сделан обстоятельный доклад на тему—«Рабочий в художественной литературе». Со своими произведениями выступали т. т.: Безымянный Г., Седых К., Каравашкин Н., Анникьев, Зайков И., Аргунский, Ратис (стихи), Л. Леви, Донской Я., Губанов А. (проза) и Н. Тагильцев (фельетоны). Общее впечатление осталось хорошее. Такие литературные вылазки ассоциация намерена устраивать и в дальнейшем, охватывая рабочие клубы города, Читу 1 и Черновские копи.

Культотдел Читинского профсовета приступил к организации в клубах литературно-художественных кружков. Работа кружков будет происходить в тесной увязке с ЧАПП'ом.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС.

Редакция «Сибирского Детского Журнала» об'явила первый сибирский литературный конкурс на лучшие литературные произведения, написанные детьми в возрасте от 10 до 15 лет. Участвовать в конкурсе имеют право все дети этого возраста, живущие в Сибири, Казакстане, Бурято-Монголии и на Дальнем Востоке.

Устанавливаются три премии: первая—за лучшие рассказы, вторая—за лучшие статьи, третья—за наиболее удачные стихи. В числе премий: серебряные часы с надписью, футбол, коньки, лыжи, полное собрание сочинений Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Конкурс начался 1 марта. Последний срок поступления рукописей—20 апреля.

КОНКУРС НА БУРЯТСКУЮ ПЬЕСУ.

Оживление работ по линии культурно-национального строительства Бурятии создало колоссальный спрос на бурят-монгольские пьесы. Между тем, за все это время Буручкому удалось выбрать из драматических произведений на бурят-монгольском языке и издать всего 9 пьес. Желая усилить количество и качество национального театрального репертуара, Буручком об'явил конкурс на лучшую пьесу на бурят-монгольском языке.

Союз бурятских писателей, призывая товарищей по перу к творчеству для конкурса, сделал персональный вызов следующим писателям, владеющим бурято-монгольским языком: Самантобадра, В. Д. Намжилону, М. П. Трубачеву, Хуца Намсараеву, Чебазарону, Бото-Цыренову, И. Г. Дадуеву, С. П. Балдаеву, А. Шидаеву, А. Хараеву, Б. Базарону, Д. Дылыкову, Мункэ Саридаку, Г. Догурову.

КРАЕВАЯ ВЫСТАВКА ПОЛИГРАФИИ.

Общество художников «Новая Сибирь» организует первую всесибирскую выставку полиграфии и графики. Сейчас художники собирают экспонаты полиграфического производства со всех городов Сибири. Экспонаты графического отдела будут включены в передвижную часть художественной выставки. Краевую выставку полиграфии предполагается провести в Новосибирске.

О СИБИРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ.

За границей уже интересуются изданием Сибирской Советской Энциклопедии. В редакцию ССЭ поступило письмо от института мирового хозяйства при Кильском университете с просьбой выслать издание по его выходе. Запросы на ССЭ стали поступать из разных частей СССР, в частности из Украины и Сев. Кавказа.

Работы по составлению ССЭ успешно продвигаются. Собираются статистические и проверочные данные по смежным с Сибирским краем областям. От авторов поступило в редакцию ССЭ около 400 рукописей. Некоторые отделы уже готовы по авторскому тексту (минеральные источники, охота и звероводство, вопросы труда и др.). Подготовляются иллюстрации.

В сибирском геодезическом управлении составлен основной чертеж для всех карт, входящих в ССЭ. На Дальнем Востоке редакция ССЭ имеет теперь свое представительство для связи с авторами и учреждениями.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ В ОМСКЕ.

Высшее педагогическое учебное заведение по Сибири имеется только в Иркутске. Это слишком мало. Нужно второе, в западной части Сибири, так как Иркутский педфак обслуживает своими немногочисленными силами восток. Таким местом организации педагогического ВУЗ'а омские просвещенцы выдвигают Омск.

Омск является центром мощного хозяйственного округа как в области сельского хозяйства, так и промышленности. Это даст возможность быть студентам в постоянной связи с производством, где они, как будущие учителя, должны почерпнуть общественно-хозяйственные навыки. Ближайшим образом Омск связан с Казакстаном, где отсутствие подготовленной интеллигенции особенно сказывается. Впредь до более широкого развития Казакстана, омский пединститут сможет широко притти ему на помощь путем организации казакского отделения по типу бурято-монгольского при Иркутском педфаке. Наличие в Омске трех ВУЗ'ов облегчает первоначальные шаги к открытию пединститута, так как научные силы, кабинеты, лаборатории смогут, мы в этом не смеем сомневаться, притти на помощь своему младшему собрату. Окрисполком уже дал принципиальное согласие на отвод большого здания под проектируемый институт.

БАТРАКИ В ВУЗ'ы ОМСКА

По примеру прошлого года, в городе открылись шестимесячные курсы по подготовке в ВУЗ'ы и техникумы. На курсах обучаются 60 человек. Основную группу учащихся составляют рабочие металлисты, 15 слушателей—батраки. С первых же дней наблюдается огромное прилежание курсантов. В особенности с большим рвением занимаются батраки.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

Иркутское бюро пролетарского студенчества организовало первый в Сибири студенческий симфонический оркестр из студентов Иргосуна, рабфака, техникумов и музтехникума. Оркестр насчитывает пока 25 человек.

ЮБИЛЕЙ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗТЕХНИКУМА.

20 февраля Томский музтехникум справлял свой 35-ти летний юбилей. История техникума вкратце такова. В 1859 г. в Ленинграде было основано русское муз. о-во. В 1879 г. в Томске первое в Сибири возникло отделение этого общества. До 1893 г. томское отделение вело только концертную деятельность. Отделением были открыты музыкальные классы в составе двух преподавателей (ф-но и скрипка). Под разными наименованиями эти классы просуществовали 35 лет. Теперь—это Томский гос. муз. техникум. Музтехникум в настоящее время включает в себя три школы: а) школу 1 ст. для детей, б) муз. курсы для взрослых и в) школу 2 ст. или музтехникум в собственном смысле. Томский музтехникум имеет теперь 36 преподавателей и свыше 600 чел. учащихся. В техникуме 3 отделения: а) исполнительское, б) инструкторско-педагогическое и в) теоретико-композиторское.

Преподаются все специальности, даже и такие редкие, как контрабас, гобой, фагот и т. д. Техникум имеет свой симфонический оркестр, хор, оперный класс и все виды ансамблей.

ШИРОКОЕ КЛУБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.

На Дальнем Востоке решено широко развернуть клубное строительство. В первую очередь будет приступлено к постройке владивостокскими железнодорожниками огромного рабочего клуба-дворца, стоимостью свыше 300 тысяч рублей. С наступлением строительного сезона постройка его начнется (уже возится для этого кирпич). Железнодорожники строят и другой клуб—в Кангаузе, на который будет затрачено около 85 тысяч рублей.

У горняков клубное строительство тоже в широком масштабе. Во-первых, к маю этого года заканчивается постройка рабочего клуба на Артеме, стоимостью в 75 тысяч рублей. И затем в Сучане союз горняков приступает к постройке нового клуба-дворца, на который будет затрачено до 300 тысяч рублей. Приступают также к постройке больших клубов кожевники, пищевики, водники.

В общем на клубное строительство в ближайшее время намечено израсходовать около миллиона рублей. При этом постановлено к составлению планов новых клубов обязательно привлекать специалистов из инженерно-технической секции. Точно

так же и сама рабочая масса будет ближе привлечена к обсуждению вопросов, связанных с клубным строительством (выбор места, обсуждение типа построек и т. д.). При таком подходе к клубному строительству оно будет вполне отвечать запросу рабочих масс.

БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ.

По 13 окружным отделениям профсоюзов констатированы несомненные достижения в библиотечной работе.

Книжный фонд стационарных (при клубах и культуголках) библиотек союзов за год в одном только Омском округе возрос на 13.320 т. и к настоящему времени во всех союзных библиотеках вместе взятых имеется 108.960 томов книг. Увеличивается количество подписчиков: по 6 только библиотекам увеличилось за год на 1700 человек.

Значительные достижения по приближению книги к рабочему дали книгоноши со специально выделенными для них книжными фондами. Книгоноши привлекли к постоянному чтению рабочих, далеких от библиотеки, принесли книгу на предприятие, дали рабочему то, что он хочет и может читать. Вот образец работы одного книгоноши за октябрь—декабрь 1927 года: имея книжный фонд в 1300 книг, книгоноша за 3 месяца выдал по 7 предприятиям 4086 книг, обслужив 1967 человек.

Достижения налицо. Но есть и недочеты. Некоторые союзы слабо руководят библиотечной работой; скупятся в средствах на библиотечное дело. В библиотеках определенно чувствуется недостаток беллетристики и, особенно, новой, современной, при все возрастающем спросе на нее. Недостаточно поставлен учет читательских интересов; слабо обслуживание детей-читателей.

ЗООПАРК В НОВОСИБИРСКЕ.

В Новосибирске будет организован зоологический парк краевого значения. Для разработки организационных мероприятий президиум горсовета избрал комиссию в составе представителей общества изучения Сибири, музея, горкомхоза и др.

ПЕРВЫЙ ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

Иркутский университет для учебных целей при факультете права и хозяйства организует первый в Сибири товароведческий музей, в который войдут продукты и товары Сибири и Дальнего Востока. В музей уже поступили экспонаты из Байкала, Новосибирска, Черемхово, Читы, Владивостока. После сгруппирования в музее товаров он будет иметь значение не только учебное, но и культурно-промышленное.

ВЫСТАВКА ПО ЗАБАЙКАЛЬЮ.

Читинский музей им. Кузнецова предполагает устроить постоянную выставку под названием «География Забайкалья». Выставка будет представлена в виде исторических документов, древнейших карт, фотографий и других исторических материалов, хранящихся в музее.

КУЛЬТРАБОТА С ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ.

Переселенческое ведомство расширило культурно-просветительную работу среди переселенцев. «Рабочий Путь» отмечает в частности достижения Омского переселенческого пункта. В редакцию поступило письмо ходоков-крестьян: Куропаткина, Чукреева, Великанова, Мишина, Дроздова и Отопкова. В письме они выражают свое удовольствие по поводу того, что за последнее время на омском переселенческом пункте проводится культработа. Отремонтирован культуголок. Организована читка газет, беседы с крестьянами-переселенцами. Установлен громкоговоритель и открывается стрелковый тир.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЕ РЕКИ.

В Иркутске снаряжается экспедиция центрального управления водных путей, которая летом отправится на реки Колыму и Индигирку (северо-восток Якутии) и обследует судоходность обеих рек.

Рейс из Владивостока к устью Колымы, который совершил в прошлом году пароход «Колыма», показал, что морской путь через Берингов пролив удобен для плавания. Если теперь будет установлена пригодность рек для судоходства, то это даст большой толчок к росту Колымского края, богатого пушниной и ценными ископаемыми. Экспедиция продлится два года. Во главе ее—И. Ф. Молодых.

ТУРИЗМ В ЧИТЕ.

В Чите организовано бюро массового туризма, ставящее себе задачей способствовать развитию туризма, помогать в выборе маршрута и т. д. Бюро массового туризма намерено устроить ряд бесед на тему о туризме, организовать вечер, составить перечень маршрутов.

РАДИОСВЯЗЬ С ЯПОНИЕЙ.

Иркутская радио-станция транслировала на-днях Японию. Слышимость японской радио-станции была довольно хорошая. Таким образом, установлена первая радио-связь Сибири с Японией.

ЗАГАДКА ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА.

Горный инженер Нифантов напечатал в «Вечерней Москве» следующее интересное письмо в редакцию, которое приводим полностью:

«К помещенной заметке заведующего Метеорит. отдел. Академии Наук гр. Кулика о метеорите, упавшем в районе р. Тунгуски (в 1908 г.), следовало бы добавить некоторые соображения, могущие иметь определенное влияние на программу предполагаемых в т. г. исследований местности в районе падения.

В обстановке, сопровождающей падение метеорита, возможно сделать два главных предположения: 1) в момент своего соприкосновения с оболочкой земли метеорит имел твердую раскаленную массу и 2) масса метеорита в указанный момент находилась в огненно-жидком состоянии. В первом случае метеорит мог иметь глубокое проникновение в земную оболочку; во втором случае проникновение метеорита в земную оболочку могло совершенно не произойти. Огненно-жидкая масса метеорита (температура свыше 2000 град.) в момент, предшествующий достижению земной оболочки, под влиянием громадного сжатия атмосферы, находящейся в промежутке между ее телом и поверхностью земли, могла разделиться на несколько частей, каждая из которых при соприкосновении с земной оболочкой в момент удара должна была превратиться в пыль из мельчайших расплавленных частиц. Указанное явление может быть короче охарактеризовано взрывом. При этом результаты явления будут иметь тот вид, который и установлен осмотром местности. Возникший ураган, от действия колоссального сжатия воздуха, перед метеоритом, отбросил во всех направлениях массы воздуха, перемешанного с метеоритной раскаленной пылью, соприкосновение которой с окружающим лесом должно было немедленно воспламенить последний почти одновременно на громадном пространстве, которое могло быть охвачено этой пылью.

Очевидно, при указанных условиях падения метеорита, следы его мы можем обнаружить не в глубине земной оболочки, а на поверхности ее в виде мельчайших пылеватых частиц, что могут показать только химические анализы проб из грунта и из золы сгоревших масс леса на месте падения метеорита. Эти анализы, очевидно, должны войти в программу работ дальнейших исследований.

При падении метеоритов незначительной массы расплавления их не происходит, почему их осколки обычно легко обнаруживаются.

Горный инженер Нифантов».

«УХОДЯЩАЯ СИБИРЬ».

Иркутский областной музей предпринимает издание художественного альбома гравюр «Уходящая Сибирь». Альбомы предполагается выпускать сериями. В первый выпуск войдут памятники старины: Иркутска, Илимска, Братска, Балаганска и Якутска—всего 20 гравюр. Гравюры для альбома выполняет художник Б. И. Лебединский. Текст пишут: проф. Азадовский, проф. Виноградов, проф. Козьмин и Д. Г. Милашкович.

КРАЕВЕДЫ В ТАРСКОЙ ГЛУШИ.

В общество изучения Сибири поступило интересное письмо из с. Муромцево, Тарского округа. Недавно местные культурные работники организовали в селе краеведческое общество. Общество заинтересовалось архивом бездействующего Петропавловского винокуренного завода и обнаружило любопытные остатки старины. В библиотеке обнаружены: руководящая книга—«История римского права», книга «Женское право», старые журналы—«Отечественные Записки», «Русское Богатство» 80-х г. г. и пр.

Обнаруженный архив, кроме того, дает возможность изучить постепенное заселение Петропавловского поселка, дает также картину жизни прежних ссыльных каторжан, работавших на винокуренном заводе. Возбуждено ходатайство перед Сибвинтрестом о передаче архива обществу.

ПАМЯТНИКИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА.

Художественные и исторические памятники деревянного зодчества Сибири еще не описаны полностью. Работавшему в этой области И. М. Мягкову, вместе с архитекторами т. т. Карташевой и Прибытковой, удалось заснять 600 таких памятников старины. Между прочим, удалось открыть памятники деревянного крепостного зодчества в Западной Сибири.

Успенский собор XVII века в Таре в настоящее время разбирается на бани. Он заснят. Имеются также фотографии башни 17 века на реке Казыр, Тобольского округа и церкви Василия Убиенного на р. Таз.

Общество изучения Сибири признано желательным продолжать описание памятников деревянного зодчества.

ГДЕ БЫЛ СТАРЫЙ ИРКУТСК.

По постановлению ВСОРГО, летом работниками по истории Иркутска—Манасеиным, Романовым и П. Хороших—на «Дьячем острове» будут произведены археологические раскопки. Раскапываться будет то самое место, где было первое зимовье, построенное казачьим сыном Иваном Похабовым, давшее начало существованию Иркутска.

Подобные же раскопки будут произведены и в самом городе возле Сукачевского сквера, где после зимовья было построено первое жилище—иркутский острог.

К участию в раскопках, кроме работников университета, будут также привлечены педагоги средних школ города для того, чтобы они могли практически ознакомиться с практикой раскопок и историей Иркутска.

ИЗУЧЕНИЕ НОВОСИБИРСКА.

При о-ве изучения Сибири состоялось первое заседание комиссии по изучению Новосибирска. Решено поставить ряд докладов: Н. С. Юрцовского—об истории города, А. П. Петрова—о перспективах развития Новосибирска и Е. Н. Орловой—о методике изучения города. В комиссию начал поступать материал по истории города. Между прочим, поступил разный печатный мате-

риал о Новосибирске (иностранные журналы и проч.) от тов. Петрова. Разрабатывается план организации при местном музее особого отдела—«Новосибирск». Организуется «кружок старожилов» для записи их воспоминаний о прошлом города.

НОВОЕ В БУРЯТСКИХ ШКОЛАХ.

Бурятский наркомпрос принял решение о необходимости создания общежитий при каждой бурятской школе. Примерные планы ученических зданий уже разработаны.

ТУЗЕМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ТЕХНИКУМЕ.

В Читинский медтехникум будут допускаться в виде исключения женщины нацменьшинств Дальневосточного края без соответствующей подготовки, но имеющие общее развитие и проявившие себя на общественной и профессиональной работе.

НА ТУРСКОЙ КУЛЬТБАЗЕ.

Культурная база на р. Туре начинает постройку двух зданий туземной школы-интерната, рассчитанной на 50 человек. База получила подвесные моторы «Архимед» для своих лодок. Сообщение по Н. Тунгуске будет налажено. Москва дала 24 тыс. рублей на взрывы каменных порогов по Нижней и Подкаменной Тунгускам.

Культурная база будет пристанью для стоянки судов, поддерживающих связь тундры с внешним миром.

УЛУЧШЕНИЕ БЫТА КАРАГАСС.

В Тулуне при окрисполкоме организована специальная комиссия по улучшению быта карагасс. В состав комиссии, кроме представителей учреждений и организаций, введены: охотовед, санитарный врач и ветеринарный врач.

ПАРОХОД ДЛЯ МОНГОЛИИ.

Из Верхнеудинска получено сообщение о постройке селенгинским госпароходством судов для сообщения внутри Монголии, по Селенге. Построен первый буксирный пароход и три железных баржи, рассчитанные на 30 тысяч пудов каждая.

МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК НА РАБФАКЕ ИРГОСУНА.

Наркомпрос Бур.-Монг. республики ходатайствует перед Главпрофобром о введении изучения монгольского языка на всех отделениях Иркутского рабфака—для студентов-бурят в обязательном порядке.

Национальное об'единение Иркутского рабфака будет укомплектовываться в будущем преподавателями-бурятами. Количество командируемых бурят на нацотделение рабфака увеличивается.

50 ЯЧЕЕК ЯНАЛИФА.

Коренное изменение татарского алфавита (переход с арабского на латинский) лучшей частью татарской трудовой интеллигенции было поднято еще до Октябрьской революции. Латинский алфавит создает экономию сил и средств при изучении языка и письменности, имеет колоссальное техническое превосходство над арабским в полиграфическом производстве и освобождает татар из-под влияния арабизма, приближает их к европейской культуре и технике. Поэтому среди рабочих и крестьян начинают расти организации друзей нового алфавита (Яналиф).

Татарские трудовые массы Сибири в этом вопросе до сих пор не отстали от татар других районов Союза. По Сибири создано до 50 ячеек друзей «Яналиф». Работают десятки ликпунктов по ликвидации неграмотности по новому алфавиту. Есть уголки «Яналиф» при клубах, избах-читальнях, издаются десятки стенных газет и распространяется большое количество новой литературы.

Поставлен вопрос о составлении пятилетнего перспективного плана латинизации алфавита среди сибирских татар и о краевом с'езде Яналифа.

СИБИРЬ И ВИЗАНТИЯ.

В сибирской печати промелькнуло сообщение о том, что Московский исторический музей очень заинтересован находящимися в Бийском музее византийскими монетами. Горшок этих монет был найден в районе Усть-Чарыша в прошлом году. В музей попало только 8 монет. Находка свидетельствует, что наш край имел связь с Византией.

Бийский музей решил сделать свинцовые слепки с имеющихся монет и отправить в Москву.

ВЫСТАВКА КАРТИН ОВЧИННИКОВА.

Десять лет не выставлял нигде своих картин художник-иркутянин Овчинников Шесть лет из этого времени он провел в экспедициях по Якутии и Монголии, принимая участие в исследовании рек и путей. Теперь, как результат этой работы. Овчинников имеет до 130 полотен сибирского пейзажа, быта ландшафта и т. д.

Выставка произведений Овчинникова устраивается в Иркутске в музее народоведения.

БУРМОНГОЛЬСКАЯ СЕКЦИЯ ВСОРГО.

24 февраля исполнилось три года существования Бурятмонгольской секции Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Секция организована Иркутским Бурземлячеством.

Работа заключалась в устройстве заседаний, где заслушивались доклады, сообщения. Раз'езжаясь на каникулы, члены секции в родных улусах собирали фольклорный, языковый материал и сведения по хозяйству, быту, кустарному промыслу и т. д.

Книжка за книжкой выходит «Бурятоведческий Сборник» (вып. I и II, 1926 года,

в. III—IV, 1927 г.). Более живой и интересной становится деятельность секции еще потому, что она тесно переплетается с работой недавно организованного Бурято-монгольского отделения педфака Иргосуна и находится в непосредственной связи с Бурнаркомпросом. Буручкомом и с научным обществом имени Доржи Банзарова.

КУЛЬТУРА ТУНГУСАМ.

Тунгусская культурная база, расположенная в тысяче верст на восток от Туруханска, в этом году достраивается. После достройки работа ее будет расширена. На достройку и содержание культбазы совнаркомом отпущено сто тысяч рублей (на нынешний хозяйственный год). Сейчас уже строятся два больших капитальных здания школы-интерната.

Культбаза будет состоять: из больницы, бактериологической лаборатории, гаэомера, лечебницы для заразных животных, зоотехнического пункта с оленьим питомником в двести голов и из школы-интерната на сорок человек.

При культбазе находится трехламповый радиоприемник. При помощи этой установки культбаза слышит Московскую широковещательную станцию «Коминтерна». Теперь будет установлен ламповый усилитель и вторая антенна.

Во второй половине февраля состоялся суглан тутуро-очеульских тунгусов. Суглан происходил в с. Бутаково, Качугского района. Присутствовало 37 делегатов тунгусских стойбищ. Главный вопрос, который обсуждали делегаты,—перевод тутуро-очеульских тунгусов на реку Нижнюю Тунгуску. Суглан решительно высказался против предполагавшегося переселения и решил просить Комитет Севера при ВЦИК'е об отводе для тунгусов самостоятельной территории в Качугском районе.

Создание постоянной культбазы в В.-Тутурском стойбище все тунгусы одобряют. Это будет уже вторая тунгусская культбаза. Сейчас уже приступлено к заготовке леса.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ НА БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ.

Вышел из печати первый номер 4-х месячного журнала культурно-национального строительства «Соелун Хобисхал» (Культурная революция)—орган Бурят-Монгольского Ученого Комитета и Бурят-Монгольского областного комитета РКП (б).

Журнал имеет отделы: политико-экономический, литературно-художественный, научный отдел, наука и техника, критика и библиография, корреспонденции с мест.

Ответственный редактор—Оширов А. В. В редакционную коллегию входят: Б. Барадин, В. Богданов, П. Дамбинов, И. Дампилон, А. Оширов.

НОВЫЕ СИБИРСКИЕ ФИЛЬМЫ.

В Москве оператор Совкино В. Беляев закончил этнографическую фильму «Байкал». Снимки на озере производила прошлым летом экспедиция Совкино совместно с работниками Главнауки. Научная консультация картины—проф. Б. А. Млодзиевского. Вскоре она выпускается в прокат.

На-днях проехала на Дальний Восток экспедиция Совкино во главе с режиссером Литвиновым. Экспедиция заснимет несколько этнографически-бытовых фильм, в том числе из жизни вымирающего племени тольдов «Племя, заблудившееся в веках» и фильму о Владивостоке.

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВУЗ В НОВОСИБИРСКЕ.

Сибнаробраз категорически настаивает перед центром о том, чтобы институт народного хозяйства открылся осенью этого года в Новосибирске.

По мнению КрайОНО, институт должен быть организован по типу московского института народного хозяйства имени Плеханова и должен обслуживать не только Сибирский край, но и Казакстан, Якутию и Бурято-Монголию. Институт намечается в составе двух факультетов—экономического и промышленно-технического.

В первое пятилетие развертывается экономический факультет с отделениями: организационно-плановое, кооперативное, финансово-счетное, торгово-товароведное, транспортное и в перспективе—правовое.

Только для одной Сибири нужно 340 экономистов. Экономический факультет рассчитан на 600 студентов с ежегодным выпуском 125 человек.

Ходатайство СибОНО поддержал Сибкрайисполком, который признал, что такой институт для Сибири необходим.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

I.

О. Руновa.—«Полдень». Рассказы. Госиздат. 1927. Стр. 280. Цена 1 р. 80 коп.

Читатели «Сибогней» хорошо знают Ольгу Рунову: в нашем журнале были напечатаны отрывки из ее романа «1905 год» и три ее рассказа—«Косым ветром», «Опара». «Полдень», вошедшие в рецензируемую книгу. Беллетристика Руновой—типично «середняцкая», добросовестно-реалистическая, в духе Серафимовича, Под'ячева, Гусева-Оренбургского и других мастеров старой «знаньевской» и «русско-богатской» школы. Художническая палитра Руновой не блещет ни богатством и яркостью красок, ни новизной творческих приемов, и, тем не менее, повести и рассказы ее читаются с интересом и не оставляют читателя равнодушным. У писательницы есть свои большие плюсы, которые, несомненно, надолго обеспечат ей внимание рабоче-крестьянской аудитории. Главный из этих плюсов—непосредственность, простота и правдивость ее повествований. Она подкупает своей искренностью, заражает своими переживаниями. Это удается ей тем более, что темами своих произведений она обычно выбирает волнующие вопросы современности, с одной стороны, и интимные, преимущественно женские, драмы—с другой.

Вот рассказ «Хлебушко»—о последнем поволжском голоде. Крестьянская семья Зеленцовых снимается с родного, оголенного голодом места и идет в Сибирь—за хлебом. Глава семьи Егор умирает дорогой в больнице. Жена Анна тащится дальше с пятью детьми. Сибиряки жестокосердны. «На работу не нанимают и милостыни не подают:

— «Нечистый вас носит! Откуда вас только гонит? Всю Сибирь запакостили. Мы к вам никогда не ходим. Заполонили нас, якори вас в душу. Сами от вас с голоду подохнем!».

Не доходя до Омска, вконец измученная, бросила Анна двух младших ребят: оставила спящими в деревенской баньке на произвол судьбы.

«В Омске пошли на вокзал искать комитет. Густыми хлопьями падал снег, от одного вокзала до другого ноги тонули в грязи по щиколку, ветер пронизывал до косточек, насквозь. Река холодная, почти черная, неслась, как зверь. Вот она, коренная-то Сибирь...

«На вокзале Анна свалилась без памяти. В больнице места не нашлось, лежала в нетопленном бараке за городом. Дня через 3 мало-мало отошла. Опять пошла на вокзал. Стали спрашивать там, куда кто хочет ехать.—«Люди присуждают в Семипалатное».—Тридцать два дня ехали в теплушке до Семипалатинска. Пошли лютые морозы, вошь с'ела натло. Казенных денег на еду нехватило, побирались по селам, половина народу ноги зазнобили.

Приехали в Семипалатинск, там помещения нет. Татары раньше приехали, и тем-то ничего уж не осталось. Сидят, скорчившись, под навесом, умирают».

Мы привели эту цитату, как характерную для Руновой. Как видит читатель, ее изобразительная экспрессия не поднимается местами выше художественного репортажа, и все же воспринимается с гораздо большей силой, чем многие изощренные страницы некоторых современных мастеров формы.

Рассказ «Опара». Жена офицера, бывшая гимназистка Пахомова, подышав воздухом Красной армии, внутренне перерождается. Оглядываясь на свое прошлое, она с ужасом убеждается, что ничего не знает и не умеет, что ей надо не учить (она учительница), а учиться самой. Она признается красноармейцу Юреневу: «вы знаете, нас так безобразно учили. Прямо украли наше детство. Много важного, что нужно знать, мы не знаем, совершенно не знаем. Иногда думаю, что если бы вдруг мор всеобщий или всемирный потоп и осталась бы на земле только кучка гимназистов, да институток, как я,—мы бы ничего, ничего не сумели. Палкой бы землю ковыряли. Последний неграмотный мужик внес бы больше культуры, чем мы»...

Рассказ «Перекличка». Из СССР за границу едут: научная работница Толоконцева, артистка Эллинская, сибирский инженер и казначей некоего треста. Все, кроме Толоконцевой, настроены антисоветски, но, потолкавшись в буржуазных странах, столкнувшись с белой эмиграцией, она живо почувствовала, как свежа и насыщена твор-

ческой бодростью атмосферы Союза по сравнению с полицейско-хищническим Западом.

Три рассказа—«Настя», «Косым ветром», «Полдень»—посвящены болезненному распаду семьи, столкновению нового быта со старым. Здесь автор прекрасно передает психологию женщины, более тяжело и остро переживающей кризис прежнего уклада. Автор склонен даже перегнуть палку—один из рассказов заканчивается излишне подчеркнуто, тенденциозно: «Всем свободу дали, а бабу и забыли».

Некоторую долю тенденциозности Рунова вообще вносит в свои произведения, это иногда их портит. Правда, тенденции ее искренни, они «прут из нутра», подсказаны сердцем, но хотелось бы все же большей внутренней свободы у художника, большего чувства художественной меры, меньше риторических рассуждений и морализирования.

Следует указать и на чисто стилистические недочеты Руновой, едва ли допустимые для квалифицированного писателя с большим стажем. Надоедлив и неубедителен метод повторных слов: «все работала, работала», «ждала, ждала, ждала», «его все нет, нет слухов о нем, нет и нет» (это все из одного только рассказа). Порой вкрадываются в язык Руновой канцелярские обороты речи («этим последним качеством очень гордилась») и просто неуклюжие, непонятные («заведующий накрыл на Пахома», «в драку сушили одежу»). Сомнительно достоинство и такой, например, фразы: «женщины готовились схватиться друг с другом за самый лучший кусок на свете—за любовь мужчины».

Г. Вяткин.

Арсений Альвинг.—«Наденька Артенева». Повесть. Московское товарищество писателей. 1927 г. Стр. 149. Цена 1 р. 10 к.

Действие повести развертывается в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия. Действующие лица—кающиеся дворяне, революционная студенческая молодежь. Героиня повести говорит: «теплой водички никогда не любила—или холодная вода, или горячая». Но этому трудно поверить, ибо вся книга—сплошная теплая водичка розового (не красного) цвета. Представленные автором дворянские дочери и сынки—полны ума, чистоты и благородства и думают только о том, как бы «просветить сознание масс народных, тьму и невежество рассеять, чтобы расправил народ русский онемевшие в бездействии подневольном мускулы свои и природные богатства ума и сердца своего ко благу своему и всего человечества направил». В таком приподнято сентиментальном «старинном» стиле написана вся книга, не свободная ни от исторической, ни от психологической фальши. Неудачная книга.

Г. Андр.

Иосиф Уткин, Александр Жаров, А. Безыменский.—«Красивой девушке». Стихи. Молодая Гвардия. Москва. 1927. Стр. 62. Цена 50 к. Тир. 5.000 экз.

Когда на последней сессии ВЦИК обсуждался новый проект закона о браке и семье, А. Безыменский опубликовал очень приподнятые стихи:

«О, любящие, в строй! Все будьте наготове!
Пусть грянет стук сердец, как барабанный стук!».

Далее поэт выразил протест возмущения по поводу возможного ограничения женщины ярмом «законной любви»:

«Иным мила кровать, но не мила расплата.
Так двиньте же вперед все пушки ваших мук,
Чтоб не была ярмом и знаменем разврата
Штампованная честь супругов и супруг».

Д. Рязанов в 3 книжке «Летописи марксизма» пишет по этому поводу: «Фантазия наших поэтических «кур» и «петухов» выше кровати не подымается. Она в десятый год диктатуры пролетариата все еще беспомощно путается в вопросе о «праве на любовь». Извинение для Безыменского Рязанов видит разве лишь в том, что—«это мнение поэта, средне одаренного поэтически, но политически очень безграмотного», что он не имеет никакого понятия о программе партии, о действующем советском законодательстве, и что цитированное стихотворение больше подходит для «Бузотера».

В сборнике «Красивой девушке» стихи, не одобренные Рязановым, выпущены, но, как говорится, сила солому ломит, и поэт, отказавшись от одного плохого стихотворения, напечатал больше дюжины подобных же. Обращаясь к красивой девушке, Безыменский все так же твердо стоит на своем:

«Будет трудно,
Может, очень трудно,
Но—
Роди».

Уткин и Жаров не столь категоричны, они просто поют свободную любовь, не задумываясь об ее последствиях.

«Никакие вожжи не нужны!» восклицает в эротическом азарте Жаров и более или менее поэтично описывает ряд прелюбодеяний. А чтобы все-таки грандиозность предприятия не очень бросалась в глаза, певцы «звонкой, крылатой любви» перманентно подсовывают читателю разные хорошие слова: эпоха, бюро, совхоз, Энгельс, Бухарин, КИМ.

«Я вижу, вижу твой активный взгляд!»
(Жаров).

«Я вижу, вижу твой активный взгляд!» аккомпанимент воспоминаний о Перекопе и вообще все время дает понять, что автор (или герой стихотворений) в высокой сте-

Г. Вяткин

пени не чужд революции. Он принимает выгодные армейские позы и, тщеславясь ранами, задает женщине риторические вопросы:

«Что же дали вы эпохе,
Живописная лахудра?»

К сведению читателя: по Далю, лахудра—это женщина ниже проститутки. Поэтическая тройка мало церемонна, она вяжет и развязывает с легкостью необыкновенной. Безыменский, напр., пишет:

«Чужую я с дороги нашей
Брошу прочь, как сорную траву».

Спрашивается, какую чужую? За что? Почему? Откуда это у людей подобное чувство превосходства над всеми, кто не «наш»?

С точки зрения формальной, творчество мэтров нашей «левой» поэзии строится столь же ретроградно, как и идеология. Преобладающая рифма несложной схеме: «кровь—морковь—любовь», ритмы—барабаннейшие, захудалые, словарь—убогий, новшества—мало вразумительные. Уткин, напр., предлагает неологизм «прошлость»! Протаскивает контрабандой местечковый жаргон: «Если вам уж (?) неизвестно, разрешите я замечу». Пишет просто безграмотно: «Расчетливость сменит беспечность». Кто кого сменит?

В итоге с еще большим основанием можно цитировать Рязанова: «Нет ничего смешнее наших глупеньких певцов «права на любовь», когда они в своем поэтическом или политическом экстазе воображают, что они поют какие-нибудь новые песни». «Современные Тиртеи, ведущие «на приступ за право на любовь полки сердец и глаз», все время болтая, в простой или рифмованной прозе о пролетарской культуре, в действительности созерцают только «заднюю» пролетариата» («Летопись марксизма», III).

Для справедливости можно бы отметить два-три удачных сравнения, даже две-три целых пьесы, но это уже мелочи, не стоящие труда. За пределы порочного круга пошлости и недомыслия пробивается стихотворение Жарова—«Подруги». Поэта как бы начинают мучить угрызения совести:

«Так пусть лицо сожжет горячий стыд,
Когда подчас, шутя и лицемеря,
Не замечаем горечи обид,
В глаза подруг
Глядя глазами зверя».

Появление стыда—это уже начало очеловечивания зверя.

Е. Титов.

Шкловский В.—«Техника писательского ремесла». Изд. Молодая Гвардия. М.-Л. 1927. 72 стр. Тир. 5000 экз.

Шкловскому удалось не потерять из виду читателя. Книжка написана просто, хотя затрагивает довольно сложные вопросы «писательского ремесла». Технический подход к теме твердо выдержан. Никаких мудрствований об искусстве, вдохновении, интуиции и тому подобных вещах. Читателю подается подлинное ремесло, в роде руководства кройки и шитья.

Небольшая книжка состоит из введения и пяти глав: газетная работа, сюжетная проза, выбор и разработка сюжетной схемы, развертывание произведения, несколько слов о стихе. Куча прекрасных советов и остроумных наблюдений. Видно, что пишет мастер литературоведения и хороший писатель. Книжке предстоит «работа», по ней будут учиться. Надо почистить текст и, может быть, некоторые «идеи».

Прежде всего язык. Можно подумать, что автор не читал корректуры. «Посмотреть, где завязка произведения, с чего начинается история, развитие которой представляет ту (?) пружину, ведущую весь роман» (8). «Чтобы она оказалась бы (?) способной» (32). «Но если мы видим неожиданное разрешение этого рассказа, то вещь получится какой-то (?) разрешенной (34)» «Писать... можно научиться, но не нужно (68). «Стихи, которые тем не менее мало популярны» (нет сказуемого). «Ничего хорошего писать не придумаешь». Мысль о том, что надо сознательно читать, повторяется дважды почти в тех же выражениях (7, 14).

Определение стиха на стр. 66 путанное: что повторяется много раз—слова или способ их расположения и систематизации? Очевидно, не слова, но этого из конструкции предложения не видно.

Шкловский ошибается, заверяя, что для писателя необходимо «давление времени». Одно дело—«давление» формы и материала, другое—времени. Если время человеку в тягость, он все равно ничего хорошего этому времени не даст.

Редакции бросают в корзины не всегда то, что нужно.

Достоевский писал лучше Тургенева, конечно, не потому, что меньше зарабатывал.

Почему нашим современникам не у кого учиться? Что наша страна похожа на завод с брошенными станками, это—не философия эпохи, а кукиш в кармане. В слово «учиться» (стр. 12) Шкловский вкладывает два значения: учиться у человека и учиться по книгам. Но у нас есть и книги, и люди. Была бы охота работать.

Совершенно ясно также, что чем бы человек ни занимался, а раз он хочет научиться писать, он должен учиться писать. Надеяться, что уменье придет само—это фатализм, против которого сам же Шкловский борется. Годы «молчания» у Блока, Фета и т. д. надо еще доказать. Скорее всего, что творчество определяется, главным образом, тем, как мы проводим время до момента творчества. «Писать нужно тогда, когда есть о чем писать»,—это верно. Но не верно, что надо ждать, пока «набежит тема». Дело не в набегании тем, а в умении и способности

находить их; наконец, даже в «расположении» к теме. Но это как-раз то, чего «техник» Шкловский не желает касаться, без чего в то же время книга о писательском ремесле остается недописанной. Буденный побеждал не потому, что сумел изменить тактику боя, а потому, что знал, за что дерется. С одной техникой ремесла, без учета заданий и смысла эпохи, без собственного отношения к эпохе все равно «ничего хорошего писать не придумаешь».

Е. Титов.

II.

Н. Герасименко.—«Батько Махно». Гиз. 1928 г. Стр. 110. Ц. 70 коп.

До настоящего года, можно сказать, в русской исторической литературе не было работы, которая осветила бы добросовестно то крестьянско-анархическое течение, которое играло на Украине громадную роль в гражданской войне и которое известно под названием махновщины. Брошюра Я. Яковлева «Русский анархизм в великой русской революции» представляет конспективную работу и далеко не охватывает всех сторон махновщины. Статья А. Воронского (в сб. «На стыке»). «Из одного дневника» касается разбора захваченного в бою дневника Феодоры Гаенко, которую автор статьи называет женой Махно (мы затрудняемся назвать Гаенко постоянной женой Махно, скорее всего, она—одна из ударниц, буйных натур, ищущих приключений под черным знаменем батьки). Выпущенная в Берлине книга сподвижника и учителя Махно П. Аршинова—«История махновского движения»—полна лжи и клеветы на советскую власть. Сам Махно, в противоположность прочим суб'ектам, возглавлявшим группы контрреволюции всех мастей и оттенков, до сих пор не выпускает ни воспоминаний, ни мемуаров, ни дневников. И только совсем недавно, в начале т. к. года, в изд. «Прибой», вышла обстоятельная работа М. Кубанина—«Махновщина». В этой работе дано социологическое обоснование махновщины, тщательно рассмотрены ее пути и перепутья и детально выяснены идеологические ее корни.

Книжка Герасименко представляет из себя для читателя интерес, как дополнение, как иллюстрация к работе Кубанина. Представляя из себя извлечение отдельной статьи из эмигрантского берлинского сборника «Историк и современность», она, естественно, не может быть приемлема для нас в той части, где автор пытается дать оценку происходившим событиям.

Прежде всего, эта книга знакомит хорошо читателя с личностью самого главаря анархо-бандитизма:

«Небольшого роста, с землисто-желтым, начисто выбритым лицом, со впалыми щеками, с черными волосами, падающими длинными прядями на плечи, в суконной черной пиджачной паре, барашковой шапке и высоких сапогах—Махно напоминает переодетого монастырского служку, добровольно заморившего себя постом. По первому впечатлению, это—больной туберкулезом человек, но никак не грозный и жестокий атаман, вокруг имени которого сплелись кровавые легенды... Махно — человек воли, импульса, страстей, которые бешено кипят в нем и которые он старается сдерживать железным усилием»*)...

Правда, автор много легенд выдает за вполне достоверные факты, как, напр., пресловутая женитьба Махно на «красивой, интеллигентной, из богатой семьи, курсистке, прекрасной музыкантше и очаровательной собеседнице» Соне, которую попы, по желанию Махно, перекрестили в Нину. Женитьба эта—несомненная легенда, так же, как легенда и то, что Махно—бывший учитель. Хорошо рассказано о боевой тактике Махно, сводившейся к быстрому маневрированию своих сил, неожиданным нападениям на противника короткими, но сильными ударами. Хорошо рассказано о той политической игре, которую вел Махно с царскими генералами, с Петлюрой, с Григорьевым и с Красной армией. Эта политика состояла в заверении союзника в непреложной верности для того, чтобы предать его в критическую минуту самым наглым провокационным путем. И только одно советское командование поняло и истинную суть военной тактики Махно, и настоящее лицо его предательско-дипломатических махинаций, о чем Троцкий писал еще в момент совместных действий с Махно. Наряду с фигурой самого Махно в книге нарисованы и его главные сподвижники: теоретик анархизма, видный оратор, редактор махновских газет Волин, безумно храбрый Петриченко, который обыкновенно во время боя, переодевшись офицером, проникал в ряды противника, завладевал пулеметом и на близкой дистанции уничтожал людей неприятеля, красавец-матрос Лященко и страшный комендант Кийко.

Несмотря на ряд недочетов, которые отчасти раз'ясняет в предисловии исто-

*) Насколько Махно обладал личными качествами, необходимыми для партизана (выдержкой, хладнокровием, беспощадностью, хитростью), можно видеть из приводимого А. Толстым в романе «Хождение по мукам» («Новый мир» № 1 1928 г. Стр. 162-3). Нападения Махно на имение гетманского магната Миргородского, когда «батько» один, переодетый в форму полицейского офицера, явился на свадебный пир к магнату и в упор расстрелял находившихся на пиру германских офицеров.

рик Щеголев, книга читается с большим интересом. Автор—ненавистник советской власти, но все же и он вынужден, «отдавать должное советскому командованию» в борьбе с Махно, с которым не могли справиться ни такой же, как и сам Махно, бандит-генерал Шкуро, ни губернатор Щетинин, ни генерал Вицентьев, ни блестящий тактик генерал Слащев, который в конце-концов, стал неравнодушным к Махно и заявлял, что его мечта—сделаться вторым Махно. И только Красная армия очистила юг России от банд махновщины, а самого батьку, измученного и израненного, загнала за рубеж Советского Союза, где он и обретается сейчас на одинаковом положении с автором рецензируемой книжки.

А. Низовцев.

«За десять лет». Кузнецкий округ к десятой годовщине Октябрьской революции. 1917-X-1927 г. Щегловск, приложение к газете «Кузбасс», 1927, 79 стр., экз. 5000.

Основную часть сборника составляет очерк Мих. Плотникова — «Борьба за советскую власть в Кузнецком округе». Этот округ составился из частей, которые в годы революции и гражданской войны тяготели к разным революционным центрам (Томск, Барнаул, Красноярск). Писать историю такого округа вообще трудно, особенно это трудно выполнить человеку, который совершенно незнаком с историей борьбы за власть советов в Сибири. Однако, М. Плотников за эту работу взялся и хотел ее выполнить по немногим, случайно попавшим в его руки, разрозненным архивным документам и отрывочным воспоминаниям «участников и очевидцев». В действительности же получился не стройный очерк, а механическое сцепление отдельных фактов и эпизодов. Автор не дал себе досуга даже познакомиться с литературой предмета. Он бы тогда увидел, что наиболее интересные собранные им факты и эпизоды (Кольчугинское восстание, восстание Кузнецкого гарнизона, белобандитское движение и др.), давным давно освещены в нашей исторической литературе и освещены куда лучше, чем это сделано в рецензируемом нами очерке. Плотников тогда бы понял, что его очерк, не дающий связного описания последовательного хода событий и критически не освещающий изложенные факты и эпизоды, не имеет права претендовать на «первую писаную историю борьбы за советскую власть» в Кузнецком округе.

Автор принял все воспоминания на веру и напечатал их без поправок. Его очерк пестрит, поэтому, многими неточностями, нелепостями, курьезами и странными мелочами.

«Любопытен, говорит автор, следующий штрих, рисующий характер банды (Новоселовской), шедшей «освободить» крестьян (в 1920 г.) от коммунистов. Бандиты на месте поражения бросили 7 женских юбок, 1 женское платье, шали, подушки, вязаные женские кофты и проч. Эти «трофеи» были переданы почему-то в Кольчугинский Райпартком».

Таких «любопытных штрихов», которые, правда, опубликованы впервые, в очерке много, но они не дают основания считать этот очерк серьезной исторической работой, а только подчеркивают, сколь неряшливо автор обращается с историческими фактами и как непристойно он смотрит на «историю» вообще. Можно только пожалеть, что редакция «Кузбасса» издала этот очрек.

Исправим, кстати, одну неточность другого порядка. Знакомя читателя с Кузнецком, автор, между прочим, говорит, что «одно время здесь отбывал ссылку известный писатель Ф. М. Достоевский». Это утверждение не соответствует действительности, в печати оно неоднократно опровергалось, пора, наконец, и М. Плотникову это знать.

Остальная часть сборника составилась из ведомственных статей, которые знакомят с развитием и состоянием промышленности и сельского хозяйства, а равно с историей профдвижения, здравоохранения, народного образования и кооперации Кузнецкого округа. Эти статьи носят сухой отчетный характер и пестрят статистическими таблицами.

Специальная статья посвящена нацменьшинствам. Мы узнаем, что в Кузнецком округе, который занимает площадь в 63.384 кв. километра с населением в 404.458 человек, нацменьшинства насчитывают 65.574 человека, а именно: шорцы 16.732 человека, украинцы—12.673, чуваши—12.239, мордовцы—9.688, белорусы—4.248, татары—4.669, телеуты—2.191, пермяки—683, зыряне—586, латыши—357, вотяки — 597, евреи — 22, поляки—737, эстонцы—94, другие национальности—68.

Степень и характер участия нацменьшинств в борьбе за власть советов до сей поры, к сожалению, почти не освещены.

В. Н. Ямин.

«Томские железнодорожники на путях к Советам». Воспоминания и очерки из истории союза железнодорожников Томской ж. д., с 1905 по 1927 г. г., Томск, изд. Дорпрофсожа Томской жел. дор., 1928 г., 92 стр., экз. 1.000.

На титульном листе сказано: «воспоминания и очерки», а обложка обещает даже «статьи». Однако, ни статей, ни очерков в сборнике нет, за исключением вступительной — «Томский Дорпрофсож к 10-ти летнему юбилею союза», в которой

М. Белл., на протяжении 15 страниц знакомит с успехами и достижениями Томского Дорпрофсожа во всех областях профсоюзного строительства. Во всем сборнике это единственная заслуживающая внимания статья. К сожалению, она охватывает период лишь с 1917 года, тогда как в сборнике, обещающем дать историю с 1905 по 1927 г., не мешало бы для увязки и цельности дать историю профсоюза именно с 1905 г. Но как бы то ни было, вступительная статья кое-что дает. Этого, однако, нельзя сказать об остальном материале, опубликованном в сборнике. Этот материал составлялся из воспоминаний «свыше 20 товарищей, непосредственных участников или свидетелей описываемого». Всего таких воспоминаний—38. Они, правда, расположены хронологически, но без всякого плана. Большинство воспоминаний носят случайный характер. Факты не проверены. Правдивость некоторых утверждений сомнительна.

Многие авторы, вспоминая тот или иной интересный исторический факт, ограничиваются порой только упоминанием самого факта, указанием времени и места, да перечислением участников. И, поэтому, есть такие заметки, которые абсолютно ничего не дают рядовому читателю. В общем все заметки—сырой материал.

В предисловии к сборнику Истпрофтран Дорпрофсожа Томской ж. д. говорит, что «необходимо продолжать работу по сбору исторического материала с таким расчетом, чтобы охватить все события на дороге», дабы впоследствии издать «более полный сборник воспоминаний», по которому «наше молодое поколение» могло бы изучить «полностью всю историю славной героической борьбы своих отцов, историю той борьбы, на алтарь которой на Томск. ж. д. было положено много жертв и погибло много славных и видных товарищей».

Такой сборник, несомненно, необходим. Необходимо также собрать весь уцелевший исторический материал и как можно больше воспоминаний. Но особенно необходимо весь собранный материал подвергать основательной и осмысленной переработке, а не преподносить его молодому поколению в сыром виде.

В. Н. Ямин.

III.

Юрцовский, Н. С. — «Современная Сибирь». Новосибирск. Сибкрайиздат. Ц. 75 к. 3.000 экз.

Хозяйственный под'ем и встающие в связи с этим колоссальные экономические и культурные задачи превращают знание и всестороннее знакомство с жизнью нашего края из академической обязанности краеведов в практическую необходимость для широкого круга работников в лице всего советского актива, руководящего социалистическим строительством. Однако, прежняя литература о Сибири либо устарела, либо «вышла в тираж», либо, наконец, по своим размерам и прочим условиям мало пригодна современному читателю, а новый литературный материал, затрагивающий «краевые проблемы», появлявшийся в периодических изданиях и разбросанный бессистемно в сотнях журналов, также мало доступен читателю и крайне неудобен для использования в качестве пособий. Поэтому решение Крайиздата выпустить по заранее задуманному плану серию книг, охватывающих прошлое, настоящее и будущее края и включающих в себе новейшую трактовку основных хозяйственных и культурных проблем, является как нельзя более кстати.

«Книги,—говорит издательство, — рассчитаны на краеведов, учащих школ I и II ступени, школьных библиотек и советский актив». И далее—«Издание в известной мере является конспективным..., дающим материал справочного характера».

Этим определяется цель издания, его общие рамки и самый круг читателей. Книга Юрцовского является первым выпуском этой серии, включающей следующие темы: 1. «История Сибири», 2. «Природа Сибири», 3. «Естественные богатства», 4. «Современная Сибирь», 5. «Население Сибири», 6. «Что читать о Сибири» и 7 «Что такое Тельбес».

Странным, прежде всего, кажется отсутствие темы об экономике Сибири. Но это недоумение почти рассеивается после прочтения книги Юрцовского. Под общим, растяжимым заголовком — «Современная Сибирь»—автор говорит именно об экономике края и об основных хозяйственных проблемах его.

В первой главе, после краткой исторической справки о возникновении Сибкрая, следует конспективное изложение принципов районирования и столь же краткая характеристика всего края в целом и его отдельных округов, «как административно-хозяйственных единиц».

Характеристика каждого округа представляет шаблонный перечень наиболее важных естественно-исторических или экономических признаков. Возьмем, к примеру, описание Омского округа: «Река Иртыш, магистраль в двух направлениях, на Челябинск и Свердловск. Степной характер. Исключительно сельско-хозяйственное направление в экономике округа. В южной части имеются киргизы, почти целиком перешедшие в оседлое состояние. Крупные товарные излишки от хлебопашества, маслоделия, промышленная

обработка сельско-хозяйственной продукции» (стр. 9).

В предисловии оговорена неизбежная «неполнота очерка». Все же представляется весьма сомнительным, чтобы столь общее описание помогло читателю действительно узнать современную Сибирь. Без всякого риска загромоздить сборник, можно было бы дать цифровую характеристику соотношения с.-х. культур, полеводства и животноводства, виды последнего, а также перечислить хотя бы главнейшие фабрично-заводские предприятия. В Омском округе, например, если взять предприятия с количеством рабочих от 50 и выше, то промзаведений наберется до 30. Автор ни слова не говорит об этих предприятиях, не приводит ни единой цифры.

«Хозяйственная жизнь Ачинского округа,—говорится на 7 странице,—определяется, главным образом, с. хозяйством». А что идет за этим «главным образом», об этом читателю предоставляется возможность догадываться, хотя книга «носит справочный характер».

Особенно замечательна в этом смысле фраза: «Населенность значительная» (стр. 10. Бийский округ). Что значит значительная и незначительная? в сравнении с чем?

Такая крайне неудачная, ничего не говорящая характеристика округов, как «административно-хозяйственных единиц», об'ясняется, конечно, тем, что вопрос о районировании сам по себе представляет очень сложную и важную проблему, и потому его отнюдь не следовало втискивать короткой, куцой главкой в брошюру.

Далее идет описание типа старого сибирского города, служившего раньше средоточием чиновничьей администрации и купечества, и города «нового времени», т.-е. города после проведения Сибирской магистрали, ставшего центром культурной и экономической жизни страны. Закономерность перемещения экономических центров—падение старых и расцвет и возникновение новых городов—автор об'ясняет появлением ж.-д. пути, перемещением грузовых потоков и появлением новых форм хозяйственной деятельности, которые, естественно, тяготеют к узлам и скрещениям новых путей, и, наконец, падением относительного значения таких промыслов, как золотопромышленность, горное дело и т. п., служившие раньше базой расцвета прошлого Енисея, Барнаула и т. д.

Вторая глава брошюры посвящена «важнейшим проблемам» хозяйства Сибирского края: колонизация, транспорт, плановое начало и процесс обобществления.

«Основным этапом колонизации,—говорит Юрцовский,—до последнего времени являлся и является тип сельско-хозяйственной колонизации с полеводческим уклоном»... «но уже в последние довоенные годы этот тип встречает серьезные сопротивления. Легко усвояемые хлебопашцем земли исчерпаны, в дальнейшем колонизация должна стать промыслово-земледельческой или земледельческо-промысловой» (Стр. 19, абз. 4-7).

Конечно, такая сплошная постановка вопроса не совсем верна. Надо диференцировать районы. Но предрассудок насчет неисчерпаемых сибирских земельных богатств должен быть рассеян. Земли надо освоить, переселенцев надо обеспечить, а на все это нужны время и средства, отсюда необходимость регулирования переселенческого движения. Что же касается типа колонизации, то по отношению к незаселенным, еще вовсе таежным, болотным и приречным районам, автор безусловно прав; здесь ориентация только на земледелие была бы явно безнадежным делом. Наоборот, умело направленная колонизация с промысловым уклоном, взятая под бдительный контроль краевых органов, обещала бы в ближайшем десятилетии блестящее будущее ныне мертвым просторам Нарыма и Туруханского края. То же относится к южным частям края, где возможно успешное развитие культурного животноводства, свеклосеяние и т. д. Во всяком случае верно то, что Сибкрай еще долгое время будет огромным аккумулятором, вбирающим в себя избыток населения европейской части СССР.

Транспорт—артерии страны*). Без достаточно густой сети железных дорог, водных или шоссейных путей при беспредельности сибирских расстояний нечего и думать о серьезном экономическом процветании. Единственная магистраль не сможет поглотить огромный товарный поток. Водные пути, даже если будет устранена их нынешняя разобщенность, по условиям короткого навигационного периода, не могут вывести из положения. Надо построить северную сверхмагистраль для продвижения мощного потока продукции будущих лесообрабатывающих химических заводов и сверхмагистраль южную—для сибирского хлеба, угля, мяса и животных жиров. В книге приводится ряд основных соображений по поводу различных проектов ж.-д. строительства и взвешиваются аргументы за и против. Пока же констатируется только одна строющаяся магистраль—Сибтуркстрой.

Степень обобществления хозяйства Сибирского края автор иллюстрирует рядом цифровых показателей по отдельным отраслям народного хозяйства: промышленности, торговли (госкооперация и частн.) и сельскому хозяйству. Цифры взяты до 27 года включительно.

*) Кстати, более чем странно—почему это Юрцовский (стр. 21) приписывает авторство в сравнении сети транспорта с кровеносной системой организма—Огановскому? Об этом давно еще сказал Спенсер, а за ним повторяют все «органисты».

На стр. 29 автор заявляет: «Частный капитал целиком владеет ремесленно-кустарной промышленностью, но эта исключительная роль частного капитала в мелкой кустарной промышленности не представляет особого интереса» (!? К.), ибо, как думает автор, «это не создает опасений за судьбу коллективизации сибирского хозяйства».

Всякий человек, знакомый с азами экономической науки и с современной советской экономикой, понимает, что в наших условиях частный капитал, взятый в жесткие рамки контроля и наблюдения со стороны налоговых государственных органов, естественно стремится найти себе такую область приложения, где его наиболее трудно поймать, учесть, сосчитать. Кустарная промышленность вообще и сибирская в частности—есть одна из этих «темных» областей орудования частника. Капитал здесь выступает то в роли скупщика произведений кустаря, то в роли поставщика сырья и машин. Ему обеспечено огромное накопление (См., например, предисловие к сборнику «Частный капитал в народном хозяйстве». Матер. комисс. ВСНХ СССР, изд. 27 г.). И если это еще не создает «особых опасений» за судьбу коллективизации, то, во всяком случае, при рекомендуемом Юрцовским отношении к кустарям, мы обеспечим частнику отличные барыши, которые другим концом ударят по социализму. На самом деле это мнение принадлежит одному т. Юрцовскому, и партия, и власть прекрасно учитывают роль кустаря при слабости нашей обрабатывающей промышленности и то, какую здесь может сыграть роль частник; поэтому и дан лозунг форсировать кооперирование кустарей, чтобы вырвать их из рук частника. К сожалению, кустарь в сибирском хозяйстве остался за пределами рецензируемой книги, хотя трудно представить себе лицо современной Сибири без знакомства с ее кустарной промышленностью, ее видами, ее удельным весом.

Плановое начало, по мнению Юрцовского, до последних лет имело один недостаток: «Они (планы. К.) брали хозяйственные элементы вне связи с хозяйством края (!?) и Союза в целом» (стр. 31). Здесь автор по свойственной ему «колоритности»*) стиля говорит не совсем то, что думает. Очевидно, речь идет о недостаточно полной увязке между различными отраслями в прошлых планах. Новый же, так называемый, генеральный план реконструкции сибирского хозяйства отличается тем, что «все хозяйственные части в нем гармонично связаны между собой» (стр. 32).

Действительно, нынешний генплан является первым и большим достижением в деле плановых расчетов. В основу его легла идея индустриализации, и в нем сделана попытка наметить пути такого развития народного хозяйства и такого координирования различных частей его, чтобы, вместо комплекса отдельных более или менее независимых производственных отраслей или единиц, подойти к организации «мощных промышленных комбинатов».

Касаясь современного кризиса сибирского сельского хозяйства, т. Юрцовский правильно указывает на его причины: «исторически обусловленная экстенсивность сибирского земледелия, хищничество в связи с ростом хлебного вывоза, связанный с этим процесс уменьшения корма, падение животноводства и т. д.». Пути выхода—правильный севооборот, травосеяние, революция в животноводстве.

Автор далее посвящает несколько страниц вопросу о дальнейших судьбах сельского хозяйства. Здесь хотелось бы отметить одну весьма характерную черту—это исключительно агрикультурный подход к проблемам сибирской деревни. Но **агрикультура «вообще»** в любых условиях, в том числе и в советских, есть синоним **капиталистического** прогресса. В действительной нашей деревенской практике любой вопрос, будет ли то поднятие урожайности или землеустройство, улучшение производства сибирского масла, так катастрофически отступающего перед датским, или вопросы свиноводства—все равно мы сталкиваемся с социальной классовой дилеммой: **в каких общественных формах пойдет это улучшение?** Будет ли это улучшением кулацких капиталистических хозяйств, которые попытаются, опираясь на образуемую, благодаря высокой производительности, относительную прибавочную стоимость, сорвать социализм или эти агрикультурные мероприятия будут сопровождаться классовой политикой подавления и ограничения аграрного капитализма. Это не только «политический момент», необходимый литератору для сохранения коммунистического целомудрия и ортодоксальности, но и глубоко практический злободневный вопрос. Между тем, ни в главе о путях с. х., ни в разделе об обобществлении об этом ни слова, если не считать упоминания о колхозах, как об очень недурных вещах, «вообще говоря».

Последняя глава посвящена индустриализации Сибири.

«Нужно быстро накопить капиталы для хозяйственного строительства... капиталы даст экспорт, но не тот экспорт, который ведется сейчас, а тот, которому «предшествует индустриализация сельского хозяйства» (стр. 53).

Значит, пока нет того экспорта, который «дает капиталы», надо выжидать? По формулировке автора, как будто бы получается именно так, получается круг. На деле и автор так не думает. Опять виноват стиль, по вине которого «экспорт (т.-е. вы-

*) Своеобразные стилистические «аномалии» см. 17, 1 абз.; 18, 29 и др.

воз. К.) ведется», хотя лучше будет сказать «экспорт нынешний».

Суть же затронутого вопраса заключается в том, чтобы уже сейчас, в меру нынешних сил и возможностей, начать одновременно и улучшать экспорт и двигать индустриализацию. Это два взаимно переплетающихся и обусловливающих друг друга процесса. Юрцовский, хотя и дал не совсем складную формулировку, понимает, конечно, это обстоятельство и правильно указывает на основные стороны или вехи, по которым пойдет индустриализация.

1. Наш край изобилует лесными богатствами, а обработка лесных материалов прямо-таки мизерна. Занимая 26,6 проц. лесных богатств Союза, мы участвуем в общем вывозе Союза едва в 2 проц. Лесопромышленность у нас занята, главным образом, технической обработкой лесного сырья. Между тем, «зеленый уголь» при нынешних завоеваниях в области химии должен стать мощной базой заводов по химической обработке древесины. Таков путь развития сибирской лесопромышленности.

2. Сибирь—«золотое дно». «Где ни копни,—пишет Юрцовский,—найдешь золото» (стр. 59). Это специфически «отечественное» преувеличение все же имеет основанием действительные огромные золотые запасы, таящиеся в недрах Сибири еще неисследованными (недавно открытый Алдан!). Золотопромышленность по валютной ценности продукции много десятилетий еще будет важным фактором в народном хозяйстве края.

3. По запасам каменного угля Сибирь занимает одно из первых мест в мире. Мы имеем 81,3 проц. союзных запасов, но уголь пока в земле. Размер добычи—настоящие крохи по сравнению с возможностями. Но ближайшая перспектива сулит нашей угольной промышленности блестящее будущее.

Уральская промышленность, общий топливный дефицит европейской части СССР, развитие внутрикраевого рынка и, наконец, истощение мировых запасов угля—все это есть условия для быстрого и успешного развития нашей каменноугольной промышленности, и промышленности по химической обработке угля. Это третья ветвь индустриализации.

4. Богатство угольных запасов счастливо сочетается с наличием отличных железных руд, при чем «местные руды Сибири характеризуются удобным расположением в районах залегания лучших сортов каменного угля» (стр. 64).

При обширности внутренного рынка и связи с перспективой индустриализации металлургия Сибири в ближайшее десятилетие получит мощный толчок к расширению.

5. «До сих пор,—пишет Юрцовский,—ось обрабатывающей промышленности вертелась около сельского хозяйства. Сельское хозяйство или дает своим сырьем базу для производства, или своим спросом на продукцию вызывает к жизни самое производство» (стр. 68). Это, конечно, верно и в колониальной стране не могло быть иначе. Когда мы ведем речь о будущей тяжелой индустрии Сибири, то это отнюдь не значит, что исторически сложившиеся формы и виды промышленности будут нами заброшены, наоборот, восполняя экономические пробелы и строя новые отрасли производства, мы вместе с этим на базе уже достигнутого будем всемерно развивать отрасли по обработке сельско-хозяйственного сырья. И эта часть промышленности, по крайней мере, в рамках обозрения перспектив, все еще будет основной, превалирующей.

Автор упустил такую важную проблему, как вопрос о трудовых ресурсах края, т.-е. о рабочей силе для фабрично-заводской промышленности. Намеченный темп индустриализации неизбежно столкнется с недостатком прежде всего подготовленной квалифицированной силы и вызовет необходимость импорта ее из-за границ края. Размер и потребности в рабочей силе и способы решения этой проблемы представляют большой интерес, и «забыть» об этом в книге «Современная Сибирь»—значит сделать большой промах.

Мы исчерпали основные мысли рецензируемой книги. В трактовке поставленных проблем автор остается, за небольшим исключением, на официальной или общепризнанной в экономической литературе точке зрения, полемизировать по существу нет оснований.

Помимо указанных попутно с изложением содержания недостатков, хотелось бы еще раз подчеркнуть чрезмерную сжатость очерка. Брошюра дает общее (именно слишком общее) представление об экономике и экономических проблемах современной Сибири*). Но в брошюре не отразилось лицо конкретной хозяйственной действительности края, в ней нет хозяйства сегодняшней «современной» Сибири (может быть это будет содержанием особого выпуска?). А вводить в курс изучения Сибири, на что претендует выпуск, нельзя без более или менее подробного перечня всех отраслей производства с диференциацией цифровых показателей по отраслям и по районам.

Отметим еще, что цифровый материал, несмотря на изобилие, благодаря умелому подбору его автором, не утомляет и не мешает чтению. Еще лучше было бы систематизировать цифровые показатели в таблицы и диаграммы в виде приложенной в конце книги диаграммы соотношения Сибири и Канады. Не лишне было бы снабдить вы-

*) Более подробное изложение вопроса надо требовать от другой, ранее выпущенной издательством книги «Экономическая география Сибири». **Редакция.**

пуск хотя бы одной экономической картой с административными делениями.

В общем надо сказать, что первый выпуск столь нужной серии, несмотря на отдельные и существенные недостатки, выполнил (выполнит!) свои задачи почти удовлетворительно.

В скобках скажем издателям, что брошюрку в 74 странички продавать за 75 к.— немного грешно и не совсем дешево.

К. Кацаран.

Бюллетень Общества Изучения Края при Музее Тобольского Севера». № 1, октябрь—декабрь, 1927 г. Выходит один раз в квартал. 8°. 21 стр. Ц. 25 к. 300 экз.

Начиная с 70-х годов прошлого века и по сей день, в Тобольском культурном гнезде (пользуюсь термином Н. К. Пиксанова) идет деятельная жизнь. Все мы знаем краеведческие заслуги Тобольского Музея, знаем редкую по своей ценности тобольскую библиотеку, всем нам известны страницы «Ежегодника» Музея. Тобольское гнездо воспитало и выпустило не один выводок краеведческих сил.

«Ежегодник», к сожалению, не выходит с 1918 года. Отсутствие этого издания за годы революции заменялось последовательно: отдельными листовками и брошюрами, научно-популярным журналом «Наш Край», позже—журналом «Тобольский Край». Сейчас перед нами новая издательная попытка: скромный «поквартальный» бюллетень, задача которого—рассказать, как и чем живет тобольская краеведческая семья, и вызвать ослабевший книгообмен.

Просмотрите первую статью в бюллетене. **М. Копотилова**—«Краеведческая работа в Тобольском округе за период соввласти»—и вы убедитесь в широко и интересно развернутой работе, затрудненной в то же время преодолением необ'ятных пространств Тобольского Севера, его оторванностью, недостатком сил и средств. Общество и Музей—одно целое. Филиалы краеведческого об'единения работают в с. с. Обдорском, Шеркальском, Кондинском и г. Березове. Общество имеет 170 членов. Исследовательские силы дифференцированы по трем секциям, обозначающим в то же время основные направления работы: естественно-исторической, промышленно-экономической и культурно-исторической. Помимо этих основных, работали в составе об-ва секции: педагогическая, пчеловодная и кружок юных краеведов.

Каждая секция имеет свои положительные итоги работы в деле изучения орнитофауны, ихтиофауны, энтомофауны, северного оленеводческого хозяйства, рыбного и пушного промыслов, колонизации, полеводства, животноводства, кооперации, истории революционного движения и пр.

Исследовательские накопления дают возможность об-ву вести широкую консультацию для окружных и областных организаций по вопросам местного края и обслуживать запросы мест, а также делиться этими накоплениями по линии развития популяризаторской деятельности.

Научные экспедиции осуществлялись, благодаря ограниченности средств, в небольшом об'еме: было проведено всего две экспедиции.

Более конкретно о текущей работе об-ва говорится в помещенном далее кратком обзоре жизни секций за последние месяцы 1927 года.

В дни десятилетия Октябрьской революции, по инициативе и при деятельном участии Общества была устроена выставка «Тобольский округ за 10 лет».

Следующий раздел бюллетеня отведен кратким, но весьма ценным статьям естественников.

К. П. Самко.—«К познанию энтомофауны Тобольского округа» (этой статьей автор приступил к публикации фаунистических списков на основании материалов Музея и своих личных сборов); **Б. Г. Чаликова.**—«К распространению некоторых представителей ихтиофауны бассейна реки Оби» и **М. Тарунина.**—«Интересные орнитологические находки в Тобольском округе (зеленушка, синехвостка, рыжебокая и осоед).

Заканчивается бюллетень некрологом виднейшего исследователя Тобольского Севера А. А. Дунина-Горкавич, умершего 9 января 1927 года.

Нужно ли говорить о том, что всякий сибирский краевед будет обрадован выходом тобольского бюллетеня и будет ждать его роста. И не только роста, но и превращения в привычный для нас «Ежегодник».

П. Казаринов.

«Туркменоведение». Ежемесячный журнал историко-краеведческого комитета при ТуркменЦИК'е. 1927 г. № 2-3, октябрь-ноябрь. Ашхабад. 4°. 64 стр. с иллюстрациями. Цена 75 коп.

«Луна взойдет—мир это увидит». Этой туркменской поговоркой увенчан, как эпиграфом, молодой журнал. «Луна» Туркмении взошла всего три года тому назад, когда среди дехканских полей, знавших в течение нескольких веков лишь стоны чигирей и благочестивые молитвы правоверных, возникла Туркменская республика. Лишь с 1925 года появляется эта республика в системе Советского Союза, и начинается лихорадочная стройка на всех фронтах еще первобытного хозяйства и культуры.

Десятая годовщина Октябрьской революции застала Туркмению уже с некоторым запасом новых достижений. Учету этих достижений и выявлению успехов местной

краеведческой мысли посвящен новый журнал.

Прежде всего отражены в нем вопросы состояния народного хозяйства (статья «Туркмения к 10-ти летию Октября») и первые его контрольные цифры. Цифры эти говорят о развивающемся «завоевании водой» туркменского хлопка (по простой местной формуле: «хлопок—это вода плюс пшеница»). Вслед за ирригацией—урожайность. Вслед за урожайностью—развитие местной промышленности. В цепь явлений туркменской экономики также грубоко входит другой вид сырья—шерсть.

Цифры двинулись: «если проследить за движением бюджета отдельных дехканских хозяйств, то мы ясно увидим, что дехкану лучше и сытнее стало жить за первые же три года существования республики».

Рядом с этим ощутительны достижения и на фронте местной культуры (статья—«Просветительная работа в Туркмении к 10-ти летию Октября»). На смену еще недавним мектебам (школам при мечетях), где обучали арабскому и персидскому языкам для чтения корана и откуда была изгнана арифметика, пришла советская школа. Если в дореволюционное время число начальных школ в Закаспии, Бухаре и Хиве не достигало сотни, то цифры 1926-27 года дают для Туркмении 857 школ, включая сюда и школы массового обучения взрослых.

Такими же положительными являются достижения в деле здравоохранения (статья—«Здравоохранение Туркмении») и в начавшихся реформах правового быта: борьба с многоженством, калымом, кайтармой (статья—«Что дал Октябрь туркменской женщине»).

Кроме этих обзоров, мы находим в журнале и ряд других интересных работ.

В отделе руководящих и методических статей помещены две работы **Поцелуевского:** о собирании туркменского фольклора и программа фенологических наблюдений в ТССР. Обе программы умело учитывают местные условия.

Значителен по об'ему, но в значительной части слаб в научном отношении отдел «исторический». Начальные стадии исторических изучений дали обильный, но еще сырой материал.

Здесь мы находим публикацию документов из Цуардела, программу курса или руководства по истории Туркмении (названа эта программа почему-то «вопросником») и два исторических очерка **Иомудского** и **Романова.** Статью Иомудского сама редакция вынуждена была оговорить, как «упрощенный» очерк истории революционного движения в Туркмении.

Ряд недоумений вызывает следующий отдел журнала, названный «Человек и природа Туркмении». Здесь механически об'единены совершенно разнородные статьи. **Овезбаев** в статье «Сквозь тьму веков к новой культуре» дает запись нескольких «песнопений» старого мусульманского мира». Автору следовало бы отказаться от собственной обработки этих «песнопений» и не помещать особого к ним введения, написанного совершенно малограмотно. Это явный недосмотр редакции.

В этом же отделе рядом с «песнопениями» мы находим два дельных очерка—«Из санитарных проблем Туркмении» и—«Роль верблюжьей колючки в борьбе с бескормицей».

В последнем отделе—«Дневник туркменоведа»—помещена заметка проф. **А. Н. Самойловича,** в которой он делится впечатлениями о полуторых месяцах пребывания его экспедиции в Туркмении, и тяжело написанный очерк **А. Корелина** о туркменском государственном музее.

Книжка заключена библиографией, где, наряду с несколькими рецензиями опубликован список краеведческих статей, помещенных в газете «Туркменская Искра» за 1925 год.

Мы указали ряд шероховатостей в структуре журнала. Это не в укор ему. Журнал молод, он еще не успел литературно сформироваться.

Налицо—живая творческая сила и энергия. Они преодолеют и выровняют дальнейший путь. Шлем товарищеский привет «Туркменоведению» и желаем ему успеха и расцвета.

П. Казаринов.

«Работы кружка юных краеведов при Владивостокском Отделе Гос. Русск. Геосток. 1927. 28 стр. (Владивостокский Отдел Русс. Географ. О-ва). 45 к. 500 экз.

«Идя навстречу назревшей общественной потребности, Владивост. отдел РГО приступил к изданию работ кружка юных краеведов»,—так сказано в небольшом предисловии к рецензируемой книжке.

С удовлетворением отметим этот хорошо выбранный шаг научного общества. Наши отделы географического о-ва находят и осуществляют новые пути живой краеведческой работы.

Сборник составлен разнообразно. Здесь представлены и впервые пробующие свои силы юные краеведы, и их руководители—опытные научные работники.

Первая статья С. Яковлева—«Война» (из жизни морских птиц на севере Д. Востока)—образно рассказывает о борьбе пернатых (люриков-старичков и топориков) за обладание скалами у входа в Авачинскую губу. Статья, очевидно, предназначена для наибольшей популяризации журнала среди юных натуралистов.

Следующая статья носит инструкционный характер: Г. У. Линберг—«Способы лова и собирания рыб». Для работ собирателей,

ихтиологов приморского района такие указания весьма нужны. Кратко, но обстоятельно, автор излагает методы сохранения рыб, правила этикетирования, способы ведения дневника и приводит программу наблюдений биологии и промысла (заимствована из трудов Комиссии Академии Наук по изуч. оз. Байкала, 1922 г.).

Такой же инструкционный характер носит далее помещенная статья И. В. Попова—«Сбор растений и составление гербария» (статья не окончена).

Близкой к этим темам и дополняющей первую из них является работа А. Таранец—«Рыбы речки Кедровки». Автор хорошо овладел методом изучения и выполнил исследование под наблюдением руководителей кружка.

Интересную и уже давно поставленную тему взял А. И. Разин, доказывающий в особой статье сборника «практическую роль археологии» (палеоэтнологии?).

Вряд ли эту науку следует особо оправдывать практически только для того, чтобы призвать молодых краеведов к занятиям ею. Отдельные доводы при этом являются несколько скользкими. С автором так и случилось в отдельных частях его работы. Таково указание важности изучать топографию древней «командующей стоянки» для современной стратегии. Таково же предположение автора о том, что доисторическая стоянка может явиться показателем современного нам морского промыслового района.

З. Н. Матвеев поместил в сборнике указатель «Инструкционно-методической литературы о Дальне-Восточн. крае и Сибири». Приведено 42 названия отдельных работ.

Перечень этот, конечно, не исчерпывающий даже для ДВК, но указано в нем все же все главнейшее, изданное за годы революции.

Не касаясь изданий ранее 1914 года (их нет в списке), укажем некоторые из замеченных нами пропусков, при чем ограничимся естествоведческой литературой:

Колосков П. И.—«К методике наблюдений над температурой почвы». Благовещенск. 1925 г., 23 стр. (Д.-В. Областное Метеорологическое Бюро).

Оленин А. П.—«Инструкция для собирания рыб, земноводных и пресмыкающихся». Благовещ., 1914 г., 16 стр. (музейная комиссия Амурского Отдела О-ва изучения Сибири и улучшения ее быта).

Замошников Б.—«Сорно-полевая растительность в районе р. Ундурги». С приложен. крат. инструкции по изучению сорн.-полев. растительности. В книге—«К краеведным работам в Забайкалье», изд. Заб. отдела РГО, Чита, 1926 г., стр. 5-37.

Софронов И. Фауна грызунов в районе Ивановско-Арахлейских хуторов. С приложен. крат. инструкции по коллекционированию (Там же, стр. 38-49).

Не указан ряд фенологических программ, изданных на Д. Востоке и в Бурятии.

Эти и подобные им пропуски не умаляют весьма ценной работы З. Н. Матвеева тем более, что она является первой у нас в Сибири библиографической сводкой инструкционно-программной литературы.

Сборник, скажем в заключение, производит хорошее впечатление. Необходимо желать появления в свет и следующих выпусков.

П. Казаринов.

Сумгин М.—«Вечная мерзлота почвы в пределах СССР» (С иллюстр. в тексте и 2 картами). Изд. Дальневосточ. Геофизич. Обсерватории НКЗ. Владивосток, 1927. XV. 372 стр. Цена 3 р. 50 к.

Появление в печати сводки материалов по изучению «вечной мерзлоты» почвы с критической их оценкой—очень большое событие в области геофизики и в частности в отношении климатического изучения Дальневосточной окраины Союза и восточной части Сибирского края.

Автор книги, посвятивший много своего труда изучению затронутого вопроса, уделяет значительную часть книги разбору мнений других авторов.

История изучения вечной мерзлоты освещена, начиная со второй половины XVII века. В книге имеется перечень всех пунктов с вечной мерзлотой, при чем они подразделены на 4 группы: 1) с указанием на глубину летнего протаивания зимней мерзлоты (68 пунктов); 2) с общими указаниями на вечную мерзлоту (18 пунктов); 3) с несомненными указаниями на вечную мерзлоту (298 пунктов) и 4) добавочная группа в бассейне р. Бодайбо (22 пункта). К главе второй приложены: карта распределения пунктов с вечной мерзлотой и схематическая карта вечной мерзлоты по типам ее геофизического распространения. Наиболее животрепещущему вопросу о температуре вечной мерзлоты уделено очень значительное место. Здесь, главным образом, использованы материалы исследований в Амурской губернии (особенно по станции Бомнак), затрагиваются также наблюдения на Новой Земле, в Сагастыре, Якутске и Туруханске. Освящаемый попутно вопрос о влиянии на промерзание почвы снегового и растительного мохового покрова придает главе III труда более общий интерес.

Касаясь вопроса о происхождении вечной мерзлоты, автор склоняется к тому заключению, что мерзлота обязана происхождением не современному климату, а является результатом климатических условий отдаленного (геологического) прошлого.

Гидрологический режим в условиях мерзлоты получает освещение в одной из глав труда М. И. Сумгина. Непроницаемость мерзлой почвы делает характерным для

районов мерзлоты явление речных «наледей»—выхождение воды на реках поверх льда, достигающих в районах с мерзлой почвой до нескольких сот квадр. километров, и явлений грунтовых наледей, способствующих появлению бугров, измеряемых десятками и сотнями кв. метров.

Практическое значение вечно мерзлой почвы для жел.-дор. строительства и возведения гражданских сооружений иллюстрировано рядом примеров из истории постройки Амурской жел. дороги.

В области сельско-хозяйственной практики особенно важно залегание верхней границы мерзлоты и ее колебание. Здесь находит себе отражение «тепловая мелиорация», т.-е. искусственное воздействие на изменение теплового режима в верхнем слое почвы.

В результате изложения вопроса о вечной мерзлоте автор выдвигает мысль о необходимости стационарного исследования вопросов, связанных с вечно мерзлой почвой. Для этой цели необходимо устройство специальной опытной станции по изучению вечной мерзлоты. По предварительным печатным работам по этому вопросу намечается организация такой станции в Тыган-Уркане, Амурской обл. (54°05 сев. шир. и 124°46 вост. долг.). Для работ станции автором предлагается программа-максимум и минимум.

Заключительная глава посвящена вопросу о музее-холодильнике. Здесь выражена оригинальная мысль об использовании вечно мерзлой почвы для сохранения на неопределенно долгое время образцов современных организмов: людей, животных, растений. Этим музеем впоследствии могли бы пользоваться люди, спустя долгое время после современного периода. Музей сохранил бы в целости типы современных организмов и сыграл бы такую же роль для изучения истории развития их, какую теперь играют находки ископаемых (окаменелых), а в особенности находки неразложившихся трупов мамонтов, носорогов и т. п., оставшихся «нетленными» в слоях мерзлой почвы.

Книга Сумгина для изучающих Сибкрай и в частности его климатические особенности имеет, несомненно, громадный интерес, и в этом смысле нужно приветствовать ее появление.

Н. Леонтьевский.

39157

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
М. Басов.
В. Вегман.
В. Зазубрин.
Г. Круссер.
Г. Черемных.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Зазубрин.—О Горьком 3

А. Югов.—Безумные затеи Ферапонта Ивановича (2 часть романа) . . 5

Ал. Даврурин.—За кругом 43

Л. Улин.—Глухая падь 79

П. Стрижков и Н. Добросердов—Золотые тропы 88

СТИХИ: И. Мухачева, А. Кучковского, Н. Грудницкого, А. Пиотровского, В. Непомнящих, В. Вихлянцева, П. Драверта . . . . . 110—118

Н. Феоктистов.—Пропавшие письма Ф. М. Достоевского 119

Г. Вяткин.—М. Горький и писатели-сибиряки 126

М. Горький.—Письмо к Ромэну Роллану 130

Степняк.—Киргизское восстание в 1916 г. 133

А. Бурдуков.—Сибирь и Монголия 146

В. Тимофеев.—Великим Северным Путем к устью Лены 161

Максим Горький.—О себе 186

Куллэ.—По страницам мировой литературы 190

Ф. Тихменев.—О литературных «зазубринках» Зазубрина 212

А. Топоров.—Деревня о современной художественной литературе (Анов, Гольдберг) 228

В. Итин.—Моя встреча 239

В. Зазубрин.—Заметки о ремесле 241

Тиль Уленспигель.—Пародии 253

Н. Ф-ов.—Воспоминания о Н. Г. Чернышевском 255

Антон Семенович Сорокин (По поводу смерти) 256

Г. Вяткин.—М. А. Цейнер (некролог) 258

Н. Ф-ов.—Н. Б. Ящеров (некролог) 260

Солбонэ Туя.—А. Т. Трубачеев (к 25-ти летию врачебной и общественной деятельности) 261

Б. В.—Труд и быть рабочего и крестьянского населения Урала конца XVIII и XIX в. в. 263

Палеонтологические раскопки 264

Юбилей Горького в Новосибирске 265

ХРОНИКА 267

БИБЛИОГРАФИЯ:—Г. Вяткин, П. Казаринов, К. Кацаран, А. Низовцев, Н. Леонтьевский, Е. Титов, В. Н. Ямин 274

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 ГОД

на ежемесячный журнал

литературно-художественный **ЗВЕЗДА** и общественно-политический

под редакцией **Л. Горохова, Р. Ковнатор, П Петровского, Г. Ржанова и А. Стецкого.** Отв. редактор—**П. Петровский.**

Двенадцать книг в год.

ДЛЯ ГОДОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ: **приложения:** 1. Полное собрание сочинений и писем **Ф. М Достоевского** в 12 томах. Цена вместо 25 р.—15 р. 2. Собрание сочинений **Конст. Федина** в 4 томах. Цена вместо 10 р.—7 р.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На журнал без приложений:

на год . . . . . 9 р. — к.

на 6 месяцев . . . . . 5 » — »

на 3 месяца . . . . . 3 » — »

На журнал с приложениями:

1. Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 12 томах, на год . . . . . 24 руб.

2. Собрание сочинений Конст. Федина в 4 томах, на год 16 руб.

При подписке на год допускается рассрочка:

на журнал без приложений при подписке—5 р., не позднее 1 июня—4 рубля.

на журнал с приложениями 1. Полного собрания соч. **Ф. М Достоевского:** при подписке—7 р, не позже 1 апреля 6 р., не позже 1 июня—6 р. не позже 1 сентября—5 р.

2. Собрание сочинений **Конст. Федина:** при подписке — 6 р., не позже 1 апреля—6 р., не позже 1 июня—4 руб.

Цена отдельного номера—1 рубль.

Годовым подписчикам журнала на 1928 год—50 проц. скидки за комплект журнала 1927 г.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Главной конторой подписных и периодических изданий Госиздата: Москва, Центр, Рождественка, 4, телефон 4 87-19 и 5-88-91; Ленинград, Просп. 25 Октября 28, телефон 5-48 05, в магазинах, киосках и отделениях Госиздата, у уполномоченных, снабженных соответствующими удостоверениями, во всех киосках Всесоюзного контрагентства печати, а также во всех почтово-телеграфных конторах.

Сибирская Краев
Инв № 39157

Книгу вернуть в библиотеку не позже указанного здесь срока

Зак. № 1042*

на 1 руб. 50 коп.